

Василий
Аксенов

Василий АКСЕНОВ

Посвѣрьяница
и посвѣрьянки
старинный роман



*Вольтерьянцы
и вольтерьянки*

**Василий
АКСЕНОВ** |
**Вольтерьянцы
и вольтерьянки**
старинный роман



ИЗОГРАФУС

ЭКСМО

Москва

2004

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)
А42

Художник Андрей Бондаренко

Аксенов В.

А42 Вольтерьянши и вольтерьянки. — М.: Изографус,
Эксмо, 2004. — 560 с.

ISBN 5-94661-092-9 (Изографус)

ISBN 5-699-07239-X (Эксмо)

На заре века восемнадцатого, «галантного века», очень заинтересовались друг другом две значительные личности — Вольтер и Екатерина Великая. В романе Василия Аксенова оживают старинные картины, и сходят с них благородные герои, кипят страсти нам непривычные, завязывается нешуточная драма нестареющих вольтеровских идей...

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)

ISBN 5-94661-092-9
ISBN 5-699-07239-X

© В. Аксенов, 2004
© А. Бондаренко, оформление, 2004
© Издательство «Изографус», 2004

Содержание

- Глава первая, 11**
в коей картина превращается в роман, пустынные берега в парижскую Масленицу, портрет Вольтера в живую персону, театральный скандал в триумф, трезубец Нептуна в объятия Морфея
- Глава вторая, 71**
где генерал Афиомский принимает философа Д'Аламбера и где становятся очевидными положительные свойства орехового масла
- Глава третья, 101**
в коей слегка припозднившийся персонаж барон Фон-Фигин поднимается на борт спущенного корабля «Не тронь меня!», а молодые герои, Мишель, Никола, Клаудия и Фиокла, наслаждаются обществом Вольтера вкупе с чертенятами поместья Ферне
- Глава четвертая, 145**
дающая Вольтеру возможность прочесть отрывки из «Трактата о толерантности», кавалеру Террано совершить грехопадение, а высшим офицерам обсудить феномен «Двухногого Казуса»
- Глава пятая, 182**
начавшаяся в идиллических аллеях парка, в коих посланник Фон-Фигин и великий Вольтер обсуждают курьезы женственного века, споткнувшаяся в коридоре замка, где две кавалерствующие дамы не могут разойтись из-за объемов их фижм, и завершившаяся безобразным пиратством, позволившим нашим шевалье проявить их не вполне обычные героические качества

- 229 Глава шестая,
глубоко задевшая нежные души двоиняшек-курфюрстиночек, изгнавшая бесов из камня, а также заставившая задуматься об андрогинных свойствах младших чинов императорской гвардии в обществе старческого красавца Вольтера
- 268 Глава седьмая,
неожиданно открывающая нам некоторые секреты Прусского государства, а также пристрастие короля Фридриха Великого к тщательному разжевыванию марципанов
- 298 Глава восьмая,
в коей Вольтер знакомит барона Фон-Фигина и генерала Афсиомского со своими взглядами на российские отчины, равно как и на черных рабов в Америке. Между тем над готской Балтикой пролетают голуби из древнего рода сарым-хадуров, а также гремит не вполне реальная битва, в кою среди прочих сторон вовлечено цвейганштальт-бреговинское войско во главе с курфюрстом Магнусом Пятым
- 342 Глава девятая,
постепенно превращающаяся в «драму идей» XVIII столетия, в ходе коей Вольтер воспоминает, как близок он был, вместе с Эмили дю Шатле, к открытию свойств «фложистона», меж тем как гадкий химик Видадь Карантце охотится на лягушек и мышей, а Миша Земсков продолжает удивлять все кумпанейство особенностями своей головы
- 389 Глава десятая,
совпадающая с предпоследней ночью шюля 1764 года, иначе с завершением Остзейского кумпанейства; звучат виолы и саксонские гнутые кларнеты; все перепуталось в замке и в парке; и сладко повторять: Россия, Запад, Бесконечность; ночные откровения и утреннее изменение пейзажа
- 429 Глава одиннадцатая
и последняя знаменуется явлением вельми приподнившегося персонажа. Фокусы утопии уступают место историческим деяниям
- 477 Эпилог
как таковой в завлекательных авансах не нуждается

**Вольтерьянцы
и вольтерьянки**

Нет идей врожденных.

Джон Локк

Нравственный смысл — врожден.

Готфрид Вильгельм Лейбниц

Я не понимаю природы мысли.
Разум ли повелевает руке
подняться?

Вольтер

Глава первая,

*в коей картина превращается в роман, пустынные
брега в парижскую Масленицу, портрет Вольтера
в живую персону, театральный скандал в триумф,
трезубец Нептуна в объятия Морфея*

В самом начале сего повествования хочу обратиться к вам, персоны читающего сословия; и к тем, кто посреде домашнего досуга возжигает свечу над не разрезанным еще томом, равно как и к тем, кто, трясясь день-деньской в кибитке, прижимает книгу к подушке с пятнами стеарина и раздавленным клопом-с, и сообщить, что книга сия втягивает вас в апрель 1764 года; ранняя весна, судари мои, глубокий морозный закат.

Вслед за фразой развивается неподвижная картина прибалтийского простора. Большущее небо с длинными лиловыми облаками на западе и со младым месяцем в зените. Голые ветви вдоль дороги, в конце коей темная ломаная пила городка с острейшим, будто не своим, зубом кирхи. Озеро подо льдом. Вросшие в лед повозки недавней войны. Торчат оглобли, скосбочилось колесо, зияет жерло полевой пушки. Кой-где, ежели спешиться и присмотреться, увидишь в замерзающей на ночь полынье брошенную воином фузею с торчащим из дула багинетом или без оногo, патронную суму пехотинца или кавалерийское седло с переметными карманами, череп лошажий, а то и человечесий, расколо-

тую кирасу с торчащими ребрами, некогда прикрывавшими сердце, исполненное отваги или безудержной тоски, именуемой в обиходе горечью поражения. Неподвижная сия картина красноречиво расскажет тому, кто спешится, о страшной схватке в померанских болотах, ну а тому, кто проскачет мимо, не расскажет ничего, поелику тот ее и не заметит.

Теперь пора сказать, что не все так пронзительно застыло в этой весенней темной картине, освещенной лишь огромным бледно-зеленым небом с чеканным серпиком апреля. Есть тут две фигуры, пребывающие в бешеном движении, ног у них не сочтешь, видно только, как вдребезги разбиваются замерзающие вдоль дороги лужи. Летят за ними хвосты, гривы и плащи, если глянешь сбоку. С той же позиции заметишь натянутые до бровей треуголки да молодые гладкия подбородки. Рьяны ноздри исторгают мятущийся пар. Шумное дыхание, бой копыт и скрип сбруй завершают переписку пейзажного масла, то есть натюрморт на наших глазах и при наших ушах обращается в натюральную романею.

Бешеный галоп выветривает вчерашнюю данцигскую пьянку из глав и телес двух шевалье, Николя и Мишеля. Слава тебе Господи, что лошади не пьют! Как это не пьют, как это не пьют? Водки не пьют, водки не пьют, водки не пьют! И пива не потребляют! И рейнского сладкого не глотают! Не пьют, потому что им нет, не дают, нет, не дают, нет, нет, нет! Только воду пьют, пьют, только воду пьют! Вровень несутся верные кони, возвращенные в гвардейской Ея Императорского Величества конюшне, четырехлетние боевые жеребцы, два брата Тпру и Ну, ныне именуемые на французский манер Пуркуа-Па и Антр-Ну. Так скачут, будто и пить не хотят, пить

не хотят, пить не хотят, воды не хотят, воды не хотят и по пиву не грустят, не грустят, будто не останови, так и протарабанят всю тыщу верст до столицы французского королевства!

А чего ж так гнать-то, естели ехать еще столь далече, и чему такая прыть может споспешествовать? Может, гонится кто за кавалерами? Может, сами они кого преследуют? Авторский произвол, однако, не находит пока никакого резону для спешки, за исключением вчерашних довольно-таки куртуазных и в равной степени ридикюльных обстоятельств.

Ну что ж, нам-то, сочинителю, то есть мануфактурщику бумажного товара, спешить некуда, если уж заехал в восемнадцатое столетие, в раннюю весну 1764 года; так что давайте по порядку.

Третьего дня под вечер легкой рысью, как предписано было в экспедиции, достигли Николя и Мишель приморского города Данцига, по-нашему Гданьска. Предъявили страже французские пашпорты и были пропущены за ворота; даже взятки не потребовалось. К французским офицерам многие из гданьского народа относились с симпатией еще со времен высадки в защиту короля Сигизмунда Лещинского супротив российского произвола. Николю и в голову не пришло залезть в кавалерские ташки, иначе могли бы за двойными бортами обнаружить не только французские, но и саксонские подорожные бумаги, а если б глубже копнули, могли бы и на прусские папиры наткнуться.

Не без удовольствия озирали Николя и Мишель с высоких седел виды готического града, пока мед-

ленно цокали подковами по гладким булыжникам улицы Длуга. Пуркуа-Па даже не преминул сунуть ноздри под хвостик игривой кобылке из знатной упряжки, что ожидала кого-то непростого возле трактира «Лион Д'Ор».

«Эппенопля, — сказал тут Мишель, — да ведь это, видать, тот самый «Лион», которому Твердищев давал толь лестную рекомандасию».

«Твердищев! — хохотнул Николая. — Опосля его ревельской рекомандасии у меня до сих пор естчо ухо саднит!»

И тут уноши прыснули, как школяры, вспомнив ужин в ревельском «Альте Томасе», закончившийся потасовкой с чухонской знатью, ежели так можно сказать о каких-то якобы шведских баронах.

Твердищевская рекомандасия для них все ж что-то значила, естли они спешились у «Золотого льва» и сказали своим коням стоять. В привязи и присмотре нужды не было: Тпру и Ну знали свое дело туго, как тогда выражались в кавалерии. Никому до себя и до поклажи дотронуться не дадут, а буде дерзнет какой людской или животный хищник, забьют копытами или покусуют.

Давайте сразу заинтригуем неравнодушного читателя, сказав, как в романах пишут, что прибытие молодых людей не осталось незамеченным. Две пары смешливых и нежных глазищ поглядывали из-за занавесок второго этажа, где собирался на ужины непростой народ, как приближались к дому два статных уноши в рейтарских ботфортах, в коих (в уношах, а не в ботфортах), несмотря на отсутствие зна-

ков отличия, нельзя было не признать гвардию. Лъзя было предположить, что именно залу второго этажа, где в сей час ужинало семейство заезжего курфюрста, имел в виду советчик из экспедиции г-н Твердищев, однако наши кавалеры прямиком перлись не туда, а в подвал. Впрочем, с тем же успехом лъзя было сказать, что именно подвал как раз и советовал прокисший в экспедиции г-н пьянчуга, то есмь эксперт.

В подвале вся жующая и пьющая кумпания повернулась, как будто в первый раз узрела путешествующих шевалье. Кто-то что-то грубое изрек на кошубском варварском речении. Какие-то в обносках военного из дыма начали приближаться. Какие-то в кожаных наплечниках уселись рядом, отрыгивали пивом, строили рожи физиогномий. Нет, изысканных манер тут не дождешься, не Петербург.

Николя и Мишель, сохраняя достоинство, как их всю жизнь поучали, раскурили трубочки и заказали по-французски жареного каплуна. Прислуга, ни черта, конечно, не поняв, принесла полбарана.

Хозяйка с дочкой, обе грудастые, гладкие, поставили перед кавалерами две кружки, каждая весом с чугунную гирию. Один мужик сел ватным задом на их стол и стал насвистывать прусский марш на полковой флейте. Другой какой-то, как бы прочищая мушкетон, все наводил дуло на наших путешественников.

Откуда было знать нашим кавалерам, что не было в городе заведения с более дурной репутацией, чем подвал «Золотого льва»?

Здесь кумпанействовали дезертиры разных армий, еще недавно дравших друг дружку на полях Семилетней войны. Откуда им было знать, что за полчаса до их прибытия в подвале разгорелась полнейшая возмутительность в адрес курфюрста с семейством, которых принимали в двухсветной зале наверху. Какой-то фузилер припомнил, что его высочество недоплатил ему десять талеров за бой против вюртембергского полка.

Этот аффеншванц, курфюрст, ламбекуло хуэвадское, просрался, мьерда, подписал амнистицию с дюком, а моих десять золотых себе засунул в трудекуль, орал на весь подвал хромой на обе ноги фузилер, похожий на смесь медведя и упомянутой им в потоке красноречия обезьяны. Тут вся толпа, среди которой было несколько старческих великанов из распущенного Фридрихом Вторым любимого его батюшкой Фридрихом Первым великанского полка, пришла в возбуждение, вспоминая недоплаченное. Проклятья на всех языках Семилетней войны, включая русское эппеннопля, неслись из всех углов.

Вот тут как раз и вошли двое наших безупречных. Откуда им было знать, что их немедля приняли за прусскую агентуру? Дескать, там нонче таковых нанимают, гладковыбритых. Вот и казак Эмиль надысть рёк, как из него такие брали дознание, с оттяжкой. Иссиякли все пасьянсы, братва, вставай на бой, солдат, не за гельды, а за правду-курву! Что же удивляться, что Николая и Мишель сморщили носы, принюхиваясь к местным недостаткам савуар-вивр.

Горячее пиво, однакось, было пользительно. Облегчив кружки наполовину, уноши огляделись уже по-весельчаковски. Мишель выгашил из-под стола

ногу и въехал под самую трудекуль той заднице, что без политесу попердывала по соседству с их ужином. Николая понимал смешное, зашантеклерился заливи-сто, сердешно, как бывало в кадетском корпусе. С новым бон-аппетитом друзья взялись за баранину.

Бродяга между тем летел сквозь дым кабака и, пролетев сажени три, упал башкой в соседнюю кумпанию со страшными красавицами. Визг оных. Хруст фурнитуры. Брызги питьевого. Ошметки съестного. Весь подвал, кроме калек, повскакал на ноги.

Хохот мешал нашим уношам продолжить жевание. Нужно сказать, что подобные эмансипации никогда не пугали кавалеров, а, насупротив, как бы увлекали их своей, ну как тут получше изречь, ну, неожиданностью, что ли. Вспомни собственную младость, читатель, вспомни юнкерские забавы и все простишь.

Шум стоял в заведении, прямо сказать, гомерический, а ведь он, ну, Гомер, знал, как передать шум; уши ему никогда не отказывали.

В этом шуме наши так называемые французы не могли разобрать ни одного слова. Равно как и по-немецки эти наши как бы дипломатические курьеры, или, как их в те времена называли, «эстафеты», ничего не могли связать в реве малопристойных глоток. Откуда им было знать, что регуляры подвала не умели ни на каком языке правильно выразиться, что за годы мародерства сей сброд отвык от своих природных речений и изъяснялся на каверзной похабщине, составленной из польских, швабских, кошубских, моравских, фламских, валлонских, брабантских, тосканских, шпанских, прусских, саксонских, голштинских, ютландских, мадьярских, жмудских, москальских и Бог еще знает каких засаленных и пересоленных слов.

Вот вам образец сей словесной клоаки, милостивые государи. Можете сами его жевать в нужных местах сочинения, лыком в строку не встанет, а может, напротив, иной раз и позволит малость рассупониться.

Куло-педерсе-скорежара-пете-мамара-какара-шир!
Швуле-финокио-хире-коконес-и-марикон!
Чочо-кё коньо-суссе-алмеха-савашьердюр!
О ламбекуло-пута-мамона-дупаморозна-келькуль!

С этим словесным хламом приступили уж было к двум красавчикам шпионам, чтоб посчитаться за оскорбление в дупу, как вдруг новый разгорелся скандал. Обиженный бродяга, оказалось, потерял свой мешок и теперь ползал по полу, собирая вывалившееся хозяйство, почерневшие какие-то крючки с перстнями, сиречь пальцы шведских кирасиров, загубленных бомбардами прусского короля прошлой весной в недалеком от города болоте. Эдакого супостатства не терпели даже в подвале «Золотого льва». Некий авторитетный рыжебородый с рваной ноздрею по имени Барбаросса (запомни, читатель!) закинул уже на крюк в потолке туго свитую лямину, когда сверху спустился хозяин и кликнул стражу. Вошли пузатые с алебардами. Давайте разбираться, кто есть кто в вольном мясте собрался. Начнем с новеньких. Ну-тко, молодчики, явите папиры!

Хозяин был купчина старых ганзейских кровей, и пол-Европы было у него в кумовьях. Как и полагается данцигскому заправиле, фамилию имел двойную, Шпрехт-Пташек-Злотовский, то есть даже тройную в сем случае. Напоминал он персонажа картины мастера Рембрандта «Ночной дозор», того,

которого не очень видно. Грозно пучился на молодых проезжих, как бы слегка презирая, а на самом деле соображая, какова их истинная природа. Так вот постоянно приходилось прикидывать в вольном штадте или мясте: что за народ проезжает, от кого, к кому? Ишь ты, как стоят, шляхетская поза, руки на эфесах, сразу и не сунешься.

Тут вдруг осенило Николя: да ведь что-то бубнил Твердищев про этого хозяина. В случае чего, сказал, шляпой пополощите перед ним да реките под сурдину: вам, мол, поклон от господ Глазенаповых! Тут как раз и Мишель припомнил что-то из экспедиции полезное. В случае встречи с герром Шпрехтом (он же Пташек-Злотовский) следует левое ухо вам прикрыть ладонью, соорудив над оным подобие козырька с отведенным в сторону мизинцем.

Получив эти столь значительные пароли, член магистрата (он был таковым!) тут же пошел прочь и показал кавалерам следовать за ним. Толпе ничего не оставалось, как растерзать мародера-стервятника, к чему она немедленно и приступила. Тому такая оказия была не впервой: повисев под градом ударов на крюке, он тихо очоурился, а потом заполз под дубовую скамью, куда ему принесли бадью вчерашнего супу.

Герр Шпрехт провел кавалеров во внутренний двор, где высказал им отеческую укоризну: отчего, мол, ваши сиятельства сразу не засвидетельствовали? Затем уже по-светски, вставляя в речь немецкие куршлюзы и польско-галльские бонмоты, сопровождал друзей никому не ведомых господ Глазе-

наповых по галерее до весьма торжественных дверей, кои и открыл пред ними с соответствующим политесом. «Ваши высочества, дамы и господа, вас приветствовать пришли два проезжих кавалера французской службы Николя де Буало и Мишель де Террано, юноши весьма достойных манер и безупречной отваги!» — так объявил он гласом заправского мажордома, как будто это не он еще четверть часа назад вепрем рявкал на взбунтовавшийся сброд в подвале.

Уноши весьма уверенно, если не сказать самоуверенно, отвесили собравшимся изысканные поклоны в версальском стиле, и, только лишь подняв глаза, ахнули «Мон дьё!», и даже слегка разъехались кавалерийскими подошвами по паркету. В зале за большим столом сидело не менее дюжины персон во главе с курфюрстом Магнусом Пятым Цвейг-Анштальт-и-Бреговинским, но самое главное заключалось не в присутствии сей августейшей особы, а в том, что в отдалении от стола под звуки клавиесин танцевали друг с дружкой минуэтку две тоненьких двойняшечки-курфюрстиночки Клаудия и Фиокла, обладательницы тех самых смешливых и нежнейших глазищ, предусмотрительно упомянутых нами пару страниц назад.

Появление столь впечатляющих, хоть еще и не мытых с дороги, молодых людей произвело и на благородное семейство совсем неслабое, как в те времена рекли в светских кругах, впечатление. Эх, были б деньги, подумал курфюрст, нанял бы авантюристов к себе в секретную службу. Увы, подумала курфюрстина, между прочим, внучатая племянница русского царя Ивана Пятого, увы, как быстро пролетела жизнь. Ах, ах, ах, завосклицали и захлопали в ладо-

ши восхитительные и восхищенные курфюрстиночки, какая удивительная экзистанция, какие кавалеры наших мечт! Сюда, сюда, изящества сыны! Однако, однако, зашептали тут две дамы-шапероны, собственно говоря, главные тетушки династии Грудерингов, Эвдокия Брамценбергер-Попово, баронесса Готторн, и графиня Марилора Эссенмусс-Горковато.

Не обращая внимания на нравоучительные междометия шаперонов, девушки проскользили к юношам и включили их в танец. Уноши сразу же позволили себя увлечь и, щастьем пылким сияя, продемонстрировали все, чему их научили во время внимательного французского воспитания. Многодневная скачка никак не сказалась на их танцевальных способностях, да и как она может сказаться, естли вы ведете Клаудию или Фиоклу, и сердце ваше возжжено мечтою, и члены ваши столь послушны мечте, хоть порой с подошв и слетает то, что прилипло в подвале, в частности кусочек маринованного шпика.

В лепете девичьем, в разговорах и смешках выяснилось, что это именно они, сестрицы-двойняшки, увлекли все царствующее в своем малом, но почтенном государстве семейство в Данциг на обед. Сколько же можно сидеть во дворце и смотреть, как маршируют мимо окон надоевшие караулы, в коих каждый ландскнехт знаком и лицом и задницей. В вольном граде, прослышали они, в «Золотом льве» собираются пираты, проезжают верхами и в кибитках удивительные порученцы из разных стран, ради прекрасных глаз сшибаются шпаги.

Воцарился, словом, «воздух всеобщей влюбленности», как через сто лет после этого куршлюза написал Лев (не золотой, но) Толстой. Обе курфюрстиночки запали на Мишеля, Николая заострился

на обеих, Мишель же избрал Клаудию, хоть и невозможно было ее отличить от Фиоклы. Ночью в галерее он сажал сбежавшую из опочивальни девочку себе на колени, брал губами ее ушко, поддувал локончики на шейке, немножко щекотал под мышками. Она задыхалась от счастья. «Ах, какой вы странный, Мишель, ах, какой вы скоропалительный, ах, откуда у вас такая ямка на макушке головы!» Николая между тем прогуливался по той же галерее с Фиоклой, читал ей вирши из томика Мариво, с коим никогда не расставался для подобных okazji, рассказывал то ли басни, то ли правду о своем обучении в парижской школе «Эколь Милитэр». «Как интересно, а ведь мы там были с папенькой и маменькой, — лукавилась курфюрстиночка. — Будучи еще почти ребенками, мы сопровождали наш государственный визит в этот ваш волшебный Париж. Наш папа интересовался артиллерией». — «Это удивительно! — восклицал Николай. — Да ведь я же как раз в тот год изучал там, в этом нашем волшебном Париже, артиллерию!» Фиокла хлопала в ладошки: «Ах, какие коэнсидансы! О, маркиз де Буало (Николя, как мы видим, не задержался с маркизовским титулом), вы должны увидеть нашу артиллерию! Папа говорит, что купил все четыре орудия за наличное золото, однако согласно государственной тайне их унесли с застрявшего в камнях русского брига». — «С русского брига?! — поражался де Буало. «Ах, ах, ах, какие коэнсидансы!» И читал из Мариво некстати, но по делу: «В пруду отражена Психея, / Она прекраснее Луны, / И ветер, вздыхая и стихая, / Влюблен в черты ее спины». Девушка при сих строках тоже стихала, отвернув к молодому месяцу очарованный профиль.

Пары расстались, условившись завтра после фриштика играть воланы. Оставшуюся часть ночи Мишель и Николя обсуждали, можно ли при таких обстоятельствах принцессе предложить руку и сердце или повременить с рукою.

Утром друзья познакомили своих пассий с Пуркуа-Па и Антр-Ну. Кони, как оказалось, ночью самовольно побывали в конюшне «Золотого льва» и изрядно там насытились курфюрстовским овсом.

Подвыпивший берейтор к тому же, не разобравшись, расчесал им хвосты и гривы. Не прошло и минуты, как Клаудия и Фиокла, что твои амазонки, взлетели в офицерские седла, откуда, впрочем, так же стремительно слетели при появлении строгой матушки-цесаревны, сопровождаемой шаперонами.

Все было чудесно в то утро на улице Длуга. Запах пива и мочи испарился за морозную ночь. Пахло кренделями и кофеем, что при всей прозаичности как-то чудесно дополняло «воздух всеобщей влюбленности». Николя и Мишель с уверенностью и легкой наглостью предвкушали то, что еще сегодня предстоит им вкушать: взоры, воланы, восторг.

И в это время в перспективе ганзейских фасадов появилась карета, которая по каким-то неведомым еще нам причинам произвела на уношей удивительное по сокружительности впечатление. Карета эта была из тех, о коих говорят «опочивальня на колесах», да и не только на колесах, милостидари, на крепчайших естчо и паче упругих рессорах швейцарской работы. Надежно и неторопливо, как какая-

нибудь, опять же швейцарская, часовая механика, карету катила шестерка могучих шереметевских конюшен природных лошадей. Впереди гордился осанистый фореитор. Два многозначительных погонялы сидели на облучке. Две суровых орясины стояли на запятках. Бойко за каретой катили два возка, а замыкали поезд полдюжины всадников, в коих по посадке нетрудно было предположить «желтых гусар» Ея Императорского Величества Екатерины Второй Всероссийской.

«Мишка, глянь! Граф, эппенопля, въезжает!» — возопил шевалье Николя де Буало.

«Колька, бежим, пока не поздно!» — отвечивал шевалье Мишель де Террано.

Великая курфюрстина Цвейг-Анштальт-и-Бреговинская затрепетала, услышав почти уже забытые звуки родного языка. Девушки, как всегда при внезапных куршлюзах, упали друг дружке в нежные, но довольно надежные объятия. Магнус Пятый весь окаменел, как всегда с ним случалось при исторических событиях. Едва лишь заметив кортеж, он возомнил, что сбылось то, о чем грезил все годы брачной жизни с возлюбленной цесаревной: в Петербурге прозрели, поняли важность Цвейг-Анштальта-и-Бреговины, шлют посла, деньги везут.

Ну а пока мы описывали изумление благородного семейства, их молодые друзья были уже далеко от них в западной перспективе, и только хвосты Тпру и Ну отмахивали привет: ауфвидерзеен, быть может, навсегда! И так они мчались много часов, словно пытались всеми силами увеличить расстояние, отделяющее их от таинственной кареты и от еще более таинственного графа, да так в конце концов и домчались до нашей увертюры, ворвались в пейзаж

померанского апрельского заката, чтобы в конце концов и его оставить за хвостами своих коней.

Ну а теперь давайте попробуем, хотя бы частично, избавиться от этой оскомины набившей таинственности. Торговцы считают, что без таинственности сейчас книги не продашь, хоть заворачивай ее в марокканский сафьян, а между тем даже и не догадываются, что все больше появляется покупателей, которые, положив только что купленную книгу в карман, вздыхают: хоть эта оказалась бы без таинственности. Такой покупатель не сломает каблучка, когда на прогулке, открыв последнюю страницу, узнает, что злодей был сыном банкира. Его влечет «таинственность» другого рода, связанная с необъяснимостью авторского тщания начать с правды, а кончить вымыслом, или наоборот; вот в чем «таинственность», которой он алкает, — увидеть в авторе такого же искателя, как и он сам, вместе с ним провозгласить «рцы языком правдивым ты!», а на деле оказаться выдумщиком, в чем, как некоторые полагают, и состоит верность художественной истине.

Итак, попытаемся развеять нашу собственную, невесть откуда взявшуюся «таинственность» в тех пределах, в коих это возможно в начале книги. Читатель, конечно, уже догадался, что Николая де Буало на самом деле зовут Николаем Лесковым, а Мишеля де Террано Михаилом Земсковым и что они никакие не французские «эстафеты» (les estafetes), а просто-напросто русские офицеры, недавно зачисленные в агенты секретной экспедиции петербургского правительства.

Происходят они из самой внутренней России, и именно из Рязанской губернии. Усадьбы Лесковых и Земсковых в большущем и немислимо разбросанном по природе селе Покровском смотрят друг на дружку с двух равновысоких холмов. Их вечная вражда наложила отпечаток на всю округу. Лесковы в пику Земсковым старались на своем холме внедрить изящество. Пристроили к развалюшным хоромам четыре колонны с коринфскими капителями, в пруд перед домом пустили лебедей, в сад павлинов и стали там прогуливаться в паричках, с тросточками, а на соседей насмешливо посматривали в невтоианскую трубу, хоть и было их видно невооруженным глазом.

У этой трубы была своя история. По слухам, завезена она была в нашу отсталую державу ученым мужем Жозефом Делилем в анны-иоанновские времена, когда исполинскими усилиями строилась Петербургская академия. Была она длиною семь футов и при надежной наводке на планету Сатурн казалась уму непостижимые кольца вокруг одной. Да как же оказалась сия почтенная медь в рязанской глуши? Досушие летописцы, и, в частности, вечные недруги Лесковых Земсковы, рекли, что труба была похищена из Подзорного дворца по странной случайности как раз в ту ночь, когда будущий батюшка Николая Галактион держал там караул. Якобы именно в связи с этой трубою Галактиону Лескову пришлось до срока выйти в отставку из Ахтырского полка, предварительно пройдя дознание в канцелярии Долгорукого. Труба Делиля якобы была найдена, хоть и болтают, что заново была построена уже российскими быстроразумниками в Гусе-Хрустальном.

Года через три после сих сумнительных событий Галактион Лесков подарил своей невесте Агриппине «невтонианскую трубу», якобы заказанную в Гусе-Хрустальном, а по молве так все ш таки уворованную. Гости, собравшиеся в беседке над прудом, благоговейно по старшинству подходили к дырке со стеклышком и смотрели на Сатурн. Никто не видел ни колец, ни самого Сатурна (так злословили Земсковы), однако все восхищались картиной, дабы не погрязнуть в невежестве.

Что касается Земсковых, то они назло врагам косили под мужичье, то есть под хранителей традиций, чихали на Запад, как будто и не знали, что даже это чихание, эти понюшки, извлекаемые из костяных табакерок, пришли отсюда, отсюда все приходит, как бы взамен родной харкотине. В общем, Земсковы свое, нутряное, почвенное, в себе пытались сохранить, орали по вечерам старые солдатские песни, мало брились, волосы не завивали, почитали Петра как хранителя русскости (это Петра-то!), а мужиков своих в охотку колотили, за что пользовались повсеместным уважением.

На самом деле и те и другие жизни себе без соседства не чаяли, и, если у Лесковых, скажем, появлялась модная коляска, Земсковы тут же покупали пару русских выжлецов на российского медведя. И наоборот, ежели Земсковы выносили на крыльцо новый тульский самовар, жди — через неделю Лесковы уже сервировали на веранде кофий в чашечках дрезденского фарфора.

Вот так же и Галактион Лесков не успел жениться со своей невтонианской трубою, и месяц не прошел, как и Теофил Земсков сыграл свадьбу с девой первостатейных рязанских статей Коле-

рией Рузайло в славянском стиле и пригласил все патриотическое сообщество чихальщиков под сень неизвестно откуда взявшихся полковых штандартов.

Две миловидные молодые женщины зажили по соседству, но в гости друг к дружке не ходили, хоть и тянуло. Впрочем, вскоре у них появился весьма любопытный посредник, сорокалетний генерал-аншеф Афсиомский Ксенопонт Петропавлович, известный в Европе под именем Конт де Рязань.

Ксенопонт был из худородных дворян городка Рязска и, хоть служил в Преображенском полку, выше старшего унтера не поднялся. И все-таки ждала крутого вояку немислимая удача судьбы. Доподлинно неизвестно, что произошло одной петербургской ночью 1740 года, однако и слухов отвергнуть нельзя, понеже ничем, кроме оных слухов, нельзя объяснить его дальнейшей карьеры, что взлетела в небеса огненной шутихою. Слухи же гласят, что дочь Петрова, цесаревна волшебной красоты по имени Елизавета, именно на плечах унтера Афсиомского въехала в ту ночь в Зимний дворец. А спешившись якобы с оных плеч, именно ему, унтеру Афсиомскому, отчеканила приказ: «Тащи императора!» И именно он своими руками, больше привыкшими к железу, извлек горячее тельце Иоанна Шестого из царственной колыбели и помчал оное тельце на мороз.

Так или иначе, но по прошествии трех лет с той ночи Ксенопонт Петропавлович в чине генерал-аншефа со всеми надлежащими нагрудными ольстерами и вальграпом приехал в родные края покупать земли и усадьбы. Давая во всех сих поместьях пышные балы и ужины, он познакомился, почитай, со

всем дворянством края, в том числе с молодоженами Лесковыми и Земсковыми. Эва, подумал тогда вельможа, надо примирить эти два рода, соединить их какой-нибудь притягательной силой. Взявшись за дело, он в своем фасоне не оставлял усилий, как, скажем, и в изучении иностранных языков, коими овладел за три года изрядно. То с прицелом на Лескова раскинет карточную партию, где познакомит общество с парижской новинкой, игрой под названием «каваньоль». То ради Земскова протрубит на всю губернию охотничий сбор, чтобы на нем как бы под шумок российское соединить с аглицким, смягчить гордыню.

Не забывал и молодых жен, особливо когда печалились в одиночестве. То Агриппине привезет в подарок цельный кофр дорогих кружев, то к Колерии заглянет с ларцом отменнейшего бельгийского шоколаду. Дело было летом и короткими ночами промеж помещичьих усадеб распространялось что-то эдакое, памятное по недавнему путешествию, италийское. Однажды даже, сбросив бальные туфли, босиком путешествовал через речку Мастерницу от Лесковых к Земсковым и обратно. Экий край, думал он, экое богатство, экая унавоженность! Незабываемое, в общем, получилось лето, даже иностранцы записывали в свои блокноты: «В постижение балов и прочих увлекательностей Рязанская губерния — это сущее Эльдорадо». Примирение, увы, не состоялось, и граф вернулся к своим делам, можно сказать, всевропейского ранжира.

Миша и Коля, как бы подчиняясь традиции, родились в один день. Лесковы устроили изящный фейерверк, Земсковы весь день колотили из пушки по

льду реки Мастерицы, так что по сей причине весна в округе вроде бы началась до срока. Афсиомский через год заехал полюбоваться на обоих бутузов. Стоя то над Колей, то над Мишей, он не без философской горечи думал о превратностях судьбы. Крошечное тельце похищенного императора, как видно, вселило в него тягу к подобным младенцам и в то же время пресекло даже мысли о собственном отцовстве. Друг Вольтер, думал он, ты был прав, сказав: «Все дети этой расы — наши!» Уже тогда он вручил Лесковым и Земсковым бесценный дар, грамоты с гербами и подписью Императрицы, извещавшие, что столбовые дворяне Рязанской губернии Лесков Николай и Земсков Михаил заранее зачислены в Кадетской корпус Ея Величества, учрежденный еще в 1731 году фельдмаршалом графом Минихом.

По прошествии нужных лет мальчики были отправлены в Санкт-Петербург. И вот тут случилось невероятное: воспитанные во вражде к соседям, дети воспылали друг к другу едва ли не братской любовью. Они как бы дополняли друг друга: Миша рос увальнем, Коля егозою, Коля все хватал на лету, Миша отличался вдумчивостью. Именно Коля открыл удивительные свойства Мишиной головы. Об нее можно было сломать любую дубину или доску, не причинив юному органу мысли ни малейшего вреда. Напротив, внезапные угощения по голове как бы бодрили мальчика: он то начинал божественно петь, то умножал без ошибки чудовищные числа. Вообще стал немного злоупотреблять головою. Например, принимал на оную ядро гаубицы, чтоб можно было скатить по шее и спине и немедленно всей жопой на него усесться.

То-то смеху, то-то восторга в мальчиковой кадетской среде, особенно ежели сие случилось в обширном дортуаре во время популярного ночного игрища «Гангут и Полтава».

Тут следует сказать, что в пору назревания зрелости, когда уже усишки на губке и бородашки на ланитах начали прорастать, у Михаила стали проявляться кое-какие странности, иной раз снились ему диковинные сны. О них он никому не рассказывал, кроме сердешного друга Николаши.

«Вот, знаешь ли, земля моя, вчерась вижу я какую-никакую визионарию, будто в кулаке у меня завелся жужжала».

«Какая она, твоя жужжала?» — удивлялся Николай.

«Он», — поправлял Михаил.

«Тогда уж он — жужжал», — легкомысленно смеялся друг.

«Нет-нет, мон шер, он — жужжала».

«Ну расскажи мне про своего жужжалу, — снисходительствовал Лесков. — Какой он, что делает?»

«Ползет по щеке, жужжит, дочиста бреет».

«Ой умру! — хохотал Николай. — Жужжала бредячая! Большая?»

«Да с табакерку».

Вот в таких подростковых шалостях дожили они до своего уношества. Граф Рязанский не спускал с них внимательного ока. Бывало, пригласит обоих во дворец и любовно наблюдает. Неплохие получились особи, нет, неплохие! Позовет встать рядом с собой перед огромным зеркалом с рамой

рококо работы самого Шарля Крессана и наблюдает то во фронтальной позиции, то в боковой себя широкоплечего и еще не совсем жирного, в бархате с золотым шитьем и галунами, с генеральскими вальграпами и ольстрами и двух стройных уношей в кадетских кафтанчиках. И смотрит, и смотрит, словно делая в памяти одну за другой большущие парсуны: нет-нет, неплохие получились детища у рязанского дворянства!

Совершеннолетие Мишани и Николаши совпало с июльским 1762 года восшествием на престол молодой императрицы Екатерины. Генерал Афсиомский, соблюдая традицию дворцовых переворотов и с трепетом вспоминая собственную елизаветинскую браваду, приехал по просьбе друга Никиты Панина (друзьями прирос сей герой от Тегерана до Лиссабоны) в квартиры Преображенского полка и вывел оттуда на возбужденные улицы батальон верных Екатерине воинов, среди коих пылали влюбленностью в Россию и в молодую мятежницу Николай и Михаил.

Прошло еще два года. Ксенопонт Петропавлович стал подумывать о переводе юношей из военного дела в дипломатическое ведомство. Не чинами, не орденами крепнет сейчас персона, а причастностью к большим умам, к просвещенью нравов, к банковским операциям, солидным вложениям. И тут как раз в высоких, если не сказать высочайших, сферах Двора возникло секретнейшее дело, главой которого был поставлен шестидесятилетний вельможа, воин и надежнейший агент, путешественник столь основательный, что снискал себе репутацию «Марко Поло Российского», писатель утопий и авантюрист, светский лион и немножко бандит, как

всякий контрабандит проседает быть, сам Его сиятельство Афсиомский.

Паки приходится просить пардона у читателя за новую невольную «таинственность». Мы не раскрываем сего «секретнейшего дела» токмо лишь потому, что сами его пока не знаем, а вовсе не завлекательности ради. Осмеливаемся напомнить, что ушли мы от прямого изложения только лишь для раскрытия первой «таинственности», вот именно связанной с каретой. Теперь уже ясно, кто едет в этой карете и куда направляется. Вот именно во Францию неторопливо, солидно и надежно катит экипаж, в который каждое утро после очередного ночлега садится этот не очень-то уже русский господин в немного длинноватом парике, но зато в исключительно модных очках и с первым томом «Энциклопедии», кою решено было во время путешествия не токмо прочесть, но и перечесть, то есть в оную вникнуть.

Афсиомский готовился к делу загодя, обстоятельно, учитывая всяческие подробности. К числу подробностей относилась и его опека над будущими дипломатами Лесковым и Земсковым. Их приняли на подготовку в секретную экспедицию правительства, а за несколько дней до выезда основной делегации отправили верхами в Париж. Предполагалось, что уноши прибудут туда за неделю до «кареды» и, пользуясь своими располагающимися внешностями, великолепным с точки зрения «экспедиции» знанием французского лянга и прочими благосклонностями, проведут подготовку к приезду графа, встретятся с нужными людьми, а главное, покажут самих себя, новое поколение российских европейцев, а не каких-нибудь свинтусов, кои рисуются

в Париже при слове «русский». И вот такой едва не получился афронт: едва не наехал строгий граф на своих быстролетных гонцов, пребывавших в приятнейшем размягчении в обществе, собиравшемся играть воланы. Можно лишь представить себе гнев государственного посланника, прокати его карета незамеченной еще сотню саженой до «Лион Д'Ора», куда, собственно говоря, и направлялся он для фриштика и разговора с паном Шпрехтом-Пташеком-Злотовским. При всем своем пристрастии к молодой рязанской поросли небось вознамерился бы поднять на оную трость. К счастью, ничего не заметил, кроме двух быстро улепетывающих всадников. Уж не пруссаки ли опять хитрят, подумал он, но мысль эту временно отставил.

Дальнейший путь до Парижа наши кавалеры проскакали без приключений, хоть таковые и предлагались дорогой в изобилии. Быстрей, быстрей, глазкам не потакаем, на оскорбления не отвечаем, лишь бы обогнать карету на три дня, хоть на два дня, лишь бы оправдать ожидания героя-покровителя!

Откроем некий секрет, впрочем, столь незначительный, что ему даже не нашлось места в анналах секретной экспедиции: оные три дня как раз и были уношами утрачены, пока блуждали по бельгийским графствам. Без всякого понятия о сем бельгийском колене пути так и пересекли туманную французскую границу.

Николай даже на ходу продолжал зубрить французские фиговые глаголы, скрежетал зубами на перфект футурум, обещал с этими глаголами еще по-

считаться. Миша первые дни все грустился по Клаудии, поддувал губами воспоминания о ее завитушках, напевал какую-то музыку; потом позабыл.

Однажды, уже близко к Парижу, заночевали кавалеры в деревенской гостинице, в местечке Руасси. Утром Лесков увидел, что друг сидит на кровати с таким видом, будто все-таки обломили ему черепушку какой-то великанской доскою.

«Ну что, Мишка, опять?» — спросил он сочувствительно.

«Опять, Николай, опять. Такая облискурация снилась, что и рассказать боюсь».

«Ну ладно уж, рассказывай!»

А снилось Земскову в ту ночь какое-то небывалое ровное поле, а на нем какие-то закругленные жестяные дома с окошками. Ну что тут такого, друг, ну дома, ну жестяные, ну давай, пёрдни как следует, выпусти пар и вставай, нас Париж ждет. В общем, они, некоторые, ездили по этому полю. Дома? Дома ездили вроде как кареты, только без лошадей. Да ведь это вроде уже снилось, кареты-то без лошадей? Так-то ведь не кареты, большие дома, куда захотят, туда и едут, а потом...

«Ну что, Михаил?»

«А потом улетают».

«Дома?»

«Да».

Коля смеялся от души.

«И такие же прилетают...»

Коля от восторга даже грянул из кормового орудья.

Подъезжая к городским вратам по дороге, забитой телегами с драным мужичьем, Николай все думал о Михаиле, причем называл его в думах своих даже не

другом, а братом. Надо вылечить Мишку, отныне охранять буду его больную башку. Экое дурацкое все-таки у нас в корпусе повелось к его чугунку плентоплевательство. Слишком доброй души мой братец, ежели самое заветное, то есть свою человеческую голову, отдавал на потеху всяким олухам. И всяческим к тому же плентоплевательским «петиметрам», вроде меня самого, коим лестно было такого брата иметь с несокрушимою головою. Теперь лечить его буду день за днем, пока кто другой за него не взялся, пока рукава ему за спиной не завязали. Открою ему Париж, вот с этого и начну! Париж ведь и сам такой прекрасный сон, внедрись в него, Михаил, и позабудешь свои облискурации. Однако прежде всего начнем с большого дела, отправимся, как в экспедиции указали, на остров Сан-Луи, в резиденцию устно означенной персоны, предназначенной нам под охрану.

Тайная экспедиция, как позднее выяснилось, с адресом означенной персоны полностью обмишулилась. В доме на острове Сан-Луи означенная персона уж двадцать лет как не проживала, а проживал там ихний неприятель, все эти годы пребывавший с персоною в судебной тяжбе.

Едва кавалеры спешили на каменной мостовой, как в дубовых с резным узором воротах открылась малая дверь, и за ней возник величественный старик в мелкозавитом, чуть не до пояса, парике, в расшитом серебром красном камзоле. Потрясая жесткими седыми бровями, он явил собой чуть ли не полководца эпохи Великого Короля; хотя был, разумеется, всего лишь дворецким.

Де Буало и де Террано скромно представились и осведомились о персоне, дескать, им поручено

передать достопочтенному мэтру любезности из далекой страны. Дверь тут же закрылась и не открывалась четверть часа, хотя за ней ощущалось какое-то суетливое движение. Кавалеры переминались у входа в этот четырехэтажный дом, один из многих в ряду похожих некогда аристократических резиденций острова Сан-Луи прямо под сенью собора Парижской Богоматери. Впрочем, одноименный роман еще не был написан, и потому молодые люди не испытывали к сей большущей церкви особенно священного трепета.

Замешательство — вот что они испытывали, переминаясь у ворот. Руки свои они держали на ташках, обремененных рекомендательными письмами, набором дорожных документов, банковскими векселями и серебром. Временами руки, словно ища ободрения, произвольно прикасались к оружию. Не без основания им казалось, что из-за штор на втором высоком этаже их внимательно рассматривают.

Столь же нерешительно, словно и не они проскакали только что всю Европу, переминались на всех восьми копытах могучие Пуркуа-Па и Антр-Ну. Поглядывали на трех собак с лисьими мордами, что уселись за их хвостами, словно выжидая, чем можно будет поживиться. Первый конь, как бы говоря: «Ничего не дождетесь», с шумом напрудил солидную пенящуюся лужу, которая тут же ручейками меж каменной кладки стала стекать в Сену. Второй конь все отмахивался хвостом и гривой от проснувшегося до срока и потому безмерно наглого слепня, пока вдруг не изловчился и не перекусил насекомому талью. Собаки с почтеньем отодвинулись, однако не убежали, словно за воротами и их ждала какая-то колбаса. Вся набережная была безлюдна и тиха, то

ли еще не проснулась, то ли только что отошла ко сну. Все-таки откуда-то доносился сладкий запах свежей выпечки. Где-то через несколько домов от места действия открылись ставни, и женский голос начал выводить утреннюю ангельскую руладу, однако оборвался на полуслове.

«Что-то не видно тут политесу», — храбрясь, произнес кавалер де Буало.

«Может, попозже заедем? — предложил де Террано. — Переоденемся в пристойное и с цветами заедем, а?»

Тут ворота вдруг сильно заскрежетали и распахнулись на всю ширину. Вышли три мужлана, двое в ливрейном, один в поварском колпаке. В руках у повара сковорода на длинной рукояти, а у кучеров хлыст и каминные щипцы. Из-за их спин величественный дворецкий направлял на ранних гостей тяжеловесный мушкет.

«Бу фэр футр, проклятые швабы!» — разразился старик столь же грозным, сколь и грязным проклятием.

Из ворот тут, словно поросята, порскнули два поваренка. Они пустились вдоль по набережной, крича: «Полиция! Полиция!» Открывшийся за воротами внутренний двор наполнился странным возмущением и шумом. По лестницам вниз скатывалась женская челядь. Внутренности резиденции враздохнули на путешественников какими-то перепреlostями и застоявшимися горшками. Всю толпу подгонял хозяин в незавязанном халате, в незастегнутых штанах, со страшным беспорядком на седой и полулысой голове. Как потом выяснилось, это был не кто иной, как мусье Демонден, не успевший еще облачиться для очередного заседания в суде.

«Кто тут спрашивает этого мерзавца?! — вопил он. — Кто осмелился произнести это имя у ворот МОЕГО дома?!»

Кавалеры прыгнули в седла и подняли лошадей на дыбы. Враждебная толпа на мгновение отступила. Всадники развернулись и пустились вскачь по набережной прочь от негостеприимной твердыни. Что еще оставалось делать? Не обнажать же шпаги перед толпой, пропахшей потным, свалявшимся бытом! Не ждать же полицию, не завершать же свой первый парижский визит эдаким конфузом! Вслед им что-то бухнуло, то ли мушкет разрядился, то ли этажер с посудой упал. Они завернули за угол, и сразу все кончилось, только собаки с лисьими мордами еще долго бежали за всадниками, будто напрашивались в кумпанию.

«Ну что, Николаша, теперь делать-то будем? — спросил Михаил уже на мосту к левому берегу Сены. — Где ж теперь нам искать означенную персону?»

К вечеру улочки Латинского квартала заполнились празднующими горожанами. Шел второй день Марди-Гра, то есть Масленицы. Лучшего повода для безделья было не сыскать. Едва ли не на каждом углу выкаблучивали танцоры, мелькали разноцветными рукавами жонглеры, возникали мимы и пожиратели-изрыгатели огня, разрыватели цепей, сама толщина коих уже обещала обман, африканские укротители обезьян и питонов, итальянские кукловоды и цыганские гадалки с козочками. Временами над толпой воздвигались шутовские фигуры на

ходулях. Из окна в окно кто-нибудь прогуливался по натянутой веревке.

Среди зрителей тон, конечно, задавали студенты Сорбонны. Их пьянили помимо дешевого вина чистое вечернее небо, ранняя луна, ну и, конечно, девчонки, в коих недостатка в этом граде не было. Любая швейка, а уж тем паче модистка, чувствовала себя сегодня героиней карнавала. То одна, то другая, а то и стайкой подлетали к нашим не ахти каким удачливым порученцам, а иной раз на мгновение повисали у них на плечах. «Почему такие серьезные, шевалье?» — верещали они и тут же отлетали, как бы приглашая погоню.

Николя и Мишель, однако, помня ревельские и гданьские тумачи, а особенно идущую по пятам карету, старались держаться с солидностью дипломатов. Они уже успели побывать в *Au tres galant* на Севрской улице и обзавелись там новым платьем и разными аксессуарами высокой моды, сиречь серебряными табакерочками, лорнетками, маленькими брызгалками, что, будучи направлены в ротовую полость, придавали ей, полости, свежесть лимонной роши, а главное, мужскими муфтами, внутри коих было немало кармашков еще неясной надобности.

Эти муфты давно не давали жить в Петербурге гвардейцу Лескову; порой, можно сказать, сжигали все внутренности. Известно было всем в корпусе, что сей подопечный графа Афсиомского унош был заядлым «петиметром», то есть модником. С жадностью он следил за всеми отражениями моды, вплоть

до такой даже малости, как рисуночки в журналах или парсуны, писанные маслом. Будучи еще кадетом, старался Коленька прогуливаться в окрестностях иностранных посольств, французского, аглицкого или сиамского, чтобы подсмотреть, какие банты нынче носит младая порось хитроумных обманщиков.

С резвостью ума Николай подмечал разные изъяны моды и никогда их не прощал иным замшелым лицам Санкт-Петербургского дворянства, невзирая даже на высокое титло. Иной раз, собрав все волевые отваги, коими смогла все ш таки наградить скудная рязанская отчина, он заходил туда, где ему было не по чину: к парижскому портному, где стоимость полного прикида (от слова «прикидательственность») превышала закладную родового поместья, или в британскую шепетильную лавку, где невозмутимость лиц равна была возмутительнейшей недоступности товара.

Ну а уж о караулах во дворце и говорить нечего. Проходящие мимо неподвижной фигуры часового молодые вельможи вот уж подумать не могли, как много любопытства излучает сей истукан по части длины их штанишек или толщины чулок, формы пряжек на туфлях и высоты каблучков, сколько мыслей содержит фигура о предпочтительности разных паричков, волосяных или шелковых, или о полном отсутствии таковых и в сём случае о манере подвивки кудрей, закрутке косиц, закреплении бантом.

Однажды он чуть не бросил свой караул, когда мимо прошли томные кавалергарды с меховыми муфтами в руках; вернее, наоборот — с руками в муфтах! Об этих муфтах он уже знал кое-что понаслышке, из аглицких, конечно, источников, и вот он

их увидел своими глазами, этот непременный аксессуар джентльмена, или жантильома, столь удобный, чтоб держать внутри, ну, скажем, кинжальчик. Да ведь и для бельгийского пистолетика найдется место! И уж ничего, милостидари, удобнее не найдешь, чтобы спрятать переданную на ходу записку светской красавицы!

Такое фантазиё не замедлило произойти прямо на глазах Николаши, как будто бы в Мишкиных снах. По Камероновской галерее, где он стоял на часах под своим шлемом, прошел кумир молодого мушINSTVA, граф и будущий польский король Понятовский. С ним стремительно сближалась, чтобы разойтись в разные стороны, шурша при каждом шаге тяжелыми шелками юбок и развеваясь легкими шелками накидок, графиня Елена Спепехайло, само великолепие придворного романа. С равнодушным и даже как бы пренебрежительным видом она протянула записку, коя тут же исчезла в муфте графа.

Уловив взгляд часового, Понятовский подмигнул ему и сказал: «Tu n'as rien vu!»

«Soyez en assure», — прошептал в ответ юнец синими от счастья губами. О, птицы юности!

И вот сейчас вдвоем с братственным другом, или дружеским братом, они шепетинствуют, небрежно куртуазные, как те кавалергарды, в сторону Сен-Жермен-де-Пре, раскачивая большими боками своих новых богатых кафтанов (с некоторым избытком кружевного товара), и, извлекая из новеньких муфт новенькие перчатки, оными помахивают субреткам: пардон, кошечки, нас сегодня маркизы ждут!

Ох уж эти воображаемые маркизы! Нередко, нередко пыхтели мальчики с ними под одеялами, а вот сейчас именно хотелось про воображаемых забыть, а устремиться как раз за живыми кошечками, потащить их в какой-нибудь подвал, откуда слышится хор нетверезых голосов и звон стаканов. Однако вот так вот устремисься, а там не успеешь и опомниться, как растеряешь злаченые пуговицы, а кружева и бахрама превратятся в мокрое тряпье. А посему атанде, атанде, муазели, перед вами все-таки не олухи-студенты, а гвардейские офицеры из государственной экспедиции.

На одном углу под еще не темным небом зажглись два ярких масляных фонаря. Там давали представление потешные с острова Гваделупа, креолы отменной красоты. Один стучал попеременно в два барабана, большой и маленький. Другой звенел на диковинной кифаре. Третий гудел в трубу, похожую на огромную улитку. Четвертый густым медовым баритоном что-то пел то ли по-французски, то ли по-дикарски. Две креолки плясали с бубнами и собирали монеты. Мощная, как океанский поток, мелодия с подскоками ритмических волн тащила толпу подплясывать и подхлопывать в ладоши.

Николя, пытаясь понять креолов, морщил лоб, ничего не понимал. Глянул на друга и увидел, что тот пребывает в неслыханной ажитации. «Слушай, слушай, Николай, шас я тебе с гваделупского переведу! Это про нас с тобой песня!» — вскричал он и вдруг запел невероятным голосом:

Там, в зеленом вихре воды,
Две проживали балды,
Стуча в тугой барабан.

Там, где пальмы тянутся вверх,
Где набухает орех,
Где пучит глаз океан,
Там в пещере
Два офицера,
Два Гулливера,
Все курят сладкий дурман.

И расплакался: «Это не я, Коля, дурю, это голова моя беспардонствует!» Публика заплодировала уже не креолу, а молодому иностранцу, а того трясло. Лесков вынул табакерку, с деланной церемонностью предложил другу: «Не след нам слезы здесь лить, господин подпоручик! Ты посмотри, как мадмуазели-то на тебя зрят! Вот уж не думал, Мишаня, что ты будешь отличаться неотразимостью. Я как-то полагал себя посильнее по части неотразимости, а оказывается, без твоей помощи не потяну». Он хотел засмеяться, а вместо этого всхлипнул. Публика еще пуще заплодировала. Да это же актеры, они играют лапландцев! Это из пьесы господина де Вольтера! Вы слышали, он в Париже! Этого не может быть! Да здравствуют лапландцы! И гваделупцы! Виват гваделупцам и лапландцам! Все вокруг гляделись поддамши.

На площади возле церкви Святого Жермена наши кавалеры втюрились в несусветную вавилонию, настоящий затор карет. Из всех улиц вливались сюда потоки экипажей и тут застревали до тех пор, пока не перестали вливаться; все встало. Вдобавок ко всему через эту свалку стал проламываться кортеж герцога Орлеанского с его многочисленной сви-

той, пажами и стражей. Им надо было на правый берег Сены, к Пале-Руаяль, однако застрявшие люди и лошади этого не понимали; то тут, то там вспыхивали потасовки, иногда с применением шпаг. Из карет до кавалеров доносились странные реплики: «И это все для того, чтобы увидеть этого старого негодяя, этого безбожника!» — «Как ты не прав, Жан-Клод, как ты не прав и обскьюрант! Уж если кто и стоит в этом городе сломанного колеса, то это тот, о ком сегодня все говорят!» Иные пассажиры в отчаянии пытались пробираться пешком. То и дело можно было видеть покрытых бриллиантами дам,двигающихся, подняв юбки, по сточным канавам; они вскрикивали, как павлины: должно быть, это были их первые шаги по улицам Парижа. Качественные люди никогда ранее не опускали ноги на мостовую! Позднее стало известно, что затёр, в котором участвовало две тысячи экипажей, не могли растащить до трех часов ночи!

Миша, помнится, узнав эти цифры, тут же завалился и заснул, рассчитывая, что голова ему подскажет, как избегать таких конфузий. Приснилась, натурально, полная нелепица: кареты волоклись в какое-то место, где должны были застрять до безобразия, однако, не доходя до места, часть экипажей стала уходить под землю, чтобы выехать на другой стороне. Ну что ты будешь делать, такого даже другу Николаю лучше не рассказывать. Еще подумает, что с чертом связался.

В ту ночь отделались недорого. Извозив в гадких жидкостях новые туфли на высоких красных каблуках, получив немало тычков от кучеров, слуг и даже от изяшных господ, чуть не сцепившись шпагами

с заносчивыми адъютантами орлеанского дюка, друзья все-таки выбрались из свалки. Был и прибыток: некая дама под вуалью из застрявшей, будто бы целиком ювелирной кареты протянула Мишелю записку с кружевными краями: «*Jamais, jamais, mon chevalier! Antoinette Poissone*». Миша вздохнул и не нашел ничего лучшего, как вытереть сей запиской все, что было у него под носом.

Наконец добрались до искомого, до кафе «Прокон», что неподалеку от театра «Комеди Франсез». В недалекое время своей артиллерийской стажировки Лесков заметил это заведение. Кто-то сказал ему, что там собираются писатели, артисты и светские люди Парижа. Конечно, скромный вьюнош-кадет не мог рассчитывать на такую кумпанию. Нога в грубом сапоге не перешагнула сего порога, но однажды, как бы просто прогуливаясь и выждав, чтоб улица опустела, он прислонился к одному из окон и жадно заглянул внутрь.

Прямо за окном, в каком-нибудь аршине от своего приплюснутого носа, он увидел сидящего за столом левым боком к нему знатного старика в величественном, с крупными буклями парике, с высоким и выпуклым лбом, в пышном жабо, оттеняющем бархат комзола. На скатерти перед ним стоял объемистый кофейник, струйка пара колебалась над тонким носиком. Старик, однако, не спешил кушать свой кофий. В руке у него было хорошо зачиненное перо, вставленное в серебряную ручку, оно витало над плотным с разводами листом бумаги, словно собиралось клюнуть. Вот клюнуло, и старик быстро записал какую-то короткую фразу, после чего откинулся в кресле. Необъяснимая ухмылка промелькнула на его поджатых губах. Глаза заблестели каким-

то странным ликующим ехидством, и всем своим узким лицом с резко обозначенными морщинами старик как бы устремился куда-то вдаль от своего кофия. На улице в это время послышались шаги и голоса, и кадет от окна отпрянул.

Сейчас, изображая перед Михаилом знатока парижской жизни, Николай вдруг споткнулся на пороге «Прокопа». А что, если тот старик и был этой самой «устно обозначенной персоной»? Прежняя робость вернулась к нему, и он едва совладал с собой, берясь за бронзовую ручку двери.

В кафе было множество зеркал изрядной венецианской работы. Эко диво, храбрились Лесков и Земцов, подобных рефлексий видали мы и дома, особенно стоя в карауле при Царскосельском дворце. Эта мысль придавала им духу, тем паче при виде своих собственных отражений слева, справа, в глубине и поблизости, а также отражения этих отражений повсюду: два стройных молодца ей-ей не последнего десятка даже по парижским меркам.

Стены меж зеркал были глубокого темно-вишневого цвета. Колеблющиеся свечи творили общую весьма уютную картину. Хрустальные люстры свисали с потолков, а бронзовые подсвечники стояли по углам и гнездились по стенам среди различных портретов и гравюр. Немало было фазанов серебряного чекана в натуральную величину, тяжелых сосудов, глобусов, раз и навсегда утверждавших шарообразность Земли, книжных полок с фолиантами, статуэтками и образцами минералов. Невольно вспоминалась петербургская стихотворная шутка:

«Неправо о вещах те думают, Шувалов,/ Которые стекло чтут ниже минералов».

Вверх на второй этаж вела широкая лестница с витыми чугунными перилами. Пол был выложен отменным паркетом, плитки в полной сохранности. Везде здесь, стало быть, держался дворцовый шик, а ведь зайти сюда мог любой публичный трутень, были бы деньги в кармане. По разветвленному помещению мимо различных арочек и альковов к гостям вышел надушенный и напудренный метрдотель.

«Добрый вечер, господа иностранцы! Желаете ужинать?»

Вот те раз, они и звука не обронили, а в них уже опознали иностранцев! Их провели в главную залу, заполненную довольно разношерстной публикой, и усадили за маленький столик со свечой и миниатюрной фигуркой фазана; птица сия была, очевидно, девизой заведения.

По профессиональной привычке уноши стали прикидывать пути к отступлению. Нетрудно будет, если неприятель выдвинется в лоб. Мишка опрокидывает стол, Колька палит из пистоля, благо Господь надоумил припрятать по штуке в муфте и в кулуарах кафтана. Со шпагами в руках борзится через весь зал вон к тому окну, из коего и вываливаемся на улицу. Нет, так не пойдет, окно-то зарешечено. Значит, борзится наверх и будем сигать сверху. По пути швыряемся канделябрами. Если удастся поджечь «Прокоп», мы спасены! Сложнее будет, ежели подойдут со всех сторон. Вот этому негоже попустительствовать!

Приблизившийся гарсон с удивлением смотрел на иностранцев, явно не бедных, судя по тому, что оделись там, где никто не одевается. Они развора-

чивают столик и усаживаются спинами к стене, чертовы швабы. Заказ, однако, сделали недурной: для аппетита взяли «Кокиль Сен-Жак», засим попросили все того же вожделенного каплуна натюрель. А запивать все это хозяйство решили бургундским, что говорит о том, что даже варвары знают, где делают лучшее вино; вот именно на родине этого матерого гарсона-дядьки.

Николя и Мишель осматривались. В зале почти все столы были заняты. За исключением нескольких господ, преданных кулинарии, публика держала себя так, словно у нее в этот вечер были заботы поважнее. Царил гвалт, прерываемый лишь общим смехом, иногда кто-нибудь воздвигался с бокалом и, актерствуя лицом, а также жестами, произносил непонятный тост. Можно было к тому же видеть молодых людей с зажеванными космами париков, что шастали меж столов, безумно остря, выделявая фортели и как бы ненароком опорожня чужие бокалы или подцепляя котлету. На удивление петербуржанам, в зале было и несколько дам, что держали себя с непринужденностью; одна, например, как бы ненароком роняла шаль, обнажая изрядные плечи и почти полные составы отменных грудей, другая вдруг начинала петь, демонстрируя сушее бельканто.

«Михаил, ты их разговор понимаешь?» — спросил Лесков.

«Ни черта не понимаю! — восторженно воскликнул Земсков. — Наверное, о театре болтают, но не понимаю ни черта лысого!»

«Хочешь, я тебе переведу?»

Миша посмотрел на друга с прямизною: «Лучше не надо, друг. Ты ведь все-таки не театру, а пушкам учился».

Подошел метрдотель, он обмахивался веером. «Как себя чувствуете, молодые синьоры?»

«А мы не итальянцы, месье». Лесков подмигнул другу. В экспедиции им было приказано никому не открываться, кроме «устно означенной персоны». Выдавайте себя за поляков в случ-чего. Поляков сейчас во Франции много, никто не удивится. А если на самих поляков наскочим, поинтересовался Миша. Тогда защищайтесь, господа, и да поможет вам Бог!

«Мы из Лапландии, месье, — продолжил Лесков. — Да, месье, мы два графа лапландские, братья Яак и Буук».

«А я вот как раз итальянец, — ветрено вздохнул метрдотель. — Мой дедушка, синьор Прокопио из Палермо, основал это заведение. Он же научил парижан пить кофе. Цивилизация, достопочтенные лапландцы, приходит с юга, не в обиду вам будь сказано».

«C'est vrais», — сущим лапландским медведем прокосолапил Михаил.

Тут Николай сделал волнообразную жестикуляцию дланью.

«А вот скажите, месье Прокоп, нет ли среди ваших патронов таких, например, людей, как знаменитый писатель Вольтер?»

Так с трепетом душевным было впервые произнесено имя «устно означенной персоны». Оба теперь почти в агонии ждали ответа. Кафе «Прокоп», казалось им, было единственным местом, где хоть как-то можно нащупать Вольтера. Если и здесь погонят, как на острове Сан-Луи, тогда к прибытию Кареты они окажутся не секретными порученцами, а двумя никчемными уношами, рязанскими лапотными дворянчиками, коих из Парижа надо гнать кнутами.

Придется тогда тащиться в посольство Империи, просить помощи под насмешливыми взглядами нашей служивой сволочи. От этой сволочи и пойдет заразное злословие, коего столь остерегаются в Карете.

Синьор Прокопио с лукавством в виде апеннинского сапога шагнул в сторону и сделал пальчиком: извольте следовать за мною! В двух шагах от их стола он откинул бархатную штору, и в богатом алькове перед «лапландскими графами» предстал тот самый господин, коего Лесков год назад с трепетом созерцал через окно. Так же, как и тогда, сей старик, мэтр Аруэ де Вольтер, сидел в профиль, держал в руке перо и с веселым ехидством вглядывался в даль, токмо на сей раз не в натуре, а в виде изысканного портрета в роскошном обрамлении.

«...и, несмотря на все козни, сия звезда музыки и мысли всегда с нами!» — донеслись до них слова синьора Прокопио.

«Значит, это он и был! — воскликнул Николай. — Значит, судьба!»

«Ты о чем, Николай?» — с тревогой спросил Михаил. Коля — и о судьбе? Ведь его-то, кажется, по голове еще не угощали?

Синьор Прокопио, конечно, ничего не понял из этих восклицаний, однако с уважением прислушался к лапландской фонетике. Затем он повлек их дальше к углу двух стен при входе в зал. Там, рядом с крытой зеленым сукном доской, на которую под железные зажимы подсовывали письма и записки для завсегдатаев кафе, они увидели афишу, гласившую, что сегодня вечером в помещении театра «Комеди Франсэз» возобновляется после шестилетнего перерыва трагедия месье Аруэ де Вольтера «Семирамис». Роль вавилонской царицы исполняет Мариан Де-

курвиль. Ее сын Арзас, он же Ниньяс, предстает в исполнении Митрана Седара.

«Не исключено, что сам мэтр осчастливит Париж своим присутствием», — с важностью посвященного заметил господин Прокоп-внук и прижал палец к губам.

«Вот, Михайло, сколько нас учили наблюдательности, и вот тебе наша пресловутая наблюдательность, — слегка клацая зубами, проговорил Николай. — Не заметили у себя над головой такой афиши!»

Могучий Михаил трепетал, как растерянный недоросль. Николай со всей возможной куртуазностью устремился к итальянцу.

«Синьор Прокопио, умоляем, помогите двум северным театрам попасть сегодня в театр!»

«Боюсь, что это невозможно, господа графы, — продолжал важничать тот. — Весь Париж собирается быть там. Сущее столпотворение экипажей высшей знати. Впрочем...»

Взгляд его тут отвлекся в сторону только что вошедшего господина в изумрудного цвета кафтане с золотыми обшлагами и с орденом сиамского короля на груди. При виде этой импозантной персоны вся орава в ресторане разразилась оглушительными аплодисментами и криками CA IRA! Крупнейший этот человек явно придворной осанки одобрительно кивал и помахивал новомодным оптическим аксессуаром, лорнетом. Вдруг он заложил этот свой приборчик во внутренний кармашек и несколько раз хлопнул в ладоши, да так, что заглушил аплодисменты всего зала. Орава зашлась в пущем восторге. Господин поднял два пальца, и все смолкло. Явно рисуясь, он обмахнулся платком и зевнул, да так, что

затрещали все хрящики его недюжинного лица. Зал отвечал ему своими зевками, хоть и не такими впечатляющими, однако, взятые вместе, они напомнили залу роты фузилеров.

Восторг принял ужли не дикарский ли характер! По знаку вошедшего гарсоны принялись открывать бутылки шипучего вина, именуемого шампанским.

«Кто это?» — спросили потрясенные лапландцы.

«Король парижской клаки, шевадьё де ля Морлье, — гордясь отвечал мусьё Прокоп. — Со своими людьми он может вознести или провалить любую пьесу. Кроме пьес Вольтера, конечно; они неприступны. Вот что, господа графы, ради вашей великолепной страны — это правда, что там камни светятся изнутри? — я постараюсь за вас замолвить словечко».

Де ля Морлье тем временем уже прогуливался меж столов и одобрял свою дружину клакеров — а это именно они собрались в «Прокопе» перед вольтеровской повторной премьерой — жестами то ли короля, то ли генерала перед решающей битвой. С этой же осанкой он полуобнял метрдотеля за плечи, благосклонно покивал, уселся в нише под портретом Вольтера и пригласил молодых иностранцев к своему столу.

«Напомните мне, господа, имя вашего короля», — попросил он.

«Магнус Пятый», — тут же нашлись Яак и Буук.

«Ах да, ведь я был ему однажды представлен, да-да, это было на тезоименитстве Ея Величества Леопольдины-Валентины, в тот самый памятный вечер, когда...»

Словом, дело было сделано: Лесков и Земсков оказались в команде клакеров.

Перед основным спектаклем разыгрывалась так называемая LEVER DE RIDEAU, то есть пьеска при поднятии занавеса. В зале царила сушая вакханалия клаки. Шевалье де ля Морлье подавал в разные концы зала какие-то знаки: то помашет кружевным платком, то поднимет над головой поблескивающий лорнет, то приблизит ладонь к уху и начнет сгибать пальцы. Его люди чутко улавливали все сигналы. То тут, то там слышались как бы невольные вырвавшиеся восторги в адрес довольно жалких актеров вступления: «О, с какой силой сказано!», «Ах, она просто великолепна!», «Се шарман!», «Ну, каков этот Симон де Пэ!»

Николя и Мишель, хоть ничего и не понимали ни на сцене, ни в зале, старались вести себя соответственно, как обещали великому человеку: ахали, охали, ухали, словно лапландские совы. От их внимания, впрочем, не ускользнуло, что иные дамы и господа явно были раздражены действиями клаки. Они обменивались возмущенными взглядами, пожимали плечами, переговаривались. Кое-где какие-то группы противников — или соперников? — клаки стали выкрикивать: «Ко всем чертям ваше мнение!», «Не мешайте действию!», «Заткнитесь!» Иные стали вылезать прямо на сцену, толкать друг друга и актеров. В какой-то момент кто-то на сцене истерически завопил: «Господа, дайте же пройти Призраку!» Общий хохот потряс партер. Дорогие ложи между тем сохраняли невозмутимость, там поблескивали ордена и драгоценности, матово отсвечивали обнаженные шеи красавиц.

К концу вступительной пьесы и по ложам прошел беспокойный ветерок. Как бы ненароком все стали

бросать взгляды в глубину зала, где появился и облокотился на бархатный барьер худощавый морщинистый человек в голубоватом парике.

Николя сразу догадался: «Миша, это он!»

Мишель дернулся: «Кто? Призрак?»

«Балда! Забудь о призраках! — горячо зашептал Лесков. — Это он, к коему скакали! Устно означенная персона! Тсс, имени не произноси! Ведь он бросает вызов остракизму Церкви и Версаля! Мы с тобой свидетели истории! Готовься к действию, шева-лье де Террано!»

«Подтолкни, когда начнется», — прошептал Михаил.

«Что?» — обескуражился Николай.

«Как что? История!»

Имя вскоре было произнесено громогласно. Де ля Морлье затылком немедленно почувствовал, что появился Вольтер. Интуиция и сплетни его не обманули: сегодняшней спектакль перерастет в грандиозный фонтан эмоций, в своего рода революцию театра! Ну что ж, Вольтер, мы готовы ко всем неожиданностям! У тебя свой театр, у меня мой! Пусть великий Вольтер увидит великого Морлье! Либо триумф, либо Бастилия для нас обоих!

Едва начал задерживаться занавес, вождь клаки встал со своими оглушительными аплодисментами.

«Да здравствует Вольтер!»

Клака взорвалась, словно весь пороховой запас Парижа.

Старик погрозил де ля Морлье длинным пальцем и отступил в глубину ложи. Шум в театре стоял

такой, словно вечер уже кончился, а впереди было еще пять скучнейших действий великолепной трагедии «Семирамида». Де ля Морлье начал пробираться к ложе драматурга. С удивлением он заметил, что его опередили два молодых лапландских графа. Они уже раскланивались перед ложей и восторженно прижимали руки к груди, умоляя властителя дум всей мыслящей Европы обратить на них свое внимание.

«Мэтр Вольтер, мы к вам с великолепными комплиментами от всей мыслящей России!» — старался перекричать шум Лесков.

«...эр...ы...ам...леп...ента...мион...рюси...» — гудел вслед за ним Земсков.

«Как, вы из России, господа?! — с живостью и любезностью повернулся к ним этот до странности моложавый старик. — Какой сюрприз! Весь мир сейчас смотрит на Санкт-Петербург! Ваша молодая императрица восхищает мыслящую Францию! Подумать только, республиканка на троне!»

Весь мир мыслящий, а гениев мало, почему-то в этот момент подумал Миша, но смирился: и не должно быть много. Хорошего вообще мало.

«Мэтр Вольтер, у нас к вам устное послание от кругов? близких...» — начал было Николай, но был прерван вошедшим в ложу де ля Морлье. Вальяжный огромный индюк, тот раскрыл Вольтеру свои объятия: «Послушай, Вольтер, твоя пьеса нынче звучит по-новому! Признайся, ты снова прошелся по ней своим легкокрылым пером?»

Уноши-посланцы обескуражились от такого обращения к великому писателю: на «ты», да еще и с покровительственным объятием! Поистине он всемогущ, этот король клаки! Не просыпалось, однако, и горсти секунд, как они заметили, что и Воль-

тер был огорошен сим панибратством. С неприязненно изменившимся и несколько хищническим выражением лица он отстранился. Объятия пришлось закрыть, так и не получив искомое, то есть тшедушные плечики живого классика.

«Легкокрылым пером? Вам, Морлье, очевидно, никогда не избавиться от высокопарного стиля!»

Кавалеру де ля Морлье лучше было бы после этой реплики ретироваться, однако присутствие молодых иностранцев, только что вставших под его знамена, сбило его с толку. Пытаясь не опустить лица, но все-таки снизив тон, он предпринял еще одну попытку:

«Ну ты же знаешь, мой великий Вольтер, ведь я всецело человек театра... язык — это твой волшебный дар, увы, не мой... я просто был в восторге от восторга восторженной публики, охваченной восторгом... я хотел сказать — триумфом...»

Он сделал еще шаг к объятию и совсем уже обескуражился.

На этот раз Вольтер не отступил, но, напротив, вскинулся петушком. Одним пальцем левой руки он уперся в живот величественной фигуре, а двумя пальцами правой ухватил звезду тайландского короля, сделанную, как злые языки несли по Парижу, довольно искусным мастером на рынке Сен-Дени.

«Послушайте, Морлье, когда вы избавите меня от ваших похвал, от вашей гнусной клаки, от вашей дружбы, черт вас побери?! Мне почти семьдесят лет, вы умеете считать? Я полвека в театре, вы это понимаете? Я не нуждаюсь в ваших отрепетированных восторгах! Не ждите, мусьё, я не заплачу вам за этот спектакль ни су!»

Произнося все это, Вольтер не переставая крутил в пальцах тайландскую награду вождя клакеров, и, когда тот, весь в пару от возмущения, покинул ложу, сверкающая бляха осталась на ладони драматурга.

«Клянусь Мельпоменой, в Сиаме делают замки покрепче!» — расхохотался Вольтер.

Начался и закончился почти бесконечный спектакль. В главной роли блистала несравненная Мариан Декурвиль. Клака отвечала на объявление войны. Начиная уже со второго акта в зале стали все чаще слышаться зевки. Начиная с четвертого акта кое-кто из непосвященной публики невольно стал присоединяться к зевоте. Вольтер, не отрываясь, смотрел на сцену, шептал за актерами, хмурился при ошибках, а иногда вскакивал и кричал «непроспавшимся»: «Варвары! Идиоты! Вас нельзя пускать в театр! Вы ничего не понимаете! Убирайтесь!» Зрительный зал в этих случаях раздражался аплодисментами и криками: «Ура, Вольтер!» Незаконный приезд ссыльного писателя в Париж будоражил всех. Пополз — не улиткой, господа, а стремительной ящерицей — слух, что Морлье получил взятку от полиции. Кое-где в зале начинались потасовки. Словом, спектакль удался.

Все это время Николая и Мишель, которых Вольтер усадил рядом с собой, смотрели не столь на сцену, сколь в залу. Ничего подобного в петербургских дворцовых театрах было ими не видано не токмо в дворцовых театрах, но ниже и в собственном кадетском корпусе, где разыгрывали «Принца Датского» в переводе г-на Сумарокова. Нет, не даром, видно,

как сказывают, Государыня недавно рекла: «Эта чопорница, моя столица!»

На выходе из театра возбуждение публики не только не ослабло, но, казалось, еще больше подогрелось. Толпа медлительно колыхалась, словно не хотела расходиться. То тут, то там, иногда даже хором, продолжались провозглашения осанной Вольтеру. Где-то пели дерзкие уличные песни. Сталкивались противоборствующие группы клакеров. Кавалер де ля Морлье пытался пробиться к виновнику этой смуты, и это ему в конце концов удалось. Он уже принял позу для произнесения страстного монолога, когда великий Вольтер атаковал его, выставив кулачки. «В молодости, в Англии я брал уроки пагализма! — кричал он. — Сейчас покажу свое искусство, недостойный шарлатан!» Морлье успел было схватить его за шиворот, но тут же скорчился от резкой боли под двенадцатым ребром справа. Английские навыки драматурга не пошли впрок клакеру. Похохатывая, Вольтер схватил за плечи двух российских юнцов и немного на них повис. «Ну кто победил, господа россияне? Теперь я могу двумя пальцами показывать первую букву моего имени и провозглашать: VICTOIRE! VICTOIRE!» После стычки он был несколько растрепан, в частности, осыпались некоторые изумруды. Миша протянул ему их в ладошке: оказывается, подобрал.

«Ну теперь отправимся, молодые петербургские театралы! — командовал распетушившийся старик. — Поедете в моей карете! Скажите, это правда,

что дамы в Петербурге носят под кринолинами маленькие топорики?»

В карете он попросил у своего секретаря Лоншана ножницы и точными движениями срезал излишки кружев с манжет и воротников своих новых поклонников. «Так будет лучше. Поверьте моему опыту, друзья. Вам сколько лет?»

«Сорок, — отвечивал Николая. — В том смысле, что на двоих, мой мэтр».

«А нам с Лоншаном на двоих сто сорок, мальчики».

Лошади цокали копытами по кругленьким камешкам какого-то богатого квартала. В освещенных окнах явно под музыку проходили силуэты расфуфыренных людей. Париж не спешил в постель.

«А куда мы едем?» — поинтересовался Мишель. Ему, собственно говоря, было все равно, куда ехать, потому что по всем приметам, а особенно по сочетанию унылостей «Семирамиды» с воспоминаниями о матушке Колерии Никифоровне, а также по несходству рязанских природных числителей с азиатскими подвывающими знаменателями ему было ясно, что лошади в конце концов понесут и где они, в какой фантазии остановятся, не скажет и старик Вольтер.

«Мы едем в «Отель де Сюлли», — сказала со своим постоянным смешком столь бойко ожившая «устно означенная персона». — Сорок два года назад меня там били палками. Такова театральная жизнь».

Мишель встряхнулся: «Что же, ваша честь, и по голове досталось?»

«Всего несколько раз, — отвечивал философ. — Негодяй-аристократишка, заказавший этот

мой позор, покрикивал из кареты: «Эй, по голове не бейте писателя! Может, что-нибудь еще напишет!» Так что больше досталось моему заду».

Миша задумался. Готовясь к экспедиции, он прочел все, что было в Петербурге вольтеровского, и, в частности, «Кандида». Изрядная штучка, надо сказать! Уж наверное, вбили эту фантазмагорию знатным ударом палки. А вот на «Семирамиду», видать, палок не хватило.

«Как жаль!» — произнес он. Вольтер при этом вздохе острейшим и умнейшим взглядом оценил юношу. Он знал заранее, что по его душу скачут из Петербурга секретные гонцы. Быстролетный почтарь еще месяц назад принес ему высочайшую весть. Однако может ли так быть, что столь молодые, почти дети, пошли там в ход и что там за поколение возникает, если произносят с таким множественным смыслом фразу «как жаль»?

Во дворце собралось большое общество. Все делали вид, что вовсе не ради незаконника Вольтера, а просто по случаю городского праздника. И все-таки, несмотря на присутствие префекта, а также главного королевского цензора господина Кребийона, совсем недавно запретившего пьесу «Магомет» все того же злокозненного автора, собрание разразилось аплодисментами при виде изящного старика в сопровождении двух юных лапландских графов.

«Коль, а Коль, — стал умолять Миша, — давай, что ли, сразу по бутылки опустошим чего дадут, а то ведь мы с тобой тут просто обпукаемся со страху.

Плянь, какие дамы-то, как будто наши камер-фрейлины двора!»

«Да чего ты, Миш, опять облискурируешься? — увещевал его друг-брат. — Нет ничего проще вращения в таком обществе. Просто нужно порхать — вот и все. Смотри, как муазели-то, как дамы-то полыхают очами, чистые маяки счастья! Порхай вокруг, рассыпай кумплименты, и будет шоколад, как твоя матушка любит говорить! Ведь мы же баловни фортуны с тобой, де Террано: сами вышли в друзья великому Вольтеру! А ведь Карета-то небось не раньше чем через три дня придет. Вот Гран-Пер-то нашим успехам обрадуется!»

Как раз в этот момент мажордом объявил гулким голосом:

«Медам и месье, мой достопочтенный хозяин поздравляет все общество с великолепным сюрпризом. К нам приехал всем известный и всеми любимый Ксенопонт Афсиомский, Конт де Рязань, фельдмаршал и путешественник Ея Императорского Величества Екатерины Второй!»

Потрясенные уноши стояли столбами. Опять какая-то облискурация! Как могла Карета, от которой они убегали на полной скорости своих могучих коней от самого Данцига, прикатить в Париж в тот же день, во вторник, устно и письменно означенного государственной экспедицией Ея Императорского Величества месяца апреля?

Граф Рязанский между тем дефилировал по образовавшемуся проходу и сам был похож на великолепную с аглицкими рессорами, хоть слегка и припадающую к правому боку, карету, если не сравнить его тут же с линейным кораблем императорского флота. Так и казалось, что сейчас откроются все кла-

паны его великолепного наряда и оттуда выступят пушечные стволы для дружественного салюта.

Он здесь был явно не чужой, этот бывший унтер гвардии, когда-то в нужном месте и в нужный час предложивший свои плечи чудесной цесаревне, коя, между прочим, едва не стала королевой Франции. С изяществом мыслящего павлина граф раскланивался с вельможами и посылал воздушные поцелуи красавицам, создавшим целую блистательную эпоху Парижа. Итак, вот вам метафоры графа — карета, корабль, павлин; для знакомства вроде достаточно.

Тут все увидели, что Вольтер быстро идет к чужеземцу и на ходу раскрывает объятия. «Мой Ксено!» — восклицал он. «Вольтер! Это ты?!» — вскричал Ксенопонт Петропавлович. Объятие свершилось. Два друга — а они, оказывается, были друзьями уже много лет еще со времен потсдамского вольтеровского сидения — с удовольствием вдохнули запах духов, идущий из дружественных подмышек и слегка обсыпали дружественные плечи тонкими сортами пудры, ничуть не похожими на человеческую перхоть.

Затем началось порхание всего зала, а Миша как стоял столбом, так и остался в углу, у буфета, полностью потерянный, если так можно сказать о столбе. Чтобы найти себя в этом кружении и порхании, он выпил целую бутылку бургундского, а потом еще бутылку бордоского, а потом еще флакон пищеварительного, то есть О де ви. Вот тут и нашелся кавалер де Террано, или Турандо, или как его там. Оказалось, что он шепетинствует рядом с двумя светскими хлыщами, жестковатые щеки коих украшены шрамами фехтовальных дуэлей. Вдруг Миша сообразил, что

все понимает в их беседе: так резко прояснился прежде довольно туманный язык, коему учился все двадцать лет жизни.

«Посмотри на этого сына нотариуса, — рек один. — Он держит себя здесь, как герцог Орлеанский!»

Оба узкими неприятными взорами следили за Вольтером, еще более узкие улыбки ползли по их лицам, как ядовитые, вот именно, ящерицы.

«Жаль, что он уже стар, — изрек второй. — Можно было бы снова задать ему палок!»

Скрестив страшные руки на груди, они расхохотались.

«О ком это вы говорите, дурачье?! — крикнул им Мишель. Он сделал шаг и толкнул одного из мерзавцев в бок. Обошел вокруг и толкнул второго, еще сильнее. — Великий Вольтер выше всех ваших герцогов! Он гений, и он мой друг! И поэтому я вас вызываю! Обоих!»

Они расхохотались еще пуще, а потом взяли юнца за бока железными руками и повели к выходу.

«Сейчас, щенок, твоя башка получит то, чего недополучил твой гений!»

«Не возражаю! — выступал Миша. — Моя голова ответит сама за себя! А я отвечу за себя своей шпагой! Я сын графа и сам граф! Плюю на вас, какими бы вы герцогами ни были!»

Язык его плел, что хотел, а между прочим, один обидчик был из рода Гизов, а другой Медичи; оба кровавых дел мастера лет под сорок.

Короче говоря, словесная свара кончилась тем, что раздраженные донельзя аристократы сунули нахального иностранца в какой-то темный возок и сами сели напротив. Куда-то поскакали, копыта клаца-

ли, колеса повизгивали на мокрых булыгах, в небе, то открывая, то закрывая луну, волоклась гнусная мокрая шкура. Гиз и Медичи отрывисто и сердито говорили друг с другом. Миша вдруг перестал понимать язык. Почему-то он связал это с темнотой и дождем, а между прочим, два пса просто перешли на английский.

«Может, он хочет получить шрамик, украшение на розовую щечку?»

«По просьбе такого красавчика я могу его и убить».

«Может, он хочет, чтобы его выебли?»

«И это не исключено».

Они вышли возле величественного парка, долго вышагивали вдоль чугунной ограды; разговоры прекратились. Медичи открыл ключом калитку. Пошли по аллее вековых платанов. Песок светился под мятушейся луной и скрипел под ногами. Вокруг не было ни души.

«Ну вот здесь вас устроит, ваше сиятельство?» — спросил Гиз.

Обнажили шпаги.

«В какую ягодицу предпочитаете получить укол?» — поинтересовался Медичи.

Миша хлестнул клинком направо, налево, за голову, встал в позицию: «Начинайте, господа!» Все-таки в школе учили, что, сражаясь, ты должен быть вежливым.

Противники снова перешли на непонятный язык:

«Черт побери, да он, видно, настоящий вояка, этот щенок!»

«Идиотская история, кому-то из нас придется его убить!»

«Или быть им убитым».

«Но не драться же вдвоем с этим молокососом!»

Миша медведем взревел, наступая классическим шагом фехтовальщика.

«Перестаньте говорить по-татарски, господа! Защищайтесь!»

Послышались чей-то приближающийся бег и жаркое дыхание. По аллее спешила стража, четверо тяжеловооруженных. Гиз и Медичи вздохнули с облегчением.

«Эй, Оливье, посади этого пьяного дурня в башню. Утром разберемся».

Аристократы отступили в сторону, народ попроще без церемоний подступил к иностранцу. «Не дамся! Труссы! Шестеро на одного?!» — возопил Миша на своем исконном, то есть как бы лапландском, языке. Он ограждал себя мощными взмахами шпаги, но глотка его почему-то исторгала совсем мальчишеский фальцет. Четверо могучих молодцов растягивали веревку, чтобы его скрутить. Отдаться им означало одним махом на всю жизнь предать свое рыцарство. Сделав ложный выпад на одного, он атаковал другого. Клинок пробил толстый колет. Малый рывкнул от боли и через мгновение упал на бок. Трое других тут же выхватили свои драгунские палаши. Не было ничего более святого для этих ребят, чем отмщение за товарища. Ну все ясно, юнцу конец, решили Гиз и Медичи, или как их там, и быстро пошли прочь, соображая, где провести остаток ночи; это были ночные совы, как уже догадался читатель.

Защищаясь и изнемогая под атакой четырех палашей (уколотый смог подняться), Миша вдруг почувствовал дуновение нежного рязанского ветерка. Местность его рождения не отличалась зло-

стными вихрями. Смены погод были медлительными, как мышление населения. Чужому такое дуновение было ничто, Мишу пронзило. Матушка несчастная, где твой голосок, нянюшка Нюлочка, где твой ноготок, что сладостно так щекотал макушечку? Неужто — все, неужто — больше никогда?

Он взвизгнул, как будто что-то татарское восстало в нем (а вероятно, так оно и было), еще одного свалил неистойвой флеш-атакой и в образовавшуюся дыру с двумя лунами, пляшущими в конце, с драконовой пастью, закрывающей начало, бейте, бейте, сейчас грянет взрыв головы, бросился и прорвался.

Здесьние кусты так растут, чтобы никого не пропускать, стоят крепостными стенами, но Миша Земсков пройдет их насквозь, аки заволжский кабан. В конце концов он бухнулся в мокрое и стал в этом мокром тонуть, потому что несуразно было плыть. Это мокрое его и спасло, потому что как раз когда утонул, мимо, затыкая окровавленные груди и животы и матерясь на манер тех братков из вольного града, прошла стража.

Утопленник поднял главу и увидел гигантиссимо Нептуна, готового заколоть сразу в трех местах. Два монстра ошую и одесную изbleвывали потоки мокрого, будто и так не хватало. Восемь бронзовых утиц гнездились у самой пяты и готовились к атаке на чужестранца. Эва, да ведь в фонтане же сижу, живой, как лилия. Утицы тут же плюхнулись в воду и поплыли на Мишу, чтобы терзать. Разве так бывает? Что же, разве полые внутри? Что же, и корабли, значит, когда-нибудь будут медные? Придет тогда сплошной разбой на воде.

Ну ладно, хватит на сегодня. Что-то затянулся этот первый парижский денек. Он взял одну из лилий, чтобы кому-нибудь подарить, и полез из хлябей на твердь.

Кафе «Прокоп» и глубокой ночью принимало посетителей. Так и сейчас в нем теплилось несколько свечек. Кто-то, какой-нибудь будущий Гюго или Джойс, быстро строчил в экстазе ночного сочинительства, какие-то двое в углу ели горячий суп и рассуждали о Ньютоне — да верна, конечно, его теория, если звезды не падают с небес! — третий, загнанный сюда бессонницей и чертиками алкоголизма, спал теперь, положив голову на стол. Дамам высшего общества, разумеется, не рекомендовалось в этот час заходить сюда без сопровождающих господ, однако при желании откусать кофе они могли заказать напиток прямо в карету.

Все ангелы — очевидно, сестры, но не каждая пара сестер — ангелы. Те сестры, о коих мы сейчас вспоминаем, то крылышками трепетали, а то и стучали чертенычьими копытцами. В этот момент, угощаясь в своей карете итальянским кофеом, они были близки к идеалу, хоть и были не кем иными, как курфюрстиночками Цвейг-Анштальтскими, Клаудией и Фиоклой.

«Ах, сестрица, какое счастье для нас, провинциальных девушек, ночью в Париже кушать кофе из «Прокопа»! Ведь это же сущее предтечие роматисизма!»

«Ах, сестрица, если бы еще Провидение послало нам встречу с нашими кавалерами, хоть бы с

Мишелем де Террано, ах, хоть бы с Николя де Буало, а лучше бы с обоими, так вот предтечие и обернулось бы пришествием этого, по коему грустим, роматисисисисизма!»

Милостивое Провидение тут же их услышало и занесло туда пусть ободранного, кровоточащего, всего пропитанного фонтанной слизью, но настоящего де Террано, Мишу. Приоткрыв дверь кареты, он вежливо осведомился, не знают ли почтенные каретовладельцы, где находятся конюшни Сюльпи, в которых сейчас отдыхает его друг, вороной жеребец Пуркуа-Па, или по-лапландски Тпру. Последовало несколько восклицаний, имя Божие по крайней мере трижды было упомянуто всуе, и Миша рухнул на диванчик.

Боже (еще раз), какая благодать! В крошечной бонбоньерке было тепло. Миша почти что облискурировался: в тумане виделись ему какие-то пуговицы, кои, быв пальцем ткнуты, гнали на него струйки горячего сухого пара, в коем начинала с пронзительным запахом обескураживаться слизь. На самом деле тепло шло от каретной печурки с угольками.

Ах, Мишель, бормотали курфюрстиночки, *quel desordre dans votre toilette*, наш милый шевалье, у вас гульфик отстегнулся! И все две дюжины нежных пальчиков (!) начинали ободрять Мишин измученный организм.

А вы-то как же, ваши сиятельства, Клавочка, Фёлочка, как же вы-то здесь оказались с такой болезненной скоростью? Может, я просто грежу, может, в агонии? А ежели нет, то повествуйте, силь ву пле!

Ах, Мишель, ведь мы же приехали вас искать, значит, летели на крыльях мечты! Ну а в реальности

это граф Сен-Жермен, друг папочкина друга графа де Рязань, примчал нас сюда своим колдовством.

«Так, значит, вы не телесные?» — интересовался Мишель и пальцами начинал проникать в корсеты и под кружева, испытывать девушек на телесность.

Забылись все трое в объятиях Морфея.

Только под утро в карету влез весь испорхавшийся до чрезвычайной бледности Николя. Он живо притулился к трем спящим телам и тут же захрапел. Вслед за ним в сию малую емкость взошел уже спящий глава всей экспедиции, генерал Афсиомский, граф де Рязань. На груди его блестел подаренный философом орден сиамского короля.

Глава вторая,

*где генерал Афсиомский принимает философа
Д'Аламбера и где становятся очевидными
пользительные свойства орехового масла*

Прошло три дня после толь же блистательного, коль и скандального театрального триумфа, прежде чем генерал Афсиомский паки узрел Вольтера. Газетные слухи тем временем своими лепостями и нелепостями обескураживали посланника: «Король принял Поэта в Версале и после двухчасовой беседы подарил ему свой собственный письменный набор», «Король и кардинал приказали связать Вольтера и вывезти его за пределы Франции, где турки только и ждут, чтобы посадить его на кол», «Луи Пятнадцатый внял мольбам умирающей от чахотки мадам де Помпадур и вновь назначил творца «Генриады» своим придворным историографом», «Великий Вольтер в третий раз препровожден в Бастилию, на этот раз без предметов своего домашнего обихода», «Русская царица устами своего представителя, только что прибывшего в Париж генерала (по имени не назван) предлагает за французского гения миллион ливров выкупу», «Французский двор просит больше»... Слухи эти в арендованный генералом особняк на острове Сан-Луи еще до выхода в печать доставлял его секретарь, премьер-майор Дрожжинин, прямо из кафе «Прокоп», где, по всей вероятности, и всходи-

ло все это тесто. Ксенопонт Петропавлович внимал слухам и думал: уж не сам ли Вольтер их заквашивает в сем вечно взбухающем слухами граде, ведь такие слухи стоят сундука золотых пиастров, господа; вот именно, пиастров, пиастров! Сам он в ожидании весточки от друга подолгу сиживал в покойном кресле у окна и взирал на проходящие мимо воды Сены, что именем своим тревожила его вельми далекие рязанские воспоминания, а в частности, напоминала буколицу зарождения иных плодотворных наследий.

На ночном торжестве в отеле Сюлли генералу удалось удачно выбрать позицию, чтобы ненароком, под видом обмена кумплиментарными благообразностями шепнуть в живое ухо старика, что при нем на имя филозофа прибыло конфиденциальное послание из Царского Села. Эко как полыхнули очи Вольтера, не дашь ему и пятой части хронологического возраста! Быстрым разумом своим он мигом оценил исключительность сей экспедиции и, чтобы сбить с толку востроухих слухачей правительства, тут же запустил вдохновенную тираду об исторических шагах Санкт-Петербургской академии в сторону просвещения, о достойных всяческих похвал достижениях ученых россиян, и, в частности, пейзаина месье Ломоносова: а правда ли, что славное имя переводится на язык Корнеля: «*comme casse le nez*»? — ах-ха-ха, клянусь Мельпоменой, иные носы в наш век заслуживают доброй ломки! — и таковыми изящными молниеносностями дал понять старому другу Ксено, что серьезный разговор впереди.

Между прочим, по воле чистого случая дом для пребывания графа Рязанского был взят внаем на той же набережной, где с его подопечными уношами случилась первая парижская облискурация. Внедряясь далее в подробности, скажем, что он был просто вплотную с тем малоприятным лежалищем анти-вольтеровского сутяги. Полагая себя в аристократическом квартале, граф с недоумением внимал всяческим шумам и воням, доносившимся из поблизости, а однажды прямо в окно к нему одним махом влетел ворох желтых от старости перьев из вытряхнутой подушки.

Не подлежит исключению, что выбор сей случился опять же по вине недотеп из секретной экспедиции. Вот так же тридцать лет назад вечно опохмеляющиеся «витязи незримых поприщ» выписывали графу подорожную и намотали там несусветное отчество Петропавлович, поелику батюшку-то в сем заведении звали во все времена Петром Павловичем. Да если уж всю правду речь, ведь и крестное имя извратили почти до утраты смысла путем замены «ф» на «п», а с фамилией и вообще получился суший куршлюз: сроду ведь фита в подобных позициях не фигурировала, а уж польское-то окончание целиком остается на совести опохмеляющихся. Вот так в конечном счете и образовался в российской и европейской истории некий феномен по имени Его Высокопревосходительство генерал-аншеф Ксенопонт Петропавлович Афсиомский (через фиту), его светлость граф Рязанский. Прочтя впервые это начертание, генерал было весь вызверился, поклялся устроить полную обчистку проклятой конторы, но потом решил, что подобная облискурация (это было его

словечко) легче будет выделять ее носителя в исторических анналах.

С историей у графа были весьма сурьезные отношения. Лъзя ли будет предположить, что без нея он себя не мыслил, что мнил себя только как деятель оной, а будучи хоть ненадолго выдвинут за ее (напоминаем, истории) пределы, становился не ахти как здоров, нервозен, отчасти уж не злобноват ли ко всему роду человеческому. Вот и сейчас, пребывая аж третий день вне истории, он начинал мизантропствовать. Ох уж этот «большой свет», нельзя на него положиться ни дома, ни тем паче в Париже! Экий почет выказали во дворце Сюлли, экое произошло изрядное, поистине историческое шествие посреди блистательной ассамблеи, а теперь, извольте, любимец общества, конт де Рязань всеми напрочь забыт, никто не ищет, не делает визитов, не приглашает. Значит, если сам не делаешь визитов, никто и не вспомнит, невзирая на триумф? Значит, надо все время не ходить, а дефилировать? Вот появляется небезызвестный друг Вольтера, Ксено́ де Рязань, вот он дефилирует, слегка по-светски покашливая, *defiler et tousser*, по своему обыкновению, дефиле и туссе, туссе и дефиле, и все в восторге, все счастливы, что снова появился со своим «туссе и дефиле», со своим прекурдефляпистым франсе, с кумплиментами а-ля Вольтер, а если тебя в таком виде не видно, значит, ты забыт, немедля стерт, так? Как сказал бы тот же Вольтер: *Il faut sans cesse tourner aux fourmiere*, мой Ксено, ведь даже муравьи забывают друг друга, если долго не встречаются.

Натюрельман, при других, не столь важных, государственных обстоятельствах надо б было сразу самому начать делать визиты и министрам, и пре-

фекту, и епископам, а главное, дамам, и Помпадур, и герцогине Мэнской, увы, увы, до встречи с основной, озаглавленной самой Государыней персоной он не может не только высшим блюстительницам света делать визиты, но и к малышке Нинон не поспешит наведаться. Значит, такая идет полоса истории: одиночество, выжидание. Он сидит в покойном кресле из тех, что в будущем будут называться «вольтеровскими», и созерцает в окне катящие с монотонной настырностью воды Сены. Ну почему хотя бы уж бумаги не спросить, не очинить перьев, не двинуть дальше задуманную утопию, герой которой некий Ксенофонт Василиск в поисках Гармонии уже и Землю покинул, унесся на Луну, однако и там не может сыскать неуловимую деву. Так он бродит там среди лунных ям, и везде население с ним делится своими терзаниями сродни нашим, как на Востоке, так и на Западе, и только на сатурнических кольцах цветет благодатное славянское царство под мудрым оком девы Гармонии; да как туда добраться супротив притяжения светил?

Нет, сударь мой, такое важнейшее для всего человечества (часто вместо сего красивого слова он почему-то выборматывал «пчеловодство») сочинение нельзя продолжать в чужом наемном доме. Вот завершу свою историческую ролю и засяду где-нибудь в Царском, в окрестностях Государыни, и первым делом ей самой буду направлять главы, а вовсе не псевдодругу Сумарокову Александру, как его отчество, вовсе не в нынешние плачевныя литературы.

Так он сидел день за днем и только гонял секретарей Дрожжина и Зодиакова за сплетнями, за газетой, за напитком «тизан», за бутылью орехового масла. В этом чертовом масле, быть может, только и

было хоть малое, но оправдание историческому сидению. Его предписывали втирать в корни оставшихся волос, и тогда траченое поле вроде бы начинало паки колоситься. Граф, однако, догадывался, что плодородие тут может пойти гораздо глубже энтых присной памяти, почти незримых луковок и в конечном счете приведет голову тела к рождению важных фраз государственного и литературного характера.

Однажды он увидел в окне плывущее по течению всеми четырьмя ногами кверху раздутое туловище коровы. Глядя на бессмысленность сего неживого предмета, он вдруг преисполнился скорби. Дохлая корова уплывала в пучины мироздания с той же каменной тайной, с коей четыре года назад уплывала над траурным конвоем незабвенная цесаревна-императрица Елизавета Дщерь Петрова, та, что запретила казнить, что пошла себе пятнадцать тысяч платий, что победоносничала в Семилетнюю войну и чьи горячие ляжки, оседлавшие его в студеную ночь 1740 года, еще помнили гренадерские плечи. Как прикажете это понимать, месье Ореховое Масло? — гневно вопрошал он. К чему вы меня толкаете? К каким излияниям гиньоля? Не к сущему ли богохульству, непригодному для государственного мужа?

Он гневно встал и потребовал парик. Немедленно ехать, делать визиты! Вольтер небось давно уже укрылся в своем Ферне под защитой кальвинистов. Кто его знает, что он тут без меня натворил! Ведь было же время, когда два государя Европы подозревали его в шпионстве, а лучший ученик, коего в те времена паче для недосказанности именовали «протектором господина Мапертюи», приказал бросить учителя в узилище. Нет, сам я туда не поскачу, не

хватало еще нарваться на приживала Шувалова Ивана Ивановича. Надо немедля слать к нему Николая и Михаила! Хватит уже брандахлыстничать по Парижу со своими курфюрстиночками-профурсеточками! Ну что за дети эти ребенки, повадились в циркусы да к итальяским кукольникам! Пора за дело!

И в этот как раз горячий «муман» (le moment) вошел премьер-майор Дрожжинин и доложил, что к нему посетитель, месье Д'Аламбер, член Французской академии. С париком в руке граф застыл потрясенный: вот что значит резкое движение в сторону Истории! Сразу откликается! Шлет своих людей! Да ведь это же тот самый Жан-Батист ле Ронд Д'Аламбер 1717 года рождения, проживающий в городе Париже, кого так жаждет Государыня иметь в нашей столице и кому предлагает астрономическое — даром что астроном! — жалованье в 100 000 франков!

Далее, трусая самым непозволительным его званию фасоном в опочивальню к шкапам с одежою, нахлобучивая парик (намеренно чуть-чуть старомодный, чтобы не забывалось историческое прошлое), граф извлекал все больше даламберовских страниц из своих мыслительных — мерси, месье О.М.! — архивов. Да-да, вот именно: это он, тот самый, что отклонил приглашение Ея Величества, галантнейшим образом сославшись на некие непреодолимые обстоятельства, кои были вельми известны просвещенному обществу Европы (и Петербург не исключение) как состояние любовной зависимости г-на Д'Аламбера от блистательной мадемуазель Леспинас! А еще до этого он отклонил приглашение Фридриха Второго Прусского, указав на невозможность прервать опыты по изучению сопротивления жидкостей, а также движения ветров, а также фено-

менальных свойств музыки, а также математического выражения механики, et cetera.

Но прежде всего — граф тут даже с немалой комичностью запрыгал по опочивальне, натягивая чулки, отталкивая навязчивого премьер-майора, — прежде всего, это же не кто иной, как составитель нашей главной книги, Энциклопедии! С кем, если только не с самим Вольтером, его можно поставить рядом, этого достопочтенного философа, гордость и украшение столетия!

Словом, не прошло и десяти минут, как Афсимский был готов к встрече. Он принял визитера в гостиной, стоя вполоборота к реке и слегка обмахиваясь китайским веером (пол-Парижа одарил этими веерами в 1751 году на обратном — через Лиссабон — пути Марко Поло!). «Ах, господин Д'Аламбер, какое удовольствие вы мне предоставляете своим визитом!» — провозгласил он, простирая обе руки к визитеру, но не для объятия, разумеется, — ведь мы уже не те Иваны, что с утра напиваются и лезут к жантильному люду с медвежьими объятиями, — а лишь для выражения радушия и респекта. Д'Аламбер отвечал превосходным полупоклоном, коему сроду не научишься, ежели не рожден в мире изящества. Тут опять что-то мелькнуло из секретных архивов (памяти, конечно, а не этажерок в сыскном): может, этот приятный господин и был рожден в мире изящества, однако сразу после рождения он был подкинут и найден полицией на ступеньках церкви Сен-Жан Лё Ронд, отчего эта церковь была ему и в имя полицией вписана.

Несколько минут прошло в обмене любезностями. Опыт долгой жизни и специфической службы убедил графа Рязанского, что первые впечатле-

ния редко обманывают, а потому он всегда во время знакомства старался составить эти первые впечатления. Перед ним сидел человек, казавшийся лет на пятнадцать моложе своего календарного возраста. Вся его одежда, начиная от маленького паричка, продолжая ловким кафтаном и завершая пряжками на туфлях, отличалась удивительной сообразностью и простотой самого высшего качества. Гармония одежды неизменно подтверждалась каждым движением частей тела, ну, скажем, таким непростым, как закидывание одной ноги на другую. Но самое значительное совершенство содержалось в лице сего господина, исполненном вдумчивости, внимания и благорасположения. Высокий и чистый лоб, веселые, но без насмешки глаза, энергетический и явно привыкший к победам нос, скульптурно очерченные губы и подбородок — все это вместе рождало мысль, что сей муж был произведен на свет исключительно красивой женщиной.

Продумав все эти впечатления с быстрой сноровкой многолетнего собирателя всевозможных важных наблюдений над человеческой природой, граф вдруг чуть не нарушил этикет, то есть едва не хлопнул себя ладонью по лбу. Да ведь материнство — столь бессердечное действительно приписывали редкой красавице, мадам Клодин де Тенсин, о коей говаривали, что она позировала обнаженной самому Регенту! Кому же прикажете приписать отцовство, если по архивным данным зачинателем философа был простой артиллерийский офицер кавалер Детуш?

Афсиомский, конечно, ничем не выразил своих озарений, а вместо этого затеял с Д'Аламбером вполне изящный разговор единомышленников и,

так сказать, «вольтерьянцев». Как и полагалось в разгаре века наук, надо было явить не только гуманитарные или политические интересы, но и близость к фундаментальным знаниям, а посему граф то слегка касался интегральных калькуляций и рефракции света, то мимолетно упоминал даламберовский трактат о равновесии и движении жидкостей, то ставил вопрос, лзя ли применить в военном флоте его формулу движения ветров.

При каждом возникновении новой темы философ выказывал неподдельное и даже немного детское удивление: какая осведомленность, какая тонкая наблюдательность! «Я хочу вам сказать, господин Афиомский, что мы здесь в Париже восхищены поколением русских, кои так невероятно расширили границы Европы!»

«В ваших силах, господин Д'Аламбер, способствовать этому процессу для достижения максимальной удовлетворительности. Ея Величество продолжает возлагать надежду на ваше благосклонное решение присоединиться хотя бы ненадолго к нашей молодой академии. Мои секретари в самое ближайшее время доставят вам личное послание Императрицы. Я не передаю его вам сейчас лишь для того, чтобы акт передачи приобрел официальный резонанс, если вы, конечно, не возражаете».

По завершении этого продолговатого абзаца граф продемонстрировал превосходную дипломатическую улыбку и подумал: «Уф!» Философ отвечал своей улыбкой, в той же степени личной, сколь и свидетельствующей о полном понимании государственного расклада. «Ах, граф, ну что за чудо эта ваша молодая государыня! Поистине Божий дар для всей Европы! Вы не поверите, но в своем кругу мы

иной раз называем ее одной из нас!» Афсиомский рассмеялся с благодушной хитроватостью: «Хотелось бы тут же раскрыть эту красочную метафору, достопочтенный господин Д'Аламбер», а сам подумал: «Одна из вас на российском троне? Однако!» Д'Аламбер, похоже, что-то почувствовал и потому привнес в свой ответ некую шутливость: «Вы очень метко нарекли сей пассаж метафорой, месье. Вот именно метафорически мы называем Ея Величество философом и энциклопедистом».

«Браво!» — воскликнул граф и генерал. В спорные моменты нынешнего царствования Ксенопонт Петропавлович подставлял на место Екатерины Елизавету. «Дщерь Петрова» была полной противоположностью «принцессы Цербской», и таким образом ему было легче предугадать Екатерину. В случае сем первая вся бы задрожала от уязвления величия. «Наглец достоин розог!» — вскричала бы она. «Каков льстец! — расхохоталась бы Екатерина. — Он достоин ласки!»

«А вы бы написали ей об этом, господин Д'Аламбер, — предложил он. — Уверен, что Государыня будет польщена».

Д'Аламбер начал откланиваться, и тут вся встреча вдруг приняла совершенно неожиданный оборот. Вместо ритуальных расшаркиваний ученый западника взял посланника под руку и отвел в дальний от дверей угол зала под портрет какого-то мощенника эпохи Ришелье. «Послушайте, мой Ксено, — произнес он и намеренно сделал паузу, показывая, что он нарочно называет его так, как может назвать только Вольтер. — Один мой друг, узнав, что я собираюсь нанести вам визит, попросил меня передать вам это».

Конверт плотной бумаги перекочевал из муфты философа в муфту вельможи. Главная цель визита была достигнута, и Д'Аламбер удалился теперь уже с ритуальными расшаркиваниями. Каковы философы, восхитился граф. Ей-ей, не так уж аляповаты, как полагает Сумароков! Я-то старался во все тяжкие, проникал в глубокий архив, а вот не озарило, что он пришел в роли почтальона.

С нетерпением он сорвал сургуч и, как всегда при виде этого почерка, почувствовал сердцебиение. Калиостро как-то хвастал, что по почерку узнает и ангелов, и дьяволов любого человека. Интересно, как он расшифрует почерк Вольтера: несколько слов — сушая каллиграфия, потом перо начинает прыгать по колдобинам, рассыпаются знаки — где тут черти скачут, где тут ангелы скользят?

Записка гласила: «Мо дорого Ксено! Невзирая на южны й ветер, каковой, прилетая в Париж, усиливает старческую Мэгрень, я жду тебя завтра на ужин в доме моей племяннице мадам Дени на улице Травестьер. Претвкуш (чернильное пятно) шаю вечер приятных воспоминаний. Мой дорогой метведь, поосторожней с объятиями: мои кости хрустят уж при виде тебя. И все-таки опни ма ю! Ест. L'inf. Твой В».

Боги Олимпа! Афсиомский весь возгорелся вдохновением при виде сокращения из семи букв с двумя точками и апострофом. Великий человек завершает так письма только своим ближайшим друзьям-энциклопедистам! ECRASONS L'INFAME — «сокрушим лицемерие», вот что оно означает! Нет, Александр Батькович, не возлагайтесь на мои летучие славянофильские настроения! Думая сейчас о замшелом патриархальном укладе, коему вы поете осанну, об отторжении вами просвещенного идеа-

ла, я вслед за моим учителем и другом повторяю:
Ecrasons L'Infame!

К утру поостыл, хоть ночью и не раз бросался со свечой к разным кладезям мудрости для подкрепления аргументов, равно шатких с обеих сторон. После завтрака даже написал письмо Александру Сумарокову (опять позабыл отчество серьезного мужа; все почему-то «Исаевич» лезет, хотя и знаю, что это не так), в коем (в письме) с легкой иронией описал вечное возбуждение французов с их стремлением «остротой ума» подменить присущий нашим необозримым равнинам «поиск истины». Письмо не отправил: спешить некуда. В конце концов, во главе угла стоят государственные, исторические нужды. Императрица недаром сказала: «Вас, граф, знаю как корень урапнопешенности». О этот божественный акцент!

Долго готовился. Вспоминая вприкидку Д'Аламбера, тщательно подбирал общий прикид (кажется, так переводится на язык полей сверхизящное *toilette*?). Протирал голову ореховым маслом для гарвеевского кровообращения мысли. Гонял второго секретаря Зодиакова в парфюмерную лавку. Снова и снова проглядывал содержимое ларца. Дрожжинин, как думаешь, на сколько тут добра? Премьер-майор углубленно подсчитывал, потом выдавал несообразную сумму: сто тысяч британских гинеев. А на наши? Мильён, ваша светлость! Гнал его прочь, а сам думал: близко, близко.

Наконец подошел закатный бдительный час, и посланник Афиомский отправился делать визит, из всех визитов наиважнейший. Вдруг подумалось: быть может, последнее в карьере архисторическое

поручение. Вот завершу сие дело, получу Андрея Первозванного из рук Государыни и выйду на покой. Соберу своих детей со всего света, открою школу мысли в губернии; там и угасну.

В Париже, как всегда, шло гульбище, однако Rue Traversiere охранялась частной стражей и процветала в тишине. Майское солнце отражалось в двенадцати окнах с выпуклыми стеклами на фасаде внушительного особняка, построенного, по всей видимости, в эпоху Регентства, о чем свидетельствовала лепнина-рококо.

О той же эпохе гласила большая картина Ватто в нижней зале. «Я сохраняю здесь дух его молодости», — сказала гостю хозяйка, которая за десять саженей походила на пухленькую барышню, но вблизи не оставляла никаких сомнений в том, кто главенствует в этих стенах. Черненькая мушка в углу ея рта тоже, очевидно, способствовала «духу его молодости». Граф был знаком с этими елизаветинскими мушками и навсегда сохранил к ним нежнейшие сентименты, что, кажется, было замечено хозяйской.

Что и говорить, солидное досье было уже собрано в памяти графа на Мари Дени, вдову пятидесяти двух лет, уроженку Парижа, королевство Франция. Она была родной племянницей Вольтера, то есть дочерью его сестры. Дядя сам выдал ее замуж за капитана Дени и снабдил солидным приданым. Через шесть лет, в том возрасте, который через сто лет будет называться «бальзаковским», а через двести пятьдесят лет «еще ничего», несчастная овдовела. Дядя утешал ее с давно уже утраченной им вследствие литературных трудов страстью. Говорят, что в интимные моменты он разговаривает с ней по-итальянски. До петербургской экспедиции даже дохо-

дило часто употребляемое слово *sazzo*, кое не было найдено ни в одном из тысячи словарей.

Мари, как и полагается прилежной племяннице, самозабвенно любила дядюшку, что не мешало, напротив, даже споспешествовало ей увеличивать за его счет свое личное состояние. Один из ее любовников по имени Мармонтель как-то странно охарактеризовал эту фемину по просьбе экспедиции: «...покладистая дама при всем ее уродстве имеет много общего с дядей... его вкусы, веселый нрав, исключительную любезность... что вызывает у людей желание искать ея общества...» Как прикажете это понимать, месье, уже тогда возмущался граф-генерал. Вы называете женщину уродливой и лезете к ней в постель из-за вкусов ея дяди? Теперь он видел собственными глазами, что уродливость здесь и не ночевала. Скорее, насупротив, оживленная сударыня выглядела вполне приятственно, особливо при вечернем освещении, а талью ее отнюдь нельзя было отнести только к достоинствам корсета. И токмо лишь мгновеньями, когда она как бы вспоминает что-то малоприятное — может быть, возраст, может быть, наглость господина Мармонтеля, — лик ее хмурится и как бы надувается излишеством плоти, однако мимолетность тут же исчезает, как будто вы протерли зеркало, и снова перед вами облик изящества.

«Обратите внимание, дорогой господин Афсио, я здесь экспонирую книги дядиной молодости: Монтескье, Мариво, его собственную «Генриаду» в разных изданиях, а стены украшаю портретами его муз. Ха-ха, ведь мы же современные люди, а ревность — это пережиток абсолютизма, не так ли? Вот эти прелестные дамы, вдохновлявшие стремительного, худенького студентика иезуитского колледжа, этого

Аруэтика, о котором тогда болтали, будто у него нет задницы. Что же, разве задница — это апофеоз мужчины? Ах, даже сейчас можно ослепнуть от этих сладостных нимф! Ну вот извольте, Тереза де Курсель, а вот знаменитая мадемуазель де Сабран, хозяйка салона и химической лаборатории, а вот и королева Вольтера, маркиза Эмили дю Шатле, к которой, признаюсь, я немного его ревную. Философ, химик, физик, автор трудов о природе огня, каково? Они все тогда были помешаны на науках и в своих салонах говорили больше о Ньютоне, чем о модах. Прошу сюда, граф. — Для пушей яркости она подняла над головой подсвечник с тремя пламеньями и произнесла многозначительно, если слегка не издевательски: — Посмотрите на его первую любовь, Сюзан де Ливри, маркизу де Гувернье. Когда-то он делил ее с другом юности, *un ménage à trois*, каково, уже в то время — в России такие штучки известны? Это о ней дядя столь выпренно восклицал впоследствии: «Твоих алмазов жар и глубь/ жемчужин, равных снам,/ не стоят шевеленья губ,/ что ты дарила нам!» Ну-с, каково? Он знал, что такое любовь!»

И тут бодрейшим козлетоном сверху скатился в зал семидесятилетний поэт: «Ксено, мой друг, ты благоухаешь, как ореховая роща!»

Встреча началась с торжественного государственного момента. Великому Вольтеру был вручен дар российского Двора, ларец с сибирскими драгоценными камнями. Посланник по просьбе правительницы особо подчеркнул, что все алмазы и изумруды были отшлифованы и огранены российс-

кими мастерами. Так российский народ отвечает на внимание к нему властителя дум всей Европы!

«Бесценный дар! — восклицал старик, склоняясь над ларцом и прижимая к сердцу все десять, если не больше, своих длинных пальцев, обтянутых пес-тренькой кожей. — Бесценное мановение августейшей руки!» Для мадам Дени бесценность была пустым звуком. Стараясь преодолеть магию камней, она запустила в ларец обе своих пухленьких дланьки и стала прикидывать суммы закладов.

Затем последовала вторая, еще более важная часть государственного акта. Вместе с письмом Императрицы Вольтеру был передан медальон на секретном замке. Округлый, в пол-ладони предмет открывался только с помощью специального перстня. Нужно было согреть перстень своим дыханием, пока в нем не пискнет некий птичий голосок: то ли царскосельский соловей, то ли кашинский воробей. Теперь, *Signore*, вы кладете медальон в вашу ладонь и прижимаете перстень к задней крышке. Звучит несколько тактов блаженной музыки, и передняя крышка приподнимается.

Из медальона на Вольтера смотрел молодой лик Софьи-Фредерики-Августы Анхальт-Цербстской, ныне Екатерины Второй, Императрицы Всея Руси. «Боже! Месье! Прости мне мои жалкие вольности! Приемлю твой знак, Всемилостивейший и Всемо-гущий!!!» Он упал на одно колено — нитки на штанишках чуть-чуть треснули под коленом — и прижал свои сухие губы к нижней части портрета, где мастерски были выписаны складки ткани и грудь, розовеющая, как утренняя заря. «О августейшая, лишь моя столь очевидная семидесятилетняя юность мешает мне в мечтах облобызать твои щедрые руки!»

«Перо!» — почти басом тут вскричала мадам Дени. Трое слуг уже мчались с перьями и чернильцами. В доме бытовал обычай записывать за гением, чтобы ни на йоту не обкрадывать потомство. Афсиомский вытирал глаза. Церемония закончилась. Старик поднялся и отправился переменить штанцы. На пороге попрыгал с шаловливостью школяра.

Начался ужин. Подавали отменное вино из подвалов папского дворца в Авиньоне. «Это вино особенно хорошо идет под тост «Сокрушим лицемерие!», — острил еретик. Он был особенным любителем поедания вроде бы несъедобных птиц. Афсиомский с удовольствием наблюдал, как Вольтер разделяет блюдо малиновок по-бретонски. Разнимает всякое мелкое сочленение, с каждой косточки обирает крошечки мяса, тянет зубами нежные нити сухожилий, а в довершение кусочком хлеба подбирает всяческие слизи. Все это надо запечатлеть для исторических мемуаров.

До сути дела беседа пока что не дошла. Пока что с удовольствием обменивались всякими легковесностями, что было сродни порханью только что скушанных птичек, еще незнакомых с сетками птицелова. Порхали с темы на тему; заводилой, разумеется, был Вольтер.

«А помнишь, Ксено, как в Потсдаме мы ели прусских ворон, сваренных в пиве? Не всякий и кавалерист одолеет такой изыск! Скажи, Ксено, а ты богат?»

Острейший взгляд и одобрительный кивок в ответ на ответ: «Достаточно богат, чтобы служить моей Государыне без корысти».

«Браво, Ксено! Ведь ты писатель, а каждый писатель должен быть достаточно богат, чтобы не попасть в зависимость от власти. В молодости я был беден и постоянно искал покровителей. В конце концов меня взяла к себе маркиза дю Шатле, моя незабвенная Эмили, однако к тому времени я, именно я, а не наш муж, содержал весь ее двор. Среди богатых есть порядочные люди, что охотно возьмут поэта под свое крыло, и это в порядке вещей. Вспомни Корнеля, Расина, черт побери, Мольера, вспомни Вергилия и Овидия! Однако если ты не хочешь уподобиться последнему, высланному к пастухам и конокрадам, ты должен озаботиться созданием своего собственного состояния, мой Ксено! Мари, подтверди, что твой любимый дядюшка был в этом деле неутомим. Нет-нет, девочка, не в том деле, о коем ты перманентно мыслишь, а в сколачивании, сколачивании состояния — вот что я имею в виду! Театр был главной упряжкой моего финансового экипажа, Ксено, театр, которому я предан, как турок своему Аллаху! Деньги за спектакли я давал в рост аристократам. Оные помогали мне получать подряды от правительства. Еще на заре зрелости ссылка в Англию помогла мне понять, как работает банк. Шутки в сторону, давай коснемся вопроса о философском камне. Сколько столетий Европа ищет этот пресловутый корень благоденствия, а между тем он уже найден в тысяча шестьсот девяносто четвертом году, но не на дне тигля, а в Банке Англии. Банковский вексель — это и есть философский камень нашего века, мой Ксено! Ты меня понял?»

«Ты будто читаешь мои мысли, Вольтер!» — наконец-то пробившись сквозь монолог, промолвил граф. Старик вдруг надулся.

«Это не твои мысли, а мои».

Перед подъездом послышалось усталое цоканье копыт и поскрипыванье захудалого возка. Мадам Дени стала извиняться. Ей придется ненадолго, не более чем на полчаса, покинуть блестящее общество дяди и генерала. Она хотела проделать это в легчайшем, шаловливом стиле, как бы упорхнуть, но вдруг отяжелела на правую ногу и даже немного постояла, закусив губу. Потом все-таки упорхнула.

Вольтер благодушно посмеялся ей вслед: «К ней приехал этот паршивец Мармонтель, самый верный из оставшихся любовников. Это кстати: можно начать разговор о сути дела. Однако прежде ответь мне на один вопрос, если, конечно, захочешь. Как ты попал к Екатерине? Елизаветинцы, насколько я знаю, не очень-то прижились к новым временам, а ведь ты пользовался большим доверием у вздорной бабы, что вычеркнула меня из членов Петербургской академии».

Вся предыдущая болтовня была одним махом отодвинута в сторону, как на столе отодвигают всякий хлам, чтобы расстелить дорожную карту. Вольтер не отрывал взгляда от Афсиомского. Этому взгляду не семьдесят лет, а семьсот; из-под него не убежишь и перед ним не заюлишь; однако и правду ему открыть нельзя, когда ее сам не знаешь.

«Бог знает, Вольтер, как сложилась сия диспозиция. Два года назад я уже собирался в опалу, как вдруг был призван в Царское Село. Нынче складывается у меня идея, что сему благорасположению я обязан только тебе».

Семисотлетняя прозорливость при сих словах сменилась привычным вольтеровским подмигом двумя глазами сразу, лукавым благодушием и смеш-

ливостью. Граф понял, что ответил правильно, и продолжил: «Вольтер, давай начистоту. Твоему постоянному фернейскому гостю Ивану Ивановичу я по старой дружбе благоволю, однако Государыне не с руки было выбирать конфиданта среди Шуваловых. Так выбор ее пал на меня: и с тобой доверителен, и все ж не из Шуваловых».

Далее, попивая папское вино и перебивая вкус вина ломтиками разных сыров, они стали обсуждать дело. Вот его суть. Отчаявшись вытащить своего великолепного корреспондента на жительство в Северную Пальмиру, Государыня решила устроить с ним встречу в Европе. Все будет обставлено с секретностью и с сохранением обоюдного инкогнито. Очерчен круг наиважнейших вопросов, кои следует обсудить для пользы народов и царствующих семей. Государыня также намерена поднять ряд философских и исторических тем. Ее интересует, в частности, мнение Вольтера о театре всемирной истории: что это, работа искусного драматурга или нелепый и кровавый балаган? Сия встреча будет иметь место через год, но для начала этим летом с Вольтером встретится самый близкий Государыне человек, с коим Вольтер сможет говорить, как с ней самой. Вольтера доставят к месту встречи с максимальным комфортом и охраной верные люди графа Афсиомского. Всеми расходами, а также вознаграждениями участникам встречи озаботится секретная экспедиция Ея Величества. Встреча с конфидантом будет продолжаться четыре дня. Место встречи будет оговорено посредством спешной связи.

В этом пункте Афсиомский слегка напрягся. Что, если спросит дотошный философ о «спешной связи»: какова, мол, она на вид и какова ее скорость? Открыть ему сей высший секрет самого узкого придворного круга нельзя, а не откроешь, засомневается старик в степени посвященности. Вольтер, однако, не выказал интереса, только улыбочка промелькнула на продолговатых губах; ужели знает?

«Послушай, Ксено, — проговорил он после долгой паузы, — кто будет сей человек, говорящий от имени высочайшей женщины века? Сын ее еще мал, муж убит, кто сядет передо мной, неужели Орлов? Или кто-то другой уже появился?»

Афсиомский вздохнул: «Ах, Вольтер, в разговорах с тобой я всегда забываю о своем ранге посланника и вспоминаю о своем призвании писателя. Я очень горжусь тем, что ты относишь меня к своему собственному племени сочинителей, а посему с удовольствием забываю о дипломатической гибкости и о зарке секретности, о коем ты, конечно, догадываешься...»

Вольтер кивнул.

Афсиомский вальяжно развел руками, но внутренне поежился.

«...и приоткрываю тебе одну из тайн Царскосельского дворца. Недавно Государыня в весьма приватном разговоре назвала Григория Орлова «мой кипучий бездельник». Это о многом говорит, ведь еще недавно он был для нее витязем без страха и упрека. Сомневаюсь, месье, что бездельник будет послан на встречу с Вольтером, даже невзирая на его кипучесть».

«Кто будет заменой, хотел бы я знать, — хихикнул Вольтер. — Противоположность Орлову? Деловой человек с постоянной температурой?»

«Замены не будет! — взбурлил и сам посланник. — Будет послан только незаменимый! Точнее, тот, кто ей кажется таковым сей час. В этой величавой царице живет непредсказуемая фемина, мой друг. Поверь, она может ночью, сняв туфли, пробежать через анфилады комнат к любовнику. Всякая ее влюбленность тот же час отражается в ее глазах, отпечатывается в чертах лица. Поневоле спрашиваешь себя, что это: то ли маска волшебная надета, то ли, наоборот, маска снята».

«Да ты действительно писатель, мой Ксено! — воскликнул Вольтер. — Мне очень нравится твоя игра масок!»

Афсиомский чуть не потерял сознания от восторга. Надеюсь, кто-нибудь из слуг уже записал это сочное высказывание великого. Грудь, зятанутая в парчу, забитая орденами, бурно вздымалась. Постепенно успокаиваясь, он решил, что маски всенепременнейше будут отражены в нувели. Гармония влюбилась в Ксенофонта Василиска, череда волшебных масок проходит по ее лицу.

Вольтер, движением руки отдалив слуг с чернильницами, приблизил свое лицо к Афсиомскому: «Ну а ты, мой Ксено, лично знаешь того, кто сейчас отражается в ее глазах?»

«Пока нет», — отвечивал посланник-писатель. Врет, подумал Вольтер.

Понял, что вру, подумал Афсиомский.

За окнами послышался шум отъезжающего экипажа, и почти сей миг в залу вбежала мадам Дени с не очень безукоризненно заправленным бюстом. Она постукивала носком правой туфельки и поворачивалась на каблучке левой. Что-то шелковистое упало на паркет из-под юбок, но она это что-то тут

же подхватила и, как опытная комедиантка, стала помахивать этим у себя над головою. Вдобавок к сим фривольностям она лихо распевала нечто совсем непотребное:

Ах, тетушка моя была плутовка!
Огонь горел на дне ея очей!
Она любила гладить по головкам
Усатых и мохнатых трубочей!

Вольтер хохотал от всей души: «Черт знает, Мари, постыдись, ты голосишь, как шлюха с Лионской заставы!»

Мадам прокатилась вокруг стола и уселась на колени посланника. Экая пушечка, подумал тот, такая бухнет! Она продолжала актерствовать, жестикулируя и тарахтя по-итальянски, то есть на языке вольтеровского интима, в коем кое-какие слова были Афсиомскому слегка знакомы: «эрекционе», «оргазмионе» и «эякульционе».

Вольтер посмотрел на часы, произнес свою клятву «Ecrasons L'Infame!», взял подсвечник и пошел к себе. Уже с лестницы он объявил: «После такого ужина мне понадобится не менее двух клизм!»

Вот так сюрприз, думал граф, покачивая «пушечку» на своем привыкшем за долгие годы жизни к артиллерийским забавам колене. Он не знал, что его ждет в этом доме еще один сюрприз, и был буквально фраппирован, когда через несколько минут сей сюрприз грянул. Явилась большая группа дворянской молодежи, ведомая возлюбленными сынами рязанскими, Николая и Мишелем. Время было уже за полночь, в постель пора, а хозяйка тут же вспорхнула с каменного бастиона, то есть, вспорхнув, слегка отяжелела на левую и только потом уже — но с какой резвостью! — затрепетала к ночным гостям.

«Миша, Коля, Клодин, Фиокля, сюда, сюда, алон дансон, силь ву плэ!»

Выходит, что за эти три исторических дня «выжидания и одиночества» возлюбленная-то молодежь начала завсегдаиствовать у Дени-Вольтеров?! Тут мы замечаем, что с этими нашими-то некие и другие заявили, то есть не нашего романа. Вот, например, третий секретарь российского посольства г-н Политковский, специалист по симпатическим чернилам; он-то как раз и засел за пиано-форте. Вот еще, к примеру, голштинские союзники-вассалы: граф Карл Малон, барон фон Остертаг, доктор Йохан Стоктон, вся троица разных степеней великанственности, как будто из прусской гвардии сбежали. С этими тремя были три дамы, которых сходство фамилий и титулов — иными словами, брачные узы — ничуть не ограничивало в поведении. Словом, разгорелся сущий бал-импроменту, и это при наличии живого классика с клизмой в семи сажнях сверху, прямо над люстрой.

Граф Афсиомский тоже потрянул стариной, не смотря на застой в членах. Все три великанских супруги прошли через него, и все три проподнимали его парик, чтобы поцеловать в живое темя. Как всегда на балах, он старался внести что-нибудь новое в ритуалы котильонов и полонезов. В частности, выставив вперед левую или правую ногу, он шаркал ею перед дамой на зависть любому полотеру. Экстаз же наступал тогда, когда он откидывал партнершу на сгибе руки вплоть до соприкосновения лобков.

В этих экзерсциях он не сразу заметил еще двух юнцов, явившихся с кумпаньей. Эти двое не танцевали, но, присев к столу, застенчиво уписывали все, что осталось от щедрой трапезы. Вид их одновремен-

но говорил и о приятном происхождении, и о перипетиях подонческой жизни. О первом свидетельствовали высокие лбы и осмысленные взгляды, о втором вопияли растоптанные башмаки, в коих иной раз появлялись униженные ножные пальцы.

По непонятной ему самому причине граф счел, что этих юнцов следует занести в секретные архивы памяти, и не ошибся. Когда он спросил возлюбленных сынов рязанских об этих их кумпаньонах, кавалеры пришли в сухую ажиотацию. Последовал рассказ с обильным применением суперлятивных прилагательных.

Гран-Пер, перед тобой замечательнейшая пара братьев, величайшие изобретатели из всех молодых парижан, Жак и Жозеф Монгольфье! Гран-Пер (надо сказать, что, употребляя это словечко по отношению к графу, Николя и Мишель имели в виду не «дедушку», а что-то более приподнятое, ну вроде некоего «великого прародителя»), ах, Гран-Пер, эти Монгольфье сродни мифическим людям-птицам, как их звали... Игорь?..

«Икарус», — подсказала Клаудия.

...Данила?..

«Дедалус», — подсказала Фиокла.

Оказалось, что, прогуливаясь сегодня под вечер в Латинском квартале и беседуя о важности как классического, так и практического образования — о чем же еще могло беседовать благовоспитанное уношение вблизи Сорбонны? — наша кумпания увидела, как над черепичными крышами убогих строений, в коих обитает полунищая молодежь, начинает взбухать какой-то непонятный купол. Они устремились

в том направлении и достигли пустыря. Над пустырем в струях вечернего ветра раскачивался на веревках огромный шар с подвязанной к нему корзиною. Корзина сия служила сидалищем для Жозефа и Жака. Там пребывая, они объясняли что-то кучке сограждан.

Сначала наши гуляки подумали, что им передался какой-нибудь сомнамбулический сон Мишеля. Последний, мыча, качал за уши свою неумную главу. Однако ведь сны не бывают заразными, правда? Они не бывают инфекционными, вразумили всех передовые курфюрстиночки. Век колдовства себя исчерпал, не так ли? «Все дело в горячем воздухе! — крикнул из корзины Жозеф. — Мы не колдуны! Через сто лет все люди будут летать на горячем воздухе!» Ну, конечно, Гран-Папа, как могли твои воспитанники удержаться от бурных аплодисментов и криков «ура»? Они немедленно были готовы последовать примеру сиих смельчаков. Николая с Фиоклой, Мишель с Клаудией. Или наоборот. Какая разница? Благородные принцессы стали тут бить кавалеров по шеем: ах, негодники, вы до сих пор не можете в нас разобраться?! Мы сами поднимемся на горячем воздухе, без вас! Мешок теперь выровнялся и натянул веревки. Струя пламени из малого тигля била ему в поддон, но не воспламеняла, а только надувала бока. В толпе кое-кто начал подбрасывать шляпы. Подручные на земле уже развязывали канаты, когда на пустыре появилась другая толпа, вся в черном. Это были янсенисты, из тех, что не верят в прогресс человечества, или, как Гран-Пер иногда говорит, «пчеловодства». Они стали забрасывать в корзину визжащих от ужаса кошек с привязанными к хвостам веревками и тянуть корзину назад к земле. Любая кошка, вцепив-

шаяся в плетенку, бив потянута за хвост, создает сильнейшую тягу, а их тут было не менее дюжины. Шар упал на бок и загорелся. Шум стоял адский. Нападавшие вопили пуще кошек: «Бей нечистую силу!» Часть публики не без резону возражала, что именно янсенисты с их кошками являют тут нечистую силу. Пошли в ход кулаки и прочие орудия насилия. Шпаги наших кавалеров, бив изъяты из ножен, лишь защитили господ Монгольфье и помогли им беспрепятственно выбраться из-под горящего мешка. Таким образом, Гран-Пер, нам всем удалось бежать до прибытия полиции и избежать дипломатического скандала. С возгласами «Ecrason L'Infame!» мы покинули сию историческую сцену.

Посланник Афсиомский был глубоко впечатлен этим повествованием. Голова у него кружилась, и не только от вина, но еще и от какого-то неясного вдохновения. Приблизившись к братьям Монгольфье, он пригласил их в Россию для продолжения опытов по применению горячего воздуха для летания в холодном воздухе Империи. Он предположил, что из летающих мешков можно будет легче находить на земле различные светящиеся минералы, однако умолчал, что эти же мешки можно преотлично использовать для слежения за ордами мятежных кочевников.

Как можно легко представить, у братьев Монгольфье головы в эту ночь тоже были не на своем месте. Почти взлететь, почти оторваться от столь надоевшего земного притяжения! Быть заброшенными кошками темных монахов! Погибать под горя-

щими руинами любимого детища! Быть спасенными двумя лапландскими графами! Быть ещежды и ещежды поцелованными то ли одной, то ли двумя красавицами немецких королевских кровей! Попасть в дом к самому Вольтеру, с чьим именем бросаем вызов противникам воздухоплавания! Получить приглашение в Россию для строительства тысячи шаров! Нет, это уж слишком даже для двух родственных голов изобретателей Монгольфье!

Оба тут встали и раскланялись, шлепая полуотвалившимися подошвами. Спасибо за приглашение, господин орденосец (сиамский орден, подаренный его похитителем Вольтером, продолжал сиять на обширной груди), но наши жизни и труды посвящены одной лишь Франции. Увы, она не дает нам денег, так что для строительства шаров на горячем воздухе мы вынуждены экономить на еде и одежде. Следующий и, надеемся, удачный отрыв от почвы нам удастся осуществить через девятнадцать лет, то есть в 1783 году. Главное же состоит в том, что сегодня мы живы и сыты и всех за это благодарим! И они пустились в пляс с курфюрстиночками.

Угомонились часа через три, а рассеялись вообще только к утру. В полном почти мраке второго этажа посланник Афсиомский бродил в поисках ночного горшка, когда увидел, что навстречу движется что-то продолговатое и белесое. Он догадался: Вольтер не спал ни минуты! Да и как мог спать великий человек на грани таких серьезных исторических событий?

«Ксено, это ты? Или это ты, Мари?» — слабым, но звонким голосом спросил философ.

«Это я», — отвечивал многоопытный путешественник.

«Ты безупречно выполнил свою миссию, мой брат», — сказал Вольтер.

«Спасибо за все, мой брат», — отвечивал Афсиомский.

«А знаешь ли ты самую главную заботу Екатерины?» — спросил Вольтер.

«Увы», — глухо, совою, ухнул граф.

Вольтер торжествующе кукарекнул: «Солнце, вставай!» Первый лучик тут же порскнул из-за трубы напротив.

Глава третья,

*в коей слегка припозднившийся персонаж барон
Фон-Фигин поднимается на борт стопушечного
корабля «Не тронь меня!», а молодые герои, Мишель,
Николя, Клаудия и Фиокла, наслаждаются
обществом Вольтера вкупе с чертенятами
поместья Ферне*

Аглицкая набережная столицы Империи была еще погружена в предутренний дормир, когда в легких крепескьюлях белой ночи (или как это по-отечески, ну-с, в сумерках) вдоль нее глухо, будто на мягких копытах, прогалопировал полуэскадрон гвардейской кавалерии. Через каждую сотню саженей отряд оставлял на набережной караул, пару всадников с тускло светящимися в просветах плащей кирасами. Оставшаяся от полуэскадрона четверть прогалопировала обратно и исчезла.

Едва только стража была расставлена, как вдалеке появилась большая темная карета. Колеса ее крутились без малейшего скрипу, поелику сдобрены были отменной колوماзью. Четверка лошадей мягкостью перепляса превосходила и конных гвардейцев. Можно б было подумать, что их копыта облачены в войлок, естли б они и явно не были в него облачены. Кто-то, видно, с изрядной деликатностью озаботился тем, чтоб не беспокоить спящих в своих дворцах особ высшего света.

Возле одного из спусков к воде карета остановилась, и из нее вышел молодежавый и бодрый человек во флотском мундире с офицерскими эполета-

ми, которого далее велено называть лейтенант-коммодором, бароном Федором Августовичем Фон-Фигиным. У спуска на мелких, порядочно все-таки засоренных отходами флота волнишках покачивался вельбот. Обветренные красные физиогномии гребцов гляделись в петербургских сереньких про светах подобно, скажем, апельсинам посре dy картофеля.

С помощью оных гребцов двое сопровождающих сняли с крыши кареты походные кофры, и через несколько минут вельбот с пассажирами двинулся к возвышающейся на якорной стоянке громаде стопушечного линейного корабля «NOLI ME TANGERE!» («Не тронь меня!»).

Эта плавающая крепость за десять лет службы утвердилась в репутации одной из самых надежных единиц флота. Помимо огневой силы и чрезвычайного парусного вооружения корабль отличался также и весьма впечатляющим морским комфортом. Кормовая его надстройка представляла собой три этажа превосходных кают, из коих иные были даже отделаны красным деревом и демонстрировали множество медных, начищенных до блеска предметов, в частности дверных ручек, надверных накидных цепков, настольных наборов для письма и увесистых чернильниц. Впечатляли также рамы зеркал, умывальники с тазиками для бритья, гнезда для графинов и стаканов на случай качки. Такой, во всяком случае, была обширная двухкомнатная каюта, ожидавшая лейтенант-коммодора Фон-Фигина.

Решительно отказавшись от помощи, барон уже поднимался по трапу. Упругость его шагов говорила о молодой зрелости и об уверенности в своих силах, а посему будем его иной раз для простоты рассказа

называть «молодым человеком». Командир корабля коммодор Вертиго Фома Андреевич, сухопарый господин в только что извлеченном из сундука парадном парике, выкатив выцветшие от избытка морской службы очи, ждал гостя у трапа. Вся фигура «морского волка» в эти минуты выражала низжайшую почтительность, если не высочайшее восхищение. Полный коммодор явно тянулся перед лейтенант-коммодором, ибо знал, что тот является конфиденциальным и потенциальным порученцем Ея Императорского Величества. Такова была субординация в окрестностях Двора: чины в счет не шли, степень приближенности решала дело.

«Осмелюсь доложить, господин лейтенант-коммодор. — Вертиго приложил открытую ладонь к загибу треуголки (таков был салют этого корабля). — Корабль Ея Величества «Не тронь меня!» к походу готов!»

Вдруг он обомлел: высочайший порученец запросто взял его под руку и отвел в сторону от выстроившихся матросов. «Знаете, Фома Андреевич, как то нелепо вам будет вытягиваться перед младшим по званию. Вы же знаете, мой чин здесь просто для секретного машкераду. И зовите меня просто Федором Августовичем, ежели сие вам будет с руки, мой дорогой». Чуть-чуть подчихнув от сундучного запаха капитанского парика, молодой человек освободил капитана, сделал несколько обратных шагов и с веселостью поклонился экипажу. «Виват!» — грянули было моряки, но, смутившись от непонятности ситуации, оборвали последнюю букву и знак восклицания; получилась какая-то легкомысленная «вива».

«Господа моряки, — произнес Фон-Фигин, — я здесь просто ваш пассажир по научному заданию

Адмиралтейства. Прошу вас не удивляться моему присутствию и тем паче не кричать «виват», буде я на палубе». Он почему-то подмигнул строю, и все почему-то стали вельми щастливы от причастности к важному «научному заданию». Эвоннаэво, толь важная птица, а на эполете-то у него три буквы нашего корабля, НТМ!

В сопровождении старших офицеров капитан провел гостя в кают-кумпанию. Накануне это уютное помещение было украшено большим портретом молодой Императрицы. Высочайшая грудь на портрете была окаймлена бриллиантами, августейшие власы были зачесаны наверх к царственной диадеме, однако глава, как известно, стоит впереди всех волос, и в оной главе особливо примечательным был взгляд Императрицы, который при всей его величественности как бы приглашал: «Не тревожьтесь и приближайтесь!» Это манящее свойство Государыни постоянно обсуждалось в войске российском, и флот не был исключением. Вертиго даже слышал, что к Екатерине, как замороженные, ластьются животные — лошади, коты, собаки и птицы.

Федор Августович Фон-Фигин некоторое время разглядывал портрет, а потом как-то запанибрата сему портрету подмигнул. Иные из офицеров даже переглянулись: как-то слишком дерзковато получилось даже для тайного порученца. Впрочем, кто знает причуды Двора, может, таковая мимика сейчас там в обиходе.

«Откуда у вас сей отменнейший портрет, Фома Андреевич? Уж не от Монжерона ли?» — спросил тут Федор Августович с исключительной уважительностью, направленной явно и к выдающемуся художнику, и к кораблю, равно как и к персонажу парсуны.

«Именно от Монжерона, Федор Августович», — не без гордости отвечивал капитан, но умолчал, что произведение привезли на корабль третьего дня прямо из дворца.

Стали подавать завтрак, куропаток с бургундским вином. Первые лучи июньского солнца через цветное стекло вошли в кают-кумпанию. Был поднят тост за научную экспедицию Адмиралтейства. Между тем по переборкам корабля прошло некоторое поскрипыванье. С палубы стали доноситься крики команд. «Не тронь меня!» приходил в движение так, как какой-нибудь детина начинает слегка потягиваться после сладкого сна. Вдруг послышались хлопок, другой, словно простыни разворачивают на террасе, только в десять крат сильнее. Командир чуть-чуть нахмурился и посмотрел на одного из офицеров. Тот извинился перед присутствующими и быстрыми шагами покинул кают-кумпанию. На палубе заиграл оркестр, он исполнял марш любимцев Ея Величества гренадеров Семеновского полка. Фон-Фигин поаплодировал. Вертиго просиял.

После завтрака все отправились по своим местам, а Фон-Фигин, даже не заходя еще в свою каюту, поднялся на капитанский мостик. Корабль медленно шел по почти неподвижным водам Финского залива, влекомый двумя мальтийскими галерами, одна из коих несла имя «Стриж», а другая «Дрозд». Из всех парусов развернута пока была только бизань да пара кливеров над бугшпритом. «За Кронштадтом пойдет хороший ветер, зюйд-ост», — пообещал Вертиго, словно добрый дедушка внуку. Фон-Фигин

спокойно кивнул, хотя внутренне слегка нахлобучился. Что это значит, хороший ветер? Он уже чувствовал под ногами увеличивающуюся бездну. Следует открыть первый секрет этого плавания: молодой человек совершал первое в своей жизни морское путешествие.

Он стал смотреть на палубу и очень скоро пришел в противоположное состояние ума. Повсюду были признаки веселья и бодрости. Офицеры, все еще в парадной форме, в белых кафтанах с зеленым прибором и подбоем, в зеленых же камзолах и штанах, разгуливали вдоль огромного судна и собирались в кучки поохотать, понюхать табачку и почихать в цветные платки. Матросы в черных шляпах с подшитыми красно-синими лоскутами сукна частично были заняты укреплением вдоль бортов своих пробковых коек, частично же тоже предавались досугу, покрикивали гребцам галер и рыбакам встречных баркасов, а одна группа на носу даже играла в неведомую придворному молодому человеку игру, подбивая сапогами клочок какой-то шкуры с пришитым свинцовым грузилом. Игра эта, как он позднее выяснил, называлась «мохнуша», и победителем был тот, кто дольше всех подбивал сей клочок, не давая ему упасть на палубу.

Ну что ж, подумал Фон-Фигин, что же мне-то так нахлобучиваться, естели все эти люди толь бодры и никто из них, очевидно, и не думает ни о какой увеличивающейся бездне под днищем. Ведь не первый же раз они выходят в открытое море, избороздили, почитай, все европейские горизонты. Никита Панин сказывал, что и в Венецию они носили наш флаг, и отбивали турок у Крита. А прикажи им плыть в Америку через океан, и тут же отправятся над умо-

помрачительными безднами, и вот так же будут веселы, и покойны, и горды своим кораблем. А корабль-то как велик и могуч, пять тысяч дубов ушло на него по докладу того же Панина! Нет, не чета он каравеллам Колумбуса, кои небось не превышали и «Дрозда». Этот корабль — движитель века науки с парусами в три тысячи квадратных саженей, со всеми этими астролябиями и градштоками для измерения высоты светил! А опасности, ну что ж, и твердая почва не оберегают от опасностей. Жизнь вообще опасная стихия, от нее умирают, как сказал Вольтер, или Паскаль, или Монтескье.

Так продумав ситуацию, лейтенант-коммодор совсем повеселел и попросил у капитана одолжить-ся подозрною трубою. Немедленно таковая была ему предоставлена в полное распоряжение. Вслед за этим на капитанский мостик было доставлено парусиновое кресло. Ну что ж, Государыня, с игривостью подумал барон, отправляемся с Богом в моря! А что ж, мадам, вот завершу экспедицию и попрошу меня отписать по морскому ведомству, каково?

Ветер становился свежее, он бодрил и мысли, и дыхательные свойства человека. Группы матросов стали карабкаться на мачты и расходиться по площадкам и реям. Фок и грот начали обрастать парусами. Каторги уже поотстали и повернули обратно. Нежданно Фон-Фигин узрел, что теперь эти малые суда зарываются носами в волну и что вообще картина моря существенно изменилась: из зеленовато-сиреновой стала темно-бутылочной, местами даже до откровенности синей, бугристой, повсеместно движущейся, с пенными завихрениями, что гнались за кормой, словно бесчисленные своры борзых.

Вертиго, забыв про гостя, быстро ходил по мостику и из разных его углов кричал команды в жестяной раструб. Фон-Фигин не понимал ни слова, но те, кому предназначены были эти команды, понимали все и быстро неслись, чтобы передать их на мачты и реи. Корабль маневрировал, дабы поймать попутный ветер во все паруса. Господи! — вдруг страстно взмолился Фон-Фигин. Помоги нашему капитану отдавать только правильные команды! Пусть он ни разу не обмишулится с неправильной командой! Тут сильно качнуло, с правого борта на палубу ворвался клоч волны. Пенясь, вода прошла по доскам и пролилась вниз с левого борта. Фон-Фигина замутило, да так сильно, что он едва не выпростал утреннюю куропатку. Однако корабль уже выравнивался. Все паруса надулись, ветер ровно загудел в снастях, и «Не тронь меня!» мощно помчал на Запад.

Капитан перестал командовать и уселся в кресло рядом с гостем. «Осмелюсь спросить, ваша честь, вы ведь немецкого будете корня?» Хитрый какой, с умилением подумал Фон-Фигин. И обращение нашел более подходящее, чем имя-отчество, и дал понять, что как бы знаком с нашей фамилией. Он подтвердил и осведомился: «А вы, Фома Андреевич, тоже, кажется, не исконных кровей, не так ли?» Принесли горячего чаю с ромом. Вертиго поведал, что они из англичан. Батюшку его, шкипера Эндрю Вертайджо, нанял еще Петр Алексеевич, он же и пожаловал нам российское дворянство. Вот как тут все складывается на Руси, всякой твари по паре. Ведь даже и тайный советник Панин Никита Иванович

из итальянцев. «Панини, стало быть?!» — ахнул Фон-Фигин в притворном удивлении. Вот именно, еще в пятнадцатом веке к нам пожаловали. Какая интересная у нас тут складывается психология, подумал Фон-Фигин, ведь в пятнадцатом-то веке эти Вертайджо не имели к «нам» ни малейшего касательства. Да вот наемднии и сама Государыня завела разговор о своей бабке и на полной сурьезности полагала бабкою не голштинскую принцессу Баден-Дурлахскую, а Ея Величество Екатерину Первую. Нет, поистине прав поэт, что рек: «О, Россия, сладкозвучная сирена!»

Несмотря на ровную парусную тягу, корабль все-таки то и дело потряхивало, и всякий раз при этих толчках Фон-Фигин увещевал себя, что ведь и при наземной езде то и дело трясет, а то бывает, что кучер заснет и лошади понесут; опасности отнюдь не меньшие, чем в плаваньи. В конце концов, устав от бесконечных самоувещеваний, лейтенант-коммодор покинул мостик и был сопровожден в его каюту.

В каюте слуги, молодые унтеры Марфушин и Упрямец, помогли раздеться. Руки у них со страху и от отсутствия самоувещеваний не слушались, тряслись, а сами унтеры даже слегка попукивали, когда палуба шла из-под ног, и ахали ну сущими бабскими голосами. Фон-Фигин прикрикнул на них притворным басом и не без наслаждения завалился в уютную койку с бортом. Теперь вокруг все было родное, свое, мягкое и теплое. Вдруг пронзило: борт-то на койке возник, чтобы при качке тело не падало на пол. Значит, тут такое бывает, что без борта на койке тела рушатся вниз подобием бесчувственных коллод! Он гнал, гнал прочь мысль, что иногда небось и борта не помогают.

Ну ладно, будь что будет, надо все-таки образец мужества показывать Марфушину и Упрямецеву, а то обаятся вконец. Он послал их в багажную за томиком Монтескье, нарочно орал и даже употребил сквернословие, чтобы ободрить стоеросовых дубин, и помогло, слуги по своему нелюбезному обычаю стали друг с другом препираться в поисках «Вот-тескло» и ободрились. Фон-Фигин попросил приоткрыть дверь на балкон (у этих покоев был еще и балкон над стихией), чтоб шел воздух, как в Петергофе, открыл «Дух законов», этот, по выражению Государыни, «молитвенник монархов», и сразу уснул.

Он уже забыл, когда спал без снов. Мудреннейшие перевероты дневных впечатлений создавали какую-то труднодостижимую вторую жизнь. Интересно, что себя самого он почти не видел, хотя чувствовал, что все это происходит у него внутри, как почему-то у какой-то чрезвычайно юной особы, сродни ростку жасмина из зимнего сада, или, скажем, кивающему головенкой пони, или даже жужжащему жуку. Самое главное, что во всех его снах всегда присутствовала Императрица, его главный друг, его вечная любовь и средоточение всех его помыслов.

Вот и теперь, среди стихий и вечного скрипа пяти тысяч дубов, из коих составлен был корабль, он увидел что-то связанное с Нею. Он уразумел, что сейчас возникнет нечто, то ли рассказанное Ею ему, то ли то, что он там (где? где?) видел сам, когда стоял там на часах при полном вооружении, вот именно там, в длинном коридоре дворца великих князей в Ораниенбауме; да, значит, это было лет пять на-

зад, когда Она еще была великой княгиней, супругою наследника престола. Он услышал какой-то нарастающий склянный звон или железный скрежет, в любом случае, невыносимый звук. Он увидел, что Она быстро идет по направлению к этому звуку; вот уже бежит. Только что было сверкающее лето, и вдруг возник лед, а посередь льда стоят, расставив ноги, великий князь в ботфортах со шпорами и его калмычонок, и вдвоем они тянут в разные стороны маленького песика английской породы, бедолагу Шарло, почти еще щенка, и хлещут его плетками по вытянутому тельцу. Вот тут-то звон и скрежет превращаются в собачий невыносимый визг, и Фон-Фигин понимает, что это не Шарло, а он сам, не воин на страже, а маленький, предельно беззащитный Фон-Фигин, пребывает под пыткой садиста и ублюдка и что сейчас он, уже в своем воинском обличе, подойдет и убьет Петра. Что произошло дальше, он не понимает, но только видит, что у Нее начинается горячка и доктор идет, чтоб отворить кровь.

Проснулся он ночью и вышел на балкончик, озаренный луною. Море кипело. Корабль качало от борта к борту, но пассажир больше не обращал на это внимания. Он вспомнил, как Она назвала самое себя «честным и благородным рыцарем», и подумал, что, став Ея секретнейшим и важнейшим порученцем, должен и сам стоять вровень с этим титулом, стоять без страха и упрека.

С этого момента он перестал страшиться качки, ударов волн, перестал думать о засасывающей бездне, ибо рыцари смело живут в мире, что дал им

Господь, и делают то, что им назначено, в его случае служат Ей, самой любимой и самой неповторимой.

На протяжении всех дней плавания он деятельно готовился к назначенной Ею встрече, читал книги по истории и философии, делал заметки по поводу предстоящих бесед, разбирал циркуляры по российским мануфактурам и ремеслам, а с особой дотошностью по пейзажному укладу, уделяя также сурьезнейшее внимание своему «слабому месту», то есть сочинению сэра Исаака Невтона «Математические принципы философии природы»; нынче в обществе философов без этих знаний не станут разговаривать.

Теперь настала пора сказать о маршруте сего славного корабля и о различных действиях персон, уже названных в первых главах «витязями незримых поприщ» Ея Величества секретной экспедиции, направленных на осуществление исторической встречи, а стало быть, и на строительство сего романа. «Не тронь меня!» шел по неожиданным для летнего времени штормовым водам в западную оконечность Балтийского моря к малому архипелагу, что протянулся цепочкой вдоль плоских берегов Цвейг-Анштальта и королевства Дании. Там на одном из островов находился замок, избранный Екатериной как место встречи ее порученца с мэтром Вольтером. Трудно сказать, почему Государыня сделала именно этот выбор; не исключено, что сыграли роль некие сладостные детские воспоминания.

Замок сей на местном языке назывался Доттеринк-Моттеринк, что на языке романа означает Доч-

ки-Матери. Еще недавно о нем говорили в плюсквамперфектум, то есть что он знавал, мол, лучшие времена. Уже не менее двух десятилетий он был предметом раздора между курфюрстом Цвейганштальтским Магнусом Пятым и его теткой, герцогиней Нахтигальской Амалией. Оба суверена, между прочим, происходили из одного рода Грудерингов, который глубокими своими корнями уходил аж к галльским Капетингам, так что наши курфюрстиночки почитали владычицу соловьиной земли своей доброй тетушкой. Когда-то сия весьма привлекательная тетушка получила островок и стены от Фридриха Прусского, который утверждал, что отвоевал его у Дании. Магнус Пятый, однако, опровергал с горячностью: дескать, взято было под шумок у него.

Герцогиня Амалия была любима во многих землях Германии за легкость характера и непревзойденное знание светских манер. Она к сему неожиданному прибытку земли отнеслась шутливо. Каков Фриц, якобы сказала она, дарит мне то, что я даже не могу приколоть на шляпку. Впрочем, она взяла за привычку белыми ночами вывозить на Оттец целый выводок юных прыщеватых принцесс, будущих невест российских царевичей. Среди них, по слухам, бывала и нынешняя Императрица России. Девочки беспечно кружились в мрачных рыцарских залах, а в башнях и на лестницах устраивали озорное эхо с переливами.

Магнус, который всем этим бестиям приходилось то дядей, то кузенком, принадлежал к поколению женихов для царевен. Принцев порядком не хватало, поэтому он без труда женился на одной из внучек царя Ивана Пятого. Вот тогда-то у него и появилась мечта о восшествии на великий трон, одна

нога которого весила б больше, чем весь золотой чекан Голштинии.

Если уж российская золотая нога, то она должна быть тяжелее всех прочих золотых ног, вместе взятых, — вот в таком именно абрисе, несмотря на прочные связи голштинских родов с Петербургом, рисовалось среди померанских низин Восточное царство, где сгнуло, на ужас европейян, «наше брауншвейгское семейство». Грезилась многопудовая медлительная поступь золотых ног среди вечных снегов, виселиц и плах, мнился медвежий рык, вопли на дыбе, мелькали прищурь азиатских харь. Самого же себя тщеславный принц воображал великим будущим просветителем, внедрителем культурных с кофеиом фрюштиков, растопителем льдин.

В Петербурге правящая знать потешалась: приедет какой-нибудь нищий олух с курляндским титулом на императорский бал, шику коего позавидует и Версаль, тут сапожки у него и затрясутся при виде лучших красавиц Европы, тут и головенка затуманится при виде огромных картин венецианской школы и той же школы незабвенных зеркал, тут и сердчишко у него застучит от шампанских вин, что разносят по залам лакеи с достоинством британских эрлов, тут и заскучает он от собственной застиранности. А вот вернется такой принц в какой-нибудь свой Киль или Штеттин, выпьет с однокурсниками пива, пожует маринованного картофелю и пойдет рассказывать о Русляндии: бояре, дескать, палками друг друга по башке угощают, мужики дярутся, топорами сякутся, медведи к водке имеют пристрастие, и лишь калмыцкие егеря скачут, скачут, скачут и свистят на соколиной охоте.

Магнус Пятый был в том же роде и после брака с цесаревной возгорелся он тайной, а в подпитии и не ахти какой тайной, мечтою стать самодержцем или по крайней мере регентом необъятной державы. Сдуру как-то поделился он мечтаньями с тетушкой Амалией. Та осадила его со смешливостью: как-то мало носатенький юнкер напоминал ей исторических деятелей, с коими в юности пришлось ей общаться при потсдамском дворе, куда привезли ее по приглашению великого человека, коего она еще и сейчас иногда называла «мой Фриц».

С тех пор и началась тяжба вокруг замка «Дочки-Матери». Магнус выпустил карты, на коих сей малый архипелаг был представлен как часть его солидного Пфальца. Из Берлина тогда приспустилась по просьбе Амалии суровая нота с угрозой воинского воздействия. Магнус в отсутствие тетки неизменно совершал государственный выезд на острова. Всякий раз, разжившись деньжонками (чаще всего от российских родственников), он брался за реставрацию «летней резиденции». Иной раз дело доходило даже до навешивания французских рам и до попыток украшательства закопченных сводов равно благолепной и фривольной лепниной. Увы, неизменно в разгаре работ вмешивалась и третья, наипаче сурьезная сила. Являлись судейские с предписанием незамедлительно во избежание насильственных мер покинуть помещение. Дело в том, что цепочка сих млекопитающих островов вкупе с сельделовными причалами и живописным замком, будто сошедшим с бременского бархатного покрывала, не принадлежали ни Магнусу, ни Амалии. В согласии с одним из многочисленных мирных договоров Северной войны эта буколика относилась к могуще-

ственному королевству Дании, а дворец был записан в сутяжных бумагах королевства по разряду «отчужденная собственность». Дания, увы, отнюдь не считала, что сей архипелаг у нее кем-то «взят». Тут уже приходилось замолкать малым германским властителям и ждать милости только от сил небесных, представленных «помазанниками» в Берлине и Петербурге.

Лишь однажды мечта о «летней резиденции» Магнуса и его милейшей семьи, с которой, напоминая, мы познакомились по чистой случайности в гданьской гостинице «Золотой лев», едва не воплотилась в жизнь, когда в этих водах для проведения одной из баталий Семилетней войны сблизились две эскадры, датская и российская. Случись тогда битва, одолей тогда датских фортинбрасов наши буйтур-всеволоды, Магнусу как одному из многочисленных наследников Романовых и Милославских Елизавета могла б и отписать пустующие анфилады Доттеринк-Моттеринк, но битва не случилась, о чем мы скажем несколько слов ниже. С тех пор в анфиладах сих, равно как и в башнях, валялись лишь подопечные местных свинопасов да бродил по ночам, подвывая, некий магистр черной магии по имени Сорокапуст.

С ранней весны 1764 года повадились в замок зодчие и садоводы. Мастера и подсобники подплывали на баркасах из Дании, да и не только; шведов тут можно было увидеть и саксонцев, российские эпненопля матросики выгружали из бригов утварь. Свиной разогнали и промыли за ними душистым

мылом. Магистр Сорокапуст изгнанию предпочел неполное пребывание, то есть в виде призрака. Замок на глазах менялся. Отменные стекла засияли в лучах заходящего солнца, как бы вопрошая разлитую в небе скандинавскую меланхолию о человеческой сути дела. Почти то же самое стекла тшились создать и в лучах восходящего солнца. Протапливались огромные помещения, дабы искоренить прижившуюся плесень. Ужи и мокрицы толпами покидали замок и растворялись в природе. Полы застилались танцевальным паркетом. Преображалась гаргантюанская кухня, готовясь принять французских кулинаров. На пробу был сварен котел барбизонского супу, вызвавший полный экстаз у участников трапезы. Мебели разные и зеркала вкупе с клавибордами и клавесинами создали в спальнях и салонах стили разных эпох. Каждое поколение тшится и тащится перешеголять ранние в изяществе, и нашему здесь это удалось. С этим оптимизмом давайте скатимся в парк, чтоб там узреть комбинацию лилий, вазам и фонарям дающих урок благородства. О, те террасы! Сонму богинь и компании нимф, в мраморе вставших, каждый поэт был бы готов послужить Гименеем! Вспомним и о фонтанах: вспомним и о об эрмитажах волшебных и о дорожках, что ждут и зовут нас пройтись по ним в философской беседе. Ну и так далее. Но к сему мы добавим еще и павлинов, чтоб уж закончить.

Все это возрождение на краю земли было плодом усилий генерал-аншефа Ксенопонта Афсиомского, графа Рязанского. Еще до выезда из Петербурга он отдавал распоряжения и рассылал в разные края суммы денег. И по дороге в Париж из Ревеля, Риги и

Кенигсберга он отправлял различные почты и срочных курьеров. В Гданьске при посредстве старого агента пана Шпрехт-Пташек-Зотовского достигнуто было главное соглашение об аренде Российской Коронной острова Оттец с замком Доттеринк-Моттеринк. Чтоб не влезать в занудную тяжбу, заплачены были щедрые суммы всем трем сторонам: герцогине Нахтигальской, датской казне и курфюрсту Цвейг-Анштальтскому-и-Бреговинскому Магнусу Пятому. К слову сказать, именно из этого дела любящий фатер выкроил транш для отправки возлюбленных дочек в Париж для углубления гуманитарного образования, к чему они, как мы видели, незамедлительно и приступили.

После встречи в Париже Вольтер пригласил «своего Ксено» в фернейское поместье, однако графу пришлось отклонить столь почетное приглашение, ибо дела призывали его на балтийские береги. Он был отчасти рад такому эксцезу: меньше всего ласкалось сталкиваться в Ферне с вечным соперником Иваном Ивановичем Шуваловым, который никогда не упускал случая, чтобы показать избыток образования.

О подготовке экспедиции «Не тронь меня!» граф узнавал от сверхсекретного курьера по имени Егор. Его исключительным способностям граф не уставал удивляться. Егор мог достигать его и в городах и в лесах, даже иногда на ходу экипажа среди полей умудрялся появиться и сесть на диван напротив графа. Именно Егор принес на Оттец весть, что до прибытия корабля осталось не более трех недель.

Граф решил больше уже до встречи с бароном Фон-Фигиным никуда не двигаться и обосновался на втором этаже замка в не совсем еще отделанном кабинете с видами как на внутреннюю лагуну, так и на необозримые просторы. Здесь он по утрам до начала осмотра работ позволял себе роскошь сесть к письменному столу и начертать на отменной бумаге великолепным почерком несколько строк своего романа «Путешествия Василиска, или Новая Семирамида», посвященного мудрой властительнице славян и окрестных народов.

За развитием одного повествования пытливо следил с портрета умным своим и крепким лицом литературный друг Александр Сумароков, за спиной коего виделись графу и другие весомые фигуры русского патриотического круга, отцы народа и властители душ; многих и многих тысяч душ, на коих и зиждился их патриархальный уклад. Почитай, каждую неделю достигали графа письма этого выдающегося человека, лишенные французского стиля, столь, казалось, удобного для письменных сообщений, но зато исполненные суровостями нового национального слога. Вот отрывок из одного такого писания:

«...нет, друже мой, важно паче урядочить на темной окривности Луны купно с европскими градами Голдоном и Жмоном блеющее царство Энциклию, где правит механический лжеуч Терволь. Ласкаюсь я узнать, как дале правишь ты свою сатираллию...»

От каждого письма Афсиомский ждал, что где-нибудь хоть бы ненароком Сумароков укажет свое отчество, но тщетно: подписывал тот письма «Александр Сумароков», и нигде ничто не напоминало того, что Ксенопонт Петропавлович так прочно забыл.

Оставалось только трепетать, как бы не употребить в ответе засевшего в башке «Александра Исаевича».

Тем временем Вольтер с удовольствием пребывал в Ферне в обществе русско-голландской молодежи. Сходились к обеду без особого этикету, шумно обсуждали очередное сновидение Мишеля или модные каверзы Николая, всяческие также эскапады курфюрстиночек, которые только и жаждали оторваться от присланных из отчизны двух штатд-фрейлин, похожих на барабанщиков прусского короля. С опозданием всегда являлся вечный гость, Иван Иванович Шувалов, подслеповатый от книжной пыли.

Вольтер с чрезвычайной своей гостеприимностью делал некоторые писательские наблюдения. Нет, не дружит русский народ с салфетками, подмечал он. Забывают развернуть накрахмаленную пирамидку, сев к столу. Даже Иван, что столько уже лет здесь торчит, не вспоминает о салфетке, пока не измажется. Не знаю, не уверен, примут ли их без салфеточной привычки в европейскую семью народов. Ведь у нас здесь даже любой аббат первым делом перед едою тянет к себе на грудь хоть засаленную, но салфетку. Не говоря уже об этих волшебных козочках из далеких швабских низин; едва лишь впорхнут, как тут же салфеточки цап-цап и толико потом уже за серебро. У русских же даже аристократы, как мы видим, сначала начинают есть и только потом вспоминают о салфетке, если вообще о ней вспоминают. А что говорить о пейзажах, о тружениках мануфактур! Предложи им салфетку, хорошо, если они в нее просто чихнут!

Между тем старому философу донельзя нравились русская молодежь. Он пригласил всю компанию в возведенную им три года назад церковь, где портал был украшен надписью DEO EREXIT VOLTAIRE (Богу воздвиг Вольтер), и рассказал им о своих отношениях с Единым и Непостижимым. После сего откровения Мишель попросился зажечь в храме свечу и провести там ночь. Утром он прискакал с бешеными глазами и рассказал всем о своем сне. Там он увидел встречу Вольтера и Бога, хотя ни тот, ни другой лично не явились. Якобы Вольтер задал Богу вопрос: «Ты слаб?» И Бог ответил на это бесконечным молчанием. «Сонм бесконечный живого и мертвого ты ли пасешь?» — вопросил Вольтер. Молчание не прерывалось. «Ты всемогущ?» И тут Бог прозвучал сквозь эфир подобием свиристелки: «Чик-чик и чир-чир и запятая, Вольтер, тебя нет, но ты можешь вернуться к себе всякий миг!» Вольтер тут разбрызгался в стороны, как лужа под копытом коня. «Неужто все это было?» — «Как сказано, так и было. И есть», — водопадом пролился Бог. И тут они полились вместе. «Все это части меня? И Он? Аа? А ты — он? Нет. В том-то и дело. Нет — это не ответ!» И тут прозвучал будильник швейцарских часов, которые вы, мэтр, мне третьего дня подарили.

Веселью не было конца. «Умру, — стонал Никола. — Прозвучал сквозь эфир подобием свиристелки! Ну, Мишка, доска для тебя еще не отпилена!» Курфюрстиночки заливались: «О, этот Мишель, этот божественный шут, я его обожаю, я его боготворю! Такие могут взорлить только к востоку от рая!» Вольтер вылез из своего кресла и прошел по ковру к Михаилу, переступая через всякие ноги. Взяв его за ухо,

повернул юношескую главу к себе и долго взирал в очи. Дело в том, что сей диалог и ему самому грезился этой ночью.

«Давайте теперь займемся чем-нибудь попроще», — предлагал Вольтер и читал молодежи трактаты из своего «Философского словаря». Вот, например, сочинение «Сен-Луи» с подзаголовком в скобках: (памятка, написанная в 1764 году).

Главному должностному лицу одного города во Франции очень не везло, даже с женой не сложилось. Еще до замужества она была развращена одним попом, после чего стала себя вести самым скандальным образом. Судья оставил супругу и, вместо того чтобы найти забаву на стороне, обратился с жалобой в свою церковь. За вину моей жены был наказан я. Церковь запрещает мне жениться на честной женщине и таким образом толкает на дорогу греха. Ни один народ на земле, за исключением приверженцев римско-католической церкви, не отвергает развода и второй женитьбы. Какое извращение закона сделало добродетелью для католика, отказавшегося от опозорившей его жены, предаваться адюльтеру? Почему разрешается разрыв с женою и раздел собственности, но не разрешается развод? Почему я не могу более наслаждаться семейной жизнью и в то же время считаюсь женатым? Что за противоречие? Что за рабство?

Еще более странным кажется этот церковный закон, когда мы видим, что он впрямую противоре-

чит словам, приписываемым Иисусу Христу: «Всякий, кто отдаляет свою жену, если только не за разврат, и женится на другой, совершает адюльтер». (От Матвея 19:9.)

Я не собираюсь запрашивать понтифика в Риме, имеет ли он право ради собственного удовольствия нарушать закон того, кого они считают своим Властелином. Я останавливаюсь только на моей собственной печальной ситуации. Бог разрешает мне жениться заново, но римский епископ запрещает.

Раньше развод был привычным делом среди католиков Римской империи. Почти все французские короли, которых причисляют к «первой линии», отвергали своих жен и женились заново. И лишь папа Григорий Девятый, враг императоров и королей, сделал брачные узы нерасторжимыми; этот его декрет стал законом для Европы. Вследствие сего всякий раз, когда король хотел отречься от развратной жены в соответствии с законом Иисуса Христа, он не мог сего сделать, не найдя какой-нибудь смехотворной причины. Сен-Луи был обязан для того, чтобы осуществить свой несчастный развод с Элеонорой Гиенской, придумать какие-то несуществующие обстоятельства. Генрих Четвертый, чтобы отречься от Маргариты Валуа, придумал еще более нереальные обстоятельства. Законный развод нельзя было получить без фальши.

Что же получается? Суверен мог отречься от короны, но не мог без разрешения папы отречься от своей неверной жены?! Возможно ли, чтобы люди, просвещенные в других делах, подвергались такому абсурду и презренному рабству?!

Пусть наши священники и монахи воздерживаются от отношений с женщинами, если так должно

быть. Пусть это вредит прогрессу населения и является несчастьем для них самих, они, однако, заслужили эту беду, потому что сами ее выдумали. Они являются жертвами римских пап, которые хотят в них видеть только рабов — солдат без семьи и страны, живущих только для Церкви; но я, сотрудник магистратуры, который целый день служит государству, нуждаюсь в женщине по ночам; и Церковь не имеет права лишать меня того, что мне позволено Богом. Апостолы были женаты, Иосиф был женат, и я хочу быть женатым. Если я, эльзасец, завишу от священника, живущего в Риме и имеющего варварскую власть, чтобы лишить меня жены, он может с таким же успехом сделать меня евнухом, чтобы я пел MISERERE в его часовне.

Закончив чтение трактата и подняв голову, Вольтер не нашел своих слушателей в их креслах. Приподнявшись над столом, он увидел, что все четверо катаются по ковру, держась за животики. «Вот так-то вы относитесь к серьезнейшим общественным проблемам? — притворно рассердился философ. — Вы молоды, господа, и видите только смешную сторону дела. Конечно, тут немало смешного: жену судьи развратил ее духовник, судья вынужден бегать к проституткам, он воображает себя кастрированным певцом в папской часовне. Ситуация подходит для площадных комедиантов, не так ли?»

«Мой мэтр, — не без труда выговорил Никола, — сия ситуация вполне сгодилась бы и для вашего “Кандида”».

«Браво! — засмеялся и сам Вольтер. — Однако подумайте также о том, какие тут посеяны семена для трагедии! Вообразите самих себя на месте работника магистратуры!»

«Но мы ведь все ж таки не католики, мой мэтр, — пробасил Мишель и этим невинным замечанием вызвал новый взрыв веселья в библиотеке фернейского замка. — Ведь мы же простые православные медведи, мой мэтр».

Старик вылез из-за письменного стола и с некоторой даже излишней легкостью пронесся по помещению скачками, будто балетный, фиксируясь во всех углах. Затем стал с многочисленными поклонами, с полосканием воображаемой шляпы, с откидыванием отсутствующей шпаги приближаться к курфюрстиночкам.

«А вы, мадемуазели, ваши светлости, почему вы только хихикаете и не произносите ваш вердикт?»

«А нас до вас никто не спрашивал, наш мэтр, — с деланным возмущением и горделивостью ответствовали Клаудия и Фиокла. — Помимо того что мы католички, мы еще и девы, ваша честь, существа женского рода, рабыни. В вашем трактате, мэтр, нам, развращенным, уготовано лишь отречение, а нам, целомудренным, лишь надежда на брак. А ведь в нашем мире уже появляются новые Семирамиды, месье!»

«О, как вы правы, мои дорогие! — вскричал тут Вольтер. — В России уже настала пора просвещенного матриархата! Вот о чем надо писать, а не о постылом бесчестии! А что, если мы, молодые мои друзья, запишем сейчас эти столь важные диалоги?»

Тут курфюрстиночки закапризничали, губки надув: «Пойдемте-ка лучше играть воланы!»

В этот момент кто-то крылатый проплыл за окном: то ли ангел, то ли демон, то ли просто солидная птица.

Так они жили привольно и услаждались своей кумпанией, но на самом-то деле все они жаждали вести о поездке на Север. Зная о выходе корабля к острову Оттец, гвардии офицеры готовились встретить гонцов, а между тем самый секретный и сверхсрочный примчал в темноте к Франсуа Аруэтту, также известному как де Вольтер.

Послание Афсиомского гласило, что замок Доттеринк-Моттеринк полностью готов к приему высочайших гостей. Линейный корабль Ея Величества вышел из Петербурга и через неделю ожидается в гавани. На нем следует к месту встречи лейтенант-коммодор, барон Федор Августович Фон-Фигин, человек, известный в самом узком кругу окружения Императрицы как ея «альтер эго». Флотское звание вкупе с подорожными бумагами Адмиралтейства выписано ему исключительно для прикрытия главного смысла поездки, чтоб не возникло вокруг бесцельных и ядовитых спекуляций. На самом же деле он является ближайшим советником Государыни по политике, науке, философии и по всем прочим интеллектуальным вопрошениям. Велено также передать, что Ея Величество всецело доверяет своему посланнику во всех человеческих смыслах.

Господин Фон-Фигин — полиглот, что позволит великому Вольтеру общаться с ним на любом известном ему языке, сиречь на любезном нашему сердцу французском, аллеманском и великолепно-россий-

ском. Ея Величество ласкается мыслью, что сии два любимых Ею человек и добрых побуждений. Круг тем, ласкается Она, возникнет сам по себе в ходе дискуссий, однако Она уверена, что сии мужи будут держать в уме место России в мире и человека в мироздании.

В конце концов, мой Вольтер, добавлял от себя Аксиомский, мне кажется, что Государыня держит в уме твой триумфальный приезд в Санкт-Петербург. Встречи твои при Дворе, а также в Академии и в кругах литературы развеют то, что ты бы назвал *L'Infame a la Russie*, а также, я ласкаюсь, укоротил бы и тех, кого я называю «башибузуками мысли».

До этого, впрочем, далеко. Пока что встретимся на острове Оттец. Выезжайте немедленно кратчайшим путем. Мои мальчишки имеют инструкции для безопасного проезда через германские земли, а принцессы Цвейганштальтские, уверен, сделают тебе прелестную кумпанию. Ловим перепелок, чтобы запечь их в большой датский торт с буквой V на поверхности. Твой Ксено.

Вольтер вышел в сад. Стояла полная луна. Все черти спали. Лишь Энфузьё булькал в фонтане, притворяясь жабой. В конце аллеи светились в ночи отроги гор. Он пошел по аллее, прихрамывая чуть сильнее, чем требовало колено. Дошел до конца и повернул обратно к дому. На коньке крыши возле трубы под видом белки дремала ведьма Флефьё.

Ксено, конечно, тоже черт, назначенный ко мне, в этом нет сомнения. Впрочем, может быть, он и сам этого не знает, как большинство из них. Почему они

не хотят меня оставить в покое с моей старостью? Снова куда-то мне надо трястись. Вы посылаете драгоценности, что ж, благодарю. Вы посылаете мне письма, полные ума, изящества и орфографических ошибок. Я отвечаю Вам гиперболическими комплиментами, дурным почерком, коверканьем русских имен, царя Ивана Васильевича называю Иваном Базиловичем, вместо Воронежа пишу Верониз, Ломоносова именую Кассе-Нэ, делаю ляпы в русской истории. А теперь Вы назначаете мне свидание с Вашим любовником; почему не являетесь сами?

Он дохромал до дома и повернул обратно в аллею. И все-таки мне нужно туда отправиться. Волею судьбы я могу что-то важное сделать для России. После чудовищных веков тупой власти она умудрилась повернуть к Просвещению. Она сделала это сама, не будучи покоренной в войне. Мы не можем повернуть к ее новому поколению наш несокомерный зад. Порочный принцип «*Rossica sunt, pop leguntur*» (написано по-русски, нечитаемо) должен быть отторгнут. Она должна быть с нами хотя бы потому, что иначе нас захлестнет ислам. Турки уволочут наших красоток в свои гаремы, а нас после небольшой хирургии заставят их сторожить и мыть им промежности, вместо того чтобы петь в папских часовнях; ха-ха, когда уже я перестану скабрезить?

Он снова повернул к дому. Малое облачко на минутку занавесило луну, и он в темноте наступил на кого-то; кто это, Суффикс Встрк или китаец Чва-Но? Гладенький дьяволок порскнул в кусты, словно шмынь.

Лишь к концу прогулки в розовых перьях зари возник утешительный ангел Алю.

Поезд Вольтера состоял из его собственной просторной кареты, в которой он ехал со старым Лоншаном, подсобной кареты с припасами, книгами и бумагами, с коими разбирался молодой секретарь Ваньер, а также с громоздким, увы, не изящным, зато мягким и теплым, что уважалось таракашками, возком цвейг-анштальтского двора, в коем волоклись почтенные шаперонши. За ним, оберегая будущее династии и адвент европейского романтизма, влеклась верхами голштинская стража: шестеро ландскнехтов наилучших крестьянских родов.

Наши курфюрстиночки, впрочем, предпочитали долгими часами путешествовать в карете Вольтера, и он не возражал, тем паче что девицы во время долгих бесед о будущем литературы и чтения стихов не имели ничего против мягких прикосновений его длинных и душистых пальцев, ногти коих, казалось, можно было использовать в качестве писчих перьев.

А где же наша гвардия, осмеливаемся мы спросить. И тут же отвечаем без утайки: все четверо, то есть Николя, Мишель, Пуркуа-Па и Антр-Ну, скачут от станции к станции впереди поезда на несколько льё, обеспечивая безопасность и постоянство движения. В те времена проехать таким солидным караваном по Германии с ее тремя сотнями мелких княжеств было не так-то просто. На каждой границе путешественников поджидали таможенники и сборщики различных податей. Наши кавалеры, ма-терясь по-лапландски (язык, по сути дела, неотличимый от рязанского), вытягивали из тугих кошель то кроны, то дукаты, то экю, то флорины, то франки, то гульдены, то гинеи, то ливры, то луидоры, то марки, то шиллинги, то фунты стерлингов, то талеры серебром, то су и денье медью. Заплатив

вперед за приближающийся кортеж, кавалеры делали мздоимцам строжайшее предупреждение, что, буде чинимы знатному лицу еще какие козни, наказание последует без промедления. При этом показывались то семихвостая плеть, то закаленный клинок, а то и бельгийская пистоля.

Так все шло довольно гладко, пока не докатили до Мангейма. Тут у гостиницы, спустившись из кареты и покачнувшись, Вольтер объявил окружающим, что умирает. Вскрикнув, принцессы ахнулись в молниеносное головокружение. Фрейлинам их, баронессе Эвдокии Казимировне Брамценбергер-Попово и графине Марилоре Евграфовне Эссенмусс-Горковато, фактически сделалось дурно. Быстро с крыльца соскочив, Мишель подхватил де Вольтера, а Николя Фиоклу и Клаудию поддержал за тонкие тальи. Дамы сопровождения, увы, упали, серьезно повредив дорожные платья.

Что же случилось? Оказывается, к самому языку философа подступила тошнота, а в этих случаях Вольтер всегда объявлял приближение кончины.

«Ужинать, ужинать!» — тут закричал хозяин отеля, как будто еда — это панацея. Так, в общем-то, в Германии все полагали в те обжористые времена.

«Напротив, не ужинать!» — заявил опытный Лоншан, знавший прекрасно все недуги хозяина. При приступах умирания Вольтер обычно завязывал кушать и чаще всего поправлялся.

Его подняли наверх в обширную спальню и заказали туда четыре кувшина воды, сдобренной лимонадом. Вольтер, распростершись в развратной кровати, начал не ужинать. Горшки выносили из спальни гиганта идей с завидным проворством. Один из горшков, между прочим, был задержан

Мишелем. Он отнес его в свою комнату, долго смотрел на содержимое, потом перелил оное в стеклянную банку из-под солений и кухонной мутовкой взялся взбалтывать и смотреть, как оседают таинственные кусочки и нити животных соков. Завершив созерцание, вышел к курфюрстиночкам и с радостным сиянием объявил: «Мэтр Вольтер вне опасности!»

Обрадованные экспедианты все-таки отправились ужинать во имя здоровья. В разгаре трапезы явились посыльные из резиденции курфюрста Пфальцского. Здешние шпионы уже доложили правителю о приезде властителя дум, и тот, потрясенный, просил прибыть Вольтера и всех, кто с ним (не зная еще, что с ним пушествуют дочери кузена), на ужин-импропту (то есть не успели еще забить дикого кабана) или завтрак в британском стиле (знали даже, что драматург — англофил).

Увы, ваша светлость, ответил Лоншан, господин де Вольтер не ужинает, не завтракает и даже не обедает. Он поглощает сейчас лишь благодный воздух Мангейма, чтобы не перестать дышать.

Путешествуя в этой кумпании, можно было заметить, что старый Лоншан давно уже перенял манеру хозяина выражать свои мысли.

Три дня и три ночи продолжалось величественное голодание. Все это время юные экспедианты, по-прежнему наслаждаясь друг другом, прогуливались по Мангейму, строение которого было новым и регулярным, и заметили, что близость с французами сделала то, что в мангеймских немцах меньше чувствовалось национальности, чем в других, что позднее подтвердили и другие русские путешественники, в частности коллега Вольтера драматург Фон-Визин.

На четвертый день Николя стал опасаться, как бы не сорвалось все дело. Решив так или иначе проникнуть к уединившемуся, они спустились из своей комнаты вниз и тут же увидели в обеденной зале своего кумира. В свежем дорожном туалете философ заканчивал вазу с шоколадом и читал газету «Мангеймише Беобахтер». «Немедля выезжаем, пока не разгорелась какая-нибудь война!» — крикнул он кавалерам и пошел к выходу резвой поступью придворного дуэлянта.

Еще одно приключение произошло, когда миновали Ганау, Фульду, Саксен-Готу, Эйзенах и несколько княжеств мелких принцев, уже на границе герцогства Мекленбургского, то есть в северных краях, весьма близких к дестинации. Передовая группа из четырех гвардейцев Ея Величества подъехала к заставе и была окружена толпой вооруженных и мало дружественных. «Ну-ка, аршлохи, развязывайте кошельки, платите дуанам!» — распорядился старшой, или, лучше сказать, заправила, рослый костлявый субъект с черною бородою. Де Буало протянул ему то, что полагалось, тридцать дукатов. «Мало, щенки! — вскричал главарь. — Чего суешь гроши, ты не в Московии». Рожи висельников приблизились (откуда такие рваные ноздри взялись в богобоязненном Мекленбурге?), лапы протянулись, чтобы схватить под уздцы. Антр-Ну отогнал часть из них хвостом и задним копытом. Де Террано швырнул в наглцов горстью северных марок: «Достаточно, гады?» Алчные твари бросились за монетами, встали коленами в лужи. Дождь шел с утра и не переставал, невзирая

на пертурбацию. Хладная влага гадко текла по коже под колетами кавалеров. Николя надменным голосом аристократа попробовал урезонить гадкую гопу: «Не поздоровиться вам, негодяи! Мы путешествуем под охраной прусского короля!» В ответ разразился оскорбительный хохот. Что-то прискорбно знакомое мнилось Мише во внешности заправилы. Тут вдруг приблизилось, словно в подзорной трубе, поврежденное то ли саблей, то ли кием бильярдным око мерзавца. Кто-то шепнул еле слышно то ли в оное око, то ли Мише прямо под кожу вельми громогласно: «Давай-ка, Эмиль, берем лошадей под уздцы, спешим мальчишек!» Со зловещим хихиканьем этот Эмиль показал Николя запись в гроссбухе: «Рано завязываете кошели, господа иностранные толстосумы, с вас еще полагаются «мостовые»! Давайте-ка не скупитесь на ваше лапландское золото!» Коля прищуренным взглядом мерил постылую харю, напоминавшую и ему какой-то позор. Какими промыслами тут, в глуши мекленбургской, прослышали о лапландском, в Париже, веселье? «О каких же таких мостовых вы речете, малопочтенный, если впереди на весь охват одна лишь липкая грязь?» Тут вся толпа, напомилавшая скорее шайку ушкуйников, чем государственный люд, стала со всех сторон приближаться. Тот, кого называли Эмилем, дерзко гигикнул: «Герцог намерен строить дороги, вот мы и собираем подать вперед, понятно?! Нечего притворяться, царицыны уйки, мы знаем, кто едет за вами!» Пуркуа-Па тут мощно двинул крупом, показывая, что никому не позволит брать себя за самое святое, за сбрую, и вслед за сим взмыл на дыбы. Антр-Ну, диковато ржанув, не замедлил последовать друга примеру. Всадники, зная характер своих лошадей,

поняли: что-то случилось! Уже не раз за время их службы боевые кони рыком своим и могущественным телодвижением указывали на опасность. Вот и сейчас, вознесясь над толпою, они крутились на задних копытах, не подпуская к себе и приближаясь к краю заставы. И тут кавалеры увидели причину конской тревоги: в свежееотрытой яме лежало трупов свежееубитых с полдюжины, каждый в пристойном мундире таможенной службы. Стало все ясно: некая банда, в массе с поганым акцентом, расправилась с мекленбуржцами, чтоб подготовить засаду людям Вольтера!

«Мишка, стреляй сразу из двух пистолей! Целься в Эмиля!» — завопил Николай, а сам, элегантно шпагу отставив, вытащил кирасирский палаш. Банда, такого афронта не ожидавшая, а предвкушавшая просто убийства с хорошей поживой, грянула в бегство, кое-каких подлецов, вопящих от боли, на земле оставляя. Всадники наши, вырвавшись из окружения, погнали вперед по дороге, чтобы потом через городок Цукер-Цюрюкер назад повернуть и защитить Вольтера. Вскоре с галопа на ровный аллюр они перешли и принялись хохотать, торжествуя победу. Вот опрометчивость молодости: не рассчитали они, что у наемного сброда тоже кони имелись, оставленные среди камней на лютеранском кладбище. Речку Копуц, полную гнили, вброд они перешли и вновь наших унцов окружили. Тут уж вроде конец подошел всей славной четверке, что билась отчаянно. Коле пришлось удар по главе прикладом фузили. Мишу свалили петлей из пеньковой веревки. Лишь Тпру и Ну остались биться, ибо Эмиль бородастый жаждал на них разжиться. Как вдруг пролетел по округе российский кавалерийский рожок. На

холм возле места расправы, словно во сне, взлетал эскадрон Ея Величества грузинских гусар в желтых мундирах. Все было кончено в одночасье, и повесть сия уцелела, лишь слегка захав в не совсем реальное отклонение, что позднее стало зваться «вольтеровскою войною», то есть затяжной облискурацией.

Впоследствии газеты всех трехсот германских княжеств создали какую-то странную версию этих событий. Якобы прусская тайная служба (другой вариант — австрийская) наняла кучу дезертиров и дала в жоаки авантюрного господина по кличке Казак Эмиль, который, сказывают, вот-вот себя объявит убиенным царем Гольдштайном. Они должны были перехватить философа Вольтера и привезти его то ли в Берлин, то ли в Вену живым и невредимым и в хорошем настроении, но с кляпом во рту, чтобы понял важность цензуры. Российская тайная служба, тоже не лыком шита, послала на выручку друга славян отряд из расквартированного в Голштинии контингента. Якобы немало было взято наймитов, однако главарю, который как раз и был тем убиенным якобы царем из Киля, удалось бежать и скрыться в балтийских плавнях.

Пруссия, раздраженная газетными слухами, послала ноту герцогу Мекленбургскому. Тот в ответ объявил сбор всех дворян с отрядами рейтаров. Гданьск выдвинул войско к своим границам. Цвикау и Мозельянец уже дрались. Саксонцы колебались, куда послать крылатых гусар. Австрийская империя начала свой марширен от Зальцбурга до Будапешта. Сбор свеклы оборачивался то тут, то там

кровавым прибытком. Так началась первая из череды так называемых «вольтеровских войн».

Меж тем наши путники мирно катили среди пока что не вовлеченных в конфликт дюн Цвейг-Анштальга-и-Бреговины. Сосны приветно гудели под мирным бризом, под коим вообще-то и надлежало прожить всей человеческой расе. Солнце соглашательски согревало верхушки холмов, распространяя запах лаванды. Как бы хотелось, чтобы запахом сим пропитались разоружившиеся мужчины, так грезили чувственно сестры. Нужно всем девушкам нашего Просвещения вступить в заговор Лисистраты. Пусть не приходят к нам шевалье с запахом крови и пороховища, чтоб мы не дрожали за их сумасшедшие жизни.

Однажды весь поезд остановился на краю обрыва, чтобы полюбоваться светящейся Балтикой. Далеко в море экспедианты узрели огромный корабль, который отдалялся от земли под верхними парусами. Как хорошо возвращаться на родину, вздохнули курфюрстиночки Цвейг-Анштальтские-и-Бреговинские Клаудия и Фиокла. Такие феномены одновременной мысли — нередкая оказия у близнецов. Однако и оба шевалье одновременно вздохнули, не будучи близнецами. Хоть бы сей навир над маманами нашими в графстве Рязанском прошел, хоть бы как облачное виденье.

Оставался всего лишь один день пути до порта Свиное Мундо, где как раз вот этот самый корабль должен был взять их на борт для доставки на остров Оттец.

После многодневной трепки «Не тронь меня!» вступил в зону сплошной идиллии. Корабль перестал угрожающе трещать, как будто его кто-то в одночасье смазал огромной дозой благотворного еля. Свирепая стихия сама как бы приняла некую льстивую маслянистость; колыхалась приятно. Главенствующее светило, пользуясь свойствами балтийских широт, почти не покидало небосвода; щедрость лучей превосходила мечтания. Экипаж деловито сушил все, что намокло за дни конфронтаций, штопал порванные паруса, стучал молотками, скрепляя поломанное.

Командир корабля, коммодор Вертиго Фома Андреевич, пользуясь благоприятными обстоятельствами, даже устроил учение канониров и смотр абордажной роты. «Научный специалист» лейтенант-коммодор, барон Фон-Фигин Федор Августович, сидя на капитанском мостике, с удовольствием наблюдал четкие движения артиллерийских команд верхней палубы, откаты пушек, подкаты ядер, подкаты пушек, открытия пушечных портов. Нижние ярусы, конечно, были сокрыты от глаз, однако легко было представить, как грозно преображался корабль, являя по полсотне коронад с каждого борту. В равной степени познавательно и приятно было наблюдать всяческие перестроения и мнимые стычки молодцов абордажной — а стало быть, и супротив-абордажной — роты с их короткими мушкетонами, заряженными картечью, с пиками, палашами и топориками.

Молодой человек понимал, что, устраивая сии маневры, капитан в первую голову ласкается впечатлить посланника Императрицы, донести до Нея картину мощности Ея флота, о коем недавно зlostные

языки пустили сплетню: де, «не умеют ходить в линию», а также явить и картины воинской ревности российских морских людей. Что ж, сомнений не представлялось: флот неизбежно пойдет в линию за таким флагманом, а Вертиго заслужил представления в адмиралы, Анну на шею, а может быть, и придворное титуло.

Завершив упражнения, Вертиго присоединялся к Фон-Фигину для совместного отдохновения. Им подавали голландского рому с аглицким хинным напитком, извлеченным из индусского корня. «Милое дело, ваша честь, от малярийного комара, — советовал старый моряк. — На здешних островах об эту пору года кружат знатные твари, нацеливаясь на моряков, как на свежую поживу».

Он показывал, не столь длинным пальцем, сколь длинным подбородком, выпирающим из головы, как полуостров Корнуэлл выпирает из Англии, на проходящие мимо лиловые шкурки плоских датских островов и на кружащего над треуголкой Фон-Фигина ногостого инсекта с очевидно нацеленным на младую щеку, не сильно балованную бритвою, своим ненасытным клювом.

«Ах Боже мой! — вскричал лейтенант-коммодор, отмахиваясь. — Вечно всякая тварь ко мне прилепится, а я и не замечаю!»

«А вы в него дуньте хиной! — посоветовал капитан. — Тогда и отстанет!»

Совет помог: отведав хинной струи, малярийный агент улетел, оскорбленный в неведомых чувствах.

«Я вижу, Фома Андреевич, вы вельми сведущи в здешних местностях», — поприятствовал капитану молодой человек.

«Сии шхеры, Федор Августович, когда-то мнились мне дорогой славы, токмо привели в трясину огорченности», — отвечивал со вздохом капитан.

«Что так?»

«Если угодно, расскажу. Лет пять, кажется, назад, то есть еще при Елизавете Петровне... — Тут Вертиго заметил, как крошечный комарик неудовольствия (раз в десять меньше вышеупомянутого) промелькнул по приятному овалу молодого человека и исчез в заушных просторах; он тут же подправил упоминание предшественницы: — Полагаю, помните те времена. Все государственные дела в забросе — как вдруг объявляют войну Дании и вашего покорного слугу отправляют с отрядом кораблей вот именно к сиим шхерам для обеспечения высадки войск. Меньше всего, милостивый государь, мне хотелось воевать со столь гуманитарной нацией, тем паче что в молодые годы обучался там кораблевождению, да и супругу себе там снискал доброго датского роду. Однако приказ есть приказ, и мы в назначенный срок подступили к театру военных действий. Едва там началась высадка, как от союзников мы узнали, что к острову Оттец, вот как раз к тому самому, к коему в сей момент движемся, выдвигается эскадра адмирала Далгорда из трех линкоров и двух фрегатов с намерением нашей высадке воспрепятствовать. В моем отряде было всего три корабля с общим числом сто девяносто пушек, но я решил нашей высадке споспешествовать, то есть дать бой достопочтенному Далгорду, с коим мы в юные годы выпили немало преотменнейшего датского пива. Задуман был нами хитроумный план, коим по сию пору горжусь и тужу, что не осуществился. В разгаре артиллерийского боя из-за острова должны были

выскочить самые быстроходные из наших транспортных галер, «Стриж», «Дрозд», «Кулик», «Соловей», «Дятел», «Ворона» и «Фазан», каждая с тремя пушечками на носу и с отрядом отборных гренадер на куршеях и тем паче с их убийственными шипронами (таранами). Под прикрытием наших залпов они должны были ринуться на abordаж. Вот тут-то и случился бы новый Гангут, на этот раз для любезных датчан. Ах, драгоценный мой Федор Августович, говорю это вам сейчас только потому, что вы сильно впечатлили меня безупречным своим куражом во время нашего трудного плаванья. Весь тот день я трепетал воинским пылом, потому что чувствовал близость победы. Все тридцать два ветра в то утро давали нам над датчанами преимущество маневра. Первым же залпом мы сбили грот на их флагмане «Гюльдендаль». Вот-вот должна была выскочить из-за скал наша птичья стая, когда с берега, с бастиона того самого замка Доттеринк-Моттеринк, к которому мы сейчас направляемся, поднялись три цветных шутихи и замахали флагами: прибыл гонец, объявлено перемирие! Грешный я человек, раб воинского тщеславия: вместо того чтобы возрадоваться миру, я был готов вздернуть тех гонцов на рее «Не тронь меня!». И только спустя несколько часов, когда разразился самый уничтожительный шторм в моей морской жизни, я понял всю тщету наших великих военных деяний. Но на этом я, пожалуй, завершу свою притчу».

«Нет уж, батюшка Фома Андреевич, извольте уж рассказать и об уничтожительном шторме!» Изящной рукою, но с достаточной силой молодой человек пожал капитаново запястье. Похоже, что волнение старого моряка распространилось и на секретного посланника.

«Ну что ж, ваша честь, если уж вы так вникаете в морские дела на пути к вашему поприщу, извольте. В ту навигацию в лощиях моих еще не фигурировало то, что за цепочкой маленьких островов, как раз к западу от косы, на коей зиждется замок, имеется округлая полноводная бухта, где может укрыться даже такой большой корабль, как «Не тронь меня!» Ея Величества. Тогда, к исходу дня — эскадры уже заканчивали маневры разъединения, — вдруг одним махом задул неистовый и зловещий, будто из Валгаллы, стрик-востока, как говорят беломорцы. Волны шли на нас, как гигантические стены, а разбиваясь о близкие скалы, они творили в кромешной мгле сущее беснование. Больше всего я опасался налететь всей нашей массой на другой корабль, хоть свой, хоть вражеский. Все смешалось. Вдруг на короткое время в небе заплясала полная сверкающая луна, и в ее свете промелькнул, будто маслом писанный пейзаж, вид мира Божьего с пологими холмами близких островков, с датскими кирхами, будто умоляющими Господа спасти несущийся в прорву корабль, и — о Святой Николай Угодник! — с промелками округлой водной гладкости. Такие окна среди бешеных стихий случаются в изрезанных шхерах, однако достичь их, Федор Августович, значит, играть с неминуемой гибелью, тем паче что матросы лежат на палубе, цепляясь за все, что еще не разрушено. Палкой, ваша честь, я гнал людей в ту ночь на мачты! Потеряв, почитай, все паруса, «Не тронь» умудрился совершить крутой поворот, пройти в полусотне саженой от губительных скал, кои сами, казалось, выли в тучах брызг, и оказаться в бухте. Там встали на якорь, после чего всеми бортовыми чело-веками бухнулись на колена, и наш корабельный

отец Евтихий сотворил страстный молебен. Вместе со всеми я благодарил Господа за чудодейственное спасение, но молча молил еще и простить меня за недавнюю воинственную тщету».

Закончив рассказ, капитан отвернул голову, лоб его был спокоен, но подбородок слегка подрагивал. После некоторого молчания Фон-Фигин произнес с неожиданной суровостью: «Се не тщета вас вела, мой друг, а долг перед родиной. А Господь отвечает тем, кто дело свое творит со сноровкой и тщанием. Вникни, российский мореход, в разницу между тщетой и тщанием». Эва, подумал тут коммодор, это не трутень мне тут внимал, а лицо поистине государственное.

Корабль меж тем скользил под мерцающими медлительными небесами по светящимся медлительным водам. На баке несколько матросов запели поморскую песню. Вертиго гордился тем, что набрал костяк своего экипажа в Граде Архангелов. Фон-Фигин заметил, что с одним из этих поморов повадился прогуливаться его розовощекий унтер Упрямец. Вот даже в песню поморскую смело включился тенором звонким.

«Что же, Фома Андреевич, вот-вот подойдем к острову Оттец?» — спросил он не без некоторого внутреннего волнения.

«Прежде, Федор Августович, мы должны в порту Свиное Мундо забрать вашего дискусанта, — отвечив моряк со значением. — Он, должно быть, уже туда прибыл».

Сердце Фон-Фигина резво пробежалось по всему телу. «Неужто, коммодор, вы так просто речете о Вольтере, неужто он уже прибыл?»

«Отчего же нет? — улыбнулся Вертиго. — Чего ему не прибыть? Я слышал, что сам генерал Афси-

омский занят его прибытием». Откланявшись, он перешел к рулевому для производства поворота к югу.

С пирсов Свиного Мундо толпа горожан и всякого пришлого сброда смотрела на вхождение в канал большого русского корабля. Не доходя до пирсов, он встал на якорь. Почти сразу с борта был спущен вельбот. Через несколько минут загорелые, гладко выбритые гребцы подогнули вельбот в один из рукавов большого канала и далее — в шлюз. Весла были подняты, ворота шлюза закрылись, вода стала подыматься. Зеваки, коих стража отогнала на несколько сажений от края, все же могли заметить, что главной персоной всего действия был изрядно молодой, то есть все же не первой молодости, офицер, одетый не совсем по уставу. В частности, лицо его было прикрыто носатой венецианской маскою, что придавало всему этому позднему вечеру какую-то тревогу.

«Эти русские, — ворчали в толпе. — Какого черта они нам морочат головы? Они совсем не такие странные, какими представляются». И в этом сходились и немцы, и датчане, и поляки.

Персону встречал у шлюза какой-то расфуфыренный до возмутительности вельможа, окруженный чинами стоящего в Свином Мундо российско-го гарнизона. Молодой человек скакнул на твердую землю, сбросил маску, явив вполне приятное и светлое лицо, и раскрыл вельможе свои объятия. В толпе услышали первую произнесенную фразу: «Се туа, мон ами Ксенопонт, же сюи з ерё де тэ вуар!» Потом все вокруг заговорили, и ничего уже нельзя было

разобрать. «И какого черта их бояре все время говорят по-французски? — ворчали в толпе. — Какими, видите ли, стали образованными! Раньше как плюнет губищами «эппенопля!» — и все ясно, а сейчас что-то бормочут изысканное, будто и не русские...»

На сем спектакль еще не окончился. Послышалось цоканье многих копыт. К шлюзу в окружении всадников приблизилась карета. Она еще не остановилась, когда отворилась дверца и на ступеньку шагнул некто весьма худощавый, в сумерках не поймешь, старец или унец, в белом, будто бы светящемся паричке. Русские вокруг подбросили в воздух шляпы. В толпе решили, что происходит самая настоящая «политикум», и зашумели на разные голоса. Один субъект, правда, не проронил ни слова. Прикрывшись крылом плаща, будто пытаясь скрыть какой-никакой изъян лица, он не отрываясь смотрел на молодого офицера. Так вот это кто! — думал он с ненавистью такой сильной, что ее можно было бы сравнить с невтоническим притяжением планет.

Глава четвертая,

дающая Вольтеру возможность прочесть отрывки из «Трактата о толерантности», кавалеру Террано совершить грехопадение, а высшим офицерам обсудить феномен «Духливого Казуса»

Перед тем как приступить к описанию встреч в замке Доттеринк-Моттеринк, нам кажется, будет уместно привести здесь кое-какие выдержки из крытого сафьяном писательского альбома генерал-аншефа Афсиомского. Делаем мы это не для продвижения сюжета, а токмо стилистической корысти для. В сиих записях, произведенных великолепнейшим почерком на отменнейшей бумаге «верже», нынешний читатель, надеемся, найдет наиглавнейший источник влияния, отразившегося и на наших страницах. Нам кажется, что и сам граф в этом своем альбоме был озабочен главным образом тем, что мы сейчас называем «поисками интонации», то есть стиля. Покажется смешным, но мы выражаем ему за это нашу наичувствительнейшую благодарность. Итак, *allons, allons, donc allons!*

На первой странице мы находим не что иное, как классическую цитату, явно припасенную для эпитафия:

«Да будет сіе правиломъ жизни моею!» (Гораций)

Нам остается только догадываться, что сие означает. Переворотив всего Горация, мы не нашли ответа.

Далее следуют обрывочные записи графа:

«Душа моя прежде не вкушала тех сладостных минут искры истины, кои я стал испытывать, предаваясь упражнениям в начертании чувствований».

«Щастливъ тот, кто воздвигается на вершину спокойных горы поверх суетных предразсуждений».

«Естьли справедливо говорит Ж. Ж. Руссо, а сей сочинитель пишет изрядно, чувствования наши основаны на справедливости».

Здесь и во многих других местах далее граф почему-то употребляет слово «справедливость» в значении «действительность».

«Истина напояет сердце сочинителя, а истина справедлива даже в подробностях».

«Истина», стало быть, не абстрактна, а реальна даже и в деталях.

Сие замечание, как нам кажется, относится к числу поистине зернистых истин; вот так мы в этом месте и заталдычиваемся.

Далее из альбома:

«Бедный земледелец влачит свои простые природы, пока высокоумственный Гражданин жаждет свободных наукъ, умягчающих пристрастные движения искаженного сердца».

«Уже оставляю вас, сумрачные храмины, и душа моя упоевается тайным услаждением вольности, коя

прохаживается тихими стопами посередь бескрайних дубрав всемирной родины».

Говоря о «сумрачных храминах», граф всякий раз имеет в виду церкви, где душа не освобождается, а закабаляется вопреки идеалу.

«Вон там тысяща насекомых в мураве совместно с птичьим и животным миром творят нежные приятности любви, вон там и другиня соловья поет по своему произволению при звуке гремушек...»

Трудно сказать, какие «гремушки» имеет в виду Ксенопонт Петропавлович; прислушиваясь к природе, мы никаких «гремушек» в ней не нашли, если только это не были какие-нибудь пузыри, наполненные сухим горохом, коими издавна услаждают свой — и коровий — слух пастухи балтийских низин.

«...в то время как человек, мучитель животных, изъясляет ядовитое дыхание жадности».

«Жадность сия противостоит любой благоуспешной работе, она озлобляется и над мертвыми трупами».

«Там увидит Ксенофонт Василиск хижину молодой четы Люциуса и Милены, кои лишь вчера совокупились приятным союзом брака. Он имеет от роду 17 толико лет и откровенный вид лица с кругловидными ланитами. А вокруг новобрачных шумит своими листьями природа, пекущаяся лишь о доставлении приятностей».

«Но чу, не пройдет и году, как рука Люциуса падет на землю подобно члену, лишенному жизни. И Миле-

*на уж не подьемлет очи свои благонравные выспрь.
Так и лежат они у ручья, изнуренные болезненным
чувством глада».*

Как мы видим эти некоторые примеры из писательского альбома графа Рязанского указывают на то, что он в те дни немало был увлечен сочинениями Жан-Жака Руссо, что и отразилось в некоторых главах его опуса «Новая Семирамида, или Путешествие Василиска». Недаром рядом с именем Руссо косо приводится цитата неизвестно откуда, если не из собственных соображений: «О, россы, вам не запрещают великих гениев читать!» В то же время и, очевидно, прежде всего он творил так называемые пробы пера и слога. Русский литературный язык в те времена еще не дождался Пушкина и порядком изнывал от собственной тяжеловесности и громоздкости. Недаром вопрос слога был поднят Фон-Визиним в его уникальном интервью с Императрицей.

«От чего, — спрашивает драматург другого драматурга, то есть Государыню, — в Европе весьма ограниченный человек в состоянии написать письмо вразумительное, и от чего у нас часто преострые люди пишут безтолково?»

Она отвечает: «От того, что там, учась слогу, одинаково (очевидно, в смысле стилистически грамотно) пишут; у нас же всяк мысли свои, не учась, на бумагу кладет».

Интересно, что по ходу распространения просвещения в российской литературе возникал весьма своеобразный стиль, который кое-что приобрел и от той неучености, возникло то, что впоследствии критиками-формалистами начала XX века было названо «сказ». В тот век, в который мы сейчас встраиваем

наш роман, русский человек учился у Европы всему, даже походке, но учился на свой манер. Екатерина, кажется, это понимала и придавала всем этим, казалось бы, мелочам большое значение. Так, в том же интервью с Фон-Визиным она говорит: «Сравнение прежнихъ времянь с нынѣшними покажетъ несомнѣнно, колико души ободрены либо упали; самая наружность, походка и прочее то уже оказываетъ».

Граф Рязанский был явственно ободрен временами нынешними, что было видно и из его наружности, и из его походки на тонких красных каблучках, пристрастие к коим давало иным его друзьям право дразнить его «персидским шахом» (чей портрет на тонких, будто бы дамских, каблучках мы и сейчас можем увидеть в персидском отделе Лувра), а посему мы считаем нужным начать новую главу полностью в его слоге.

Сказ наш прохаживается нынче тихими стопами посреди множественной справедливости, в коей зиждется замок гостеприимства, а в отдалении многопушечный корабль рачит покой и сохранность опекуемых. Ночь простирается над островом Оттец, и в оной ноши на балконе романском трио виольное ёмко, с пафусом LA NOTTA волшебную извлекает из мирового исходища с помощью нот синьора Вивальди, и всякое сущее замирает в щекотаньи зефириков, когда те приносят с приятностью услаждающие ароматы.

Далее от изысков слога мы переходим к суровой необходимости вести повествование. Первую беседу по предложению Вольтера решено было провести за ужином на террасе. Накрыт был круглый стол, в сердцевине коего разместились изящная клумба из парниковых камелий и натуральных лилий, лишь слегка папахивающих лягушками. К птичьему фрикасе подавались тончайшие вина, в том числе датский сидр, настоящий на ютландской свекле. Философ, отоспавшийся за день и умашенный преданными руками Лоншана и Ваньера, теперь являл собой всю остроту галльского смысла вкупе с безупречностью салонного туалета. Федор Фон-Фигин полдня провел в седле на спине великолепного Пуркуа-Па, одолженного ему юным Земсковым, скача по окрестным холмам и низинам. Признаться, после жидких стихий сия твердь вызывала в нем едва ли не ностальгический восторг. Сейчас, уже не в морском, а в мундире излюбленного Государыней Семеновского полка, он чувствовал себя бодрю и молоду, если не считать возникшей с отвычки натруженности седалища (не путать с исходищем). При каждом взгляде на своего собеседника он вспыхивал нескрываемым восторгом, и собеседник отвечал ему с искреннейшей любезностью, в коей лишь какие-нибудь чертенята могли обнаружить толику смешка. Вокруг стола присутствовали только персоны ближайшего круга: генерал Афсиомский с секретарями Дрожжининым и Зодиаковым, кавалеры Буало и Террано, принцессы земли Цвейг-Анштальтской-и-Бреговинской Клаудия и Фиокла, дамы цвейг-анштальтского двора Эвдокия Казимировна Брамсценбергер-Попово, баронесса Готторн, и графиня Марилора Эссенмусс-Горковато, а также сим-

вол непререкаемой надежности коммодор (без пяти минут адмирал) Вертиго Фома Андреевич.

Все были очень довольны приятственными зефирами, а также и тщательно подготовленным под зорким оком генерала меню, в котором фигурировали такие, например, изыски, как молочные польские поросята, нафаршированные осетровой каспийской икрой, или, наоборот, астраханские осетры с начинкой из страсбургской гусиной печени. Настроение было легкомысленное, все болтали и смеялись, как одержимые, в частности вспоминая «облискурацию» в Мекленбурге, где также царствовали близкие родственники Романовых, и все предполагали, что в таком ключе пройдет весь ужин — коммодор Вертиго даже надеялся пробиться с какой-нибудь морской историей, — однако же разговор неожиданно повернул к вельми сурьезным материям.

Барон Фон-Фигин (он оказался в данном случае субалтерн-адъютантом) поднял бокал со свекольно-пенящимся сидром: «Дорогой Вольтер, я не знаю, найду ли я в эти дни слова, чтобы передать восхищение, кое испытывает наша Государыня к вашему перу и к вашей неповторимой личности, сквозящей в каждой строке вашего каждого к ней письма. Я пью за вас и хочу сказать, что Российская империя всегда будет вашим надежным другом, истинно оплотом того, метафорически говоря, повествования, в коем мы, все присутствующие, с великой сурьезностью пребываем в роли исторических персонажей. Месье, позвольте мне также сказать, что наша Госудырыня полностью разделяет мнение просвещенных кругов, почитающих вас повсеместно как истинную совесть Европы. В этой связи она попросила меня начать наши беседы с «дела Каласа», о коем много сейчас

говорят при дворах государей, в дипломатических миссиях, в академиях и салонах, а также среди лиц духовного звания. Толки эти весьма разноречивы, и Государыня хотела бы, чтобы я передал ей рассказ человека, который сделал мелкого торговца из Тулузы знаменитым на весь мир».

Он замолчал, поставил бокал и опустил глаза. Произошла небольшая странноватая пауза, после чего он добавил: «Увы, посмертно». Последовала еще одна пауза, после чего он поднял глаза на Вольтера и повторил: «Увы, посмертно». Все заметили, что господин Фон-Фигин чрезвычайно взволнован. Курфюрстиночки, которые с первого же момента встречи были чрезвычайно впечатлены сравнительной молодостью посланника Императрицы, теперь оказались под впечатлением его чувствительности. Они, как, впрочем, и все остальные, не догадывались, что отнюдь не судьба «мелкого торговца из Тулузы» так взволновала господина Фон-Фигина. Правильно ли я начинаю наш диалог? — вот чем он был взволнован. Не сочтет ли Вольтер такое начало надуманным, неуместным, тяжеловесным? Впрочем, если я начинаю именно так, и тут он прямо посмотрел Вольтеру в светленькие глазки, это значит, что именно так и следует начать, потому что это Он а так хочет, чтобы мы именно с этого начали наши беседы.

Вольтер утвердительно кивнул. Он был единственным, кто угадал причину волнения Екатерининного «альтер эго». И он был весьма доволен таким началом. Что греха таить, увидев изящного молодца, он сначала подумал, что прислан очередной фаворит для развлечений на природе, а ему, великому Вольтеру, отведена будет роль развлекателя, едва ли не шута при сем франтоватом господине. И только сегодня

пополудни, увидев из окна въезжающего во двор замка на знакомом жеребце Фон-Фигина, он преисполнился к нему каким-то еще непонятным благоговением. Тот, кто спит с повелительницей миллионов, становится частью Ее Величества, не так ли? Теперешний вопрос о «деле Каласа» подтвердил его предположение: этот сразу поворачивает все свои «вакации» в единственно правильное русло. Подданные могут веселиться и предаваться юмору, но лишь властелины и независимые, сиречь философы, должны даже и сквозь юмор понимать трагедию жизни.

«Что ж, мой друг, — обратился он к Фон-Фигину, и тот весь вспыхнул радостью от этого столь верно найденного обращения: ведь, говоря «мой друг», Вольтер одновременно обращается и к нему, офицеру Фон-Фигину, и к Государыне, и, кроме освобождения от субординации, слово «друг» можно равно адресовать как особам мужеского, так и женственного пола! — Что ж, извольте, мой друг, я начну с этой равно печальной и душераздирающей истории. Я весьма впечатлен, что именно ее мадам предложила для начала наших бесед. Это лишний раз говорит о серьезности и значительности ее ума». Он попросил принести кофе и начал свой рассказ. Передаем его по записям Лоншана и Ваньера, а также секретарей Афсиомского, господ Дрожжинина и Зодиакова, несмотря на серьезные нелады оных с русским синтаксисом.

Жан Калас принадлежал к небольшой группе гугенотов-кальвинистов, то есть протестантов, уцелевших в Тулузе после столетий преследований, конфискации собственности и насильственного обращения в католиков. Закон Франции не только лишал про-

тестантов права работать в общественных службах, он объявлял их неправомочными и во многих других областях; они не могли быть юристами, врачами, аптекарями, повивальными бабками, продавцами книг, ювелирами или бакалейщиками. Иными словами, не будучи крещеными, они лишались каких бы то ни было гражданских прав. Не обвенчавшись с помощью католического священника, они оставляли своих супругов на всю жизнь в роли наложниц, а дети их считались незаконными. Протестантская служба была запрещена. Мужчин, обнаруженных на этих ритуалах, отправляли на пожизненную каторгу, женщин в тюрьму, священника, проводившего службу, казнили. Закон этот не очень-то соблюдался в Париже, однако чем дальше от столицы, тем суровее он исполнялся.

В Южной Франции религиозная ненависть была особенно горяча. Еще не остыла память об обоюдных злодеяниях прошлого. В Тулузе в 1562 году победоносные католики перебили три тысячи гугенотов, а парламент города осудил еще двести на пытки и смерть.

В этом месте Вольтер сделал паузу, поставил на стол чашку с кофе и вдруг загремел, как мощный колокол: «В 1562 году! Двести лет назад! Всего лишь двести лет назад, мой друг!» Стол задрожал и украсился пятнами от напитков. Вольтер извинился, допил то, что осталось от кофе, и продолжил.

Каждый год католики Тулузы отмечали это избиение благодарственными церемониями и религиозной процессией. Они несли череп первого еписко-

па Тулузы, кусок одеяния Девы и кости детей, убитых царем Иродом во время «избиения младенцев». К несчастью для Каласа, приближающийся год был двухсотлетним юбилеем славных побед.

В парламенте Тулузы заправляли янсенисты, то есть католики с сильным влиянием кальвинистской суровости и мрака. Они не упускали ни одного шанса доказать свою католическую несгибаемость, превосходящую оную у иезуитов. То и дело они выносили смертные приговоры гугенотам.

Беспристрастности ради следует сказать, что сами кальвинисты были не меньшими фанатиками. Учение Кальвина, например, считало допустимым убийство отцом сына за непослушание. Кальвин, впрочем, ссылаясь на Евангелие от Матвея, а ведь последний считал, что окончательное решение с подачи отца должно выносить собрание старейшин. Возбужденные же католики юга полагали, что гугеноты за неимением совета старейшин берут закон в свои руки. Вот на таком фоне и разгорелось дело Жана Каласа.

Он торговал постельным бельем и имел лавку на главной улице Тулузы, в которой обитал уже сорок лет. Они с женой прижили четырех сыновей и двух дочерей. Детей воспитывала гувернантка Жанна Виньер, католичка. Она жила в семье уже тридцать лет, несмотря на то что обратила одного из сыновей, Луи, в католичество. Старший сын, Марк Антуан, изучал право. Он старался скрыть семейное протестантство и добыл сертификат о своем католичестве. Обман был раскрыт, и теперь перед ним был только один выбор: либо отречься от протестантства, либо потерять все годы, которые он потратил на изучение права. Он помрачнел, начал играть в

карты и пить. Нередко декламировал монолог Гамлета о самоубийстве.

13 октября 1761 года семья собралась на ужин в честь друга, приехавшего из Бордо. После еды Марк Антуан спустился в лавку. Спустя некоторое время его нашли там висящим в петле. Его пытались вернуть к жизни, но вызванный доктор установил смерть.

Вот тут отец совершил трагическую ошибку. Он знал, что по закону самоубийца должен быть голым протянут на веревке по улицам, забросан камнями и грязью и, наконец, повешен...

«По закону! Вы слышите, по закону!» — снова закричал Вольтер, но уже не колоколом, а каким-то петушиным, вдребезги несчастным голосом.

Отец стал умолять и убеждать семью, что надо представить дело как смерть, вызванную какой-либо естественной причиной. Между тем крики братьев и прибытие доктора уже привлекли к дверям лавки целую толпу. Прибыл офицер полиции, осмотрел труп, увидел следы на шее и нашел веревку. Все члены семьи, гость и Жанна Виньер были отправлены в городскую управу и разведены по камерам-одиночкам. На следующий день все были допрошены. Все отрицали естественную смерть и свидетельствовали самоубийство. Комендант полиции отказался им верить и обвинил их в убийстве Марка Антуана с целью предотвратить его переход в католичество. Обвинение это было принято населением и многи-

ми членами тулузского парламента. Безумное чувство мести охватило народ.

Здесь Вольтер стал чихать и закрылся платком. Тут неожиданно высказался Мишель: «Вот говорят, что народ всегда прав, а ведь часто получается наоборот». Вольтер высунул глаз из платка и внимательно им ощупал молодого офицера. Фон-Фигин милостиво улыбнулся. Все остальные переглянулись, как бы говоря: вот так вьюнош!

Как раз на сей сюжет и Вольтер хотел высказаться. «Эти обвинения кажутся нам дикими, — сказал он, — потому что мы мыслим как индивидуумы, в то время как народ Тулузы все это воспринимал как масса, а масса может чувствовать, но не может мыслить. Вам это понятно, барышни?»

Курфюрстиночки закивали: «Мы давно об этом думали, мэтр Вольтер, однако наше происхождение не давало нам высказаться».

«Бедные ваши высочества», — улыбнулся им генерал Афсиомский. Глядя на очаровательных двойняшек, он всегда старался настроиться на отеческий лад, но не всегда у него это получалось.

«А почему меня никто ни о чем не спрашивает? — надменственно протянул кавалер де Буало, альяс Коля. — Я вот, пар экзампль, считаю, что, ежели каждый начнет мыслить, надо будет распускать армию».

«На корабле народ вообще-то мыслит сам по себе, вследствие несговорчивости океана», — робко тут встрял коммодор Вертиго.

«Браво, Фома Андреевич!» — воскликнул Фон-Фигин, и все опять обратились в слушателей.

Дело семьи Калас слушалось в муниципальном суде Тулузы, в то время как в церквях прославляли мученика Марка Антуана Каласа. Двенадцать судей заслушали свидетелей, из коих главным оказался соседский парикмахер, якобы слышавший, как мученик возопил: «О, БОЖЕ МОЙ, они меня душат!» Нашлись и другие, что слышали этот крик. 10 ноября 1761 года суд признал Жана Каласа, его жену и сына Пьера виновными в убийстве и приговорил их к повешенью. Гостя, месье Лявэсса, осудили на ка-торгу, а гувернантку Жанну Виньер отправили на пять лет в тюрьму. До самого конца она клялась в том, что ее протестантские хозяева невиновны.

Апелляцию послали в парламент Тулузы, и тот назначил панель из тринадцати судей. Заслушено было еще шестьдесят три свидетеля. Все они говорили понаслышке. В конце концов осужден был только отец. Никто не смог объяснить, как шестидесятичетырехлетний человек без посторонней помощи мог одолеть и задушить своего великовозрастного сына. Суд надеялся, что Калас признается под пыткой. Сначала был назначен *question ordinaire*. Его растягивали на дыбе, пока руки и ноги не вышли из суставов. Он упорно повторял, что Марк Антуан совершил самоубийство. После получасового отдыха приступили к *question extraordinaire*. В глотку ему

влили пятнадцать пинт воды, тело раздулось вдвое, но он по-прежнему настаивал на своей невинности. Тогда ему разрешили извергнуть воду. Его привезли на городскую площадь и положили на крест. Палач одиннадцатью ударами железной палкой переломал ему все конечности в двух местах. Взывая к Иисусу, старик настаивал на своей невинности. После двух часов агонии его задушили. Тело привязали к столбу и сожгли. Это произошло 10 марта 1762 года.

«Два года назад, господа! — дрожащим гласом воззвал Вольтер и, подумав, отшвырнул от себя салфетку. — Впрочем, два года или двести лет, какая разница?!»

Мне шел тогда шестьдесят восьмой год, вспомнил Вольтер. Я разделся и стоял перед зеркалом. Смотрел на свои маломощные члены. Одиннадцать ударов железной дубиной. Почему понадобилось нечетное число ударов? Плоть моя, иль ты приснилась мне? Я падаю, как мешок, но умираю не сразу, жду, когда задушат. Почему они не сразу это делают? Может быть, подсознательно имитируют адские муки, что испытывает душа, выбираясь из трупя?

Вокруг стола все молчали, не решаясь нарушить молчание Вольтера. Правой ладонью он сделал себе крышечку над бровями, и ему казалось, что он прячется весь под этой крышечкой. Левая ладонь держалась на столе, как будто признаваясь под пыткой, что Вольтер взялся за «дело Каласа» лишь потому, что ему жалко стало своего собственного старого

тела, столь беззащитного в мире бесчестия и лицемерия. Один из фернейских чертей, Лёфрукк, уже прибыл. Он сидел в углу зала в виде совы и изображал беспристрастность. Тут кто-то мелькнул, закрыв на мгновение своим глазом все окна дворца.

«Может быть, на том закончим?» — устами Фон-Фигина как бы спросила сама Екатерина. «Нет-нет, нужно продолжить и завершить», — и мэтр Вольтер вышел из-под своей правой ладони.

Остальные узники были выпущены из заточения. Вся собственность Каласов была конфискована государством. Вдова и сын Пьер уползли в заброшенную горную деревушку. Две дочери были отправлены в два разных монастыря. Сын Донат сбежал в Швейцарию. Здесь его отыскал Вольтер и пригласил в свое поместье. «Скажи, Донат, склонны ли были твои родители к насилию?» — спросил он. Донат ответил, что они никогда не били своих детей. Не было родителей более нежных и снисходительных к своим чадам.

Вольтер связался с вдовой в том смысле, что написал ей письмо. Она ответила ему письмом настолько искренним, что он решил действовать. Он обратился к кардиналу де Берни, к Даржанталю, к герцогине Данвиль, маркизе де Николя, герцогу де Вилару, герцогу де Ришелье, он молил королевских министров Шуазеля и Сен-Флорентена распорядиться о расследовании этого суда. Он взял Доната Каласа в свою семью, привез Пьера Каласа в Женеву, убедил мадам Калас отправиться в Париж и быть там на случай начала расследования. Он об-

рашался к адвокатам по поводу юридических заказов дела. Он опубликовал памфлет «Исходный документ, касающийся смерти достопочтенного г-на Каласа», что стало началом целой серии публикаций. Он обращался к другим авторам с надеждой обратить их перья на пробуждение совести в Европе. Вот что он написал Дамилавилу: «Кричите вы, и пусть другие кричат! Кричите в поддержку семьи Калас и против фанатизма!» Он взывал к Д'Аламберу: «Подними свой голос, вопи за семью Калас и против фанатизма, ибо именно проклятый L'Infame породил эту беду!» Он оплачивал все расходы кампании, но для ее расширения обратился за помощью к великим мира сего. Пожертвования пришли от английской королевы, от короля Польши, от императрицы России...

В этом месте посланник Фон-Фигин, открыв свой бювар, произнес деловым тоном: «Мне поручено вам передать, мэтр, что теперь размер жертвований с российской стороны будет существенно увеличен».

Рассказ продолжался. Выдающийся парижский адвокат Эли де Бомон согласился безвозмездно подготовить дело для презентации в Государственном совете. Дочери Каласа были перевезены в Париж для воссоединения с матерью. В марте 1763 года мадам Калас и дочери получили аудиенцию у королевских министров. Вердикт был единогласным: дело следует пересмотреть. Из Тулузы были затребованы все соответствующие документы.

В этом месте снова возникла передышка. Подали замороженные сливки со свежими стручками сладкого гороха. Вольтер взялся за это датское новшество с большим интересом и даже немного измазлся в углах рта и в закрыльях носа. «Вот видите, ваши сиятельства, — обратился он к курфюрстиночкам, — на что способна старая лиса, когда в ней закипает благородное негодование!»

Тут Николай Лесков воскликнул как бы со всей страстью гвардейской юности: «Да вы просто чудодей, мэтр Вольтер! Как ловко вам удалось использовать ваши великосветские связи! Ведь эти связи стоят миллионы пиастров, пиастров, пиастров!»

Общество слегка поежилось: юношеский пыл в перерасчете на пиастры показался кумпании несообразным с темой беседы и разменом чувств. Все слегка отвернулись от кавалера, а посланник Фон-Фигин даже углубился в свой бювар, начав там тонким пером рисовать какое-то подобие датского комара. Сие отклонение было вельми важным для Николая, ибо он жаждал произвести на государственного человека наипаче сурьезное впечатление. Слегка побледнев, он тут же переменял направление: «А вы, мэтр Вольтер, употребили все эти пиастры, пиастры, пиастры на дело сущего благородства, на оборону униженных фанатиков от фанатиков властных!» Фон-Фигин, видимо весьма довольный своим комаром, поднял на уношу глаза и слегка улыбнулся. Вольтер же просто-напросто подмигнул честолюбцу сразу обоими глазами.

Магистры Тулузы находили сотни приемов для проволочек с отправкой бумаг в столицу. Прошлым летом Вольтер написал и разослал свой эпохальный

«Трактат о толерантности». Для придачи ему большей доходчивости он прибегнул к удивительно умеренному тону. Прикрыв свое авторство, он высказывался, как некий набожный христианин, верующий в бессмертие. Он восхвалял епископов Франции как «джентльменов врожденного благородства». Он притворялся, что разделяет принцип «Вне церкви нет спасения». Трактат был заведомо адресован не философам, а духовенству. Впрочем, время от времени, забывшись, он срывался на свой прежний вызывающий тон.

Обозревая развитие толерантности, он преувеличивал достижения Греции и Рима. Римские преследования христиан, писал он, были неизмеримо превзойдены христианским преследованием еретиков, которых вешали, топили, ломали на дыбах и сжигали во имя любви к Богу. Он защищал Реформацию как оправданный бунт против торговли папскими индульгенциями, в то время как папа Александр VI позорил себя своими амурами и убийствами, совершенными его сыном Цезарем Борджиа. Он выражал крайнее возмущение недавними попытками оправдать Варфоломеевскую ночь. Он допускал, что и протестанты были нетерпимы, но все-таки он призывал признать это вероисповедание и разрешить высланным гугенотам вернуться.

Здесь снова возникла пауза. Вольтер нашел глазами своего верного Лоншана и что-то сказал ему мановением правого указательного пальца. Старик Лоншан склонился к молодому Ваньеру и что-то прошептал тому то ли в правое, то ли в левое ухо; в зави-

симости от того, как сидит читатель. Только востроухие курфюрстиночки уловили шепот француза, даром что сидели по другую сторону большого стола. «Под теплыми подгузниками, над томиком Плутарха» — так звучала загадочная фраза. Ваньер, извинившись, зашагал к лестнице наверх. К его шагам наверху присоединилась какая-то звуковая дребедень, сродни козлиным копытцам. Не прошло и нескольких минут, как в залу ворвалась толпишка датских поварят в деревянных башмаках. Они несли приказанную Вольтером книгу, «Трактат о толерантности».

Как он мудр, растроганно подумал тут Фон-Фигин. Он взял ее с собой! Он знал, что она нам понадобится!

Вольтер безошибочно открыл книгу там, где надо, как будто палец был для него всегдашней закладкой. «Простите, дамы и господа, я волнуюсь и не вижу ничего лучшего, как прочитать отсюда два пассажа вслух». Они не отрывают от меня глаз, думал он, и их глаза лучатся, как лучшие брильянты в венце Семирамиды. Ей-ей, она не придумала бы ничего лучшего, чем прислать сюда этого Фон-Фигина! Он обладает каким-то магнетизмом. Эмили дю Шатле увела бы его отсюда прямо к себе в спальню! Он начал читать первый пассаж:

«Засим я предлагаю, чтобы каждый гражданин был бы свободен следовать своему собственному соображению, если, конечно, оно не нарушает общественного порядка... Если вы настаиваете на том, что непринадлежность к доминирующей религии является преступлением, вы обвиняете своих праотцов, первых христиан, и вы оправдываете тех, кого вы сейчас решительно отвергаете как язычников... При наказании граждан за совершен-

ные ошибки правительству необходимо знать, что эти ошибки носили форму преступления. Они не могут считаться преступлением, пока они не нарушают общественного порядка. Фанатизм нарушает общественный порядок и становится преступлением. Следовательно, мы должны избегать фанатизма и способствовать терпимости».

Пассаж второй: «Мой Бог! — воскликнул Вольтер, но не воздел очи горé, а огляделся вокруг и даже как бы заглянул за открытое окно на террасу. — Ты дал нам сердца не для того, чтобы ненавидеть друг друга, а руки не для того, чтобы убивать. Даруй нам силу помогать друг другу, чтобы преодолеть ношу этой болезненной и ускользающей жизни! Пусть не будут мелкие различия в одежде, что покрывает наши бранные тела, или в способах выражения мыслей, или какие-нибудь смешные обычаи и несовершенные законы, иными словами, легкие вариации атомов, именуемых людьми, пусть не будут они использованы нами как призывы к взаимной ненависти и преследованию!.. Пусть люди помнят, что они братья!»

Он положил книгу. Руки его тряслись, а один палец даже попал в вазочку с уже растаявшими сливками. У главного собеседника в глазах стояли слезы. Он не открывал рта, будто боялся не совладать с голосом. Пальцы пытались нащупать крючок на воротнике. На левой руке прыгал диамант, явный подарок Императрицы. Никто не решался предложить субалтерн-адъютанту помощь, чтобы не явить его человеческую слабость. Ситуацию спас большой рыжий кот. Не говоря ни слова, он прыгнул на колени Фон-Фигину и тут же свернулся на них журчащим клубком. «Ну как вам это нравится!» — вскри-

чал фаворит так, как будто продолжал всем знакомую тему, и весело расхохотался.

Вольтер, тоже смеясь, грозил коту пальцем и тоже смеялся: «Я тебя знаю, нечистая сила, ты мусульманин Эльфуэтл!»

«Что же дальше? — спросил Фон-Фигин. — Насколько мы знаем, дело еще не закрыто?»

«Если все пойдет, как задумано, дело вскоре будет передано на Королевский совет, — отвечал Вольтер с прежней своей легкостью, как будто это и не он только что обращался со страстной мольбой к Всевышнему. — Министр Шуазель поручился, что осуждение Жана Каласа будет аннулировано, он будет признан невиновным, а его семья получит компенсацию за их разрушенную собственность. Надеюсь, что это не заставит себя ждать, во всяком случае, случится, пока я жив. Впрочем, кто может поручиться за эти ручательства? Достаточно разгореться какой-нибудь придворной интрижке, и все рухнет. Не нужно себя обманывать, мой друг: наше общество вместе со всей Европой, а также и с вашей величественной Россией чревато какой-то огромной провокацией. Ну что ж, мы все-таки не сдадимся в сей поворотный век!» И, как любезнейший старый лис-бонвиван, он попросил слуг наполнить бокалы. «Что за чудо этот шипучий свекольник, друзья! По утонченности и по веселящему действию, ма пароль, он не уступает винам Шампани! Итак, ваше превосходительство, посланец Восточной Зари, и ты, мой Ксено, устроитель дипломатии и сочинитель утопий, и вы, бесстрашный капитан, с которым я хотел бы когда-нибудь совершить путешествие к папуасам, и вы, прекрасные принцессы, представляющие здесь чудо красоты и тождества, а также приближе-

ние времени истинного романсизма, и вы, дерзостные юноши, прообразы нового поколения российских грандов, и вы, дамы двора, верные шаперонши и хранительницы этикета, и вы, господа Дрожжинин и Зодиаков, столь истинные витязи незримых поприщ, что временами ваши образы расплываются у меня в глазах, и, наконец, вы, Лоншан и Ваньер, без коих я был бы отдан на растерзание демонов почтовой службы и домашнего очага, всех вас я прошу присоединиться к моему тосту: ECRASON L'INFAME!

При этих словах генерал Афсиомский замер. Одно дело — вольнодумничать с этим «экразоном» в доме Вольтера с Саскией, мадам Дени, на коленях, а вот совсем другое дело — иметь такую дерзновенность в присутствии особы, столь близкой к трону, вот тут и может случиться самая финальная обличурация. Он все еще сиял, но уже не живым, а как бы машинным сиянием, да и зубы стали обнаруживать свою полнейшую ненатуральность. И тут он увидел, что стройная фигура субалтерн-адъютанта поднимается из кресел с пенящимся и вроде бы дающим подъемную силу напитком. «Сокрушим бесчестие и лицемерие! Встает заря нового века!» — незамедлительно вскричал наш генерал-энциклопедист и тут же ухнул до дна, после чего бросил хрусталь в камин. Bravo, Ксено! Полетели бокалы! Звон, звон вокруг. Боюсь, не тот звон, что вы ласкаетесь слышать, господин Херасков Николай Иванович и вы, Сумароков, ну в общем, Александр Не-Исаевич!

После ужина молодые члены нашей кумпании собрались было по приглашению капитана посетить корабль, однако шаперонши, трясая фижмами и бры-

жами, подступились к курфюрстиночкам и решительно воспротивились. Эвдокия Казимировна, путая все три своих основных языка, но в основном по-русски, заявила, что се-не-па Париж и что подданные пфальца уже делают хи-хи, когда постоянно в темное время суток видят ту-ле-дё принцессен в сопровождении молодых офицеров. Клаудия и Фиокла или, наоборот, Фиокла и Клаудия неожиданно подчинились. Здесь, на этом острове, который так измучил бедного папа, существо бесконечно обожаемое и жалеемое двойняшками, на этом милостивом острове, который наконец-то отошел к своему законному владельцу, то есть к нашему бедному фатеру, который все деньги тратит на государство, а себе даже не может сшить приличного пардесю, курфюрстиночки как бы почувствовали себя не просто просвещенными девушками века, но также, а может быть, и в первую голову членами правящего семейства Грудерингов.

Рассердившиеся уноши сделали вид, что это им без особой разницы, когда всякие там мелкие по возрасту и по европейской иерархии принцессы едут на корабль или когда они на него не едут, и прыгнули с мостков в вельбот.

С каждым взмахом дружных весел корабль приближался и вырастал, как второй замок.

«Видишь, Мишель, какие там свечи здоровенные в фонарях? — обратил Николай внимание друга. — Такая небось и за ночь не прогорит».

«Да их небось вообще никогда не меняют», — предположил Михаил по своей головной глупости.

Коммодор Вертиго расслышал эти реплики. «За ночь дважды меняем», — пояснил он свечную ситуацию.

С верхней палубы корабля, а тем паче с капитанского мостика, открывался вид на божественную ночь, коя так не схожа с дьявольскими бурями. Через бухту по лунной перспективе медленно проплывали силуэты суденышек с косыми парусами: должно быть, местные чухонцы промышляли ночной рыбой. Луна освещала и дальний берег с пологими холмами, на коих ложились в траву утомленные дневной жвачкою скоты. Замок же на ближнем берегу возникал из тихой воды с такой лунной отчетливостью, что видны были все архитектурные мелочи, вплоть до каменной резьбы по фронтону. Утром, между прочим, среди этой резьбы Мишель обнаружил сцену терзания двумя аспидами какого-то молодого кабанчика. Сцена эта почему-то просто содрогнула молодого воина, но он никому ничего не сказал, даже брату: все-таки ведь не ребенок же уже, молодая ж мужнина, все ж таки и сам же ж уже оскоромился в боях с людьми.

Матросы многие спали в ту тихую ночь прямо на палубах, подвязав свои койки кто к лебедкам, кто к вантам, а иные и к смертоносным орудьям. Отовсюду доносился умиротворяющий храп, и только из дальних мест, с полубака, слышалась распеваемая на два голоса поморская песня. В нижнем ключе кто-то басил: «Ого-го, коровушко, мое матушко, ого-го, го-го, огогонюшко», а в верхнем ключе кто-то фальцетил: «Уплывает наш бычок-сударек в струю студе-е-еную».

«А это тут у нас такой дуэт обнаружился, — усмехнулся капитан. — Первый помощник третьего боцмана Стоеросов и унтер Упрямец из окружения его светлости, оба с Лабадянской губы, вот и сдружились».

На вахте для поздних гостей раздут был сапогом самовар. Из капитанского буфета явились со-

провожающие напитки: херес, ром, благая малага. «Экая все-таки у вас на кораблях бытует чистота, Фома Андреевич, — сделал подпоручик Лесков коммодору Вертиго довольно фамилиарный комплимент. — Ей-ей, Михаил, надо было нам с тобой по флотской пойти, не бывали б вечно черт-те чем забрызганы!» У подпоручика Земскова тут от смеха животики свело, как представил эту якобы постоянную забрызганность. Коммодор Вертиго добродушно улыбнулся, давая понять, что видит насквозь эту молодых секретчиков снисходительность. «На флоте, молодые люди, чистая плоть — это залог непобедимости, однако ж бывает, что в тихую погоду из-под бугшприта, то есть из гальюна, несет». И тут он рассказал то, что далеко не все сухопутные знают. Оказывается, это еще от галионов идет, отсюда и слово «гальюн». Под бугшпритом бесперечь натягивается для парусных работ вельми прочная канатная сетка. Вот именно туда и отправляются матросики по большой нужде, там и рассаживаются орлами. В свежую погоду неизбывная волна тут же все нечистоты без следа смывает, а вот в штиль иной раз воцаряется застой с неудовлетворительным запахом.

Уноши долго смеялись с приступами икоты, когда представляли себе храбрых моряков, разместившихся под бугшпритом со всем своим естеством. И коммодор удовлетворялся, ибо не так уж был избалован вниманием петербургских красавчиков.

Тут вдруг послышались приближающиеся мерные всплески; снова подходил вельбот. Вахтенный офицер доложил, что прибыл его превосходительство генерал-аншеф Афсиомский. А вот он и сам уже поднимается на борт, сдержанный, углубленный в

раздумье, при свете корабельных фонарей похожий на свой собственный движущийся памятник.

Говоря о памятниках: однажды во время дружеской пирушки вельмож зашла вполпьяна речь о том, кто как и где хотел бы предстать перед потомками. Граф Рязанский поведал сотоварищам по тайному клубу, что он бы хотел расположиться на каком-нибудь университетском подворье, быв не из камня, а в бронзе, конечно, стоя, ножку правую слегка отставляя вот в таком же, как сейчас, туфле, потому что других не предпочитаю, чтоб взгляд был светел, как всегда, потому что мыслю позитивно, чтоб левая длань опиралась на партикулярную трость, а правая, отрицая всяческое оружие, лежала б на маленьком столике с набором любимых книг: Хьюм, Локк, Вольтер, «Энциклопедия» Д'Аламбера. Тут один из могучих славянолюбивых князей, имени называть не будем, резко спросил: «А Иоанна Златоуста не хочешь?» — «А чего мне Златоуст, на что он мне?!» — поднабычился наш герой. «Да ты, Ксанка, рязанский лапоть, совсем, я вижу, обжидомасонился!» — как оглашенный заорал князь. Генерал тогда вышел в прихожую, долго там копался и вернулся со шпагой. Видит, все славолюбы уже про него забыли, уселись играть в «шпыня». Помахал он шпагой перед зеркалом, а потом отшвырнул оружие. «Беру и Златоуста!» Все захохотали, гужееды, полезли с мокрыми лобзаннями. «Разве ж мы без понятия, Ксанка патриотический? Куда ж тебе на государственной службе без «вольных каменщиков!» Эта история просто к слову; возвращаемся на «Не тронь меня!».

Увидев капитана в обществе своих воспитанников, Афсиомский по-французски извинился, что вынужден разбить столь теплую кумпанию. Нужно обсудить запуски шутих, естли посланник монархини пожелает осуществить какую-нибудь незабываемость, вроде «Феерии Посейдона».

В капитанской каюте выяснилось, что было не до шутих: пришли тревожные новости. Из Берлина прибыла Оттавия, принесла писульку симпатическими чернилами. В канцелярии фон Курасса совещаются по поводу нашего философического кумпанейства. Докладывают самому «протектору Мапертюю». Тот гневается. В Свиное Мундо посланы какие-то люди. Скачет также гонец в Копенгаген, а только опасаются, что там тому будет от ворот поворот. «Вам, конечно, ведомо, капитан, что в здешних принципатитетах бо-о-льшие существуют дификульте не только в государственных, но и в родственных связях».

«Кстати, Фома Андреевич, вам приходилось когда-нибудь при жизни видывать принца Голштинского?» — как бы мимоходом спросил граф.

«Вы про покойного императора речете, Ксенопонт Петропавлович? — спокойно переспросил капитан и в ответ на осторожный кивок графа тоже кивнул. — Вот именно при жизни имел честь лицезреть Его Величество у себя на борту во время практических плаваний пушечных кораблей в заливе Рогервик в апреле тысяча семьсот шестьдесят второго года. А уж после кончины, ваше сиятельство, прошу прощения, не приходилось мне видеть, как вы говорите, принца Голштинского ни на коротком, ни на увеличенном расстоянии».

«Ценю ваш британский юмор», — сухогато ответил граф. Особо доверительные отношения, установившиеся во время плавания между капитаном

и его высопоставленным пассажиром, как видно, не очень-то его умиляли.

«А какая же «кстать», граф, сидит в вашем вопросе?» — с не меньшей, но и не с большей сухостью проговорил капитан, показывая сим тоном, что для пользы дела лучше было б не ссориться.

Афсиомскому это легкое фехтование понравилось. Вертиго явно не так прост, нет-нет, это вам не какой-нибудь выслужившийся шкипер, каковых немало среди флотских дворян, он умен и горделив, понимает по-французски (сие свойство было серьезнейшим мериллом для конта де Рязань), нет, не зря именно его избрал Никита Панин для сего плаванья. Он встал и посмотрел, плотно ли прикрыты окна и дверь капитанской каюты.

«А «кстать» сия, Фома Андреевич, хоть и неправдоподобна, а все же относится к животрепещущему делу трона и государства. Прошу прощения за невольный каламбур, но пошли слухи, что Петр Третий не мертв, что якобы видели его в Свином Мундо некие местные люди, а также военные чины, включая и кого-то из вашего экипажа».

Думая, что ошеломил Вертиго, граф уже готовился броситься к нему с увещеваниями не волноваться, однако увидел, что тот просто-напросто раскуривает трубку. Ох уж эти англичане! Сказывают, недавно в Лондоне убежал из кунсткамеры молодой тигр. Полиция с ног сбилась, ища хищника, а тот тем временем зашел в книжную лавку. Там стоял некий джентльмен и читал книгу. Тигр, проходя мимо, толкнул его в ногу. Он глянул: «О, да это тигр!» — и продолжил чтение.

«На всякий случай надо принять меры», — проговорил Вертиго и выпустил облачко душистого

дыму. Трубкой своей он обычно гасил пожар взволнованных органов тела.

«Что именно вы предлагаете? — спросил граф. — Пожалуйста, не смущайтесь, любой ваш совет будет ценной подмогою».

«Вы, уж наверное, не хуже меня знаете, граф, что тут же Оттавию надо слать к Панину в Петербург. Что касается моих забот, я под видом ученья из абордажной роты создам два отряда; один оставлю на корабле, а второй, ежели не возражаете, отправлю на стражу в замок. А ваши люди в Свином Мундо пусть без всяких паник ищут того, о ком врут сей вздор».

«Кстати, — сказал капитан и чуть-чуть усмехнулся, как бы показывая, что вот тут-то «кстать» будет кстати, — есть ли какие у сего казуса описания?»

«Описания самые превозмутительнейшие, — медленно выговорил граф, — якобы на лице у казуса фигурируют два носа».

Пока развивался сей вельми существенный и чреватый самыми непредсказуемыми событиями разговор двух старейшин, наши уноши на чуть покачивающемся капитанском мостике, что при наличии самовара играл сейчас роль какой-нибудь усадебной веранды, под мелкими, но обильными звездочками погожей балтийской ночи затеяли тоже не пустяковый разговор: речь пошла о сердечных пертурбациях.

«Знаешь, Михаил, сдается мне, что курфюрстиночки нас дурачат», — вдруг высказался Николай. «Ты прав!» — воскликнул Михаил; и повело-поехало.

Оказывается, ни тот ни другой никогда не были уверены, кому назначается свидание, своей Клаудии или чужой Фиокле, и кто на таковое свидание является, своя ли Фиокла или чужая Клаудия. Ведь различить подростков совершенно не представляется никакой возможности: внешности у обеих идентичные, как у двух лебеденышей, голоски полностью созвучные, философические идеи высказывают в унисон, и, что самое облискурирующее, обе обладают одинаковой шаловливостью. Вот и получается, что им легко из нас сделать настоящих дурандасов, как в деревнях-то говорят. Вот и играют они с нами такую игру, меняются ролями, а потом забираются в одну постель и до утра над нами хихикают.

«Ведь ты пойми, Миша, хоть ты и силен по части у разных дам неотразимости, а все ж таки ведь их не для простых столбовых дворян воспитывают, а для большой династической политики. Понял?» — почти выкрикнул Лесков.

«Понял, понял, — закручинился Земсков. — Выходит, нами они просто играют, как марионетками, так? Или вроде каких-нибудь Кандидов каких-нибудь литературных, то есть нежизненных персонажей, в нас усматривают, так?»

«Вот именно что так. Вот ты вообрази, мы получим с тобой по звезде и по майорскому чину, и назначение, скажем, посольское, и денег нам Гран-Пер отстегнет по полмилльона, а ведь все равно Магнус-то дочек своих за нас не отдаст, потому что не для этого он их воспитывал, понял?!»

Миша совсем сник. Коля еще бурлил, пока плыли к замку, а Миша на корме вельбота все томился в непонятной, хотя и многообещающей меланхолии.

Простившись с полудругом-полубратом, он спать не пошел, а стал медленно ходить по лестницам и огромным залам прекрасного замка, мня себя в роли какого-нибудь принца датского, не обязательно Гамлета. Горькие истины, открытые ему Колей, как ни странно не отшатнули его от курфюрстиночек, а, напротив, навели на осознание своей полной и бесповоротной влюбленности. Что-то музыкальное, венецианское, вивальдиевское облагораживало его душу и тревожило плоть. Мысль о неравенстве шептала ему из одного уха в другое: ты влюблен! Вот только вопрос: в кого, в ту недоступницу или в другую? Как сие понять, ежели неразличимы? Может быть, в обеих? Именно в двоих, а поодиночке, значит, не будет и влюбленности? Вот какая возникает дивная и совершенно невозможная обликсурация!

Оказалось, что не только ему одному в эту ночь не спалось. В галерее с колоннадой, что висела над парком и в коей то и дело возникал не здешний, а, можно сказать, сугубо литературственный ветерок, он увидел одиноко прогуливающуюся фигуру без головного убора, но с отменнейшим бантом на затылке. Постукивали крепкие каблуки высоких ботфортов. Миша хотел было свернуть в темный коридор, но вдруг пронизался чувством неотвратимости (чего? когда? сейчас!) и пошел вслед за фигурой. Она дошла до конца галереи и повернула обратно. Теперь они сближались. Через минуту он узнал в фигуре могущественного фаворита Двора субалтерн-адъютанта, барона Федора Августовича Фон-Фигина.

«А, это ты, — проговорил тот с непонятной улыбкой. — Почему не спишь?»

«Не спится... ваша светлость», — отвечивал унец.

Фон-Фигин усмехнулся: «Зови меня Федором Августовичем».

«Могу ли я?» — смиряя дрожь, спросил унец.

Вельможа, высоко подняв фалду, извлек серебряную табакерку и предложил унцу понюшку.

Для свершения ритуала совместного чиха оба вынули шелковые платки. Вдруг Фон-Фигин резким выпадом правой руки вырвал у Миши его платок и мягким мановением левой предложил ему свой. В глазах у него на мгновение запечатлелось безумие, после чего он окунул свой нос в платок и с легким смешком пробормотал: «Похоже, что у нас с тобой одни и те же духи, солдат». Пошел дальше по галерее. Бежать прочь! Дернулся было Миша, но вместо спасительного бегства пошел вслед за фаворитом, как намагниченный. Он не понимал, что с ним происходит: все в нем вздыбилось от неумолимой тяги, было трудно идти, но надо было двигаться до конца.

«Твой конь, этот Тпру, в нем что-то есть колдовское, — говорил фаворит, явно не сомневаясь, что унец тащится сзади, — мне иногда мнилось, что он может со мной заговорить. Иметь такого между ног — это большая забава! — хохотнул таким голосом, что Мише пришлось расстегнуть на воротнике крючок, чтобы не задохнуться. — Быть может, это он подсуропил нам встречу?»

Он остановился и повернулся к унцу: «Какой ты высокий, какой ладный! Хочется как-то по-солдатски ободрить тебя». Рука в лайковой перчатке взяла Мишу за ухо. Сквозь лайку шли ошеломляющие токи. «Ты хочешь познакомиться с Императрицей?»

«Вы с ней близки?» — еле вымолвил Миша. Под его рукой неведомо как оказалось гладкое бедро Федора Августовича.

«О да, имею сие высшее счастье!»

«Что это значит — быть с нею?»

«Быть с нею — это значит стать частью ея. Она распространяет свое величество, и те, кто был с нею, распространяют ея величество далее. Ты понимаешь меня, солдат?»

«Я ничего не понимаю».

Рука Федора Августовича гуляла уже по всему Мише и в месте оном произнесла «Ого!», в то время как другая его рука что-то шептала о юности, о дерзости, о боях под стягами отечества, о готовности ко всему, включая и гиблость, и триумф.

На галерее уже ничего не осталось от Миши и Федора Августовича, лунная сила тащила их бегом к раскрытым окнам королевской опочивальни, туда, где веяли тюлевые стены, где раздвигались под ними паркеты и раскрывались над ними потолки. Величие увлекало юнца в свои пределы, и он становился частью сего надчеловеческого. Внедрение сменялось поглощением, а на стенах между тем вместо их теней металась какая-то, будто из десяти сцепленных пальцев, кикимора. В конце концов со сцены пропали оба, и Федор Августович, и Миша, осталось только длительное шастие народное, тараном в сладостных сжатиях толпы рвущееся к апофеозу, к отмене крепостного владычества. Наконец, все прорвалось победным штурмом.

Ох, эти «Дочки-Матери», бормотал, засыпая Федор Августович, а ведь когда-то во время оно как тут гонялись за звонкими эхами, как тут бесились в детской невинности, нынешние битвы даже еще и не предвосхищая. То ли во сне, то ли в галлюцинации зрил он удаляющегося юного Ахиллеса, припадающего на пятку. Теперь он бу-

дет убит за дальнейшей ненадобностью, изъят для смысла тайн.

Сам этот воин Фон-Фигин теперь стоит, как всегда, на часах у будуара Екатерины, а та умывается в то ж время, чтоб снять загар смесью лимонной воды с желтком и французской водкой. А в глубине огромнейшей залы идет ритуал придворных причесываний, оттуда плывет смесь бормотаний и мелкие вспышки смеха; Чолгоковы и Салтыковы. Там по-французски решается, может ли Воронцова при надобности обернуться козой иль ослицею иль только предстанет в своем обычном раскорячестве. Вычесанные волосы в зелени своей плывут по залу, словно вечный цвет тамариска. Девки-служанки хлопотливо тащут из-за ширм горшки с аристократическими нечистотами. А из-за одной ширмы торчит сапог с острой шпорой. Там, это ведомо всем, ждет приглашения поручик Асаф Батурин, известный за большого негодяя.

Вдруг среди всей болтовни и порядочной вони Екатерина подходит прямо к нему, к постовому гвардейцу, и смотрит так, как будто вот щас прям при всех начнется соитие. Я знаю тебя, Тодор, ты родом из моего детства. Стой здесь упорно и жди! Время придет, дождешься! Знай, что сейчас великий князь меня пригласит на экзекуцию крысы! Я откажусь, а если ж потащат насильно, смело меня защищай и целься великому князю в паршивое лоно!

Вдруг одинокая ширма с китайским рисунком грянула на пол. За ней оказался не однополчанин гадкий Батурин, а сам, как Императрица Елизавета гласит, «племянник мой урод, черт ево возьми», в

мундире, с офицерским значком и шарфом, герцог Гольштейн-Готторн, наследник российского трона.

Он возглашает гнусавым гласом: «Прошу всех сюда! Мы начинаем!» Шарф обвивает ему часть лица, светятся лишь нездоровые очи. В шелесте юбок зала заполняется обществом дам. Шествует впереди фаворитка, девица Теплова, природная «фадаизница», юбки ея всегда имели одним полотнищем меньше иль больше, чем полагалось. И слышится в окружении говор всех прочих «фадаизниц», сиречь производных от смысла «конфуз». Кто четверговой соли просит у тетушки одолжиться, кто восхищен какими-то лисьими шубами, кто, шевелясь как от щекотки, поминает куртаг в доме Нарышкиных, а кто и про лекаря речет, что может немецкую кровь заменить на русскую; но не наоборот, сударыни, нет, не наоборот.

«А где же Ея Высочество? — слышится теперь пронзительный глас наследника трона. — Извольте, сударыня, выйти вперед! Вам целовать на прощание крысу!»

Распахиваются двери. Из прорвы пороков калмыцкие егеря вкатывают помост с виселицей и дыбой. На дыбе растянута человекоразмерная крыса; теперь ея ждет петля. Бьет барабан.

«Екатерина!» — вопит истукан. Бабыё расступается. Ирод идет, руку протягивает для политесу. Однако вместо супруги он видит стража ея, кавалера Фон-Фигина, с наивным, но острым оружием. Немая сцена. Сейчас произойдет низвержение наследника. Все дамы будуара в историческом барельефе: присутствие при цареубийстве — ведь это высший экстаз!

Фон-Фигин сближается, но не с уродом, а с крысой. Он видит ея страждущее око и самого себя в

зрачке, а у одного самого себя в зрачке отражается крыса, а у одной крысы отражается он сам с оком своим, в коем мается крыса с ним самим в ее зрачках, в коих он сам...

Обычно после кошмаров Фон-Фигин просыпался отдохнувшим и бодрым, словно промыли нутро. Так случилось и в этот раз в замке «Дочки-Матери». Он лежал, потягиваясь, и вспоминал клочки сна, то крысу, то Екатерину, то расческу волос, то великого князя, будущего императора Петра Третьего (забыли упомянуть, что во сне у того почему-то было два носа), но чаще, с улыбкой, красавца юнца, с коим столь многообещающе ночью прогуливались под колоннами галереи.

Колыхались тюлевые шторы, из-за них в опочивальню проходили звуки двух флейт. Это курфюрстиночки играли у себя на балконе по нотам, что прибыли с последней почтой из Вены. Пьеску сочинило восьмилетнее дитя, сын композитора Моцарта.

Дольше всех почивал в то утро шевалье Террано. Музыка пробудила его, и он заворочался в своей спартанской коморе. Что же приключилось вчера со мною, мальчиком, дорогая моя матушка Колерия Никифоровна? Оберегая по долгу службы тело великого философа, не озаботился я о своем собственном. Что-то саднило недружественно и в заднем порту, и в бугшприте. И вот теперь только и осталось, что постичь чистоту флейточек, лишь устыдиться столь сурьезной облискураженности!

Глава пятая,

начавшаяся в идиллических аллеях парка, в коих посланник Фон-Филин и великий Вольтер обсуждают курьезы женственного века, споткнувшаяся в коридоре замка, где две кавалерствующие дамы не могут разойтись из-за объемов их фижм, и завершившаяся безобразным пиркетством, позволившим нашим шевалье проявить их не вполне обычные геройские качества

«...А не замечали ль вы, что иные исторические феномены зачинаются задолго до своего, так сказать, календарного адвента? Вот вы толь интересно говорите о «женском веке» России, дорогой Вольтер, помянули и Екатерину Первую, и Анну Иоанновну, и Анну Леопольдовну, и Елизавету, и, разумеется, нашу нынешнюю покровительницу, дай Бог ей завершить сей век на троне, однако ж запомнили их предтечу, царевну Софью...»

«Ах да, спасибо за напоминание, ну, конечно, Софи, сестра царя Петра, не так ли?»

«Как странно это звучит — Софи! Вы утрачиваете одну литеру, ставите ударение на последнем слоге, и тяжеловесная московская фемина, неумелая сумрачная правительница как бы исчезает, а вместе с ней пропадают низкие своды кремлевских палат с их слюдными окошечками и вся эта поздняя Византия. Ваша Софи, месье, похожа на держательницу парижского салона».

«Браво, мой Тодор! Мне нравятся ваши акценты! Жаль, что в то время, когда я начинал свою «Историю Петра Великого», я не мог поговорить с такими людьми, как вы, или с самой Государыней. Она

и сама писала мне об этом в своем первом письме. «Естьли бы я тогда была в моем нынешнем положении, — писала она, — тобъ я вам сообщила несравненно лучшие записки». Любопытно, а что из себя представляла эта «Святая София» как женщина? У нее, конечно, были фавориты, те московские бароны-бояре в огромных шапках?»

«У нее был любовник, князь Василий Голицын, ясноглазый красавец, вроде вот вашей охраны подпоручика Земскова, настоящий русский витязь. Сомневаюсь, впрочем, что у них что-нибудь интересное получалось вдвоем. Он оказался неудачником и на поле брани. Отправился воевать у турок Азов, потерял многотысячное войско, сам еле унес ноги к царевниным пудовым юбкам. В общем, и там и сям постоянное *faux pas*, но тем не менее именно от царевны Софьи начался наш «женский век». Как вам кажется, мой Вольтер, откуда он взялся в стране жестокого мужичья?»

Вот уже час философ и посланник прогуливались по парку вокруг дворца и, кажется, не собирались расставаться. Погода благоприятствовала их общению, хоть и приобрела за истекшее сутко более свойственную здешним широтам резвость волн, а также основательную ветрогонность туч, что как бы норовили над вами подшутить, невзирая на мерность ваших шагов и серьезность обсуждаемой темы. Временами они (тучи, тучи) формировали полный кляп, затмевая июльское солнце брюхатостью своих очертаний, потом вдруг рассыпались по всему небу, подражая купидончикам Франсуа Буше, купающимся в апофеозе сияний.

Интересно, что именно короткие экзерсисы дождя напоминали двум нашим главным героям, что они не так уж предоставлены самим себе во время этой философской прогулки. Стоило лишь упасть каким-нибудь пустяковым каплям, как немедля из какого-либо живописного грота появлялись люди, предлагающие либо драгунские суровые накидки, либо изящные парaplюи. Однажды такая фигура с зонтом отделилась даже от скульптурной группы «Похищение Европы», неловко при сем споткнувшись о левое заднее копыто торжествующего Зевса. В другой раз из заброшенного, как бы совсем уже сентименталистского эрмитажа вышел накрахмаленный повар и осведомился, не угодно ли кофе. В этих случаях субалтерн-адъютант сердито хмурился, а Вольтер отмахивался от забот своей экзотической шляпой, недавно подаренной поклонниками с острова Гваделупа. Ясно было, что сия импровизированная прогулка была в серьезной степени обеспечена стараниями генерал-аншефа Афсиомского. Он и сам пару раз мелькнул в параллельной аллее, как бы предлагая себя в собеседники, серьезный, слегка покашливающий, чуточку прихрамывающий на ногу, что была якобы слегка повреждена прусским ядром будто бы при Гросс-Егерсдорфе. Он посматривал в сторону великолепных собеседников как бы отвлеченным взором, но в то же время порой и засматывал в фигуре вопроса: что же, милостивые государи мои, неужто не замечаете сию недюжинную личность? Замечен не был.

«Мой Тодор, мне иногда кажется, что интеллектуалисты в России излишне выделяют свою страну в своего рода особливую планету. При всей отдален-

ности и отсталости ваша страна все-таки была гораздо больше воспитана Европой, чем вы думаете. Именно оттуда явилась к вам первая вольность, мой друг, не так ли? Недаром царь Петр и сам уподобился Зевсу, чтобы украсть эту младость. Женщины распространяют свое влияние далеко за пределы спален, вы это знаете лучше меня. Еще в те времена, когда не было вилок и мясо за придворным столом раздирали руками, трубадуры создали культ Прекрасной Дамы. Она была не только предметом вздохов, но и властительницей сердец, а значит, и мечей. Вам это тоже знакомо, мой дорогой Тодор, не так ли? Что уж говорить о наших временах, начиная с Регентства. Всякий раз, подходя к концу сочинения, я лщу себя мыслью, что оно будет прочитано дамами. Ни одно важное дело не выносится на королевский совет, не пройдя через дамские салоны, и это разносится по всей Европе и достигает России, мой друг; вы согласны?»

«Да, конечно же, согласен, Вольтер, однако вы не помянули некоторой российской сугубости. Конечно, и в Европе раз в столетие могла появиться царствующая монархиня, довольно вспомнить Елизавету Английскую или императрицу Марию-Терезию, однако лишь Россия в наш век трудилась с таким упорством, чтобы создать плеяду властительниц.

Знаете, иногда, глядя на караван журавлей, я думаю о том, как эти птицы выбирают вожака, возглавляющего клин. Каким-то образом, нам неведомым, там определяется к началу перелета самый сильный и самый ведущий, который повлечет весь караван в единственно правильном направлении. Никаких драк за главную позицию не происходит,

головная птица сама выходит вперед, а остальные следуют за ней в том порядке, что возникает стихийно в интересах общего движения.

У людей, конечно, это сложнее и нередко сопровождается кровавыми драками, однако не исключен и стихийный момент выдвигания вперед наилучшего навигатора для перелета. В России в этом веке так происходит с женскими персонами династии.

Царь Петр собрал в своей личности максимум мужской воли. Именно мужской фанатизм был его главным двигателем. Превратить сонное царство, готовое уже претерпеть новый грандиозный распад, как при нашествии монголов, в современное европейское государство — такова была всепоглощающая и маниакальная цель. Он сотворил чудо государственное и личное, представ в апофеозе мужества и сопряженных с ним могучей воли и жестокости. После Петра в России началась деградация мужского начала. Ни второго, ни третьего Петра у нас, как вы знаете, не получилось. Что тому виною, трудно сказать. То ли неудачливые браки, то ли расслабленность воспитания, то ли просто невозможность пребывания на петровской вершине, во главе перелета, так сказать.

Короче говоря, в стае начался стихийный поиск нового вожака. Пусть не такого могучего, но совсем другого, который поведет как-то иначе, может быть, не на той высоте, но не растеряет ни людей, ни земель. Так из глубин родилась идея замены мужского начала женским. Замены непреклонности и фанатизма терпимостью и своеобразной женской хитростью. Замена жестокости ради будущего блага нынешним благом ради будущего порядка.

Ведь женский ум более прагматичен, чем ум мужа-главаря, который даже в самом благородном обличье все-таки сродни бандиту; вы согласны, мой мэтр?»

«О да!» — воскликнул Вольтер и вдруг как-то странно пошел боком, как будто кто-то его взял под руку, желая вовлечь в танец сильфид. Фон-Фигин следил за ним взглядом, довольно-таки жестковатым, во всяком случае, не очень-то характерным для офицера среднего ранга, беседующего с мировым гением. Гений тут как бы вырвался от партнера по танцу (это был всего лишь навсегда невидимый собеседнику фернейский плут Гуттален) и со смущенной улыбкой вернулся к вопросу: «Мне очень по душе, мой друг, ваш столь феминистский анализ этой исторической ситуации, однако мне хотелось бы знать, в какой степени он отражает ход ваших мыслей и в какой степени ход мыслей той женщины, которую история именно сейчас выбрала в вожаки».

Фон-Фигин тут извлек из-под фалды трубочку (уж не ту ли самую, петровскую?) и довольно ловко с помощью кремния и кресала раскурил ее на ветру. «Лечебный табак с Кавказа, — пояснил он. — Оттягивает кровь от ушей и очищает циркуляцию в мыслительных сферах лба». Затем сухо вато ответил на вопрос: «Сей анализ возник в результате наших с Государыней обширных бесед».

«Какая удивительная женщина! — воскликнул Вольтер. — Да полно, женщина ли она?!»

Тут офицер улыбнулся с отдаленной нежностью. «Смею вас уверить, Ея Величество — истинная женщина, но к тому же и нечто большее, чем женщина. Тут возникает некий особый знак, языковой казус.

Дело в том, что русское слово «величество» не принадлежит ни к мужскому, ни к женскому роду. Это слово среднего рода, как море, облако и молоко, коего нет во французском, ни тем более в английском. Становясь «величеством», женщина становится чем-то выше, чем женщиной. Она превращается в «оно», в «величество»; не знаю, можно ли это понять?»

«Как это интересно! — вновь воскликнул Вольтер (он немножко стал уже злиться, что постоянно пребывает в роли восклицающего, а не вопрошающего). — Теперь я понимаю, почему она мне однажды написала, что русский язык богаче французского. Расскажите мне, Тодор, побольше о Екатерине. Согласитесь, что переписка, даже самая доверительная, — это всегда обмен заявлениями. Мне же хочется стать ближе к ней в сугубо человеческом смысле. Как я заметил, вы при всей вашей исключительной близости к Ея Величеству сохраняете очень интересную самостоятельность суждений, а это очень важно для полноты картины. Ну давайте начнем с этой знаменитой июньской революции тысяча семьсот шестьдесят второго года, «революции Екатерины». Возникла ли она сама по себе как стечение обстоятельств или стала результатом заговора в гвардии, то есть, по вашему определению, стихийной тяги к женскому началу?»

«Давайте все-таки закажем кофе», — предложил Фон-Фигин.

Они поднялись в беседку, что венчала собой крошечный островок, соединенный с берегом пруда горбатым цепным мостиком. Немедля обнаружили те, кто таился в кустах и гротах и изнывал от жажды оказывать услуги. Вслед за ними явилась и

взялась описывать круги целая флотилия лебедей. Из ветвей каштана спрыгнула прямо на плечо субалтерн-адъютанта весьма необычная для сих берегов бескрылая птица с хвостом и парой нахальных глаз; обезьянка породы макак. Вольтер поначалу принял сие существо за демонка из семейки зебьян, однако, быв ущипнут за щеку, фыркнул: «Подлец!»; привычная чертовщина все-таки подобных наглостей не учиняла. Снова в обозримом удалении прогулялся граф Рязанский, однако, не быв приглашен, отправился восвояси.

«Стало быть, мой Вольтер, вас не полностью удовлетворило описание тех манифестаций, данное вам Франсуа-Пьером Пикте?» — с усмешечкой проговорил Фон-Фигин. Вот эти усмешечки, подумал Вольтер, они свойственны русским грандам, когда они встречаются с попытками Запада в их делах разобраться. «Как? — с нежданной надменностью спросил он, приподняв насекомое брови. — Неужто ж служба моего друга Ксено занимается перлюстрацией?»

«Зачем же, мой мэтр? — удивился посол. — Прочитано было сие в ноябрьском номере “Журнала энциклопедии”». — «Ах да!» — припомнил Вольтер. И смутился.

Фон-Фигин выколотил трубочку и снова стал ее набивать своим медицинским составом. «Перед тем как подойти к событиям тем двухлетней давности, я должен припомнить кое-что из времен более отдаленных, когда монархия наша еще пребывала в роли великой княгини, супруги наследника, избранного Елизаветой. Я должен вам сказать, что молодая дама долгое время страдала в поистине униженном состоянии. Я состоял тогда при охране их резиденции и многие несуразности зрил собствен-

ными очами. Наследник отличался вельми садистическими свойствами и нередко — как я видел сам и как мне не раз рассказывал доезжащий их высочеств русской своры — вымещал эти свои склонности на животных, всякий раз стараясь сделать Екатерину свидетельницей безобразных сцен, как-то: телесное наказание собакам либо торжественные экзекуции крыс». Тут Фон-Фигин метнул пронизательный взгляд на своего собеседника, как бы пытаясь понять, проникает ли тот в области сновидений. Вольтер сделал вид, что сие ему неведомо. Фон-Фигин продолжал: «Много раз от подобных сцен у великой княгини делалась горячка, и токмо пуск крови спасал ей жизнь.

Великий князь никогда не заходил к своей супруге в опочивальню, во всяком случае, во время моих дежурств я никогда сего не видывал. За право отвлечь от грустных мыслей младую принцессу с ослепительными глазами, высокой фигурой и удивительно белой кожей происходили дуэли среди аристократической молодежи. Так, в частности, мне пришлось принять посредничество в фехтовальном поединке Сергея Салтыкова и Льва Нарышкина. К счастью, друзья не остервенели и разошлись полюбовно.

Как вы с вашим драматическим чутьем, мой Вольтер, конечно, понимаете, Екатерина принадлежит к числу женщин, чьи сердца, по ее собственным словам, «не хотят быть ни на час охотны без любви». При отсутствии супружеского тепла такая женщина сама себе создает любимого. Ея супруг, наследник престола, не мог занять места в ее сердце, во-первых, из-за критического несходства характеров, а во-вторых, из-за некоего анатомического казуса, о коем даже нам с вами не след распространяться.

Все это порождало в их жизни с ее стороны скрытые любви, а с его — невысказанную ненависть. Однажды, впрочем, он пожелал высказаться, войдя к ней с обнаженной шпагой, и, если бы не мое присутствие, неизвестно, чем сей припадок мог бы завершиться».

Тяжелая грусть тут опустилась на Вольтера, он вроде бы даже немного сплюсился под сей ношею. О, человеческие существа, думал он, даже и на вершине мыслимых блаженств вы остаетесь наедине со своими непримиримыми кишками! Отвернув главу к вечно скользящим и беззвучным лебедям, он проговорил: «Я льщу себя надеждой, что никого не обижу, спросив: кто отец наследника Павла?»

Фон-Фигин отвечал на это нарочито грубоватым смешком: «Конечно, не тот, кого после рождения сына немедля отослали за границу. Впрочем, мой мэтр, как нам известно, вы и сами имели возможность задать сему шевалье сей нелегкий вопрос. Однако шутки в сторону! Отцом наследника Павла был, конечно, тот, кто впоследствии стал императором Петром Третьим, тем более что за год до сего счастливого благовеста произведена была хирургия, разрешившая Петру творить любовь, а стало быть, и чад любви».

«Позвольте, Тодор! — воскликнул Вольтер с замечательной веселостию, как будто это не он только что мизантропировал о кишках человеческих. — Ведь вы говорили, что при вас будущий царь ни разу не восшествовал в спальню будущей царицы!»

Фон-Фигин засмеялся с такой же веселостию: «Да, но меня по рекомендации врачей в соответствующий срок тоже отправили за границу. Вообще, Вольтер, знаешь ли, там тогда была целая куча от-

правок за границу. Один мой приятель был даже отправлен в польские короли!» И он зашелся еще пуще, с какими-то даже бабскими подвизгиваниями. Вольтер тоже подвизгивал и вытирал слезы: «Ну знаешь ли, ну знаешь ли! Значит, всех отцов отправили за границу?!» Фон-Фигин грозил ему лайковым пальцем: «Кроме одного, самого главного; ты меня понял?» — «Понял тебя, понял, понял!» — заливался Вольтер. Так они перешли на «ты».

Фон-Фигин продолжал повествование: «Династические браки часто оборачиваются сущим мучением для супругов: в них больше, чем в чем-либо другом, процветает так ненавистный тебе *L'Infame*, мой Вольтер. Когда родился Павел, Екатерина получила от императрицы дар, сто тысяч рублей на золотом блюде, однако ребенка у нее отобрали и препроводили в высочайшие покои. Даже бросить на него взгляд ей позволили только на сороковой день. Эти дни после родов были, возможно, тягчайшими в жизни великой княгини. У нее развилось то, что иные называют истерическими страданиями, а другие именуют проще: обмороками, конвульсиями и нервным истощением. Лишь книги спасали ее, и, в частности, мой друг, «Эссе о всеобщей истории» Вольтера. Беспристрастия ради надо сказать, что и Петр очевидно страдал, подмечая боковые взгляды и перешептывания при дворе. Он искал утешения в бурных романах, то с Елизаветой Воронцовой, то с широко известной девицей Тепловой и даже с Леонорой, немецкой певичкой, увы, не первого разряда. Так укоренившееся при дворах лицемерие рождает истязательную культуру тайнобрачия с различными морганатическими последствиями.

Вот так все это и продолжалось в мире со столь частой перестановкой ширм, когда не знаешь, кто в сей момент прячется за оными, когда вдруг находишь в будуаре предметы туалетов или ошметки сожженных писем, когда неожиданно про самое себя понимаешь, что тебя едва ли не втянули в политический заговор, когда муж не может смотреть на жену без отвращения, громко вопрошая: «Откуда моя жена берет свои беременности?», а жена вынуждена не смотреть на любимого человека при свете дня. Назревала нужда в очищении, приближался последний кризис, но не пришел, пока не скончалась Елизавета и не восшел на престол Петр Третий. Тут уже счет пошел на миги, Вольтер.

Ты как историк знаешь, что для понимания событий потребно бывает создать парадигму времен с хитросплетениями династических распрей, интриг высшего света, политических ловушек, противостояния религий, воинской силы и даже экономических стараний нации. Все это переплеталось и у нас во время полугодового царствования Петра Третьего, однако главным двигателем нашей парадигмы были страсти двух людей, Государя и Государыни. Только в ненависти и в оскорбленной гордости надо искать ответы на деяния царя и противостояние царицы. Петр знает, что его супругу считают либералкой, едва ли не республиканкой, и он начинает политику освобождения дворян. Он видит, что Екатерина ищет сближения с Синодом православной церкви, и берется потакать угнетенным, вроде ваших гугенотов, старообрядцам...»

Вольтер кивал задумчиво и проникновенно. Помимо парадигмы петербургского переворота он думал о климате этого странного острова Оттец. Тут,

должно быть, имеют место массивные воспарения йодов. Не только медицинские табаки, но и йодические завихряющиеся струйки способствуют улучшению мыслительных способностей беседующих персон. Иначе почему меня уже второй день не мучат мигрени, да и миазмы мировой меланхолии, появляясь, тут же улечиваются? Пошто перестали меня терзать почти уже привычные сновидения кровавых войн? Ведь не может же так быть, что один лишь Фон-Фигин с его неоспоримым даром сближения и обаяния мог столь разительно омолодить мои свойства. Нет, тут, конечно, не обошлось без уникальных атомов йода. «Так вот почему, — произнес он, — мадам хотела, чтобы мы начали наши беседы с «дела Каласа». Какое удивительное либеральное сознание! Она ищет аналогии, чтобы предотвратить фанатизм!»

«Вот именно, — деловито кивнул Фон-Фигин. — Примирение со старообрядцами сейчас становится одной из наших важных провизий. Смысл сего дела состоит в том, что те не пьют водку и не валяются в грязи. Работящая часть российской популяции, мой Вольтер. В уральских высылках они создают горнорудные мануфактуры, вырабатывают российский продукт железа и стали. Однако вернемся к Петру. Доподлинно известно, что лишь в противовес Екатерининным пристрастиям он совершает наигрубейшую политическую ошибку: задвигает гвардию, кою зовет «петербургскими янычарами», и выдвигает свои голштинские полки, обмундированные на прусский манер.

Российский люд по непонятным причинам не доверяет люду немецкому, хотя начиная с Петра страна наполнялась бесчисленными немецкими

знатоками специальных наук и ремесел, от коих шла изрядная польза. Слово «немец» происходит от «немой», muet, то есть так называют того, кто не может объясниться, однако это почему-то не относится к французу или итальянцу, а лишь к немцу, что ходит, задрвав свой длинный нос.

Екатерина в народе никогда не считалась «немкой», хоть и была в отличие от супруга чистейшей представительницей сей подозрительной нации. Она, кстати сказать, вполне искренне считала себя русской царицею. Помазанность на российский престол была для нее намного важнее голштинского происхождения. Когда она говорила «покойная бабушка моя», она имела в виду не Альбертину-Фредерику Баден-Дурлахскую, а императрицу Екатерину Первую. Тем не менее, когда при Дворе прошел слух, что император готовит ее в постриг, то есть собирается заточить в монастыре, чтобы развязать себе руки для женитьбы на Елизавете Воронцовой, она в отчаянии стала подумывать о бегстве в Голштинию.

Вольтер, если у вас для объяснения необъяснимого часто говорят *chercher la femme*, у нас в век Екатерины надо произносить *chercher l'homme*. В то время она увлеклась гвардейцем Григорием Орловым, и за ней встала вся буйная дружина его братьев и друзей, иначе сказать, вся эмблема «петербургских янычар». Значит, неумный неврастеник Петр тщательно все продумывает и делает ошибки, а умная Екатерина поступает по велению сердца и делает в этих страшных шахматах только правильные ходы. Можно ли это назвать заговором?»

«Можно», — улыбнулся Вольтер. Фон-Фигин помахал изящной рукою: дескать, как угодно. Ему нравятся его руки, подумал Вольтер, жестикулирует

с удовольствием; это хорошо о нем говорит. «Ты видишь, Тодор, заговор плетут оба, он и она, Петр и Екатерина, заговор против наследия Елизаветы». Фон-Фигин с удовольствием рассмеялся: «Такая версия мне по душе! Но к ней я бы добавил еще одну. Заговор стихийно плетет Россия, заговор против владыки-мужчины за владыку-женщину, против мужика-немца за «нашу бабу»!»

«Что происходит далее? — продолжил он. — Невезучий Петр затевает сложнейшую комбинацию с голштинской рокировкой. Под видом борьбы за землю Шлезвиг он провоцирует конфликт с Данией. Шестнадцатитысячный корпус фельдмаршала Румянцева отправляется к местам будущих боевых действий. К ним по приказу Его Величества должна присоединиться гвардия. Екатерина будет лишена защиты. Это была его последняя и роковая ошибка. Гвардия в ярости, она отказывается участвовать в бессмысленной войне. Екатерина в мундире Семёновского полка садится на коня; она великолепная наездница и производит на солдат сильное впечатление — «наша» с нами, она впереди! Финал партии — загородные дворцы: Царское Село, Петергоф, Ораниенбаум, Ропша, и наконец апофеоз на Невском проспекте — тебе известен, Вольтер, из письма твоего лазутчика — шучу, шучу! — Пикте, коему мадам в, общем-то, благоволит хотя бы за установление корреспонденции с великим Вольтером. Ну вот и все».

«Нет, еще не все, — с неожиданной суровостью произнес Вольтер. — Одно поле прикрыто платком, то, куда офицеры загнали короля. Что там произошло? Мы, конечно, знаем, что с Петром случилась «геморрагическая колика», однако мы не знаем, кто

сию колику осуществил: братья Орловы, люди Панина, и те, и другие, а самое главное — знала ли Екатерина о том, что «геморрагическая колика» неизбежна? Я льщу себя надеждой, что это не она приказала убрать Петра навсегда, хоть и приветствую золотой век вашего матриархата. Насколько мне известно — и не только от Пикте, смею тебя заверить, — Петр полностью капитулировал, он умолял отпустить его с Воронцовой в Голштинию; что мешало это сделать? Смена власти не обязательно должна завершаться убийством свергнутого государя или заточением его на всю жизнь в каменном мешке, дорогой Тодор!»

Фон-Фигин брюзгливо поморщился, сразу постарев на добрый десяток лет. «Послушай, Вольтер, еще в самом начале было сказано, что я не Тодор, а Федор. Как-то нелепо получается называться каким-то неведомым Тодором. Неужели трудно произнести: Федор, Фе-дор!»

«Покорнейше прошу простить, Фодур, конечно же, Фодор, однако ты должен понять, что сия «геморрагическая колика» бросает тень на Екатерину в глазах всей просвещенной Европы. Мы аплодируем Екатерине как «одной из нас», как энциклопедисту, философу восемнадцатого века, и нам вовсе не хочется видеть за ней все ту же тень древнего бесчестия!»

Он замолчал, как бы давая Фон-Фигину возможность ответить, но и тот молчал. Голштинский Зевс к этому моменту собрал все имеющиеся в его распоряжении тучи и навис над беседкой, вслушиваясь в тягостное молчание. Зря я это начал, зря вообще сюда приехал, подумал Вольтер, но решил продолжать.

«Вот еще одна тема, близкая к первой, Фодор. Я знаю, что в России был изрядно читан мой «Кандид», даже тамошние «кандиды» его читали, кадеты военной школы. Лышу себя мыслью, что и тебя он не обошел, мой Фодор».

«Да как же я мог не читать сего высоконравственного сочинения, мой Вольтер!» — все еще хмуровато произнес Фон-Фигин, однако не выдержал и улыбнулся. Тут уже оба рассмеялись и похлопали друг друга по коленке.

«Так вот, — продолжал Вольтер, — в Венеции Кандид попадает в общество шести свергнутых монархов, которые, невзирая на все свои мытарства, приехали посмотреть знаменитый карнавал. Он знакомится с двумя бывшими польскими королями, с бывшим султаном Ахметом Третьим, с бывшим королем Англии Чарльзом-Эдвардом, бывшим королем Корсики, а также с молодым человеком по имени Иван, который был императором Всея Руси. Этого бедолагу свергли, когда он был еще в колыбели, после чего его бросили в тюрьму, где он провел всю свою жизнь, и только ради венецианского карнавала ему разрешили совершить путешествие в сопровождении его стражей.

Отвлекаясь от карнавала, Фодор, скажи мне, жив ли еще Иван Шестой?»

«Да, он жив», — спокойно, едва ли не безучастно отвечив барон и подумал: о Боже, какой муче я здесь подвергаюсь!

Вольтер пришел в чрезвычайное волнение. Он вскочил и зашагал по круглой беседке, застывая на мгновение то там, то сям, как бы формуя квадратуру круга. Все черти, прибывшие сюда вслед за ним из Ферне, Энфузьё, Ведьма Флефьё, Суффикс

Встрк, Китаец Чва-Но, Лёфрукк, Мусульманин Эльфуэтл и припозднившийся Шут Гутталэн, висели теперь под потолком, беззвучно перешептываясь и жестикулируя кто конечностями, кто ушами, кто жабрами, кто всевозможными мелкими пупками и поплавками: тс-с-с, приближается развязка. Их ожидания, однако, не оправдались. Появилась радуга, и по ней, словно ребенок, проехался ангелок Алю. Фон-Фигин произнес: «Почти сразу после восшествия на престол Государыня отправилась в Шлиссельбургскую крепость и посетила Ивана в его заточении».

«О, Ея Мадамство! — вскричал Вольтер. — Какое величие души! Какая поистине женская благодать осенила ея! Нет, она все-таки действительно «Одна-из-нас»! Уверен, что сей благородный поступок, когда он будет предан огласке, развеет дым, вызванный «геморрагической коликой»! Где же он теперь, этот несчастный молодой человек?»

«Увы, он все там же, — сказал Фон-Фигин. — Да, он по-прежнему в Шлиссельбурге. Послушай, Вольтер, Екатерина не зря первым делом отправилась к Ивану. Она хотела забрать бывшего императора в Царское Село и устроить его дальнейшую жизнь согласно его происхождению. Увы, это оказалось невозможно. Он не в себе, вернее, он бесповоротно в самом себе и в своем мире; вечный узник в единственно знакомом мире, в тюрьме. Двадцать три года он не видел ничего, кроме каменных стен, ни одного лица, кроме двух своих стражей, он не умеет читать, он не знает ничего о мире за тюремными стенами, он почти не умеет говорить. Знаешь, я никогда не видел Государыню такой угнетенной, как после Ея встречи с бывшим императором. Она

как будто возложила это злодеяние на всех Романовых. Дерзаю думать, что Она и сейчас ищет способ, как помочь этому существу. Увы, увы, к этому есть столько препятствий!»

«Послушай, Фодор, а что, если я возьму его к себе в Ферне? — вдруг с юношеским жаром вскричал Вольтер. — Я приручу его! Я просвещу его! Я сделаю это делом моей жизни! Смыслом остатка дней! Отправьте его ко мне, Фодор, Екатерина, Ваше Величество, ваше превосходительство!»

«А ты не подумал, Вольтер, как вздыбится Россия, узнав об этом?» — тихо спросил Фон-Фигин, но Вольтер его не слышал. «Фодор, душа моя возгорелась этой идеей! Прошу тебя, воздействуй на Ея Величество! Весть об этом благом деле облетит всю Европу и повсеместно возвысит молодую Государыню! Все будут говорить об очередном сокрушении L'Infame! Воздух моих предгорий возродит царевича! Возрождение свергнутого младенца — это войдет в историю! Я призову к нему на помощь всех ангелов этих мест!» Он чуть качнулся в сторону, как бы давая кому-то возможность свободно пролететь мимо его левого уха. А дьяволы-то сами заявятся, куда от них денешься, подумал он, вся эта компания будет шмыгать вокруг с их притирками, примочками, всевозможными пудрами, с их комариными жужжаниями, петушиными восклицаниями, с их неизреченной воньцой непостижимой гнильцы несовершенного века. «Фодор, вообрази, я отдам этого брауншвейгского Ивана в университет, он станет философом, быть может, после стольких лет одиночества он привнесет в сей мир какое-нибудь метафизическое откровение!»

Фантазируя, Вольтер ходил по беседке и обеими руками рисовал в воздухе какие-то геометричес-

кие фигуры. Фон-Фигин с неопределенной улыбкой следил за ним. Уж этот Вольтер! Каков творитель славы! Придумать же такое! Ей-ей, сия идея стоит сундуков пиастров, пиастров, пиастров! Он лишь не может продумать все до конца, являет неспособность вообразить ярость наших славолюбов, патриотов кнута и ревнителей торговли человеками. Да они же все подымутся в воздух сонмищем отяжелевших стержней! Как, Императора Российского отдать вольнодумцу?! Уж лучше покончить с ним раз и навсегда! Ах, Вольтер, вертопрах парижский! Как дать ему понять, что речь сейчас идет не об утопических мечтаниях, а о спасении от злого умысла?

Тут вдруг все просияло по всей округе, ветер стих, все черти растворились в тончайшем воздухе, и наши собеседники, сочтя сие преображение добрым знаком, отправились на террасу замка ко второму фриштику.

Замок «Дочки-Матери» был известен не только своими торжественными анфиладами, но и лабиринтом боковых коридоров. Они были узки, но не так чтобы слишком узки. Пожалуй, в любом из этих коридоров можно было бы уложить поперек цельную фигуру стального рыцаря вместе с шоломом, да еще бы и осталась полосочка пола для юных ног, чтобы проскользнуть мимо одного рыцаря либо босиком, либо в балетных тапочках. Увы, вот чем грешили таковые коридоры, так это полной невозможностью в них разойтись двум величественным штатт-дамам в фижмах добротной кильской работы.

Дамы, конечно, старались избегать этих узких мест, однако воленс-неволенс иной раз случалось, что из-за поворотов в один и тот же момент возникали две подобные персоны, идущие встречным курсом. Чаще всего это происходило, когда дамы забиралась в глубины замка, чтобы там за милую душу пошпионить. В таких случаях ничего не оставалось, как либо идти напролом, либо отступить, либо снять юбку с фижмами и пронести ее над головою подобием зонта, либо сблизиться и поболтать.

Именно в таких обстоятельствах завязался диалог между двумя нашими шапероншами, Эвдокией Казимировной Брамсценбергер-Попово, баронессой Готторн, и графиней Марилорой Евграфовной Эссенмусс-Горковато.

«Послушай, Марилора, не напоминает ли тебе кого-нибудь чрезвычайный посланник Фон-Фигин? — спросила баронесса. — Кого-нибудь из нашего далекого прошлого?»

«Ах, Эвдокия, — вздохнула графиня. — Сей вопрос давно уж пощипывал мой язык, но не решалась я его задать тебе. Ведь ты находишься с ними в изрядно близком родстве».

«Позволь, Мари, а разве Эссенмуссы не породнились с ними посредством брака Амелии Цорндорф и того кавказского князя, имени которого никто не может выговорить?»

Засим в течение довольно долгого времени обе дамы с отменным занудством выясняли различные степени родства в запутанных генеалогических аллеях германских, русских и грузинских семейств, называя кого-то, кого обеим так хотелось назвать по имени, «они», «о них», «им», то есть все-таки не произнося и лишь подталкивая друг дружку к опасному

произнесению. Так и хочется залепить этой хитрой интриганке пощечину, думала баронесса. Так и залепила бы, если бы юбки не мешали дотянуться до заштукатуренной щеки! Она вынуждает меня взять на себя опознание Фон-Фигина!

Негодяйка, думала графиня, она задает мне столь опасный вопрос, однако ждет, чтобы не она, а я произнесла это имя.

Обе все-таки были мастерицами околичностей, и имя так и не было произнесено. В одном они все-таки сошлись и, сойдясь, как бы договорились не идти дальше.

«Ты знаешь, он мне как-то странно напоминает Фигхен», — сказала Эвдокия и посмотрела исподлобья на Марилору. Та тут затораторила с такой поспешностью, с какой отпущенная борзая устремляется за зайцем: «До чрезвычайности! До чрезвычайности! Какой-нибудь поворот бедра или стопы, и вот ты видишь: Фигхен бежит, Фигхен кружится, Фигхен настаивает на своем, Фигхен требует повиновения!»

«Ах! — всплеснула руками чувствительная Эвдокия. — А ведь как давно это было, подумать только! Такие изменения произошли в мире, во всех наших пфальцах, в Империи, даже мушки отошли в прошлое, и вдруг.. — тут она запнулась и снова попыталась через две юбки заглянуть в глаза своей подруге, — и вдруг появляется рэзюльта, эдакий большущий Фиг!»

Тут обе госдамы подняли над головами свои фижмы и так, без юбок, заскользили в бальное зало, где растерянно остановились, отражаясь в сотне зеркал. Страх на мгновение привел отражения старух в волнообразное движение. Да как же это может быть, если такого просто никак быть не может?!

Какие, однако, полнокровные и полезные для мужского здоровья были когда-то эти бабы, думал, скользя мимо по зеркалам магистр черной магии Сорокапуст. Потреблял когда-то их по чуланам чуть ли не каждую ночь, врал он себе. Став почти нетелесным, он приобрел свойство проходить через предметы, а чем старая дама вам не предмет? Изловчившись, Сорокапуст прошел через Эвдокию и даже умудрился пощупать ее шероховатое лоно. Тот же самый кунштштюк он не преминул проделать и с Марилорой. Дамы ахнули и зажали носы: странным образом достигнув почти идеальной бестелесности, магистр не смог избавиться от своей ольфакторной, то есть обоняемой пакости. От всех его промежуточных продолжало разить чем-то слежавшимся, да так, что иные обитатели замка, попав в струю, едва ли не падали в обмороки. Так случилось и с дамами цвейганштальтского двора, они растянулись на паркете. Сорокапуст, пытаясь вспомнить прошлое, возлег сначала на Эвдокию, потом на Марилору; увы, те не почувствовали его былой тяжести. Весил он сейчас не более комара.

Между тем генерал-аншеф Афсиомский, граф Рязанский, влекомый обжигающей обидой, мощно разбрызгивая чернила, покрывал лист за листом плодами своего внезапно нахлынувшего вдохновения. Как, не обратить никакого внимания на толь недюжинную натуру?! Не расслышать многозначительного «туссе», то есть известного всем европейским столицам светского покашливания, демонстративно сворачивать в сторону от поскрипывания бо-

евой ноги? Низвести российского энциклопедиста, маэстро наинтончайшей дипломатии до уровня заурядного коменданта крепости?! Нет, Аруэ, «твой Ксено» тебе больше не твой и никакой не Ксено! Ты уединяешься с представителем Императрицы, то есть отсылаешь меня на кухню? В следующий раз мне, быть может, даже откажут от места за столом? Ты скажешь, мой Вольтер, нет-нет уже не мой и не Вольтер, а просто Франсуа Аруэтик, ты скажешь, что не заметил академика и генерала просто по рассеянности, ты будешь извиняться, клясться в любви, а я тебе на сие отвечу: ежели по рассеянности, то тем паче арроганс, тем паче дэссатисфасьон!

От себя мы тут заметим, что всецело разделяем недовольство графа. Участие его в столь важной беседе помогло бы еще большему углублению ну хотя бы в дело императора Ивана Шестого; согласитесь, милостивые государи и милостивые государыни! Достаточно вспомнить, что ведь именно он в ту студеную историческую ночь получил от цесаревны ошеломляющий приказ: «Тащи императора!» Он схватил тогда тяжеленькое горячее тельце и, отворачиваясь от бессмысленного младенческого взгляда, помчался по ночным анфиладам, стараясь не смотреть и на мелькающие отражения несущегося похитителя, едва ли не цареубийцы, и на дергающиеся толстые ножки Его Величества, и на болтающуюся между ними сосисочку царственного уйка. Как часто он впоследствии, особенно с похмелья, вспоминал эту сосисочку, рожденную для эпохального продолжения династии, но обреченную на онанию, на казематное рукоблудие в кромешном отсутствии не только женщины, но даже и тени ея; даже и мысли о ней.

Недаром так всю жизнь старался генерал по части деторождения: хоть и списывал он похищение Императора на любезную свою Историю (укорял музу истории Клио), в каждом возникшем от его стараний или даже без оных младенце чудилось ему искупление великого греха. Ведь токмо ради них, ради сего купидонского сонмища творим мы, избранные рыцари человечества, нашу Историю, чтим ея великие скрижали, скрепляем своды, чтобы не обрушилась! Если уносим одного, который в отчаянии даже дудонит на историческую форму гвардии, то ведь это только ради сонмища других, не так ли (*n'est-ce pas*)?

И вот теперь он оказывается третьим лишним на исторической встрече, в которую столько вложил души и таланта! Ни одного приглашающего экивока, ни одного даже взгляда в его сторону! Почему же было не пригласить хотя бы в роли резонера? Ведь двоим собеседникам резонер никогда не помешает, не так ли? Легкое покашливание может без труда стать знаком понимания или сомнения. Улыбка неглупого человека из вашей собственной среды, что может быть красноречивее такой улыбки? Ужли сей неглупый господин впал в немилость? Ужли какой-нибудь гонец сверхсрочной связи достиг Фон-Фигина, минуя нашу диспозицию? Ужли какой-нибудь навет прибыл с берегов Невы в обход нашей систематизации? Ужли какая-нибудь сотворилась обличурация? Но ведь сие попросту невозможно! Ведь всех сиих гонцов знаем мы наперечет, опекаем как личных птенцов, и все они движутся по проложенным нами дорогам. Даже ведь и достойнейший Егор приведен под нашу субординацию.

А что, если причиной сего невнимания является просто-напросто невнимание без причины? А уж

ежели все ж таки сыскать причину, так и окажется нахальная arrogance, коя свойственна, как Сумароков-то Александр Батькович речет, всяким там энциклопедистам нерусского рода. О Боже, да как же может быть сия arrogance адресована «одному из нас», как они тебя кличут? Кличут-то кличут, а сами небось за спиной усмешанствуют: дескать, хоть ты и граф, да не лотарингский, а рязанский.

Обида терзала сердце Ксенопонта Петропавловича, и, чтобы побороть сие горькое чувство, он быстро покрывал пласты бумаги своим размашистым почерком, углубляясь в заброшенное было за государственными делами повествование.

Вот уж круглый месяц, как герой нувели, византийский рыцарь Ксенофонт Василиск, происходящий из северных, сиречь славянских, епархий, пребывает в Святоснеговском Богатырстве. Вся знать Богатырства вельми впечатлена его прибытием. На многодневных балах в чертогах Питирима Залунного и Македона Крепискульева общество ласкает взорами его статную фигуру, внимает его речениям о благе народном, подкрепляемым многозначительным легким покашливанием (все знают, что потревожил горло, командуя светлым воинством в боях с титанами болотных держав), с превеликим уважением чтут и прочие знаки доблести, и, в частности, слегка прихрамывающую ногу, в мягких тканях коей остались еще зубы болотных исчадий.

Что касаяемо сией конечности, то Василиск сумел обратить ее в свою пользу с неподражаемым хьюмором. В танцах с дамами Залунного и Крепис-

кульева он таким образом припечатывал любую фигуру, что дамы получали возможность лишней раз пролететь вокруг него вдохновенным ажуром.

Свободное от балов время Василиск тратит вдумственно на знакомство с устройством свято-снеговского правления и справедливости. Вековая мудрость не утратила здесь своей благотворности. Безоговорно правит здесь горделивыми подданными сияющая вечной юностью и осеняющая беспредельной мудростью государыня Величава Многозначно-Великая. Богатырствующая сотня советников Содругов готовит для государыни резюме по всем статьям жития и веры. Все они принадлежат к старейшим фамилиям и наследуют своим корням, не прерывая родовой череды. Каждый род пестует в своем исконном гнезде вековой оракул, к которому приходят за советом по всем трудностям. Окончательный оракул, разумеется, окружен величайшей тайной, и к нему раз в год — то есть по земному календарю раз в столетье — восходит в доспехах Высшего Богатыря государыня Величава Многозначно-Великая.

В случае, если черед наследия прерывается в каком-нибудь из сотни высших родов, объявляется важнейший государственный процесс — выбор нового Содруга из младшего богатырства. Сие сословие, наделенное особой гордостью, состоит из многих тысяч семей, разделенных на сотню корневищ вокруг вековых оракулов. Члены этих корневищ произрастают под сводами вечных привилегий и обязанностей. Главенствующей обязанностью являются воинство и богатырство, из чего следует, что именно это сословие и дает имя всему государству. Главной привилегией является право собственности.

Основным предметом собственности у богатырства является самое многочисленное сословие, именуемое святоснеговскими славами. Славы живут в особых поселениях вокруг богатырских усадеб и трудятся на земле, на воде, в кузнях и во льдах. Они обладают исключительным трудолюбием, верностью своим господам, любовью к Величаве и родине. Врожденное чувство гармонии влечет их к созданию торжественных песен о государыне и родных пейзажах. Из поколения в поколение передается у них мечта о совокуплении с богатырями. Эта мечта нередко сбывается в яви. Богатыри и богатырыни отбирают из славов наиболее видных по чистоплотности и совокупаются с ними. Потомство от таких совокупов имеет шанс вступить в богатырство. Вот таким образом устраняется возможность межсословной вражды.

Ночами гуляя над ледяными поверхностями сей державы (он прибыл сюда в середине столетней зимы) и восхищаясь светом огромного в ея небе Юпитера, Ксенофонт Василиск думает о столь неожиданном совершенстве человеческого устройства. Что на сем примере значит голенастый, как водный паук, иноземный соблазнитель Терволь, вытягивающий из-под полы кафтана свое Либерте и врущий, что оно-де умашивает души? И что нам несут все те истовые сиклопы, обещающие Свет и прячущие Тьму?

Не успел граф Рязанский насладиться этим куском своего сочинения, как в его кабинет влетело пушечное ядро. Ну, разумеется, это не было ядро с линейного корабля, иначе нам пришлось бы тут же исключить графа из состава наших персонажей, это была всего лишь трехфунтовая чушка чугуна, одна-

ко даже она чужка умудрилась пробить свежоштукатуренную стену, разнести на куски китайскую вазу, прожечь персидский ковер, прежде чем успокоиться в недрах лионского кожаного дивана.

К чести графа надо сказать, что он нимало не испугался. Будучи все еще в образе Ксенофонта Василиска, Ксенопонт Петропавлович встал из-за письменного стола, снял со стены один из своих пистолетов и подошел к окну, выходящему на внешнюю бухту острова Оттец. Странная картина открылась перед ним. Две мальтийских галеры под Андреевскими флагами пересекали бухту. На носу одной из них три малых пушки вели огонь по замку, целясь, однако, не по бастионам, где сидели караулы, а по окнам гостевых квартир, то есть почти не целясь. Стрельба шла быстрая и беспорядочная, выложенные на куршее горки ядер и бранц-пугелей стремно уменьшались. Опытный генерал тут же смекнул, что артиллеристы сеют не толь прицельную смерть, коль хаос и панику. По всей вероятности, пушечная стрельба затеяна для прикрытия высадки со второй галеры. И впрямь, вся куршее на одной была забита человеческим скопом. Схватив всегда пребывающую на подоконнике зрительную трубу, Афсиомский навел ее на вторую галеру, прочел ее имя, «Соловей», — да ведь этой птице надлежало починяться на верфи в Свином Мундо! — узрел человек с оружием на куршее — нет, не похож сей сброд на дисциплинное русское войско, нет, не мятеж сие событие, Слав-Те-Господи! — и тут же пришел к быстрому заключению: не иначе как пираты захватили наши корабли!

В следующий миг он увидел под окном бегущих к бастиону своих птенцов Колю и Мишу. Офицеры

на бегу влезали в портупей с пистолетами. Лица их были освещены сущим восторгом боя. Не прошло и нескольких минут, как они присоединились к караулу абордажников, подкатывающих к краю смотровой площадки пожилую, оставшуюся еще со времен Северной войны — впрочем, очищенную от птичьего помета — гаубицу Фрау Претцель.

Генерал, видя себя уже с разных сторон, и победоносным военначальником, и жертвой пиратского топора, решил не торопиться и появиться на бастионе в полном сиянии своего спокойствия. Что может быть отраднее воину, чем спокойствие вождя? Опясался шпагой, надел плащ с карманами для огнестрельного оружия, надвинул треуголку и только шагнул к выходу, как на обоях среди фазанов во весь рост проявился магистр черной магии Сорокапуст.

«Я знал, что вы здесь! Вы арестованы!» — ледяным тоном сказал ему генерал.

«Как раз наоборот, — отвечивал призрак. — Окружены и арестованы вы, ваше превосходительство. Впрочем, вы можете легко выбраться из этой воды. Нужно всего лишь выдать живыми философа Вольтера — или Терволя, как вы его иногда называете в переписке с Сумароковым Александром Не-Исаевичем, — а также подозрительное существо, что прибыло из Петербурга под именем Фон-Фигин и которое...»

«Я вам сейчас проколю левый глаз и вы потеряете свойства привидения!» — возопил генерал и бросился во флеш-атаку. Ударился лбом в пустую стену. Такова доля людей, не обделенных художественным воображением, подумал он, собрал все свое хозяйство и проследовал в обычной своей манере, слегка покашливая, слегка прихрамывая, в сторону бастиона.

Там уже бой кипел, как в те геройственные времена говорили, в полный рост. Несколько абордажников с линкора «Не тронь меня!» были ранены свирепо скачущими ядрами галеры «Дрозд». Галера «Соловей» быстро приближалась к берегу. У нее на куршее тоже пролилась кровь, однако она не напугала, а лишь разъярила разбойную братию. Выставив алебарды и взведя курки мушкетонов, они — их там было не менее сотни — готовились к штурму замка Доттеринк-Моттеринк.

Здесь мы должны отдать должное кадетскому корпусу Российской империи. Обучены были его питомцы не только триумфальным парадам или стоянию на часах в правительственных галереях, но и обращению со всеми видами оружия, не исключая и устаревших гаубиц, вроде Фрау Претцель. «Помнишь, Коля, нашего артиллерийского унтера Пахомыча? Таких монгольских жаб, как наша нынешняя, он называл губийцами», — вспоминал подпоручик Земсков, пока они засыпали в орудие должный вес пороху и загружали в ствол замшелое до чистой зелени ядрище. «Эдакому ядрищу даже и твоя башка не помеха, Михаил!» — хохотал подпоручик Лесков, накручивая наводящее колесо. Руководитель обороны генерал Афсиомский подоспел как раз вовремя, чтобы скомандовать «Пли!».

Признаться, он ждал, что выстрел Фрау Претцель разнесет весь бастион, но этого не случилось. Пушка бабахнула, разрушив только свой деревянный лафет, однако ядрище ушло по назначению. Сколько времени оно летело, сказать трудно: для всех присутствующих героев боя время, очевидно, шло по-разному. Мишель, например, глядя на удаляющуюся в белесом воздухе плюху, взялся вспоми-

нать важнейшие вехи своего детства, и, в частности, такой прискорбный случай, когда на обеде уездного патриотического общества его вдруг одолел взбунтовавшийся живот и он поверг всех усачей в изумление своим поистине гомерическим пу-пу.

Так или иначе, ядро долетело. Нет, прямо в галеру оно все же не угодило, врать не будем. Плюхнулось в сажени от цели, издав странный звук, сродни тому, на что королевские жабы горазды перезревшим июлем в прудах в пору любовной истомы. Вдребезги были разнесены все весла левого борта. «Соловья» качнуло так, что часть народа посыпалась с него в закипевшие воды. Гребцы правого борта продолжали тем временем бессмысленные усилия. Галеру закрутило и понесло на мелководье, в камни.

Первая галера, «Дрозд», прервав свои артиллерийские усилия, устремилась было на помощь к сотоварищам, но тут раздался страшный грохот, и вся бухта вспучилась множеством фонтанов. В дело вступила современная артиллерия флагмана Балтийского флота Ея Величества. Залп был дан всем правым бортом прямо с якорной стоянки поверх замка и парка, через всю косу острова Оттец. Полусотня каленых двадцатифунтовых ядер, пролетев над буколическим пейзажем, словно стая валькирий, рухнула в воду, однако одно ядро все-таки угодило прямым в «Дрозда», вписав таким образом еще одну строчку, правда недлинную, в книгу славных деяний «Не тронь меня!», этого чуда человеческого и растительного, сиречь дубового, гения.

«В чем дело, Фодор? Почему твой корабль вдруг окутался дымом и изрыгнул такую массу огня?» — спро-

сил Вольтер, продолжая расправляться с жареным голубком в тени западной галереи дворца.

«Да ничего особенного, Вольтер. — Фон-Фигин сложил свои увлекательно очерченные губы, в сей момент слегка измазанные бланманже, в ироническую, но вместе с тем до чрезвычайности дружескую улыбку. — Нет никаких нужд для беспокойства. Должно быть, репетируют субботний фейерверк».

Мыслители только что закончили обсуждать весьма серьезный вопрос о возможности издания в Париже екатерининского «Наказа». Вольтер прошлой ночью уже ознакомился с предварительным текстом сего сочинения, этого венца либеральной мысли нашего коловратного столетия. Подумать только, какие параграфы выходят из-под пера самодержавной монархини!

«Закон христианский научает нас взаимно делать друг другу добро, сколько возможно».

«Равенство требует хорошего постановления, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их стяжание имеющих».

«Разум вольности в державах может произвести столько же великих дел и столь споспешествовать благополучию подданных, как и сама вольность».

«Государственная вольность в гражданине есть спокойствие духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственно наслаждается безопасностью...»

Каково? Мысленно Вольтер расшаркивался перед автором. Позвольте мне заметить, мадам, что вы, кажется, задумали великую Утопию!

Особливо он был впечатлен набросками Императрицы по части общественной терпимости.

«В обширном Нашем Государстве, где столько же находится под Державою народов, сколько есть

различных вер, ничто не может больше нарушать спокойствия и тишины граждан, как прещение в исповедывании различных их вер. Единственное средство в приведении заблудших овец к истинному познанию и которое за благо признано православною верою и политикою, есть терпимость в исповедывании оных. Гонение раздражает сердца, но свобода в исповедании умягчает их и соделывает меньше упорными: она утушает сии распри, противоборствующие спокойствию Государственному и союзу гражданскому».

Вольтер не исключал того, что королевская цензура наложит запрет на сей труд, невзирая на его венценосное происхождение. «В этом случае, мой Фодор, Государыне придется пойти по стопам всех прочих энциклопедистов, не раз издававших свои запрещенные труды за пределами Франции, а именно в Амстердаме. Уверен, что сей куршлюз принесет ей столь же доброй славы, сколь он добавит позору нашим обскурантам».

С еше большим интересом дискуссанты приступили к обсуждению проекта. Они не обращали, разумеется, никакого внимания на озабоченные лица слуг и не прислушивались к странным звукам, приглушенным высокой твердынею замка.

А там, на другой стороне косы, дело дошло уже до рукопашной. Пираты с «Соловья» разрозненной ордой по мелководью и через камни пытались достичь берега, взбежать по лестницам во внутренние покои и начать разбой. Наши же защитники шпагами, пистоллями, мушкетонами вкупе с абор-

дажными крюками и палашами учиняли им большой урон. Кровавые пузыри кружились и лопались в сиих водах, богатых, как известно, угрями, вельми охочими до мертвечинки. Особливо отличались как в фехтовальном деле, так и в пистолетном с близкой дистанции два наших шевалье рязанского корня. Дело тем более шло в охотку оттого, что супостаты исторгали из своих несвежих пастей весьма знакомое наречие. Куло, куло, вопили они, педерсе скорежаре фаре ун боччино! Кё койо чоччо, о, марипоза миерда! Морозна изда, эппэнаплат!

«Мишка, ты слышишь?! Да ведь сие ж наша старая кумпания из «Золотого льва» же!» — вскричал Коля.

«А как же, — отвечивал Михаил. — Они самые, голубчики, ветерок в голове, молодчики! А вон, рэгард, кто там на камне, как морж, засел! Узнаешь? Казак Эмиль собственной персоной, толико в маске!»

«Этого-того надо взять, месье Террано! Нам за сие дело титло дадут! Давай-ка вот вплавь за камнями подберемся!»

«Са ира, Буало, пошли!»

Миша дрался с особым жаром в тот раз, как будто хотел в сем жару содрать с себя коросту вчерашнего скоромного позора, как будто алкал после чего-то родственного растлению прибавить себе мужества, отринуть всяческую вопросительность, внесенную в него посланником Фон-Фигиным, и укрепиться в однозначностях клинка, кулака и пули.

К тому же он знал, что за их полуморскими подвигами наблюдают четыре пары любовных глаз. В-первых, верные друзья Тпру и Ну в неслыханном возбуждении носятся по берегу, в парке, среди античных скульптур, встают на дыбы, сами как бы становясь в ряд скульптур, ржут, не зная, чем помочь своим сражающимся хозяевам. Ну а во-вторых, в одном из окон замка восседают, свесив ножки в домашних туфельках, курфюрстиночки Клаудия и Фиокла, этот единый в двух лицах образ их юношеской влюбленности.

«Ах, посмотрите, как великолепно... — начинала восклицание то ли Клаудия, то ли Фиокла, — выступают наши аманты, — продолжала другая, то ли Фиокла, то ли Клаудия, — словно они рыцари Короля Артура!» — завершали обе в один голос, вздымая восклицательный знак, то есть сливаясь. И смотрели друг на дружку с еле различной укоризною.

«Знаешь ли, — сказала одна другой, неизвестно какая, — нам надо что-то предпринять для саморазличия. Мне кажется, что наши кавалеры не совсем понимают, кто за кем ухаживает, кому из нас адресованы вздохи и пламенные взоры Мишеля или дерзкие комплименты Николая».

Тут они заметили, что произносят сие речение слово за словом унисонно, и вконец смутились. Дело было в том, что они и сами на шестнадцатом году жизни начали время от времени сбиваться с толку, не совсем понимая, кто, скажем, пробудился ото сна, а кто еще почивает, Клаудия или Фиокла, и отделяя себя от сестры лишь по предметам девичьего быта; ну, допустим, по томику Ричардсона или по стихам Мариво на том или другом ноч-

ном столике. При появлении же уношей курфюрстиночки совсем смущались, хоть и не показывали виду: было видно, что и те пребывают в некоторой облискурации по поводу предмета обожания. Собственные сердешные чувствования, увы, не вносили ясности. Обeim нравились обое, хотя их знание русского языка при сей мысли неизменно отсылало их к убранству комнат.

«Хочешь, я буду носить паричок? — предложила тут одна, ну, скажем, Фиокла. — Ну тот, что мы купили в Париже, по фасону Селестин дю Плесси?»

«Ах, душа моя, — вздохнула другая, предположим, Клаудия, — боюсь, что наш роман с этими русскими Ланселотами обречен на печаль и разлуку. Ведь ты же знаешь, нас никогда за них не выдадут. Они простые служилые дворяне, а нам уготованы эти дурацкие династические браки. Волею судеб и прихотями истории мы не живые девушки, а просто карты в политической игре. Даже наш любимый отец, наш маленький самоотверженный Магнус Пятый, ничего не сможет изменить».

«Но это невозможно! — с жаром воскликнула другая двойняшка, стало быть, Фиокла, чувствуя себя подлинной героиней нарождающегося романтизма. — Надо сделать так, чтобы наши уноши нас похитили! И увезли на какие-нибудь острова! Николя не раз говаривал, что готов вступить в мальтийское рыцарство! Мишель грезит Гваделупою! Можно укрыться у Вольтера в его, как он выражается, «пустыньке»! Ведь он не раз высмеивал matrimониальные интриги европейских династий! В самом крайнем случае можно сбежать в какую-нибудь рязанскую губернию!»

Следует сказать, что весь этот разговор курфюрстиночки вели, по-прежнему сидя на подоконнике своей спальни, в то время как предметы их забот продолжали колоть, рубить и пулею доставать давно уже потерявших наступательный пыл врагов-негодяев. Девушкам, разумеется, и в голову не приходило, что их блистательные аманты могут быть и сами пойманы на мушку или на лезвие палаша. Тем более они удивились, когда вдруг обнаружили пропажу из поля зрения толь любезных их сердцам персон.

Впрочем, при внимательном рассмотрении, особенно через окуляр генеральской зрительной трубы, наши уноши были заметны. Там, где донный песок не был взбаламучен дергающимися, словно угри в ловушке, телами раненых, чужих и наших, меж камней, с тростниковыми трубками в зубах, плыли под водою Миша с Колей, дабы взять живым завязтого башибузука Казака Эмиля.

Сия злокозненная персона все еще цеплялась за большой камень в сотне саженей от берега. Положение Казака Эмиля было, как лет через сто после описываемого события стали говорить, хуже губернаторского. Отряд был вдребезги разбит, великолепная мальтийская галера, наглым образом захваченная под носом у российского гарнизона в порту Свиное Мундо, задрав корму, беспомощно торчала на мели, патронов почти не осталось, да и порох подмок. В прах меня поять, усаха и усаха, очевидно, думал замаскированный злодей. Сохнет по mine, видать, царская дыба.

Ухандорю я в аршлох Фрица Великого, хучь пулю хлопотай.

Тут еще аршинах в дюжине вынырнули из воды две молодые башки, гаркнули весело: «Эй, сдавайся, Эмиль!» Шмаркнул в етти башки какой-никакой Эмиль прусским сапогом, отвалился спиною, на коей не поджило еще угощение фухтелями, забарабанил всеми четырьмя аще не отчетвертованными в никудыть конечностями, фарен, фарен, майне дамен-митхерен, в мокрую верзоху. Башки молодые приближались, вытягивали сеть, як на донского сома.

Увы, полюбилось вашему повествователю, младя уноши, словечко «облискурация», вот и следующее явление этого рода на подходе. Как нередко бывает в тех шхерных местах, произошла неожиданная судорога погоды. Дохнуло мраком и хладом, плеснуло зарядом ливня, накатило волной, и вот закачалась на повышенной воде недавно еще плененная галера. Оставшиеся на ней бандитские люди выловили вожака, разобрали кое-какие уцелевшие весла и худо-бедно, но стали отплывать от негостеприимного острова. Гвардейцам ничего не оставалось, как повернуть назад с пустым неводом.

На берегу подскакали к ним немедля золотистый Антр-Ну и серебристый в чернь Пуркуа-Па, оба деловитые, пышущие жаром и паром, готовые к воинским доблестям. Уноши скакнули в седла, отсалютовали аплодирующим курфюрстиночкам и

помчались вдоль берега, стараясь не терять из виду ковыляющего на ломаных веслах «Соловья». Вскоре удалось израненным бандитам завернуть за южный мысок, а всадники пропали из виду в отдаленных дюнах. Тут как раз и обогнули косу с севера два вельбота со второй полуротой абордажной команды. Им уже ничего не осталось от битвы, как только вытаскивать из камней сраженных и пострадавших. Генералу же аншефу, графу Рязанскому, совместно с коммодором российского флота Фомой Вертиго задача пришла всех рассортировать: кого в госпиталь отправить, кого в каземат для дознания, а кого запросто в яму спустить. Главная задача состояла в том, чтоб никакие отголоски злостного дела не дошли до двух высочайших мыслителей встречи. Так и получилось: увлеченные политическим диалогом вкупе с философскими дигрессиями, Вольтер и Фон-Фигин так ничего и не узнали про все сии докучливые жестокости. Во всяком случае, не показали виду.

Курфюрстиночки же, просидев у окна до сумерек и не дождавшись своих «амантов», отправились переодеваться к ужину.

Доскакав до южной оконечности острова, Никола и Мишель узрели обескураживающую картину. «Соловей», поставив два косых паруса, довольно скоро уходил к югу. Неужто и на сей раз отватажится прохвостствующий злодей, нос с гнильцой?! Подумай, Мишка, чтоб эти мрази с нашими девами сделали б, прорвись они во дворец! Да, Колька, за одно лишь поползновение на русский флаг пощады не бывает, а

уж за невест-то русских, за княгинь, — семь шкур с гада! Да за эдакого-то гада, Мишка, нам графское титуло дадут! Ой, чую я, Колька, жё круа, непростые эти пиратствующие были, на Вольтера они целились да на посланника Фон-Фигина, сего необычного кавалера! Мишка, ежели ты прав, так нам и князей за Казака дадут, вот и женимся на курфюрстиночках. Ну что, прямо на конях, что ли, грянем вдогон? Гряньте, гряньте, горячились кони, чего сумлевааетесь, догоним! А не утопнем, Мишка, за милую душу? Да за милую душу, Колька, чего ж не утопнуть?

Вечная победоносность ранней младости привнесла в характеры уношей некоторое ощущение сверхчеловечности. Даже и сейчас, когда до «Соловья» уже выросла целая верста воды, всерьез обсуждали они погоню на своих сказочных конях. Счастливая случайность уберегла их от безрассудства. В крохотной бухточке узрели они некую лодью, на коей починал свою снасть вольнолюбивый датчанин. Эй, датчанин, вот тебе талер, ставь парус свой упрямый, помчим за славою! Датчанин, который о талерах знал только по сказкам деда, немедля вздул свой лоскут, и лодья, убогая, да быстрая, помчала за «Соловьем». Кони, оскорбленные в лучших чувствах, ярились на дюнах.

Пролив, за которым свинело Свиное Мундо, был неширок, но быстр. Оба судна трудно боролись с течениями. Иной раз сближались на расстояние пистольного шУта. Израненные гады слабо трепетали при виде двух неуязвимых уношей. Николя, пристально прицелившись, сразил рулевого. Казак

Эмиль вздымал длани к летящим тучам, как будто моля Того, кого с упорством обижал в жизни. Лодью и галеру снова разнесло в удаленность. Тот, кого башибузук призывал, должно быть, помог из-под днища.

Так, в бореньях, две лодьи, большая и малая, достигли сумеречной поры и чуть было не потеряли из виду друг друга, когда вдруг выплыл из размазанных красок песчаный брег Померании.

Банда приткнулась первая и тут же расползлась по кустам прибрежного можжевельника. Датчанин смастырил для своих ездоков два смоляных факела, чтоб настигать сволочей по следам. Уноши ухнули с борта на песок и помчались, клинки наготове — Колька налево, Мишка направо. Из темноты кто-то пустил в них ножом; промазал. Ровно гудели над головами сосны, должно быть мечтая о корабельном будущем. Над ними светилась в прозрачном, как бутылочное стекло, небе большая и выпретенная звезда всего российского уношества — вперед, вперед!

В этот как раз восторженный почти до крика момент кто-то хватил Михаила чем-то чудовищным поперек головы.

Очнулся он в густой не июльской ночи. Пахло пожарищем. Где-то на склоне, почти отвесном, в бликах огня торчали пики какой-то орды, вспыхивала и увядала пасть костра. По всей округе шел по-свист с воем; то ли волки кружат, то ли азиатские стаи людей. Небо по временам озарялось своим электричеством, сиречь зарницею. Тогда возникали безбрежные висты-обзоры, ничуть не похожие на

Европу. Тут же все гасло, и вновь воцарялась густая черная мразь, в коей убивают без разбору.

Михайло встал, отчасти уже понимая, что он тут вовсе не Михайло. Протянул в сторону руку, в нее легли мягкие губы коня. Зверь был знакомого боевого склада, но не Тпру; седую гриву ему, видать, в жизни не подстригали, она светилась в ночи. Прыгнул в седло, оно оказалось толь жестким, что прищемилось яciso. Поплыли во мраке, как будто выбирая склон для разгона. Доносились взвизги резни, без коих в том летописьи не мог жить кочевой человек. Одиночество богатырское ожесточало сердце. Не нежная песня напрашивалась на уста.

Эй, Чурило Пленкóвич, расейский ерой,
Скачет ночью, не видноть ни зги!
А поганое идло выжжит под горой
Вместе с падлой блажной мелюзги.

Где мой град, где мой трон, где заветный сундук,

Где мой пруд, полон сладких ляшей?
Каковую припас мне злодейку-судьбу
Обожравшийся мясом Кашей?
Дай огня мне, сестра! Дай стрелу мне, любовь!
Конь-поскок, над бядой проскочи!
Блажь идет пять веков, сшибка бешеных лбов.
Разлетайтесь, блажные сычи!

Сколько времени так скакал, было непонятно. Летописные галлюцинации то отступали, то возвращались. Конь тоже время от времени уходил из-под ног; тогда волочился на своих двоих, с некоторой отчетливостью воспринимая современный Шлезвиг-Гольштейн, где всюду полыхает Вторая вольтеровская война.

Так вроде и было на самом деле. Где-то в каком-то кабаке кто-то не совсем тверезый рассказал ему притчу этой войны. Еще не отшумела первая ойна имени знаменитого философа, как началась торая. Как сегда всякая кабацкая шваль катила очки на великого ына прусской земли, ридриха торгого. Якобы его тайная лужба наняла анду в Данциге и послала в Свиное Мундо для захвата Вольтера, который, оказывается, заперся в каком амке на строве и продавал там европейские секреты российским ыщикам. Вольтер-колдун в стачке с черной магии магистром Сракаградусом нагнал на отряд порчу, да так, что от всего ойска остался один только беглый душегуб с Дона, Барба, рваная оздря. Владетель сиих мест урфюрст Магнус вторгся в Пруссию вместе с польским ойском, требуя выдачи ушкуйника. Пруссия же объявила Барбу Россу борцом за свободу и потребовала ачинщика Вольтера в Гаагский суд. Сразу пыхнула Саксония и срединные пфальцы. Вольтер призвал всех крестьян Европы сбросить иго монастырей. Крестьяне встали на защиту любимого уховенства. Те, что еще остались от Первой вольтеровской войны, бились на оба конца. Тут кто-то втер, что одним из фельдкомандирен оной ойны пребывает некий казус с двумя носами, вроде быть не кто, как беглый русский царь Петр Дер Драй. Во всяком случае, Россия подошла с эскадрой в тысящу пушек, то есть протянула Копенгагену уку ужбы. Франция и Голландия после кровавого боя разделили в Карибском море стров Сент-Мартен. А ты, беглый олдат, отсюда не выйдешь, покуда не подпишешь онтракт на службу усскому крлю!

Миша дрался то ли весь день, то ли весь год, пока пробивался к морю. Положил множество народу и сам получил сильный удар в ухо с рикошетом по всем ребрам. В конце концов отбился и выполз, роняя тяжелые сгустки крови, на песчаный какой-то берег. Сидел, опустив утомленные ноги, в накат волны. Занимался то ли закат, то ли рассвет. Вода была нечиста. Накат подгонял к нему много размокшей бумаги, толщиной в палец, некие странные пленки с печатью «оссисо де Страсбу», мятые (не разбитые!) какие-то бутылки, невесомые белые камешки и ломаные кирпичики, явилась широкая то ли рыба, то ли квасная тюря, заляпанная дегтем, плюхнулась на песок, взялась задыхаться, подплыли и распластались там же оранжевые штаны, неизвестно с чьей великанской жопы, в складках оных портов тут же скопился мелкий мусор, в коем опять же плескались загадочные пленки, неизвестно из какой сделанные тончайшей до прозрачности кишки, мелкие белые ложечки, разная протчая дрянь, кою никак не назовешь и не опознаешь.

Ужас продрал Мишеля Террано с ног до головы. Страшно, жё круа, выпадать в мир не-бытия. Обеими ладонями он зачерпнул этой жижи и пролил себе на макушку. Все наваждение исчезло в один миг, вода очистилась, и покатили мирные волны с простыми узнаваемыми пузырями. Ветер ласкал его грудь сквозь порванные мундир и рубаху. Завершался бесконечный день. Догорал закат. Чьи-то тяжкие шаги волоклись к нему по песку. Он глянул: подходил брат его Николя де Буало, тоже в растерзанном виде. Увидев Мишу, бухнулся коленами в воду, воздел длани к Спасителю, возопил:

«Господи милостивый, единый во всех Своих ликах! Благодарю Тебя за то, что сохранил мне возлюбленного брата Мишу! Амен!»

Силуэтом на горелом небе подплывала все та же утренняя датская лодья.

Ночь уже была в полном праве, когда воители верхами на верных конях вернулись в замок. Там завершался «Ужин искусств», как обозначен он был генералом в программе. Тихо виолами слух услаждали печальные сестры. После Вольтер, словно уноша, стих зачитал, жестами и взором к далекому адресату, кою уподобил он Пчеле Благодетельной, пылая и воспаряя.

Польза пчелы всем известна,
Любят Ее, не менее все же бояцца!
Смертным к добру Она лестна:
Мед всех питает,
Воск освещает
Праздник паяца.
Что за избыточный дар: нам восхищаща
Ночью на пьятцах
Делом Ея, коему мысль не помеха.
О, Ты, Минерва, к земле благосклонна богиня,
Грубых невежд осажай же задорами смеха!
Маслина, Ею сажденна, битвам не быть указала.
О, гений!

В споре красот одари Ее щедро
Яблоком алым сказочной силы,
Кем бы ты ни был, Парисом ли юным и добрым,
Или Ахиллом.

Тут как раз уноши и вошли, и девы в счастливый обморок пали, поскольку ничего прекрасней сих усталых от боя ланселотов им и не снилось. Миша,

однако, не на двойняшек взирал, а от посланника Фон-Фигина не мог оторвать очей. Нечто величественное вздымалось пред ним из кресла, как будто окруженное нимбом, руку оно простирало к нему, будто для дарования высшего блага, и только минутой спустя, как бы хватившись, с какой-то свойской, будто гвардейской, грубоватостью хохотнуло, как бы вчерашнее баловство поминая: «А ты изменился к мужеству, подпоручик!»

Глава шестая,

глубоко задевшая нежные души двойняшек-курфюрстиночек, изгнавшая бесов из камина, а также заставившая задуматься об андрогинных свойствах младших чинов императорской гвардии в обществе старческого красавца Вольтера

В ту ночь в замке «Дочки-Матери» долго не могли уснуть. Сначала пришлось поведать высокочтимому Вольтеру и блистательному Фон-Фигину, что произошло во внешней бухте, пока они под защитой пушек линейного корабля размышляли над «Наказом» Северной Минервы. Засим приступили к юным героям и потребовали от них рассказа о погоне за неким чудовищем под именем то ли Казак Эмиль, то ли Барба Росса, то ли еще как пострашнее. Ну и наконец по предложению Вольтера решили отметить сию блистательную викторию. Никто, кроме подпоручика Земскова, да, может быть, если судить по некоторой мимолетной мимике, самого Вольтера, не предполагал, что на близком континенте уже разворачивается то, что по прошествии двух с половиной веков, или в этом роде, в беллетристике будет названо «вольтеровскими войнами». Впрочем, и названные лица пока что сего феномена не постигали: Миша относил его за счет своей беспокойной головы, философ грешил на переизбыток йодических атомов.

Подняли слуг, открыли ледники, потащили от туда наверх бутылки пузырящегося рейнского вина.

Принялись будить всех, кто успел уже стусеваться с незадавшегося «Ужина искусств», и в результате образовалось общество, которое автор, укоренившийся в своих приемах, не может назвать никак иначе, как «Парадом персонажей». Итак, извольте оживить в своей памяти всех, кто был хоть однажды назван на сих страницах, а также в оную память вставить и тех, кто промелькнет здесь впервые.

Сразу после «Оды Пчеле» вокруг огромного круглого стола, что, разумеется, слыл одной из трех уцелевших копий стола короля Артура, воссело собрание. Сидел с острым лицом, с обширным мосластым задом философ Вольтер, который до возврата юнцов собрался было поумирать, то есть сесть на клизму, но вот, забыв про благое дело, помолодел и возгорелся интересом к вину и к воспоминаниям о днях молодых. Одесную имелся Федор Августович Фон-Фигин, наш жантийом без даже малой укоризны, едва ль не глянцевитый, личный и интимнейший представитель не только Ея Величества, но и ея Мадамства, как величал ее все тот же Вольтер, алкавший также звать ее не Екатериною, а скорее Юноной, Минервой, Венерой или Церерой, понеже родилась она не для месящеслова, а для поэзии всех народов «в лучшем складе».

Барон поначалу был весьма хмур, поелику важное действие прошло без его участия, однако потом повеселел, особенно при взглядах на уцелевших в баталии кавалеров. Ошую наблюдался граф Рязанский, генерал-аншеф Афсиомский Ксенопонт Петропавлович, слуга музыки Клио, сиречь Истории, кто, быв посажен в сию максимально благоприятную позицию, моментман запомнил славолюбские ограниченные вкусы и теперь полыхал искренней

страстью к европейскому просвещению и либеральной терпимости.

Напрямик через стол от тройки расположилась великолепная четверка юности: виновники виктории и победного пира Мишель и Николая в чистых батистовых рубашках, а с ними обе тождественные прелести, все в цветах и кружевах, Клаудия и Фиокла (переставляйте, как хотите). Оные четыре лика будто были писаны лучшим итальянским маслом, то есть лишены морщин и бородавок, а значит, доведены до совершенства; о кровоподтеках же и ссадинах здесь умалчивается.

По касательной от сей золотой четверки, то есть с отменнейшим углом обозрения, восседали в полной торжественности фижм две фрейлины-шаперонши при дворе Его Самоотверженности Магнуса Пятого, Эвдокия Казимировна Брамсценберегер-Попово, баронесса Готторн, и Марилора Евграфовна графиня Эссенмусс-Горковато. Ну а между ними поместился — угадайте кто? — правильно, скромный труженик и воитель моря коммодор (без пяти минут адмирал) Фома Андреевич (без четверти граф) Вертиго. Длинными своими руками он безоговорочно проник под фижмы и взял каждую даму за колено, чем поверг оных (и колена, и дам) в еле скрываемый трепет, а также в явную утрату хваленной наблюдательности.

Далее по нисходящему старшинству. Корабельный священник отец Евстафий, умудрившийся за время стоянки переступить линию раздела религий и соблазнить православием местного патера Блюмендаала с дюжиной его прихожан; ключница замка фрау Завески, коя со всеми своими обильными кладовыми и богатством форм тоже переступила

линию исторического раздела и соблазнила Евстафия; три старших офицера с «Не тронь меня!», фон Бокк, фон Кокк и Никита Дондоньев с их начищенными до ослепительности медными пуговицами и заколками; личные секретари Вольтера Лоншан и Ваньер, не расстающиеся с чернильницами и пучком перьев для записи изречений своего мэтра; два вельми вроде бы рассеянных, а на деле не лишенных остроглазия чиновника при генерале, премьер-майор Дрожжинин и партикулярный Зодиаков; за сим еще одна пара, коя в отличие от предыдущей призвана была сыграть немалую роль в дальнейшем повествовании, то есть гвардейские унтеры Марфушин и Упрямец с их молодецкими блондинистыми усами, а также унтеров оных земляки и друзья с корабля, первый помощник третьего боцмана Стоеросов и младшой квартирмейстер Чудоюдов, кои были приглашены прежде всего для того, чтобы показать, что здесь, вдали от родных берегов, не толь субординация и сословная принадлежность играют роль, коль островитянская дружба.

Сначала долго поднимали тосты за Николая и Мишеля и за всех тех, кто помог отразить супостатов. Вольтер, поблескивая тут лорнетом, то есть представляя бомонд, предположил, что за кулисами нападения стояла Оттоманская Порта. Могут, конечно, думать, что не мусульмане тут безобразили, а мой старый друг и ученик по части словесности король Фридрих, но я все-таки при всем критицизме эдакой подлости от Фрица не жду, а во-вторых, если все ж это был и он, вернее, не столь он, сколь его министр тайных операций фон Курасс, то все равно за фон Курассом маячат визири Стамбула, потому что именно они ненавидят меня даже

пуше, чем Папу Римского, а я, месье и медам, полностью отвечаю им взаимностью.

«Ах, наш Вольтер! — воскликнули тут, как всегда в унисон, обе курфюрстиночки. — Давайте хотя бы в эту волшебную ночь оставим политику и выберем другой предмет главной темой нашего стола!»

«Какую же тему предлагаете вы, наши милейшие принцессы?» — спросил Вольтер и улыбнулся с некоторой игривостью, то ли уже предвкушая эту тему, то ли другой темы от девушек и не ожидая.

«Мы предлагаем тему человеческой любви, — ответствовали Клаудия и Фиокла. — Что она являет собою — животное или небесное?»

«Ах, какая чудесная тема! — воскликнул посланник Фон-Фигин. Тут он окинул взглядом весь стол, отчего один из гостей зарделся, как ярчайшая морковь. Посланник продолжал: — Монархиня наша была бы счастлива оказаться шас в центре дискуссий! Давайте начнем с тебя, Вольтер: ведь о тебе ходят легенды и как о любовнике, и как о поэте любви. Вообще расскажи о себе: ведь мы не все о тебе знаем в силу стылости нашего климата».

Вольтер с благосклонностью принял приглашение — каждый не прочь повествовать о себе, увы, не каждый может рассчитывать на внимание; он мог. Он встал и, чуть покачиваясь на тоненьких каблуках — тревожила подагра подиатрических суставов, — направился к камину. Все двинулись за ним, и так, определив «тему стола», оный стол и покинули, чтобы расположиться вблизи камина, толь огромного, что сгодился бы и для отливки корабельных якорей. Дабы избежать преувеличений, добавим: но не пушек, милостивые государи, нет, не пушек.

Камин возгорелся мигом стараниями дворцовой челяди, составленной из лучших лютеран острова, и в пламени его тут же уселся лицом к обществу магистр Сорокапуст. Далеко не каждый мог его там узреть, а те, кто мог, давно уже известны почтеннейшей публике. Вдобавок к этому странному, но не лишенному художественности зрелищу рассказчик Вольтер мог также видеть пляшущих в пламени Энфузьё, Флефьё, Встрка, Чва-Но, Гуталэна и других дьяволков фернейского сонма. Словом, было уютно. Он начал:

«Друзья мои, я был воспитан иезуитами в колледже Луи Великого на левом берегу Сены. Как это ни покажется странным, именно отцы иезуиты с их рвением к обучению юношества привили мне любовь к литературе, особенно к драме. После окончания колледжа в годы довольно бессмысленного изучения законов Феодосиуса и Юстиниана я нашел близких мне людей в кругу скептиков-эпикурейцев, возникшем в угасающем монастыре Рыцарей Тамплиеров. Один из них, достопочтенный де Шальё, объявил вино и женщин самыми великолепными дарами, которыми наградила человека мудрая и благодетельная Природа.

Девятнадцати лет от роду я влюбился, как бешеный, в Олимпию Дунуа, преследовал ее со своей поэзией и обещал вечное обожание. «Никогда никакая любовь не сравнится с моей, — писал я ей, — потому что никогда в мире не будет особы более достойной любви, чем вы!»

Я служил тогда пажом у французского посла в Гааге. Посол написал моему отцу, что дипломат из меня не получится. Отец призвал меня домой в Париж, лишил наследства и угрожал отправить в Вест-

Индию. В отчаянии я умолял Пимпетт, так я звал свою любимую, приехать ко мне и угрожал самоубийством, если она этого не сделает. Она была мудрее меня на два года и на свой пол. В ответ она посоветовала мне помириться с отцом и изучать право. Отец сказал, что он простит меня, если я стану адвокатом. Я согласился. Пимпетт вышла замуж за графа.

Это был мой последний пылкий, всепоглощающий роман. Я был страстным поэтом, юнцом с натянутыми нервами и повышенной чувствительностью, однако, должен признаться, друзья, я не был слишком эротичен; увы, это так. Впрочем, так ли уж «увы»? У меня были весьма шумные в обществе связи, однако вызваны они были не столь притяжением тел, сколь близостью духовной и умственной. Энергия моя хлестала через мое перо, а не через органы тела. Я вижу, вы шокированы, Николая, но вот Мишель, быть может, меня понимает. А ты что скажешь, мой Фодор? Предпочитаешь промолчать, поблескивая своими удивительными глазами?

Мне было двадцать пять, когда я написал маркизе де Мимёр: «Дружба в тысячу раз более драгоценна, чем любовь. Мне кажется, что я ни на толику не создан для страсти. Любовь кажется мне чем-то неловким и вздорным. Я решил отречься от нее навсегда».

«О Боже! — вскричали тут курфюрстиночки. — Что вы имели в виду, наш мэтр? Анатомию любви или жар души?»

«Что это значит?! — вскричала тут баронесса Эвдокия. — Любовь и анатомия? Ведь это же сущий парадоксимум!» Ей вторила графиня Марилора: «Откуда вы узнали сии двусмысленности, ваши высочества? Уж не из сочинений ли некоторых авторов?»

Тот, в кого метил этот намек, даже и не заметил шаперонского протеста. «И то, и другое, ваши сиятельства, — отвечивал философ девочкам, и кисть его руки прошла большой тенью по потолку зала. — Истинная любовь неотделима от эротического блаженства, а значит, и безрассудства. Быть может, именно это мне и кажется столь ридикульным. Отчасти даже постыдным. Мы столь несовершенны в своем устройстве. Клянемся самым поэтическим языком, а сами тянемся к дамам в подполье, путаемся в их юбках, в собственных гульфиках, извлекаем свои фаллусы, внедряемся в их вульвы, сотворяем сие не без остервенения... И все это происходит по соседству с анусами, если оные и сами не вовлечены в сей маразм плоти, именуемый высокой любовью. Надеюсь, собравшиеся тут на острове возле огня достаточно эмансипе, чтобы не обидеться на старого философа».

Многие у камина были явственно обескуражены откровениями старика. Обе статс-дамы производили жесты, как бы говорящие: «Ну чего вы еще хотели? Чего можно ждать от этого несносного Вольтера?» Одна из них, а именно Марилора, дерзновенно обратилась к классику; слегка уже запекшийся ее подбородочек дрожал: «Послушайте, Ваше Превосходство, нельзя ли не вдаваться в сии подробности при детях?»

«Здесь дети?» — воскликнули курфюрстиночки и в ужасе оглянулись в пустоту большой залы. Детей там не было.

«Это про нас с Мишкой», — пояснил им Никола, и многие при сей реплике расхохотались. Вольнодумство изрядно уже утвердилось в цивилизован-

ных странах благодаря амстердамским публикациям. Гран-Пер Афсиомский мягко поаплодировал новому уношеству.

«Продолжайте, Вольтер», — еще мягче предложил посланник Фон-Фигин. Философ не заставил себя упрашивать.

«Так я думал в те дни, когда был худым, длинным унцом, почти лишенным ягодич. Самые узкие штаны висели на мне мешком. Быть может, именно нехватка плоти настраивала меня презирать ее соблазны, не впадая, впрочем, в крайности, должен признаться, нет-нет, не впадая в крайности! — Он помахал длинными ладонями, а потом сложил их, словно на покаянии. — Маркиза де Мимёр тому свидетельница; не впадая в крайности.

Меня принимали в великосветских кругах, там называли мои стихи «искрометными» и восхищались моим еретическим остроумием. Во дворце Сё у герцогини дю Мэн особенно высоко ценили мои нападки на регента. Помнится, когда Филипп сократил наполовину количество лошадей в королевских конюшнях, я пустил шутку, что было бы лучше урезать наполовину число ослов при дворе Его Высочества. Увы, не только придворные ослы были мишенями моих сатир, но также и дамы из окружения регента, а тот, как известно, был гораздо по этой части. Вообще, друзья мои, я удержу тогда не знал в своих стишках, и они повсюду циркулировали, забавляя посетителей кафе и светских салонов. Иной раз мне приписывали и не мои сочинения, в частности, так случилось с одной политической инвективой ле Бруна. Вскоре после этого и моя собственная инвектива против некоего «отравителя и кровосмесителя» пошла гулять по Пари-

жу, и я был отправлен в Бастилию вместе со своей библиотекой, мебелью, бельем, духами и ночным колпаком. Одного этого достаточно, чтобы обрисовать климат регентства. Филипп Орлеанский был вольтерьянцем до Вольтера, а его дворцовые дебоши стали частью этикета.

И все-таки это была тюрьма, и вот тогда произошла в моей жизни еще одна любовная драма. Я был влюблен в Сюзанну де Ливри. В нее же был влюблен мой ближайший друг Лефевр де Женонвиль. Наша удивительная «любовь втроем» в связи с моим прискорбным отсутствием превратилась в зурядный амурчик этих двух моих друзей. Я страдал в чертовой Бастилии, но не терзался, потому что видел уже постыдную сторону любви. Через несколько лет Лефевр умер. Я написал тогда стихи в память о нас, троих.

Воспеть твою красу, Сюзан,
Поет гобой.
Любой кюре, забыв свой сан,
Помчится за тобой.
О тот блажной любовный сон!
Мы в нем сошли с ума!
Царица сна, весна Сюзан,
Лефевр и Франсуа!
Мы позабыли вздор забот,
Подсчеты в кошельках.
Весь мир наживы был забыт,
И лишь один мы знали быт,
Втроем в твоих шелках».

О Боже, вздохнули тут все присутствующие девы, кто про себя, а кто — вот именно: принцессы — вслух.

Вольтер несколько минут молчал. Слеза катилась по его щеке, спотыкаясь в напудренных морщинах. Потом продолжил:

«Сюзанна вышла замуж за богатого маркиза де Гуверне и отказалась принять меня, когда я посетил ее дом. Я утешал себя стихами: «Тот изумруд, что так вам люб,/ И яхонты, мадам,/ Не стоят шевеленья губ,/ Что вы дарили нам!»

Сейчас ей семьдесят один год. Я больше никогда ее не видел, но все-таки еще надеюсь на встречу».

«Вуух!» — вскричали тут все черти и испарились через трубу. Камин потух. Пришлось всем присутствующим вздуть его заново: кто бросил спичку, кто горящую трубку, кто вылил в прорву ром, а остальные просто дули на тлеющие угольки. Камин вновь загудел, теперь уже чистым огнем вольтеровской молодости.

Этот Вольтер, думал посланник Фон-Фигин. Черт в нем вечно сидит рядом с нежнейшим сердцем этого века!

«А что же было дальше с этой вашей странницей, достопочтенный мэтр?» — спросил Михаил.

«Какой еще странницей? — удивился Гран-Пер и погрозил мальчику пальцем. — Ты, видно, все проспал, Михаил!»

Вольтер в который уже раз взял голову шевалье за ухо, чуть оттянул ее в сторону и заглянул глубоко ему в глаза: «Ты, очевидно, имеешь в виду мою любовь, дружище?» Тот, освободив свое ухо, молча кивнул.

«Однажды она приблизилась ко мне. Мне даже показалось, что мы больше не расстанемся. Мне

было тогда двадцать восемь лет, а ей тридцать восемь. Звали ее тогда графиней Мари де Рупельмонд. Она была столь же красива, сколь умна, и так же, как и я, испытывала сомнения в религии. Именно ей я посвятил тогда «Эпитр к Урании». Вот то, что я вспомню сейчас из этого важнейшего для меня стиха:

Прекрасная Урания, ты жаждешь
Будить во мне Лукреция, чтоб я
Согражданам моим подъял бы вежды,
Громил бы лживость, страстию объят.
Меня ты ободряешь, ангел милый,
По-философски встретить мрака рать,
С усмешкой к краю подойти могилы
И ужас новой жизни презирать.

Мы проводили ночи не столько за поцелуями, сколько за опровержениями христианских святош. Мы любили Господа, искали в нем увидеть своего отца, однако какого отца нам предлагала христианская теология? Тирана, коего нам следовало ненавидеть. Он дал нам грешные сердца, чтобы иметь право нас наказывать. Он послал к нам своего Сына, чтобы искупить наши грехи, Христос умер, а нам все еще говорят, что мы запятнаны преступлением Адама и Евы и что нас следует ввергнуть в ад.

Наступал, однако, момент, когда мы с графиней впадали в суший религиозный экстаз. Слава Христу, могучему и славному, восклицали мы, затоптавшему смерть своими ногами триумфатора, с победой прошедшему чрез врата ада! Он утешает тайно сердца освещенные, даже в великом горе он дает им поддержку. Даже если его учение стоит на иллюзии, все ж это благодать — быть обманутым вместе с ним.

Мне казалось, что я нашел свой идеал любви, я был счастлив, когда вдруг все внезапно развалилось: я заболел оспой. Я был уверен, что мне конец, и иногда в том ужасном полубреду меня посещала последняя ересь: вот тебе расплата за вольнодумство. Вы знаете, что оспа до сих пор не лечится; она пожирает тысячу за тысячей людей без всякого уважения к сословным привилегиям. И все-таки меня спас врач. По просьбе маркиза де Мэзона меня осмотрел доктор Жервэ. Вместо обычных сердечных средств, тех, что дают при этой болезни, он заставил меня выпить двести пинт лимонада. Странно, не правда ли? Однако именно это спасло мне жизнь. Я уринировал, господа, прошу прощенья за еще одну натуралистическую подробность, в общем, я мочился, ну-ну, словом, пи-пи, или, как это по-русски, сы-сы, как целый эскадрон кавалеристов вместе с лошадьми...»

Все вокруг камина полегли тут от хохота, а флотский батюшка Евстафий просто бухал, словно главный калибр «Не тронь меня!».

«И оспа стала отступать! — возгласил Вольтер торжественно. — Конечно, прошло еще много месяцев, прежде чем я восстановил свое здоровье, если я вообще когда-нибудь полностью его восстановил. Так или иначе с тех пор, если я чувствую приближение кризиса, я прекращаю есть и прибегаю к лимонаду...»

«Как это было в Мекленбурге, мой мэтр, не правда ли? — деловито спросил подпоручик Земсков. — Я заглядывал тогда в вашу мочу, мой мэтр...»

«О Боже!» Фрейлины-шаперонши в этом месте едва не потеряли сознание. Миша закончил фразу: «...и видел, как из нее выпадают холиостратики».

«Холиостратики? — задумчиво повторил Вольтер. — Откуда вы взяли это слово, мой мальчик?»

«Не знаю». Миша покраснел.

«Кстати, об оспе! — вскричал тут Вольтер. — Все присутствующие, слушайте меня внимательно, а тем, кто не понимает язык Корнеля, пусть переведут! Из каждой сотни рожденных в Европе людей шестьдесят заболевают этой болезнью, двадцать из них умирает, еще двадцать обезображивается до такой степени, что вынуждены искать убежища от мира в монастырях и пустынях. В первую четверть века Франция потеряла от оспы трех наследников трона. Оспа бесчинствует по всей Европе, но далеко не во всем мире! В тысяча семьсот семнадцатом году отважная британская путешественница леди Мэри Уордли Монтегю в поисках своего возлюбленного достигла Константинополя и узнала, что там применяется метода, изобретенная черкесскими женщинами на Северном Кавказе, то есть близко к вашим владеньям, господа российские офицеры. Из струпьев на коже оспенных больных они выжимают жидкость, несколько капель коей вводят через малый надрез в тело здорового человека. После сей инокуляции человек остается здоровым даже в очагах самых жутких эпидемий.

Леди Мэри была так впечатлена своим практическим открытием, что отважилась сделать инокуляцию себе и своему маленькому сыну. Вернувшись в Англию, она стала продвигать идею, используя свои связи при Дворе. Ее союзницей стала принцесса Каролина. С полным успехом операция была проведена на сиротских детях в обители Святого Джеймса. С тех пор инокуляция широко распространилась среди британской аристократии, несмотря на скептический характер англичан, а может быть, благодаря ему.

Увы, на моей родине, где люди отличаются большей легковерностью, инокуляция до сих пор запрещена. Церковь называет ее «опасной и грешной практикой». Церковь вообще недолюбливает лечение, поскольку существует старый теологический взгляд на болезни как на наказание, посылаемое Провидением за наши грехи. В общем, если попы все же мирятся с лекарствами и докторами, то профилактические меры против болезней считаются полной ересью. Таким образом, народ в просвещенной Франции, без различия сословий, остается полностью беззащитным. Я не удивлюсь, если наш монарх умрет от оспы.

А почему бы не предположить, что инокуляция послана нам как Дар Божий в ответ на происки оспенного дьявола? Почему бы не предположить, что, если болезнь считается наказанием, она может быть и наказанием за невежество и пренебрежение?

Друзья мои, просвещенные люди Российской империи, вы стали в этом веке частью Европы, вы делите с нами наши успехи, но и наши болезни. Я знаю, что пару десятилетий назад оспа жестоко ударила по Украине. Вы должны сейчас пойти не за Францией, а за Британией в деле инокуляции. Друг мой Фодор, я обращаюсь к тебе как к доверенному лицу нашей блистательной Государыни, передай ей, что я повергаю себя к ея ногам с нижайшей просьбой провести и на себе самой, и на наследнике Павле сию не столь сложную операцию. Мы не хотим терять нашу Северную Минерву: ведь она нам дана не как наказание, а как благословение!»

И, завершив сей бурный спич наибурнейшим восклицанием, Вольтер, обессиленный, повалился в кресло. Вскочил посланник Фон-Фигин; от сдержанности его не осталось и следа, он пылал.

«Вольтер, я уверен, что Государыня последует твоему совету!»

Потрясенное общество несколько секунд молчало, а потом разразилось аплодисментами. Даже статс-дамы соединяли жесткие ладони, а громче все хлопали отец Евстафий, фрау Завески, моряки Стоеросов и Чудоюдов. Не хлопали только Лоншан и Ваньер; они ломали перья, стараясь записать все, что изрек современный оракул.

Вольтер слабо улыбался: «Простите мне, друзья, сие отступление от основной темы. Я всегда боюсь упустить то, что приходит кстати».

Две курфюрстиночки подпорхнули к нему с разных сторон, поцеловали старческие щеки и уселись на подлокотники. «А теперь, наш блистательный Вольтер, пожалуйста, возвращайтесь к тому, что не-кстати!» Философ погладил обеих по спинкам. Затем продолжил повествование о своих любовных печалях:

«Станным образом, встав со смертного ложа, я как-то изменился в не столь достойную сторону, кою можно было бы предположить после таких страданий. Я перестал даже вспоминать ту, которой я еще недавно клялся в вечной любви. Меня обуяла страсть к творчеству и жажда славы. Это было время LA HENRIADE. Успех эпоса вскружил мне голову. Один критик поставил его выше «Энеид», а прусский король Фридрих Великий написал мне, что всякий человек, лишенный предрассудков, предпочтет «Генриаду» поэме Гомера. Меня стали принимать при дворе Людовика Пятнадцатого. Королева плакала над моими пьесами и назначила мне стипендию из своего собственного кошелька. Я был теперь на короткой ноге с грандами аристократии. Вели-

чайшая актриса нашего времени Адриана Лекуврёр читала мои стихи и возносила меня до небес. Могу ли я назвать отношения с этой великолепной женщиной любовью? Или это было лишь вознаграждением за творчество, сродни королевской стипендии?

Однажды мы сидели с ней в опере, когда в ложу вошел светский гад, кавалер де Роан-Шабот. «Ээээ, месье де Аруэ, — проблеял он, — или месье де Вольтер? Как прикажете вас называть?» Я вскочил. «Мое имя начнется мной, а ваше заглохнет с вами!» — вскричал я. Он поднял было свою трость, я потянулся к шпаге. Адриана, актриса в любом случае жизни, упала в обморок.

Я стал готовиться к поединку, однако негодяй меня таковым не удостоил. Вместо этого он нанял шестерых парнюг, кои прилюдно отмузузили меня палками. Так я был низвергнут с вершины моей молодой жизни. Пришиблено было и нарождающееся чувство к Лекуврёр.

Так или иначе, главные влюбленности моей жизни обычно следовали за художественными успехами. В тысяча семьсот тридцать втором году была поставлена «Заир», коя принесла мне реноме лучшего поэта Франции, место на вершине рядом с Корнелем и Расином. Через несколько месяцев, все еще витая в эмпиреях славы, я встретил даму по имени Габриэль Эмили лё Тонелье дю Бретёй, маркиза дю Шатле. Я сразу понял, что предо мною моя судьба. Черт побери, в Париже вы до сих пор встретите идиоток, которые считали ее уродливой. Например, мадам дю Деффан в своих описаниях изуродовала все черты Эмили, начиная от ступней, кончая зубами, не говоря уже о глазах. Маркиза де Креки — я знаю это! — называла ее рослым и неуклюжим гре-

надером! Кто поверит этим мегерам, тот забудет поговорку FEMINA FEMINAE FELIS! Для меня Эмили была совершенством!

Когда она в своем полном параде, в макияже, драгоценностях и кружевах входила в зал, мне всегда казалось, что она на своих длинных ногах выступает по помосту, в то время как все остальные смотрят на нее откуда-то снизу. В шуршащих ее юбках, мой Фодор, никогда не было ни одного лишнего или недостающего полотнища. Движения ее были резкими, это верно, они напоминали фехтовальщика, но я это обожал. Бог мой, какое блаженство я испытывал в ее объятиях! Какая редкая fortuna заключена в обожании человека, которого любишь!

В свете болтали, что в ней заключен мужчина, способный удовлетворить женщину, скрытую в Вольтере. Мне же кажется, что, быв в объятиях друг друга, мы забывали, кто из нас женщина, а кто мужчина; мы просто были счастливыми людьми!

В ней было множество талантов и прорва интеллектуального любопытства. Еще в детстве она изучила латынь и взялась переводить *Виргилия*. Позднее к этому языку прибавились итальянский и английский. Она хорошо пела и прилежно изучала математику. С ней можно было самым серьезным образом говорить о философии. Кумиром ее был *Ньютон*. Она не просто читала его, как тогда делали многие передовые дамы, она его понимала. Недаром именно она перевела на французский его *PRINCIPIA*.

В принципе, с моей нынешней точки зрения, я испытал истинное чудо: идеальный любовный союз, в коем духовное преобладало над телесным. Мы прожили вместе шестнадцать лет, почти не разлучаясь. Бесконечные опалы и высылки из Парижа только

способствовали нашему единству. С согласия мужа Эмили маркиза дю Бретей мы преобразовали заброшенный фамильный замок Сёрей в наше надежное и комфортабельное убежище. Мои и ее покои соединялись большим залом, в коем была оборудована лаборатория для занятия физикой и химией с воздушными помпами, термометрами, печами и тиглями, телескопом, микроскопами, призмами, компасами и весами. Там был также театр, и всех наших слуг мы сделали актерами, имелись и кукольный балаган, и сцена волшебного фонаря. Однажды мы даже поставили оперу, и Эмили пела в ней своим *voix divine*. Так жили вместе два философа, он и она. Мой старый друг и секретарь Лоншан еще помнит те счастливые дни. Лоншан, подтверди: ведь ты помнишь, что мы все были щастливы тогда, ну!»

При этом нежданном обращении трудолюбивый Лоншан (а вслед за ним и молодой Ваньер) запнулся в своих записях, и его перо оставило на бумаге кляксу и загогулину, кою по сю пору не в силах расшифровать потомство. С нуждой подняв главу от листа, он поежился, хотя вовсе не этого от него ждали. Вольтер продолжал:

«Лоншан, конечно, помнит, как однажды ночью в поле по пути из Парижа в Сёрей у нашей кареты отлетело колесо и сломалась ось. Маркиза с присущей ей резкостью принялась высказываться в адрес возницы, кареты, лошадей, Франции, «проклятой дикости», коей якобы нет ни в Голландии, ни даже в Китае при просвещенном императоре Камги, и даже в адрес своего друга, который то витает в своих стихах, то гребет лопатой свой «философский камень», то есть деньги, не удосужившись перед путешествием сменить ось.

Мы выбрались из кареты и пошли в поле, а потом споткнулись и повалились на стог сена, где стали хохотать, как безумные, вспоминая ее проклятья. Потом мы прижались друг к другу и стали смотреть в небо. Стояла морозная чистая ночь с полным набором созвездий. Мы читали небесный свод и чувствовали себя в эти то ли миги, то ли вечности не жертвами, а баловнями Вселенной. Разве это не счастье?»

«Счастье или шастье?» — спросил Лоншан. Ваньер молчал, держа перо на весу.

«Как угодно», — сухо вато ответил Вольтер.

«Нам больше нравится «Щ»!» — закричали курфюрстиночки.

«А нам «СЧ»!» — наперекор заявили подпоручики.

Под этот писк моряки и унтеры выпили крепкого, а отец Евстафий даже умудрился не только выпить, но и закусить отменным датским маринованным огурцом.

Посланник Фон-Фигин молчал, прикрыв глаза своей будто бы скульптурной ладонью с большим камнем, сверкавшим не менее ярко, чем любая звезда той столь памятной вольтеровской ночи. Этот Вольтер, вновь думал он. Что был бы наш век без него! Как мне вознаградить его за сие воспоминание? Отняв длань ото лба, он снял перстень и надел его на третий, наидлиннейший палец левой конечности философа, после чего приложил сию кисть к своим губам. Кисть дернулась под этим прикосновением, словно подопытная лягушка Гарвея. Глаза старика осветились какой-то, будто бы ожившей странностью. Непроизвольно, словно борясь с неведомым искушением, он даже сделал почти неза-

метное движение чреслами в сторону от высочайшего посланника.

Вольтер продолжал свой монолог: «Увы, счастье наше было не вечно. Все те же досадные противоречия земной любви все чаще ставили нас в тупик, из коего мы по унылой привычке человеческих существ не искали выхода. Гармония разрушалась: нарастающее восхищение друг другом, чувство духовной неразделимости сопровождалось ослаблением либидо, то есть пресыщением.

Однажды я подарил ей миниатюру, свой портрет, на котором написал такое стихотворение:

Барье гравировал сии черты для вас.
Быть может, будут по душе хотя отчасти.
А вашу гравировку я припас
В любви своей, она во власти
Того, кто знает в этом высший класс.

В тысяча семьсот сорок седьмом году в городе Люневиль при дворе польского короля в изгнании Станислава Лещинского Эмили, ей было тогда сорок два года, познакомилась с молодым капитаном гвардии маркизом Жаном Франсуа Сен-Ламбером. Дальше все пошло по самому банальному варианту. Она влюбилась. Он отвечал с полной галантностью, свойственной французским молодым гвардейцам. Не исключаю, впрочем, что и русские гвардейцы им не уступают. (В этом месте генерал Афсиомский чуть-чуть покашлял, видимо приняв сей экивок на свой счет; его птитфисы промолчали, увлеченные «банальным вариантом»). По всем законам сего жанра роман был бурным и истеричным. Однажды филозоф натолкнулся на влюбленных в самом разгаре их объяснений. Простите, друзья, я буду иногда сби-

ваться на рассказ от третьего лица, поскольку сия история совсем не соответствует моим личным представлениям о себе, об Эмили и даже и молодом Сен-Ламбере. Философ взорвался негодованием, однако тут же удалился в свои покои, когда офицер предложил ему сатисфакцию. Счастливая и взбудораженная Эмили пришла ко мне в два часа ночи. Она заверила меня в своей вечной любви, но тут же нежно напомнила, что я сам признавался ей не раз в том, что моя мужская сила убывает. Мой Вольтерчик, говорила она мне, мой генюша (это от «гений»), неужели ты будешь обижен, если твое место в постели займет человек, который может стать твоим хорошим другом?

Гнев философа растаял. Духовная близость с ней была мне дороже совокуплений. Сен-Ламбер пришел и извинился за вызов. Франция проклянет меня даже за то дурацкое посягновение на вашу жизнь, мой мэтр. «Ну что ж, — сказал философ, — я был не прав. Наслаждайтесь моментами счастья, они так коротки. А старому инвалиду (мне было тогда пятьдесят пять) уже не по плечу такие забавы». И сделал вид, что вывихнул это плечо. На следующий вечер мы уже ужинали втроем. Не было более ужасного ужина в моей жизни, но я превзошел себя в веселости и остроумии.

Прошло несколько месяцев. Она призналась мне... ну не в том, что улетает на Юпитер или на созвездие Плеяд, а в том, что забеременела, разумеется. Далее последовала самая постыдная часть сей истории, кою вы можете отнести скорее к вульгарной драматургии, чем к реальности. Союз трех сердец разработал план, как обеспечить легитимность младенцу. Мадам пригласила своего законного

мужа, полковника маркиза дю Бретей, напоила его великолепным вином и уложила к себе в постель; ни одного полковничьего атома там не побывало за последние пятнадцать лет.

Через пару недель она сообщила наивному воину, что понесла. Не было в королевских войсках более счастливого человека! Ну а два любовника, старый и молодой, согласились числить ребенка среди «разнообразных проектов» ученой дамы.

Она, впрочем, и родила прямо в лаборатории. Ребенок буквально вывалился у нее из-под юбки, пока она ставила химический эксперимент. Через шесть дней она умерла от родовой горячки. Вольтер, поняв, что ее больше нет, вышел из комнаты и упал поперек коридора. Как долго я был без сознания, не знаю, но, когда приходил в себя, если это можно назвать возвратом к себе, я бился головой в стены и вопил: «Мой Бог! Месье! Что побудило тебя забрать ея у меня?!»»

Все дамы и девы, сидевшие вокруг камина, разрыдались. Посланник Фон-Фигин закрыл лицо на этот раз обеими руками. Мужчины и уноши окаменели. Вольтер вытер лицо платком и с завидной сухостью завершил сей печальный рассказ:

«Так закончилась последняя любовь в моей жизни. Физическая ея сторона вновь превзошла и задавила духовную. Я часто думаю о преображении Адама, об отделении Евы, о страсти к воссоединению, которая приняла форму первородного греха. Почему замес из первичных элементов воздуха и земли принял такие формы, приносящие нам и наслажде-

ние, и муку? Почему это выглядит так ридикульно, так животно, почему это то и дело становится каким-то странным посмешищем в наших собственных глазах? Неужели на небесах не мог возникнуть какой-либо иной концепт, ну, скажем, соединение каких-либо нежных поверхностей, какая-нибудь вибрация блаженства и восторга, происходящая без выделения всех этих наших секретий, без вони?»

Некоторое время вокруг камина королевствовало молчание. В заушные углы вольтеровской главы стала пробираться зевота. Ну чего это я так разоткровенничался перед незнакомыми людьми? — думал философ. Ну я понимаю: Фодор, посланник великой женщины, воплощения Империи, или Ксено — дипломат-шпион, каковым и мне самому пришлось в свое время отличиться, вельможный гранд и сочинитель своей абракадабристой утопии, или эта юная четверка, принцессы с их глазами-бабочками, всадник Николя, будто сошедший с картин ля Шампаня, Мишель с его великолепными странностями — это все свои, доверительные люди, однако все другие-то, целая толпа, зачем они? Впрочем, почему бы и нет? Допустим, на Аляске я собираю тысячу эскимосов и исповедуюсь перед ними; допустим, они начинают разносить мою исповедь по пространству, что из того? Пространства столь велики, что все эти рассказы растворяются в ледяной лебедяни, а там, где пространства не играют никакой роли, там и так все знают.

Зевота начала уже захват вольтеровского лица, когда граф Рязанский задал мучивший его вопрос:

«Скажи, Вольтер, а что стало с младенцем?»

Вместо зевоты лицо исказилось страданием. «Спасибо тебе за твой вопрос, мой Ксено, — медленно проговорил Вольтер. — Дочь Эмили не стала ни маркизой дю Бретёй, ни маркизой дю Сен-Ламбер, ни даже мадемуазель де Вольтер. Ее увезли в какой-то монастырь, где она вскоре и умерла на руках бестолковых монашек. Видимо, к этому моменту на небе как раз освободился какой-нибудь ангельский чин».

Он встал из кресла с помощью Клаудии и Фиклы, разогнулся и пошел к выходу, являя собой странную картину модника на трясущихся ногах. Все собрание последовало вслед за ним. Ксенопонт Петропавлович на ходу уже воображал, как Ксенофонт Василиск похитит из тайного чертога морганатическую дочь Величавы Многозначно-Великой и сделает ее наследницей престола.

Странности этой ночи еще не завершились для Вольтера, если только последующие события ему не приснились. Зевота вдруг испарилась, и ноги утвердились на своих каблуках. Взбудораженный воспоминаниями, он зиждился теперь на краю галереи замка, словно высеченная из камня скульптура. Ему открылся огромный свод небес, сверкающий созвездиями, как в ту ночь с Эмили, когда поломалась карета. Вдруг он ощутил, что время остановило свой бег, а стало быть, и старость его исчезла. Он подозревал, что исчезли и многие другие земные параметры. Припомнилась собственная повесть середины сороковых годов, «Г-н Микромегас». Сей джен-

тльмен обитал на звезде Сириус — сейчас он не мог найти это светило на небе: все звезды надлежало заново открыть и назвать, — и росту он имел 120 000 королевских футов, а нос у него был длиной 6,333 фута от корня до головки. Как хохотали мы тогда над относительностью величин!

Тут он услышал стук шагов по каменному орнаменту. Приближался в темном плаще до пят Фодор Фон-Фигин, а за ним выступали два его унтера Упрямцев и Марфушин, тоже в темных плащах, но также в форменных шляпах гвардии Преображенского полка. Великолепные их блондинистые усы вкуче с бакенбардами шевелились под ночным ветром.

«Ласкался я, Вольтер, что ты не спишь, и вот ты не спишь, — проговорил Фодор. — Я тоже не могу успокоиться после твоего монолога о золотой книге человеческой, как мы иной раз называем любовь. Ведь, сомневаясь в любви людской, ты поднимаешь ее ввысь. Так и все, чего касаешься ты своими перстами, даже и жидкости наши, даже и слизи, преисполняются каким-то иным, поэтическим смыслом. Как передам я нашей монархине этот твой дар? Разве что с помощью только неких торжественных таинств?»

Два стройных гвардейца выступили тут вперед и взяли философа под старые локти. Влекомый ими вдоль галереи, не мог он не вспомнить раннюю старость свою, проведенную после кончины Эмили в прусском дворце Сан-Суси в обществе Фрица Великого и его адъютантов. Следуя за посланником, вступил он в его покои с плотно задернутыми шторами. Там, среди колебания слабых свечей, он помещен был на канапе и освобожден от излишней одежды. «Фодор, ты где?» — он спросил и не услышал ответа. Лишь колебались шелковые балдахины.

«Где ваш хозяин, солдаты?» — он спросил. Унтера отдалались, задками виляя, а отдалясь, обернулись. Вместо воинственных унтеров взирали теперь на него лукавые девичьи лица, однако ж с усами. Сбросив накидки, явились теперь перед ним две обнаженные нимфы. Из всех одеяний остались на них одни лишь гвардейские шлемы. «Фодор коварный!» — хохотнул философ в изумленьи. Силы забытые в нем восставали теперь, словно посох Геракла. «Экий эскорт ты привез за собой по балтийским водам! Какая ж из них осчастливить теперь собралась сии старые члены?»

«Обе твои, — прозвучало в ответ величавою нотой. — Маша Марфушина с Кулей-Упрямицей к тебе припадут с благодарственной службой. Нежности много скопилось у них к гостю державы».

«Так вы отправите, девы, меня в царство Тартара! Млеет мой старческий органон, булькает негой; боюсь за сосуды».

«Разве ж поэты стареют? — что-то ему возразило. Величие нарастало. — Или Овидия ты позабыл, доблестный старче?»

Маша уже сидела на нем, груди склоняя. Шлем и парик отправляются прочь, проливаются кудри. Стонет Упрямица за спиной, Машу стгоняя; свершилось! Стержень, прежде нетвердый, ныне пронзает девичьи лона. Кто искушает? Так я, и верно, в царстве Тартара пройду наказанье. Вот вам Россия, студеная телка, жаркое вымя! В холод и в жар поэта бросает, он воспаряет, и опадает, и воспаряет ещежды. «Ах, наш Вольтерка, — нежатся девы, щехочут, хихачут. — Ты бы купил нас в свою Фернею, были бы феи!»

Тут прозвучали большие аккорды, форте и пьяно. Свечи задуло. Пологи всякие в вихре метались,

как амазонки. Лоно величия, словно природа, всех копошавшихся обнимало; все трепетали, сколько их было, тридцать иль сотня; сочтите все пальцы, прибавьте все губы; до миллиона дойдете, коль вспомните клетки; кода, свобода!

Под утро спящего Вольтера с торчащими коленками и сильно запавшим абдомуаном прикатали в его собственные покои на кресле с колесами, заказанном в хозяйство замка дальновидным генералом Афсиомским. Дрожащие от бессонной ночи Лоншан и Ваньер уже хлопотали, подтаскивая в спальню кувшины с лимонадом, походный комплект клизм и набор сходных с мортирами ночных горшков. Каково же было их изумление, когда их хозяин, приоткрыв левый глаз, приказал зажарить на завтрак две дюжины перепелок. Известно, что при всем его философском отчаянии старый поэт был равнодушен к порхающим лакомствам.

Подступал уже полдень, когда кавалеры Буало и Террано, потягиваясь и пощелкивая мелкими суставами пальцев, вышли на террасу и крикнули пробегающим поваряткам, чтоб принесли огуречного рассолу. При всей утонченности своего воспитания уноши не гнушались сим продуктом, столь полезным для лиц, не знающих меры в употреблении шампанского.

Почти немедля напиток был доставлен в его данском варьянте, то есть в фаянсовом кувшине с

отменным рисунком рыб и птиц. Едва успев испить сего блаженства, кавалеры заметили под балконом вышагивающих среди подстриженных кустов двух унтеров из сопровождения его сиятельства барона Фон-Фигина. Подкручивая свои ковыльные мусташи, сии молодцы прошагали мимо балкона и осветили уношей пыланием своих не ахти каких безобидных глаз.

«Престраннейшую, Мишаня, испытываю облискурацию, глядя на сию пару мужланов, — проговорил Николя. — Весь возбуждаюсь, как будто пред собой чую пару блядей. Ужли к мужеложству влечет? С тобой такого не бывает?»

Мишель отвернулся от друга, дабы тот не уловил тягостного смущения в его чертах. Открыть ли ближайшему наперснику свой наигорчайший-наисладчайший секрет? Никогда еще не приходилось ему скрывать чего-либо от Николаши. Нет-нет, сие не имеет возможности! Такого рода мимолетность в соединении с правящим величием порушит наши братские узы сердешные, выставит законченным мужеложцем, хоть и являюсь в яви токмо жертвою чего-то, сродни черной магии.

«Ах, Коляня, вспомни вчерашние тезы Вольтера, — изрек он. — При всем его мнимом безбожии не знаю я боле религиозной персоны. Замысел дал нам какую-то иную любовь, все остальное, от чего мы, как павианы, дрожим, чистая облискурация».

«Уж не собрался ли ты в монастырь, любезный братец?» — буркнул тут Николя и, Мишку в сей роли вообразив, бурно расхохотался.

Тут оба узрели шагающего по аллее Гран-Пера. Будто забыв о своей хромотце, граф торопился куда-то. При виде юнцов на балконе махнул им увесис-

той тростью: «Эй, офицеры, немедля оденьтесь и ждите приказа!»

Барон Фон-Фигин в темном суровом кафтане и армейской треуголке мерно прогуливался от Артемиды Пелосской до Аполлона Пифийского и обратно. Тень его иногда вытягивалась до долготы Петра Первого, иногда сплющивалась до царевны Софьи. Близился кризис идиллии, новой непогодой надвигалась История. На десятом повороте к нему пристроился вызванный по его приказу генерал Афсиомский, пошел рядом. Молчали. На пятнадцатом повороте возник найденный по приказу без пяти минут адмирал (или без четверти?) Вертиго, пристроился, подвязывая где-то на суше порванный галстух. Молчали.

Барон наконец разжал уста: «Милостивые государи, по вашему мнению, кто является здесь на острове главным военным начальником?»

Генерал и коммодор развели тут руками, показывая, что на сей вопрос нет иного ответа, чем подразумеваемый.

«А ведомо ли вам, господа, что у меня есть все полномочия и причины отослать вас на материк и далее, в Санкт-Петербург? Надеюсь, вы не забывали, что я послан сюда лично Императрицею Всея Руси как ее доверительный представитель? Как же пришло вам на ум утаить от меня вчерашнюю кровавую баню? Как получилось, что новость сия стала известна мне лишь за столом, в светской беседе, в присутствии Вольтера? Днями сюда прибудет Егор. Что передам я с ним Ея Величеству?»

Барон резко отошел в сторону, как бы для того, чтобы с нового угла взглянуть на провинившихся соратников. Вся его фигура с рукой, упертой в бок, с лицом, обострившимся то ли от резкого движения, то ли от оскорбленного достоинства, с помрачневшими властными глазами, ныне ни на мельчайшую йоту не напоминала того молодого человека, который производил на всех наиприятнейшее впечатление своей мягкостью и шутливой склонностью характера. Перед нами теперь зиждилась сама фигура абсолютизма. Лишь слабая дудочка чуть-чуть смягчала неоспоримую тему волторны: она заключалась в скульптуре дурацкого Пана, возле которой разыгралась вся сцена.

Два высших чина стояли во фрунт. Объяснения были б нелепы. Произошел типический случай недооценки истинной субординации. Афсиомский молча прощался с музой Истории. Вертиго думал о переходе в коммерческий флот. Оба почему-то исключали возможность суда военной коллегии. Фон-Фигин теперь медленно приближался.

«Ну хорошо, господа, пока что я извиняю вас и делаю это лишь по причине нужды в безотлагательных и решительных действиях. Как стало мне известно от моей собственной службы, отряд ушкуйников и мародеров возглавлял некий беглый российский каторжник, числимый в списках тайной экспедиции под кличкой Страшун. Да-да, вы верно располагаете, милостивые государи: это не кто иной, как тот самый Казак Эмиль, в погоне за коим мы вчера едва ль не потеряли двух наших лучших офицеров. Ныне, еще до того, как восстанет ото сна великий Вольтер, то есть до возобнов-

ления исторических бесед, порядок коих с мельчайшими деталями продуман был нашей Государыней, мы должны решить, как нам избавиться от сей докуки. Сделать сие надлежит с высшей деликатностью, поелику в сию диспозицию, возможно, вовлечена одна значительная германская держава и лично монарх оной, известный своей весьма углубленной прозорливостью. Ласкаюсь узнать мнение на сей предмет особ, получивших рекомендасию тайного советника Никиты Панина, то есть ваше, Ксенопонт Петропавлович, и ваше, Фома Андреевич».

Сказав сие, барон направился к эрмитажной беседке, венчавшей благовоспитанный парковый холм, с коего открывались обширные виды на обе бухты острова Оттец, к сему моменту как бы застывшие в ожидании нашествия бури. Ободренные обращением по имени-отчеству чины следовали за ним.

«Ваша светлость, Федор Августович, — заговорил Афсиомский. — Упрек ваш мы приемлем со всей ответственностью, не так ли, Фома Андреевич (Вертиго поклонился с вновь пробудившейся британской сдержанностью)? Однако промах сей покорнейше прошу возложить целиком на меня как на лицо, коему Никита Иванович Панин поручил устройство всего, кх, кх, куррикьюлума. При сем осмелюсь сказать, что ошибка была вызвана не толь небрежливостью, коль желанием уберечь высокую филозофию бесед вашей светлости с великим Вольтером от соприкосновения с грубой справедливостью, сиречь действительностью. Что касасемо Страшуна, альяс Казака Эмиля, мною в содружестве с коммодором Вертиго уже произведены некие действия, призван-

ные споспешествовать устранению сего опасного ушкуйника из анналов Клио...»

«Да это еще что? — поднял бровь барон Фон-Фигин. — Вот уж не думал, что муза Клио ведет какие-либо анналы».

«Сие есть шутка, господа», — уточнил Афсиомский.

«Ах это шутка? Так давайте посмеемся!»

И все трое разразились мрачноватым хохотом. Далее граф Рязанский обстоятельно поведал посланнику о мерах по изъятию ушкуйника из анналов. В Гданьске у нас есть друг, некое влиятельное лицо, коммерциалист и член магистрата пан Шпрехт-Пташек-Злотовский по кличке Труба. Будучи польским, а также российским и немецким патриотом, он пребывает в анналах Клио (шутка, шутка!) сторонником всего пчеловодства.

«Какого еще пчеловодства, Ксенопонт Петропавлович?» — удивился барон.

«Пчеловодства?» — удивился граф.

«Вы сказали, что он является сторонником пчеловодства».

«Я сказал, сторонником человечества».

«Коммодор, а вы как услышали?» — поинтересовался барон.

«Я услышал пчеловодство, ваша честь, но подумал о человечестве», — бесстрастно отвечивал моряк.

«Хорошо, значит, впредь так и будем поступать: ежели слышится пчеловодство, будем думать о человечестве, — кивнул барон. — Продолжайте, граф».

Рассказ был продолжен. Названную фигуру, будем называть его для простоты Злодей, пан Шпрехт, будем называть его Труба, созерцает уж со времен

окончания войны в подвале своей ресторации «Златы Льон», что на улице Длуга в вольном мясте Гданьск. Также он знает кнайпы, кои Злодей со своей свитой дезертиров и мародеров посещает по соседству с нами в порту Свиное Мундо. Да и в других мястах по Помераньскому брягу. Еще до злодейского нападения по сверхскорой связи Трубу попросили прибыть в Свиное Мундо, куда за ним был послан вельбот с Ея Величества пушечного корабля «Не тронь меня!». Сюр се моман, мон барон, Труба ожидает вашего приглашения на пристани, то есть в полустах сажнях отсюда.

Глаза барона Фон-Фигина, коим свойственна была способность мгновенного превращения в едва ли не ослепительные очи, остановились на верном слуге престола. «Не слабо! — воскликнул Фон-Фигин в манере, принятой тогдашними военачальниками. — Отнюдь не слабо! Bravo! Bravo! Пошлите немедля за оной Трубою!»

Почти немедленно пан Шпрехт вошел в эрмитаж. Оказалось, что он сидел не на пристани, а в близрастущих кустах, откуда его великолепное правое ухо улавливало все нюансы государственной беседы. Войдя, он довольно продолжительное время отступал, полоская у ног своей шляпою, и приближался, отводя оную в сторону, тем самым показывая знакомство с ритуалом прошлого века и шляхетское происхождение.

В ответ на сию любезность ему было предложено стуло. Крепчайшим задом он утвердился в оном. Тут как раз и грянул первый гром. По всей очевидности, пан Шпрехт принадлежал к числу тех людей, что входят в дом за минуту до начала дождя и уходят сразу по его завершении; иначе как он мог справ-

латься с работой одновременно по крайней мере на три государства?

«Позвольте мне, яснорельможное паньство, высказать наивысочайшее уважение от имени магистрата, а также и граждан вольного города Гданьска...» — начал было он, но был прерван коммодором Вертиго:

«Позвольте, пан Шпрехт, спросить: как вы удосужились подняться в сей павильон без сопровождающих вас персон?»

Самодовольная улыбка проскользнула под кустистыми усами коммерсиалиста. «Сей вопрос надо было б адресовать оным персонам, пан адмирал».

Ливень тут хлынул стеною, и в его потоках за стеклянными дверьми как раз и появились запыхавшиеся сопровождающие персоны, два матроса и мичман. Увидев своего подопечного в столь блестящем обществе, они застыли столбами. Низвергающиеся потоки воды мгновенно превратили их в некое подобие памятников. Генерал Афсиомский сердитым движением руки отослал их прочь. Барон Фон-Фигин соизволил улыбнуться.

«Приступим к делу, господа, — сказал посланник. — Достопочтеннейший пан Шпрехт, поведайте нам то, что вам известно о государственном преступнике, коего в сих местах именуют Казак Эмиль».

Политическим чутьем природа явно не обидела Шпрехта. Оным чутьем он сразу догадался, кто является главенствующим лицом в представшей перед ним тройке. Округлым движением руки он начал было свой ответ, но задержался, как бы осмеливаясь запросить манеру обращения.

«Барон Фон-Фигин», — сухо представился ему посланник. Мгновенная молния мелькнула по мясистым чертам агента. Эта вспышечка радости

выдала его осведомленность в ситуации и показала, что имя сие ему известно.

«Ваше сиятельство, господин барон, сей казак бродит по польскому и немецкому побережью, почитай, полгода и удивляет многих сходством черт своего дурного лица с иными портретами покойного императора Петра Третьего».

При этих словах гигантская кустистая молния встала вдруг в сгустившейся буре за стеклами эрмитажа, что заставило барона Фон-Фигина резким движением прикрыть лицо локтем. Чудовищный гром не заставил себя ждать, свалился тремя раскатами, словно вбивая некий осиновый кол прямо в макушку холма, то есть туда, где все эти четверо сидели. С этого момента вся дальнейшая беседа происходила прямо в громокипящем ядре бури, среди непрерывно вырастающих и пропадающих огненных кустов холодного электричества. Просим учесть, что к этому времени мистер Франклин еще не успел изобрести своего громоотвода.

«Не хотите ли вы сказать, достопочтеннейший, что существуют некие круги, возжелавшие выдать беглого каторжника за покойного императора?» — ледяным тоном спросил Фон-Фигин.

Шпрехт оглянулся через плечо и сделал жест, будто бы отгоняющий какую-то нечисть. «Что с вами, Шпрехт, кого это вы гоните?» Фон-Фигин все еще тшил ся сохранить ледяное превосходство, однако видно было, что ему не по себе. Агент сумрачно усмехнулся: «Да как же, барон, как раз того, кто лезет тут во все щели, почти бесплотного человека Сорокапуста Захария Скрежетарьевича. Я знаю его давно, при мне он защищал в Кёнигсберге своё титло магистра черной магии».

«Какой вздор, — деланно усмехнулся Фон-Фигин. — Нет никакого Сорокапуста. Это противоречит природе и науке великого Бюффона, невтонианской концепции Вселенной, в конце концов».

Шпрехт вскочил и начал выталкивать из павильона нечто несуществующее. «Цурюк! — басил он. — Пшель к бесу, холера ясна!» Фон-Фигин хотел было обратиться за подтверждением невтонианской концепции к двум своим соратникам, но тут заметил, что оба они стоят перед пустотой в оборонительной позиции. Афсиомский вытащил наполовину свою шпагу и гаркнул, будто бы в чью-то заросшую мерзостью рожу: «Ва т'ан, донк, иначе размажем по стенке!» (Так в те времена иной раз выражались витязи незримых поприщ.) Коммодор Вертиго, в свою очередь, по навыку лондонского рынка Биллинггейт провел череду искусных пагалистских выпадов кулаками, способных размозжить любую мало-мальски существующую личность. Так, видимо, и случилось. От Сорокапуста осталось на полу лишь остро пахнущее слежавшейся дрянью пятно. Барон понял, что с этого момента и он стал посвящен в местную чертовщину.

«Вот теперь можно продолжить разговор без опаски быть услышанным в Шюрстине, — удовлетворенно произнес Шпрехт. — Дело в том, барон, что слухи об уцелевшем императоре уже витали на нашем побережье Остзее, а также в Швеции, на корону коей он имеет право претендовать, однако...» Шпрехт прервал речь и исподлобья с улыбкой уставился на посланника.

«Ну так в чем же состоит ваше «однако?» — раздраженно спросил тот и сунул руку в карман кафтана.

«“Однако”, ваша светлость, иной раз бывает весомее сути дела».

Посланник вытащил руку из кармана. В ней трепетал банковский вексель. «Этого достаточно?»

Шпрехт взял вексель и извлек из-за голенища бюргеровского ботфорта жестяную шкатулку, явно изготовленную потомками викингов на острове Готланд. Шкатулка, быв открыта, обнаружила состав разноцветных склянок, в коих опытное око тотчас же распознало б набор ядов. Впрочем, там был карман и для векселей.

«Однако дело, ваши светлости и превосходительства, усугубляется тем, что в нем появился еще один казус, и казус сей до чрезвычайности похож, ммм, на Казака Эмиля».

Фон-Фигин в застывшей позиции призывал на помощь все свои рыцарские качества. «Сей казус, пан Шпрехт, вы видели его лично?»

«Третьего дня, барон, я передал казусу от ганноверского двора мешочек с британскими фунтами».

«Господа, прошу соблюдать полное спокойствие! — вдруг возвысил глас Вертиго. — В наших руках сей час, быть может, покоится судьба державы. Шпрехт, перестаньте вымогательствовать! Вы получили достаточно! Отвечайте прямо, что вы заметили в лице сего казуса?»

«У него два носа», — пожал плечами агент.

«Ох!» — охнул тут едва ли не по-бабски могущественный фаворит Двора. Две гигантских молнии мгновенно возникли за стеклами эрмитажа и постояли несколько секунд, трепеща сколь бессмысленным, столь и беспощадным огнем. Всем присутствующим захотелось закрыть макушки в ожидании

ужасного, но вообще-то безопасного, как позднее доказал Бенджамен Франклин, грома.

Вечером того же дня галера «Аист» доставила в Свиное Мундо коммерсалиста Шпрехта-Пташка-Злотовского вместе с кавалерами Буало и Террано и их боевыми лошадьми. В порту их уже ожидал отряд желтых гусар из расквартированного в дружественном государстве российского войска. Все всадники были переодеты в форму цвейг-анштальского-и-бреговинского пфальца. Имелись на случай пожара и шведские накидки.

Глава седьмая,

*неожиданно открывающая нам некоторые секреты
Прусского государства, а также пристрастие
короля Фридриха Великого к тщательному
разжевыванию марципанов*

Естьли уж при слове «Пруссия» немедля всплывает слово «орднунг», то при слове «орднунг» тут же выскакивает крепость Шюрстин, что высится на бранденбургских холмах в полусотне верст от Берлина; вот уж орднунг так орднунг, даже пролетающий гусь не сбросит пары капель, тут же будет подстрелен. Ну а уж ежели заговорили мы о крепости Шюрстин, должно будет заметить, что ее восточное крыло, находящееся под властью самой секретной личности государства, фельдмаршала фон Курасса, зиждется над всей крепостью как юберорднунг, то есть сверхпорядок.

Взять, к примеру, крупнейшую в цивилизованном мире картотеку важнейших секретов и досье государственных преступников; не всякая мышь обежит ее за год! Все двадцать этажей специально построенного каземата — десять вверх над землю, десять вниз под землю — заполнены тут стеллажами с ячейками, расположенными в строжайшем алфавитно-арифметическом порядке. Сложнейшая система рычажков и блоков соединяет каждую ячейку с гигантскими дубовыми стенами кабинета фельдмаршала. Едва лишь хозяин кабинета начинает тя-

нуть на себя нужный рычажок, как в затребованной ячейке звонит колокольчик, что способствует скорейшей доставке заказанных бумаг на письменный стол прусского властителя дум (в прямом смысле).

Сему процессу способствует и уникальная подъемная машина, движущаяся в сердцевине каземата. Клеть сей машины способна курсировать по всем этажам, как над землею, так и под одной, и останавливаться на любом по заказу. На плоской крыше каземата главное поднимающее колесо машины вращают четыре отборных мерина ломовецкой породы. В подземелье четыре таких же мерина вращают колесо, удерживающее клеть от падения при спуске.

Верхнюю команду возглавляет мускулистый до гротескных размеров битюг по имени Ослябя Смарк. Он очень доволен своей участью. Крутить поднимающее колесо под лучезарной попоной прусского неба! Получать артиллерийскую смесь овса с горохом! Посылать цум тойфель смутные блики в тыльной половине головы, напоминающие о кобылах детства! Наслаждаться с крыши видами родины при равномерном повторении кругов: марширующие батальоны, выдвигающиеся на стрельбы пушки, все трудовики наших нив, занятые выращиванием овса и гороха! Радоваться каждую минуту, что взяли из подвала, где меринны не видят ничего, кроме каменных стен, и постепенно слепнут! Нет, Смарк, безусловно, был счастлив и знал, что чувства его разделяют все три пристяжных, Марк, Арк и Рк.

В тот день, о коем пойдет речь, колесо пребывало в почти непрерывном движении. По всем эта-

жам дребезжали колокольцы, слышались топоты проворных ног (за неповорность тут секретных канцеляристов, случалось, наказывали фухтелями по пяткам), скрипела, вздымаясь, и с тяжким стоном ухала вниз чугунная клеть, предназначенная для группен-адъюнктов, а то и для чинов повыше. Все говорило о том, что в кабинете Отца (так тут за глаза называли фельдмаршала) идет серьезная работа с папирами, и лошадиные сердца преисполнялись чувством высокого долга, что выражалось в титаническом усилении перистальтики и в громовых выпусках гороховых газов.

Йохан фон Курасс тем временем сидел за своим столом, дубовой отделкой напоминающим похоронные дроги первого разряда, размерами же — ладью Нибелунгов. Три адъюнкта из лучших юнкерских семейств, выполняя все детали служебного протокола, а именно маршировку от дверей в середину огромного помещения, щелканье каблуками и мгновенную окаменелость с полной демонстрацией поднятого в сторону начальства лица, вносили и располагали вдоль западного края стола затребованные папки: действующие государственные договоры, недействующие государственные договоры, а также договоры, подлежащие расторжению в связи с невыплатой талеров за поставку батальонов всякой мелкой псевдонезависимой сволочи, которую давно надо было бы подчинить, к вящему удовольствию их населения, путем прямого действия непобедимой прусской армии.

Прошедшей ночью фельдмаршал добыл в Берлине «летучку», дававшую знать, что сегодня воз-

можен внезапный приезд того, кому был только что адресован немой упрек, а именно Его Величества короля Фридриха Второго, столь неаккуратно прозванного досужим Вольтером Фридрихом Великим. Явившись в крепость, король должен был увидеть папки важнейших дел и сразу понять, что его ждали. Таким образом будет достигнуто несколько целей: а) король будет впечатлен четкой работой секретного ведомства, в) отметит, как скрупулезно классифицированы важнейшие секреты, и, наконец, самое главное, с) поймет, что и у него самого не может быть от сего ведомства секретов и что не нужно устраивать подобных стремительных наездов; никакой расхлябанности он здесь не застанет.

Довольный всеми этими своими перезвонами и скрипами по всему объему каземата, фон Курасс временами поднимался из-за стола и побрякивал подкованными подошвами по каменным плитам. Один его вид вызвал бы озноб у непосвященного человека, тем больший озноб он вызывал у человека посвященного и подчиненного. Он был очень велик, мосласт и беспредельно сух лицом, что придавало ему сходство с бесстрастным скелетом из Академии наук. Руки его свисали ниже колен, ежели не были взяты в любимую позу «акимбо», то есть если не лежали в страшной готовности на дугах подвздошных костей. Ноги его в излюбленных черных ботфортах, кои фельдмаршал ненавидел менять на туфли с пряжками, а посему никогда не посещал суарэ в поцдамском дворце Сан-Суси, могущественно, словно два чугунных ствола крепостной артиллерии, поддерживали весь костяк, а посему еще раз представьте себе длину рук.

Армия помнила еще те дни, когда эти руки, еще более удлиненные тяжелой фузеей, становились главной пробивной силой в багинетном бою. Ветераны еще не забыли, что юнкер фон Курасс был взят отцом Фридриха Второго королем-созидателем Фридрихом-Вильямом Первым (вот уж кто натюрлих был достоин звания «Великий»!) в первую роту знаменитых прусских гигантов. Так бы этому юбервояке и оставаться в строю, если бы он однажды, в начале сороковых, не поразил молодого короля своим даром проникать в сердцевину секретов.

Случилось это в самом начале европейской безобразной неразберихи, ныне уже зачисленной в исторические анналы (отнюдь не «анналы Клио») под названием «Война за австрийское наследство». Однажды батальон, где командиром был тогдашний майор фон Курасс, получил приказ срочно прибыть в Пощдам и построиться там на плацу.

Весь день маршировали из Берлина, да так, что под мерными взмахами тысячи ног крошились торцы дорог и площадей, прогибались мосты, лопались зазевавшиеся гуси и всяческий швайн, отпадало в канавы и нерасторопное мужичье.

Молодое Его Величество соизволило выйти к подразделению уже под вечер. Был четверг или в крайнем случае среда. Ветер норд-ост колыхал горделивые стяги. Пахло картофельным супом. Клюквенный закат предвещал грандиозный поход на зюйд. Комбат с палашом на плече прошагал к королю. Строй грянул «зиг хайль!».

Король молчал. Он хлопал себя перчатками по сгибу руки. Глаза его были устремлены поверх киверов и штыков в пространства Южной Европы. Так простояли в молчанье адское время. И вдруг он вздохнул: «Если бы знать сейчас, о чем говорят вокруг Марии-Терезии!» И тут армейский майор как бы по наитию попросил у короля пять дней для деликатной, как он изрек, разведки; есть, дескать, некие частные связи при венском дворе. Взяв офицера за темляк, король прошествовал во дворец, а батальон отправил в кантину, шницелей всем приказав подать со своего стола.

Через запрошенный и дарованный срок фон Курасс явился с докладом о всех визитерах императрицы, о всех совещаниях и тайных раскройках карты Европы. Теперь уже Фридрих доподлинно знал, куда направить удар, что он и сделал при Чотузице, обескуражив австрийского полководца принца Карла-Александра Лотарингского.

Не все подробности этого дела нам известны (как не известны они, боюсь, никому), однако дошли слухи, что перед битвой сей венский двор был в сущей облискурации (если и тут употребить словечко генерала Афсиомского). Все эти дни по дворцу расплзались всяческие шептуны и скрыпы, мелкие какие-то пламеньки начинали свой перепляс то среди люстр в торжественных залах и в сугубых по секретности кабинетах, а то и в интимнейших альковах промеж фарфоровых горшков, если не внутри оных. Однажды Ея Величество императрица Мария-Терезия даже воскликнула вполне женским голосом «Ой!». Сей возглас исторгнут был мгновенным впечатком на гобелене среди буколических персонажей некоего скелетоподоб-

ного посланца мрака, не иначе как магистра черной магии по имени Сорокапуст.

Проникнув таким своеобразным способом в сердцевину австрийской стратегии, майор фон Курасс и сам стал величайшим секретом прусского королевства, то есть частично как бы прекратил существование. Мало кто знал, что пропавший майор немедленно получил чин генерала, а потом и фельдмаршала и стал главой таинственного ведомства, сосредоточенного за тремя линиями защиты в крепости Шюрстин; не знал даже ближайший друг короля Вольтер. Лишь однажды Фридрих чуть было не проговорился, сказав своему кумиру, что перед принятием важных решений он всегда советуется со «своим чудовищем». Вольтер с его острейшим складом ума тут же осведомился, правильно ли он понял августейшего друга. Говоря «чудовище», Ваше Величество, имеете ли вы в виду некое alter ego, то есть нечто глубоко запрятанное в вашей собственной душе? Нечто в этом роде, усмехнулся король, и тема сия больше не поднималась.

Фридрих, друг Вольтера и сам «один из нас», то есть философ-энциклопедист, вступал тогда в пору зрелости и быстро освобождался от своего гамлетизма и антимакевизма. Ради блага всех граждан мы должны крепить наше государство, говорил он «своему чудовищу»; не так ли, мой фон Курасс? Всецело разделяю взгляды Вашего Величества, от-

ветствовал гигант, поигрывая своими четками в виде крошечных черепов.

Известно ли тебе, мой фон Курасс, с кем в Париже встречается великий Вольтер перед поездками ко мне в Берлин? Ваше Величество, великий Вольтер перед каждой поездкой в Берлин получает ориентиры от кардинала Флэри. Король хохотал. Я так и знал! Таков наш век: поэту трудно удержаться от соблазнов шпионажа.

С годами Фридрих Второй Великий стал замечать, что и в его собственных покоях поселилась какая-то нечисть. То шмыгнет по ковру странная мышь со слегка увеличенным ухом, то вдруг ночью в буфетной произойдет какой-то как бы осмысленный перезвон хрусталя, заглянешь туда, а оттуда смотрит на тебя сотня заинтересованных глазков, то вдруг дверь в будуар откроет не привычный слуга, а некто совсем не привычный, коего не опишешь никак, скажешь лишь, что глянул тебе прямо в плешь и пропал без единого звука.

Подобные промельки, следует сказать, учащались в те редкие вечера, когда король позволял себе полностью расслабиться и приглашал после ужина в кабинет кого-нибудь из своих красивых адъютантов для дуэта на флейтах. Будучи философом века науки, он не верил в чертовщину и относил «промельки» за счет некоторой усталости органов зрения, связанной с чрезмерным чтением государственных бумаг. Заказал себе в Саксонии дюжину драгоценных очков и по вечерам иногда украшал переносицу великолепнейшей стрекозой, что вызывало суший восторг у принцесс двора: Ваше Величество, вы неотразимы!

Помогло: промельки почти прекратились, не привычный слуга больше не открывал дверь каби-

нета, только изредка висел за окном глазищами вниз. Зная за собой привычку проговаривать крупную мысль вслух, король стал в такие моменты совать себе в рот яичко из марципана. Мысль проговаривалась, но искажалась жеванием. Словом, и в замке Сан-Суси за годы правления немало пробурлило забот, как пустяковых, так и весьма удручающих, если вспомнить те времена, когда любезный друг Вольтер там подвизался в звании Шамберлена Двора.

В тот день, о котором сейчас идет рассказ, король приближался к крепости Шюрстин, скача во главе своего конвоя. Его карета катила сзади на тот случай, если понадобится записать несколько пришедших в голову поэтических строк. Путь был не так уж далек, а король был еще достаточно бодр для седла, несмотря на скопившиеся в седалище пятьдесят два года жизни.

Солнце стояло уже в зените, когда открылась обширная долина, западные склоны коей венчались холмами, на чьих склонах построила свои бастионы крепость Шюрстин. Флаги Священной Римской империи германской нации, королевства Пруссии и местного пфальца реяли над нею, а над крышею секретного каземата помахивал рыжий хвостик знакомого королю битюга, ведавшего здесь подъемной клетью, кою король называл на французский манер «асансёром».

В тот же момент и Ослябя Смарк заметил сверху караван короля, то есть человека, которого он не знал по имени, но от появления которого всякий раз взбу-

хали мускулы: хотелось что-нибудь еще взять на грудь ради персоны, пред коей вытягивалось могущественное племя двуногих и бесхвостых. Вот если бы этот великий когда-нибудь запряг меня в фургон и отправился в поле! Так и тянул бы его за собой бесконечное время!

«Я вижу, мой фон Курасс, вы уже во всеоружии, — сказал король при виде разложенных на столе папок с наиважнейшими делами. — Вас, мой дорогой, врасплох не застанешь». Он усмехнулся и, сделав усилие, посмотрел прямо в мертвоватые глаза фельдмаршала. Фон Курасс с леденящей серьезностью выдержал этот взгляд. «Это чистая случайность, Ваше Величество. Мы просто проводим ревизию важнейших документов. Какой из них в данный момент интересует Ваше Величество?»

Завтрак по традиции был сервирован на другом конце государственного стола. Король никогда от трапезы в этом доме не отказывался. Здесь почему-то подавали удивительно вкусные заливные пороссячи ножи по-эльзасски. Да и вино было вполне порядочное, «Божоле».

«Ценю вашу расторопность, фельдмаршал. Передайте мою благодарность группен-адъюнктам и каждому по десять марок от меня лично. Однако вовсе не ради документов я приехал сюда сейчас. Вы догадываетесь, ради чего?»

Еще раз над стаканом вина король пробуровил взглядом иссохшие черты своего Торквемады. Дошла ли до того вчерашняя мысль, зажеванная двумя марципанами? Фельдмаршал склонил главу с выпираю-

щими буграми преступных качеств и даже ладонь приложил ко лбу, скрывая глаза. «По всей вероятности, Ваше Величество прибыли ради новостей с исконного нашего острова Оттец, где ныне под эгидой цвейганштальтского курфюрста проходит страннейшая встреча Вольтера с посланником русской царицы».

Король не скрыл улыбки: марципаны все-таки сработали, хоть и частично. В этих пределах можно позволить «чудовищу» читать королевские мысли. «Послушайте, Йохан, давайте всерьез. Я догадываюсь, что вы не совсем тот, кем вы числитесь в штатных реестрах...»

Фельдмаршал рывком приложил ко лбу верхнюю часть безупречной салфетки, глухо промолвил, не разжимая уста, будто желудком: «Ваше Величество, разве давал я когда-либо вам какие-либо основания, чтобы...»

Король отмахнулся веселым жестом: «Нет, не давал! Сомнений в вашей преданности государству и мне как первому слуге сего государства — нет! А посему давайте говорить о простых вещах, а именно о политике. Я догадываюсь, для чего моя племянница послала к Вольтеру своего нового фаворита. Честолюбивая дама хочет прогреметь на всю Европу в качестве величайшего либерала. Она готовит отмену крепостного права и жаждет получить на это благословение своего кумира. Учредила даже премию в десять тысяч червонцев за лучшее сочинение об отмене рабства. Экая наивность! Она думает, что судьба российских рабов заботит нашего поэта хоть на минуту больше, чем комиссионные от гильдии швейцарских часовщиков или вознаграждение от изобретателей каких-то несусветных боевых колесниц, которые он старается всучить екатерининским

генералам. Разумеется, он благословит ее великий манифест, лишь бы вслед за этим приплыл великий вексель в «Банк Амстердама!»

Оставив недокушанными заливные ножки, король уже разгуливал нервной походкой по пространствам кабинета. Последнюю фразу он едва ли не прокричал из-под свисающей со стены башки чудовищного вепря в дальнем углу. Теперь стоял там, заложив большой палец за обшлаг армейского сюртука без знаков отличия, и ждал, что скажет фон Курасс.

«Прошу прощения, Ваше Величество, — проговорил тот, — однако подлежит ли сей философ столь суровой дер критик? Ведь наряду с некоторой алчностью, не ускользнувшей от внимания Вашего Величества, господин де Вольтер иной раз изумляет общество неожиданными щедротами».

«Ценю вашу галантность, — рассмеялся король; он-то знал, что нет у фельдмаршала более ненавистного человека, чем этот «новый Гомер», — однако вернемся к политическим аспектам дела. Что следует за отменой крепостного права в России? Есть несколько вариантов. Тамошние латифундисты, все эти бояре, сторонники допетровской старины, устраивают дворцовый переворот, убирают царицунемку и, допустим, возвращают на престол законного императора Ивана Шестого. Как сообщают наши агенты, Иван после двадцатитрехлетнего содержания в тюрьме пребывает в состоянии слабоумного ребенка, и, стало быть, власть окажется на долгие годы в руках жестокой клики бояр, настроенной враждебно ко всем европейским новшествам, а самое главное, ко всем соседям России, включая Пруссию, в которой они будут видеть реального, то есть главного, врага. Будет создана огромная армия

как бы для обороны, а на самом деле для разрушения Польши, Швеции, а также ряда северогерманских государств, включая...»

Королю не удалось завершить фразы. Фельдмаршал не в силах был услышать сей гипотезы: слишком сильно он любил родную страну. В ярости он ударил обоими убойными кулаками в стену, да так, что дрогнули все развешенные там охотничьи трофеи, включая даже бивни и хобот неизвестно какими судьбами забредшего в XVIII век косматого слона, сиречь мамонта.

«Вот тут-то им и придет конец! — взревел фон Курасс, теперь уже потрясая в воздухе своими, тоже в достаточной степени доисторическими конечностями. — Ни одна варварская армия не выдержит контрудара райхсвера!»

Король с улыбкой смотрел на него. Какой король останется равнодушен к столь убедительной демонстрации патриотизма! «Не преувеличивайте, Йохан, — мягко сказал он. — Нельзя забывать, что Австрия никогда не упустит такого шанса, чтобы вернуть Силезию. Почти уверен, что в эту кашу влезет и чертова Оттоманская Порта. Как поведут себя Франция и Британия? У меня нет никаких иллюзий на этот счет. В наше время невозможно сколотить коалицию цивилизованных стран».

Задумавшись, король мерил шагами гигантскую квадратуру. Поднял с пола упавшую от удара сову и мягко пристроил ее на плечо вернувшегося в свое стуло фон Курасса. Тот повернул к усевшейся голову и в ужасе отшатнулся, как будто и сам не путешествовал в этих перьях над богемской границей. Король остановился, взяв себя пальцами за подбородок. Мышка, как столбик, стояла в даль-

нем углу, наострив окаянное ушко. Быстро король засунул за щеку сладкого друга, промямлил что-то зернистое не для шпионства. «Тшрт, то есть тойфель, мндыгагадал рдитсса в Прссии с ддушшим-ммунд талатантом», — услышал фельдмаршал внутри своей головы. Король разжевал и глотнул.

«Возьмем теперь другой вариант, — продолжил он уже чистым ртом свою презентацию. — Реформа удалась. Сорок миллионов русских крестьян получили свободу. Представляете, какая водопадная энергия высвободится, какие закрутит колеса под благодетельным оком просвещенной государыни? В краткие сроки будут развиты всяческие ремесла, пойдет полным ходом торговля, возникнет новое коммерческое сословие. Европа будет завалена русским зерном, рудой, высококачественной сталью, а потом и промышленными изделиями. Мы, европейцы, помогли им создать Академию наук, но после отмены крепостного права они превзойдут нас всех. Вот уж кто растопит северные моря: не Пикте и всякие прочие вольтеровские проходимцы, а сами русские. Там возникнет новый климат, мой фельдмаршал, вы это понимаете? Вы хотя бы слышали о ее «Наказе», экселенц?»

«Не только слышал, но и читал, Ваше Величество», — сумрачно ответил фон Курасс.

«А почему же я еще не читал?» Король уперся руками в край стола и с наименьшей сумрачностью вперился взглядом в самую мутную суть хозяина замка. Так ему казалось, во всяком случае.

«Сей документ только что подготовлен для Вашего Величества». Рука фон Курасса описала дугу и взяла с противоположного края стола кожаный бювар с тисненой прусской короной. Спohватившись,

он зиркнул взглядом на короля: заметил ли тот, как удлинилась рука? Нет, кажется, не заметил.

Король открыл бювар, бросил взгляд на первую страницу, хохотнул и положил документ на стол. «Пойдемте, подышим воздухом».

Фельдмаршал позволил себе оскорбиться. Фридрих явно читал этот «Наказ». Почто Государь играет со мной в кошки?.. Он запнулся в мыслях: ни слова о мышках! Почто он блефует со мною? Разве не доказал я своей преданности? Избыток прозорливости неизбежно навлекает хоть косвенные, но подозрения. Так он обиженно хитрил сам с собой.

Вдвоем они чеканили шаг по нижнему этажу каземата. Когда идешь в ногу, всегда сближаешься; косвенные подозренья улетучиваются. Полки с бесчисленными государственными делами обоих настроили на нужный деловой лад; ведь ныне, возможно, свершится большой исторический Дер Эрайлнис! В проходах адъюнкты и группен-адъюнкты вытягивались в струнку, демонстрировали лица, полные чувства долга.

«На крышу!» — скомандовал король, и все восемнадцать персон вошли в подъемную клеть. Фон Курасс про себя улыбнулся: ни разу еще Государь не упустил шанса повидать своего любимца. Вот они, странности великих!

Пока с чудовищным скрипом ползли вверх, король демонстративно понюхивал табачок, посматривал на часы, похлопывал по задкам кое-кого из смазливых адъюнктов. Ему не нравилась сия маши-

на. Всякий раз внутри оной казалось ему, что вот-вот рухнет вниз, в тартарары, то есть в царство Тартара. Нельзя, однако, было показать никакого сомнения в прогрессе.

И вот наконец прибываем не вниз, а наверх, в царство Борея. Ветер веет по крыше, шелкает флагами, колышет плюмажи стражи, вздымает хвосты и гривы четырех трудовых коней. Первый из них, любимец Его Величества, рыжий в белых яблоках ломовецкий великан приплясывает на копытах, коленом трогает бок короля, мягкой губищей принимает подарок, бомбочку марципана, косит антрацитовым глазом: дескать, не ради сласти так рад, а ради огромнейшей преданности вам, человеке, не знаю, как звать.

Король его треплет по холке, оглаживает мускулатуру. Ну что за зверь! Вот он, символ трудящейся Пруссии, же круа! Бросить бы все заботы, расстаться с великим саном, упаковать все книги, впрячь великана в фургон и медленно двигаться в никуда, тихо стихи сочиняя, тихо играя на флейте.

Чудовишный фон Курасс тут вмешался в идиллию с подобьем улыбки: «Ежели не секрет, Государь, отчего присовокупили вы к Смарку имя Ослябя?»

«Да просто так получилось, — засмеялся король. — Чисто фонетическая игра. Ослябя Смарк — славное созвучие, не правда ль? Ведь я о нем пишу поэму. Вы знаете, откуда взялось сие имя, Йохан? Ослябей звали русского монаха-воина, что положил немало супостатов на Куликовом поле».

Интересно, кто из нас сумасшедший, подумал тут оборотень, однако с вежливостью спросил: «Как совместить, Майастат, ваше расположение к монаху Ослябе с вашим вполне справедливым нерасположением к России?»

Король высокомерно посмотрел на фельдмаршала. При разнице в росте далеко не в его пользу все-таки получалось, что смотрел свысока. «Вам что-то не то нашептали ваши мышки. Я очень люблю Россию».

Фон Курасс отвернулся, чтобы скрыть пугающие изменения лица. Упоминание мышек можно понять как аллегория, а можно и как прямое разоблачение.

«Ну хорошо, продолжим наш разговор», — сказал король, покидая коня. Вдвоем они отошли к краю крыши, и все вокруг как-то преобразилось в гравюру Дюрера: два государственных человека, воители века, а в глубине композиции огромные кони и мощная свита юнцов с разнообразьем оружия.

«Ну так вот, — заговорил король, — недаром Версаль запретил перевод екатерининского «Наказа» во Франции. Она провозглашает свободу всех религий, то есть подрывает кое-как установившийся мир после вековой резни. Однако на этом сия либеральная дама явно не остановится. В угоду любимым энциклопедистам она и дальше начнет расширять свой свод реформ. Вплоть до отмены феодальных привилегий, включая крепостное право. В этом заключается наибольшая опасность для Европы и особенно для Пруссии. Вы понимаете меня, фон Курасс?»

Фельдмаршал стоял, опустив морщинистые длинные веки. Лишь щелки остались для глаз, но каким полыхали жаром! «Прошу вас, Ваше Величество, расширить этот ваш тезис», — проскрипел он.

Тут и король вспыхнул. «Какой, к чертям, тезис! Я просто чувствую всей своей шкурой надвигающуюся опасность! Я сам пришел к власти, вдохновленный, опьяненный или, может быть, одурманенный

всем этим вольтерьянством! Антимакиавеллизм! Государство, основанное на высшей морали! Только через несколько лет на троне я понял тщетность всех этих мечтаний. Уж вы-то, фон Курасс, знаете, на какой грязи замешана наша глина, как воздвигалась наша крепость, как мы удержали нашу армию и экономику. Король-философ не смог даже отменить наш германский вариант крепостного права».

Он прервал монолог, очевидно ожидая реплики своего «чудовища», и она не замедлила последовать. «Государь, я много думал над этой проблемой и пришел к выводу, что нам нужно взять Польшу». Длань фельдмаршала медлительно описала дугу в восточном направлении, словно даруя Востоку долгожданное благо.

«Для чего?! — вскинулся король. — Чтобы шляхта наконец объединилась для столетней войны с нами? Зачем нам к своим, я имею в виду к германским, проблемам прибавлять еще и польские?»

«Взяв Польшу, мы распределим земли и крестьян между нашими юнкерами и тогда сможем отменить крепостные законы в собственно прусских землях», — пояснил фон Курасс.

Король неожиданно улыбнулся: «Неплохая идея, мой фон Курасс, однако не очень-то годится для нынешней ситуации. Если ваша рука, фельдмаршал, имеет свойство удлиняться, это еще не значит, что она может заграбастать все, что ей заблагорассудится».

Значит, все-таки заметил, с досадой подумал монстр. Значит, придется расстаться. Жаль, жаль. Фон Курасс уже привык к этому человечку за все сии годы мнимой службы. К тому же он еще не знал, кем его заменить так, чтобы не потревожить родину-

мать, включающую и исконное болото под Кёнигсбергом.

Король хлопнул его по плечу и сделал вид, что не заметил, когда под перчаткой неожиданно-негаданно оказался стальной наплечник. «Понимаете, если мы войдем в Польшу, она обернется за помощью к России, то есть к новой России, свободной от рабства, к России женского века, так сказать. Там к тому же ея амант на троне, сей петиметр Станислас Понятовский. Благодетельная сильная баба со скипетром — это, может быть, как раз то, о чем Россия мечтала веками, вам не кажется? Польша может оказаться пробным камнем для всей Европы. Там могут столкнуться две основных силы. Либеральная женская империя с неограниченными богатствами недр и наш железный пфальц, скованный дисциплиной, неограниченным послушанием, а также и тем, что в примитивной мифологии именуется нечистой силой; уж вы не обижайтесь, Йохан. При всей моей симпатии к той маленькой принцессе из Цербста, о которой даже болтают, что она моя дочь...»

«Нет, она не ваша дочь», — без церемоний бросил через плечо фельдмаршал. Он теперь стоял, почти отвернувшись от короля, и смотрел во внутренний двор крепости, где шли последние приготовления к церемонии: стража оцепляла помост, Крейчер примерял маску, Бруннер прокручивал точильный станок.

«Вам лучше знать, — усмехнулся король. — Словом, при всей моей симпатии к Екатерине нам нужно приводить в действие наш адский план «Петр Третий». Даже если мы не вернем престол законному царю, в России должна запылать большая междоусобица, это сорвет все вольтеровские бредни. В лучшем случае империя развалится на несколько России. Мы

будем контролировать ее западную часть с Ригой и Петербургом. До всего остального нам нет дела, пусть сами делят. Я приехал сюда, чтобы увидеть обоих кандидатов. Прикажите поднять сюда Эмиля».

Фон Курасс повернулся к королю и встал подбоченясь, то есть «акимбо». Губы его были плотно сжаты, но слова явственно доносились то ли из ноздрей, то ли из глаз. «Эмиля здесь нет уже неделю. Он загулял, так, кажется, говорят в этой вашей России. Собрал шайку дезертиров и пьяниц и бесчинствует на дорогах. Сначала напал на поезд Вольтера в Мекленбурге, но был отогнан российскими агентами. Третьего дня с какими-то пиратами пытался высадиться на острове Оттец и захватить замок Ди Дохтер Унд Муттер, где, как вам известно, находится сейчас Вольтер, но опять потерпел фиаско. Не понимаю, что его тянет к этому господину, кумиру мыслящей Европы! Уж не собирается ли взять его в залог и потребовать с Петербурга миллионный выкуп?»

Потрясенный новостью, король все-таки успел заметить и перемену тона. Чудовище перестало обращаться к нему как к государю. Он бросил взгляд на стоящую в отдалении толпу стражи и вдруг заметил, что кое-кто там смотрит на него с насмешливостью убийц. Скользнул пальцами по поле своего кафтана, чтобы почувствовать там безотказный бельгийский пистоль, к а р м а н н о е оружие, чудо нашего века, бьющее на сто пятьдесят шагов. Шагнул к фон Курассу.

«Вы что, с ума сошли, фельдмаршал? Что в вашем ведомстве происходит? Без моей санкции спустили с цепи Казака? Требую немедленных объяснений!» Он приблизился к страже, перчатками хлестнул по щеке одного из убийц. «Все убирайтесь с

крыши!» Ослябя Смарк подтвердил приказ могущественным ржанием. Не получив указаний Отца, стража отступила спинами вперед. По опустевшей крыше прокатился и исчез странный енот неадекватных размеров. Монстр рассмеялся. «Эх, майастат, я всегда вас ценил как политического провидца, а сейчас вы близки к трагической ошибке. Вы не понимаете того, что происходит в Германии, да и во всей Европе. Происходят события, которые идут не по вашим часам. Вам кажется, что проходят дни, а в этих событиях проходят месяцы и годы, если в них вообще тикают часики. Похоже на то, что мы проходим через усиленную фазу Сатурна, но вы этого, конечно, не понимаете. В замке Доттеринк-Моттеринк идут куртуазные дискуссии, а между тем в пространстве между временем и не-временем вспыхивают и накатываются одна на другую вольтеровские войны междоусобных свар».

«Вольтеровская война? Что за бред?» — воскликнул король.

«Войны в плурале, — продолжал чревовещательствовать фон Курасс. — Первая вольтеровская война и Вторая вольтеровская война, а сейчас на них катит и третья, быть может, самая страшная вольтеровская война!»

Король поистине взъярился: «Черт бы вас побрал, фон Курасс, и он вас, конечно, возьмет, если он уже вас не побрал, если вы не сами являетесь воплощением вашего болотного кошубского Мефисто! Вы вместе с вашим чертом, то есть сами с собой, и вместе с вашим братом по имени Сорокапуст — я знаю людей, которые были на защите его диссертации в Кёнигсберге и видели вас там! — вы, кажется, стараетесь втянуть меня в ваше болотистое безумие,

да еще и шельмуете этим злополучным Вольтером, делая из него какого-то демонического демиурга, то ли творца, то ли разрушителя времени, а между тем он просто-напросто сочинитель, распутник, интриган и плут! Уж кто-кто, а я-то знаю ему цену! Я был много лет под обаянием его несусветного таланта, я хотел вместе с ним сокрушить L'Infame, я предоставил ему защиту от всех этих французских церковных лицемеров, а чем он мне отплатил?! Устроил злодейскую аферу с еврейским банкиром, спекулировал этими чертовыми саксонскими сертификатами, а потом сам и хватал того за горло, велел арестовать, и все это в моем дворце, в безмятежном Сан-Суси! Он пишет о поисках Бога в природе, а сам устраивает пиратские издания моих стихов, провоцирует побоище компроматов, черт его дери! Сравнивает мои стихи с грязным бельем, которое он, видите ли, вынужден стирать, а потом на коленях просит у меня прощенья, целует руку, клянется в верности и любви! А как он травил несчастного Мопертюю только за то, что тот, а не он был избран президентом Берлинской академии! Чахоточный уже харкает кровью, а тот все рассылает повсюду своего «Доктора Акакия», все продолжает издеваться над проектом прокопать землю до середины, над проектом разборки египетской пирамиды, над забавнейшим проектом создания города, где все говорят на латыни! Вот почему я отобрал у него золотой ключ Шамберлена! И все-таки, когда он пришел ко мне сущим скелетом со всеми своими кожными болезнями, дизентерией и жабой вкупе с горячкой, я его пожалел и оставил при дворе! Чем отвечает этот гений на мое милосердие? Он бежит из Германии со своей распутной племянницей и с моими стихами! И вот теперь,

фон Курасс, черт бы вас побрал, вы делаете из него какого-то могучего демиурга, именем коего называются какие-то несуществующие войны в несуществующем времени; что за вздор?!»

Фон Курасс внимал этому взрыву, прислонившись к балюстраде крыши и созерцая водосточную трубу. Хотелось всунуть ноги в такие железные трубы и зашагать к горизонту. Он понимал, что король так петушился в адрес Вольтера лишь для отвода глаз. Он просто хочет выиграть время и отвести мое внимание от того простого факта, что я, да и весь наш брудершафт находимся на грани разоблачения. Знает ли он, что Сорокапуст не брат мой, а я сам? Знает ли он, кто таков Казак Эмиль? Знает ли он других? Понимает ли он, что с этой крыши он уйдет только головой вниз?

Король опустил руку в карман и взял в ладонь рукоять пистолета. С этим он приблизился к чудовищу, которое если и напоминало еще человеческое существо, то лишь весьма отдаленным образом.

«Словом, Курасс, невзирая на все эти ваши мифологические войны, немедленно арестуйте Казака Эмиля и доставьте его ко мне. Он будет предан военному суду за разбой. Вместо него мы теперь будем работать с Петером Холштайн-Готторпом, то есть с настоящим царем».

«Это невозможно, — прохрипело что-то в глубине фельдмаршала, или, лучше сказать, уже бывшего фельдмаршала, а ныне противоборствующего королю властелина. — У него произошла деформация лица».

«Какого черта! — вскричал король. — Какая еще деформация лица возможна в вашем ведомстве, где искажены все формы?!»

«Заткнитесь, Фриц! — взвыл в ответ монстр. — Прекратите без конца чертыхаться, упоминать это

имя всеу! Прекратите принимать эти ваши величественные позы! Выньте руку из кармана! Вы не у себя в Сан-Суси! У вашего поклонника просто-напросто вырос второй нос!»

После этих воплей на крыше вновь появилась толпа вооруженных людей, и Фридрих Второй Великий понял наконец, что все потеряно: трон, родина, жизнь. Порыв великолепного вдохновения подхватил его и бросил к краю крыши, туда, где сидел фон Курасс. Рыцари Пруссии, монархи просвещенного абсолютизма должны погибать в схватке! Нечего мешкать, запусти ему пулю под жабры! Вдруг что-то остановило его. Он бросил взгляд вниз, на внутреннюю площадь крепости, и увидел, что там началась какая-то до боли знакомая церемония.

По площади к помосту отряд алебардистов вел двух молодых людей с завязанными за спиной руками. На помосте возле плахи ждали их два приземистых палача. В своих длинных фартуках и перчатках они напоминали забойщиков в мясном хозяйстве, однако маски на ряшках придавали им, да и всей сцене что-то игриво карнавальное.

Король не мог оторвать взгляда от лиц двух юношей. Один был явно потрясен тем, что немыслимое должно вот-вот произойти. Он спотыкался, голова его — то есть то, что сейчас будет отделено от него, или, наоборот, отделено от него будет стройное тело? — голова его, очевидно, кружилась. Второй пытался подставить ему плечо, что-то гневное произносил, однажды даже вызывающе захохотал, показывая подбородком на палачей. Ветер сверху струйками долетал до дна внутризамковой площади и начинал трепать длинные волосы обреченных на казнь, потом угасал. Король содрогнулся от пронзительного дежа-

вью. Молодые люди были похожи на друзей его юности, капитана Катте и лейтенанта Кейта. В 1732 году они втроем пытались убежать в Англию от короля-изверга, его отца. Все трое вольнодумцев были схвачены. Кейту все-таки удалось сбежать из-под стражи, а принц Фридрих и капитан Катте были привезены в крепость. Здесь оба были осуждены на смерть и посажены в одиночки. Через несколько дней в камеру принца вошел король-отец. По его приказу Фридриха подвели к окну и заставили смотреть на экзекуцию Катте. Каждый шаг молодого красавца к плахе запечатлелся в его памяти на всю жизнь. Звук этих шагов до сих пор временами звучит в его голове как своего рода метроном неотвратимости. Через несколько дней король вновь посетил его камеру, и принц упал перед ним на колени. Неумолимый старик разрыдался и поднял сына. Вскоре его женили на «безмятежной принцессе» Элизабете-Кристине, что была похожа на отборную гусыню.

Теперь шаги идущих под топор сливались в голове короля с тем «метрономом» тридцатидвухлетней давности. «Кто это?! — вскричал он. — Кого вы тут собираетесь казнить без моего ведома, презренный Курасс?» Владыка замка наслаждался. Вот хотя бы ради этих минут стоило выдержать все долгие унижения королевской службы. Он рассмеялся: «Да это даже и не казнь. Мальчишки были схвачены при попытке похищения одной весьма важной персоны с небольшой деформацией лица. На допросе назвались французами де Буало и де Террано, но мы подозреваем, что это агенты российской службы, явившиеся с острова Оттец. Сейчас мы произведем небольшой следственный экспериментум. Одному из них отсекут голову, и тогда второй станет

более разговорчивым. Ты ведь знаешь, как это бывает, мой маленький Фриц, ты ведь прекрасно помнишь, как это бывает, не правда ли? Одному, более гордому, удаляют копф, а второй падает на колени».

Внизу церемония развивалась. Протрубили трубы. Отгрохотал барабан. Одного из пленников повалили на плаху. Палач Бруннер поднял топор.

Наверху король Фридрих Второй Великий вынул из кармана свою гордость, сработанный непревзойденными бельгийскими оружейниками по его собственным чертежам двухствольный пистолет. Грянул первый выстрел.

Бруннер нелепо упал на толстый бок. Топор скользя проехался по помосту и влетел в самую гущу алебардистов. Миша вскочил и ногою, которая была не последним его оружием, ударил в промежность палача Крейчера. Тот полетел вместе со своим неострозаточенным оружием юриспруденции с помоста и завершил разрушение отряда.

Пулю вторую (и последнюю) король послал туда, где подразумевалась голова чудовища. Оно, не успев на лету оную пулю расплавить, рухнуло с крыши во двор.

Удар от падения был столь ужасен, что лопнули все веревки за спинами у ребят. Мгновенственно вооружившись, сии кавалеры подняли стрельбу и уколы металлом. Остатки чудовища ползали в разных местах, разруху и взрывы в своем же гнезде учиняя. Коля швырнул пакли горячей кусок в башню пороховую. Последствия не опишешь.

На крыше тем временем все битюги, Смарк, Марк, Арк и Рк, порвав упряжу, стражу топтали. С грохотом жутким рухнула вниз клеть асансёра. Кони полуслепые, грома все вокруг, вырвались из подва-

ла. Рушилась картотека. «Ах ты, Ослябя мой славный, — бормотал монарх, на огромную спину взлезая. — Рушатся символы нашей державы, но новые тут же взмывают нам на подмогу. Я не уверен, найдется ли место в мире подлунном для чистого символизма. И все-таки мир метафизики нас поглощает и тянет гексаметра нить от Гомера к Вольтеру».

Опомнившись после очередного разрыва осколочного ядра, Николя и Мишель побежали к опушке леса. Перметте-муа ву деманде, месье, си ву не па мор анкор, нес-па? — первый спросил на бегу. Мерси, месье, от-ветствовал второй. Иль ме самбль, же суи виван. Э ву? И оба почти казненных, едва ли не истребленных, закувыркались в поле с присущей юности дурью.

Отдохотавшись, уноши лихо помочились в сторону пылающей твердыни. Струи были устойчивые, крутые, лишь изредка в них мелькали рубиновые пятнышки, следствие вчерашнего допроса с пристрастием. «Эльсистророцитаты» — так квалифицировал их рожденный медикус Михайло Земсков. Лесков Никола снова от сего словечка покатился, а отсмеявшись, серьезно сказал полубрату: «Ну, Мишка, похоже, опять мы выбираемся с тобой из ненашей не-жизни». Полубрат обнял его за плечи и внимательно заглянул в глаза: «Значит, и ты, Коленька мой родной, понимаешь про сии вольтеровские войны?» Тот смущенно пробормотал: «Ведь все же делим мы с тобою, Мишанечка мой любезнейший». Два полубрата еще крепче прижались друг к другу и обратились на миг в одного брата. Потом, разъяв объятие, пошли вольным шагом дальше к лесу и посвистали своих коней. Тпру и Ну не застави-

ли себя ждать. Тут же вымахали из орешника, где скрылись после неудачной засады целый день, оказавшийся для их всадников месяцами застенка. Уноши радостно обратали сии родственные души в лошадиных формах и заботливо ощупали их суставы, поджилки и подсумки. Все было в порядке, включая и подсумки с пистолями и пороховым запасом, а также и с бутылками отменной «Аква виты».

Еще раз окинем взглядом всю огромную панораму бренденбургских холмов, всю пронизанную довольно щедрым солнечным сиянием, и не скажем почти ни слова о том, что в левом верхнем углу ея уже загнулся один уголок, за коим виднелось подлинное время рассказа: ночь.

В середине панорамы двигался мерными взмахами четырех великанских копыт рыжий в белых яблоках ломовецкий битюг Ослябя Смарк. На неоседланной его спине восседал, хоть и вихлялся из стороны в сторону из-за непомерной ширины оной спины, король прусской страны Фридрих Второй, удирающий из своей собственной секретной цитадели. Вслед ему с горящего бастиона кто-то из еще уцелевших пушкарей наводил коронаду; Шюрстин пробовал последний шанс достать короля.

Намотав на кулаки мощные пряди Смарковой гривы и ничего не боясь, король катил по родной земле и сочинял стихи. Экое счастье: медлительно, но неудержимо катить на верном коне из одной строфы в другую! Вот эти стихи в любезном переводе придворного Ея Императорского Величества виршеписца Семирамидского:

Где ты, вселенная Ньютона,
Скрываешь свой священный смысл?
Пошто созвездий многотонных
Не знаем мы природных числ?

Нам дан весьма солидный разум,
Но почему нам невдомек,
Что кроется в красотах розы
И в таинствах священных мекк?

О человек, червяк прелестный,
Чему ты куришь фимиам?
Пошто, слагая стих и песни,
Не можешь ты сразить L'INFAME?

Дерзает вдохновенно молодь,
Но не проник до черных дыр
Ни сумрачный германский желудь,
Ни гальский острый мухомор.

Балы, концерты, котильоны,
Войны кровавый карнавал...
Ты вопрошаешь воспаленно:
Что тянет жизни караван?

В чем наших дней угар и пафос?
Пошто Ньютон лежит в гробу?
Не спрашивай! Поймешь сей фокус
И тут же вылетишь в трубу!

Пушка грянула. Ядро пошло. Но тут же кто-то потянул уголок панорамы, и король проскочил под раму. И выстрел пропал втуне.

Начинался уже медлительный июльский закат. Жители, завершив труды и помолившись, усаживались на балкончиках и крышах, чтобы полюбоваться редкостным и красочным зрелищем саморазрушения таинственной крепости Шюрстин. Раскинувшееся на нескольких холмах сооружение с неприступными бастионами и беспрекословными башнями уже несколько часов удивляло пространство перемежающимися внутренними взрывами, обвалами архитектуры и поднимающимися из глубин клубящимися огненными грибами. «Эва как рушится! — удивлялись бюргерство и крестьянство. — Так, глядишь, скоро все позабудут об этой твердыне!»

Так, между прочим, и получилось. За ночь все выгорело. Утром найдено было лишь пепелище. К осени его на зиму распахали. Весною засеяли смесью овса с горохом. Летом скосили. Ну и так далее.

Вскоре забыли, что там было из постороннего. Страничку истории будто нечистая сила какая слизнула без всякой реверберации. Да что там история: шесть тысяч каких-то вращений вокруг светила проходят — и не заметишь.

Лишь в поле гукает некое идло болотистого свойства, но это не диво для тех, кто работал когда-либо в тех краях с косою либо с фузейей.

Глава восьмая,

в коей Вольтер знакомит барона Фон-Фигина и генерала Афсиомского со своими взглядами на рожийские отчины, равно как и на черных рабов в Америке. Между тем над готикой Балтики пролетают голуби из древнего рода сарымхадуров, а также гремит не вполне реальная битва, в кою среди прочих сторон вовлечено цвейг-анштальт-бреговинское войско во главе с курфюрстом Магнусом Пятым

Очередная беседа «Остзейского кумпанейства» — как стали уже именовать сию встречу в замке и в окрестностях — была проведена в самом тесном кругу, естли так лъзя высказаться о треугольнике. А пошто и не лъзя? Равнобедренный треугольник за милую душу вписывается в круг при помощи сиркьюля, не правда ль? Словом, всякому известно, что угольная геометрия завсегда жаждет круга. Так и здесь получилось: три персоны, барон Фон-Фигин, генерал Афсиомский и всемирный филозоф де Вольтер, засели в библиотеке замка за четырехугольным столом мореного дуба. Каждый из них занимал свою сторону стола, четвертая же сторона осталась свободной.

Подчеркивая сугубую дискретность встречи, барон извлек из модной муфты свой личный, едва ли не сокровенный набор для письма: серебряную чернильницу, серебряную вставку для перьев, изячайший кинжалец для очинки оных и серебряный же пенал с полудюжиной ослепительно белых и почти невесомых сних предметов, при виде коих всяк будет горазд воскликнуть, переиначивая римскую поговорку: «Воистине, гуси спасли словесность!»

«А равно и политический протокол!» — не преминет тут добавить какой-нибудь любитель уточнений.

Как видим, не было здесь ни Лоншана, ни Ваньера, ни Дрожжинина, ни Зодиакова; также отсутствовали и гвардейские унтеры Марфушин и Упрямец, тем более что последние не знали (или делали вид, что не знают) по-французски.

Афсиомского барон загодя попросил принести с собой стопку бумаги, что тот и сделал скрепя сердце, заведомо сердясь, что будет использован на заседании как простой писарь. Увидев, однако, что барон собирается писать сам, граф Рязанский просиял душою; кто не возрадуется приглашению стать равнобедренным вершителем Истории?

Вольтер улыбался, оглядывая стены. На полках были собраны, почитай, все его издания, включая даже и самые скандальные, пиратские, со всей Европы. Присутствовали и его возлюбленная «Диатриба доктора Акакия, папского врача», что сотворила в свое время столько «шороху» (по бытовавшему тогда в литературных кругах выражению) на всех этажах Прусской академии.

По всему помещению библиотеки в излишнем даже обилии были расставлены античные бюсты: Гомер, Софокл, Эсхил, Еврипид, Платон, Аристотель (последний упомянутый внимательно смотрел на первого). Вольтер подмигнул «своему Ксено», ему понравились сии «афсиомовские машкералы».

Вообще Вольтер был в неплохой кондиции. После недавней ночи, то ли реальной, то ли приснившейся, во всяком случае, толь волшебно завершившей его блистательный монолог о любви, он как-то удивительно взбодрился, и даже вечная его мучительница, мысль о жизни как умирании, пере-

стала докучать. Попивая по утрам отвар отменнейшего какао, доставленного с борта «NOLI ME TANGERE!», где капитаном был к удовольствию англофила настоящий, хоть и российский, англичанин, и строя свои бесконечные письма (позднее было подсчитано, что сей славный муж за отведенное ему время «накатал», как тогда выражались, не менее 50 000 штук эпистолярного жанра), он наслаждался и нежным июльским бризом, и нежнейшим вниманием со стороны личного посланника Ея Мадамства, и хрустящими булочками в виде полумесяца, кои он никак не мог назвать иначе чем *les croissants*, а также и мыслями о возможном повторении волшебного блюда, сего вяшего свидетельства несовершенства человеческой природы. С этим было как-то легче преодолеть то, что все-таки слегка подсасывало внутри, в районе селезенки, где как раз и проявляется дефицит йодических атомов, намекая, что где-то поблизости, в неких пространствах безвременья, словно репетиция к злодеяниям будущего, жестоко грохочут и разрушают церкви одновременно три войны, названных толь неправдиво его именем.

«Господа, сегодняшнее наше собрание имеет первостатейное значение, — очень серьезно, без обычной его лукавинки в очах произнес Фон-Фигин. — Ея Императорское Величество ласкается, что Ея беседа со светочем ума и знания — речь идет о тебе, мой Вольтер, — пусть и непрямая, однако сугубо доверительная, поможет Ей принять наиважнейшее для нашего государства решение».

«Держу пари, что ведаю уже, о чем пойдет речь». Лицо Вольтера заиграло хитрющими морщинками, как у некоего человекоподобного лиса. «Ксено не даст соврать старому пройдохе. Еще в Париже на следующий день после сокрушительного успеха «Семирамиды», когда ты, мой Ксено, передал мне приглашение Государыни, я сказал тебе, что мне ведома основная причина сей встречи. Ты ночевал тогда в моем доме, и мы столкнулись под утро в коридоре, помнишь? Уже тогда я знал, что речь пойдет об отмене крепостного права в России. Подтверждаете, генерал?»

Ксенопонт Петропавлович с важностью кивнул, хотя ничего подобного и не помнил. Кажется, и в самом деле наткнулся на хозяина, когда бродил там в поисках ночного горшка, был вроде бы какой-то вольтеровский намек на его исключительную прозорливость, однако о крепостном праве как будто так и не разговорились. Тем не менее кивнул еще раз: как не помнить столь важный исторический момент! Фон-Фигин после этих кивков внимательно посмотрел на генерала, однако ничего не сказал.

«Так что же, мой Фодор, прав я или нет? Угадал ли я глубинную истину?» — спросил философ.

Посланник улыбнулся. «И да, и нет, мой Вольтер. Все темы наших бесед имеют для Императрицы первостатейное значение. Философия природы или, скажем, иерархия искусств не менее важны, чем политическая злоба дня, к примеру вопрос о распространении императорского «Наказа» или проблемы престолонаследия. Государыня ласкается, что ее не зря причисляют к плеяде энциклопедистов. Беру на себя смелость изречь, что среди великих Ея мечтаний наивеличайшим является мечтание сделать раз-

вите России вкладом в человеческое просвещение. Вот почему все беседы наши для Нее в равной мере важны и тема крепостного права неотделима от всех прочих. Другое дело, что тема сия, быть может, сложнее других, поелику вовлекает в некую пучину великое многомиллионство телес и душ человеческих.

Так уж получилось в нашей обширной державе, что в отличие от Европы крепостное право у нас не только не увяло за последние сто лет, но окрепло. Ежели во Франции, в италийских государствах и во многих землях Германии, не говоря уж тем паче об Англии и особливо об ея североамериканских колониях, все эти исконные формы общества, сеньории и маноры, рассматриваются как пережитки прошлого, то в России никто под вопрос оные сеньории не ставит».

«Вы имеете в виду «вотчины», мой друг?» — поинтересовался Вольтер. (Он произнес «ле вотшэн».)

Фон-Фигин удивленно поднял свои великолепные брови: «Какая осведомленность, браво, мой Вольтер! Вот именно вотчины, все наши княжеские, дворянские и монастырские поместья. Какими они сложились после Соборного уложения тысяча шестьсот сорок девятого года, таковыми и пребывают».

«Прости, мой Фодор, но я должен внести поправку в твои размышления, — проговорил Вольтер. — Североамериканские колонии Англии при всей их склонности к свободе пока что негожи для примера: там существует рабство».

«Так ведь это же привезенные из Африки негры», — заметил тут граф Рязанский.

«Ксено, Фодор! — горячо воскликнул Вольтер. — Я не открою вам великой тайны, если скажу, что негры — это такие же люди, как мы все! —

Он помрачнел, прикрыл лицо руками и тихо добавил: — А может быть, и выше нас в силу перенесенных ими страданий».

«Как неожиданно! Как гениально! — вскричал потрясенный Фон-Фигин. — Вольтер, ты действительно совесть человечества! А ведь наши крестьяне, по сути дела, ничем не отличаются от черных рабов. Страданиям их несть числа! Даже век просвещения не принес им поправки. Напротив, нужда в рабочей силе для строительства флота, крепостей и городов только укрепила крепостничество. Великий Петр гонял несметные толпы крестьян, как скот. Века идут, а древние вотчины, а бесконечная кабала незыблемы. Пришла ли пора покончить с этим позором раз и навсегда?»

Вольтер смотрел на столь неожиданно воспламенившегося вельможу и думал: чем он больше потрясен, уравнением ли негров со всеми человеческими особями, возвышающим ли пафосом их страданий или сравнением российского низшего сословия, всего этого б е л о г о, но безжалостно забитого многомиллионства с черными рабами Америки? Ведь у него и у самого небось немалое число душ, ведь не деньгами, а числом крепостных мужиков они там измеряют свои богатства.

Барон продолжал: «Быть может, назрела пора для великого всероссийского указа? Быть может, нежданностью мы как раз и замостим дорогу к успеху? У нас созрело нынче молодое общество, жаждущее перемен, не так ли? Во главе нашего войска стоят молодые военачальники, что два года назад привели к власти молодую и просвещенную государыню, среди них немало и вчерашних иностранцев. Пошто мы будем ждать еще сто лет?»

В ожидании ответа Вольтера барон быстро закрипел пером по отменной, чуточку бугристой бумаге, на кою неплохо бы легла и какая-нибудь элегия. Интересно, чего там больше у него получается, восклицательных или вопросительных знаков, подумал Вольтер.

«Я вижу, господа, вы там задумали сушую революцию, — произнес он с умиротворяющей улыбкой. — Не опасно ли сие столь радикальное благомыслие? Не произойдет ли взрыв? Не преувеличиваете ли вы, мой Фодор, и вы, отсутствующая, но столь безгранично почитаемая Государыня, распространение либеральных идей в ваших «ле вотшэн»? Будь любезен, мой друг: сослагательное наклонение и три вопросительных знака».

Барон умерил свой пыл и тоже улыбнулся. «Эти вопросительные знаки уже превратили мои заметки в стаю лебедей. Ежели так пойдет, можно будет ничего не писать, а нарисовать одну большую загогулину. И все-таки можно ли упускать историческую возможность восклицания?»

«Здесь опять вопросительный, — ввернул Вольтер. — Подумали ли вы о том, что скажут бояре, владельцы многих тысяч душ? Пусть они одеты по последней моде улицы Сен-Онорэ, ездят в дорогих каретах швейцарской работы, едят на севрском фарфоре, мало того, выписывают для своих детей гувернантов с дипломами Сорбонны, целые библиотеки книг, включая нашу «Энциклопедию», однако откажутся ли они так внезапно от своего векового владычества, от привычки покупать и продавать людей, сегодня устраивать в поместье театр, разыгрывать со своими крепостными «Федру», а завтра подвергать сих актеров позорной и даже смертельной порке, а

то и травле собаками, как я слышал; иными словами, оставшись без всех подобных средневековых прав и привилегий, не потянутся ли они к дедовской сабле?»

Несколько минут прошло в молчании, чтобы дать высокопоставленному «писцу» возможность записать многоколенный вопрос Вольтера. Закончив сей труд, барон отложил перо, с кончика коего тут же упала капля чернил и расплзлась по бумаге в виде какого-то малого глазика. Поглощенные историческими мыслями собеседники посмотрели на сие странноватое проявление невтонической природы, но не придали ему никакого значения.

«Как всегда, мой Вольтер, ты копнул из самой сердцевины вопрошения, — проговорил Фон-Фигин. — Поймут ли наши вельможи благородные дерзания Государыни, не ополчатся ли супротив Нее, а также супротив всего нашего поколения? Вот ты, наш верный друг, — он неожиданно повернулся к застывшему в весьма благородной позиции графу Рязанскому (взгляд, устремленный к Платону, подбородок в лоне надежной длани), — вот ты, Ксенопонт Петропавлович, с твоим гигантским опытом государственной службы и с близостью твоей к славоблюбским кругам нашего дворянства, к сторонникам старого патриархата, что ты можешь сказать о настроениях на сием Олимпе?»

Афсиомский вострепенулся всей своей чувствительной сутью. «Помилуй, Федор Августович, ваша светлость, да откуда ж взялась подобная моя близость к сторонникам старого уклада? Ведь, почитай, вся Европа знает меня как завязаного вольтерьянца! Да и в отечестве ходит за мной такая же слава! Ведь любой из моих мужичков на Рязанщине подтвердит,

что старинну-то барщину давно уж оброком я легчайшим заменил. Да разве ж Государыня наша доверила бы мне остров Оттец для устройства сего толь важнейшего кумпанейства, буде я заскорузлым патриархатчиком?!»

Вольтер, дабы успокоить взволновавшегося генерала, протянул ему через стол свою руку, как бы выпрыгнувшую из пены кружев. Афсиомский ответил схожим жестом ладонью вверх. Ладонь философа с привычной писательской мозолью на указательном пальце хлопнула по всецело жесткой ладони солдата. Сия демонстративная близость старых друзей пришлась по душе высокопоставленному посланнику, однако не согнала с его лица многосмысленной политической улыбки.

«Напрасно ты толь разволновался, Ксенопонт, ведь ничего злокозненного Государыня не видит в ваших литературных связях, о коих с почтением говорят при Дворе». Увещевая верного слугу Престола и Отечества, он то и дело перескакивал с «ты» на «вы», строил ему успокаивающие мины, подмаргивал красивым оком. «Просто хотелось бы подробнее знать, что говорят о возможной отмене Соборного уложения в обществе таких достойнейших персон, как Херасков Михаил Михайлович, Чулков да Левшин, князя Львов и Щербатов, не говоря уж о таком великолепнейшем сочинителе, как Сумароков Александр Петрович...»

Не без удивления он увидел, что при упоминании последнего генерал прям-таки радостно подскокил в своем кресле.

«Петрович! — вскричал он. — Петрович! Петрович! Отнюдь не! Отнюдь не Исаевич!» Теперь он знал, как перейти с этим мыслителем к иному фасо-

ну обращений: «Дражайший и любезнейший мой Александр Петрович!» Не Исаевич!

«Иса Эвиш? — поднял бровь Вольтер. — Звучит знакомо. Это что, из Монтенегро?»

«Нет-нет, Вольтер, это из другой оперы. Нет-нет, никакого отношения к сералам оттоманского султана сей господарь не имеет», — заметил Фон-Фигин. На благо, все трое располагали вельми шушливой складкой ума и потому похохотали со вкусом. Момент напряженности испарился.

«Так вот, — продолжил барон, — такая существует при Дворе анекдотка. Сей Александр Не-Исаевич-а-Петрович недавно приглашен был к Государыне на чашку чаю. В разговоре Ея Величество как бы мимоходом спросила, как бы он отнесся к отмене крепостного права. Сумароков был полностью ошелумлен, си-ву-перметтэ-муа-се-мо. Позвольте, Ваше Величество, воскликнул пиит, но, ежели мы лишимся крепостных, где ж мы тогда будем брать обслуживающих?!

Существует, однако ж, сурьезный аспект сиих настроений. Все упомянутые вельможи пишут романы в стиле Вольтера, но с антивольтеровским пафусом. Я речь веду сейчас о «Щастливом обществе» и о «Хоре к превратному свету» того самого Сумарокова, о «Непостоянной фортуне» Федора Емина, о «Нуме, или Процветающем Риме» Хераскова, а также и о других различных утопических «Путешествиях в страны Офирские» выше упомянутых персон. Любопытно, что едва ль не в каждом подобном сочинении с ядовитой сатирою изображаются подобия западных стран под оскорбительными именами Игноранция либо Скотиния, а рядом с оными возводятся панегирики патриархальным уто-

пиям, Светонии или Разумнии, сходным с Россией. Герой неизменно попадает в блаженные земли, где царствует мудрая Правительница, оберегающая старые порядки и единственную истинную религию, сиречь Православие. Жители сиих райских земель, именуемые «славами», прилежно трудятся на своих хозяев и на Правительницу, отождествляемую с Отчизной. Все они решительно отрицают низменные соблазны иноземцев как посягновение на свое натуральное щастие.

Интересно, что все сии объемистые сочинения немедля после составления оных отправляются для прочтения Государыне, как будто авторы видят в ней своего основного читателя. Не видится ли вам, любезные господа, в этом факте любопытный замысел? Не пытаются ли вельможи-сочинители повлиять на умонастроение Императрицы? Не кроется ли в оном предприятии серьезной опаски, не тревожатся ли сии почтенные мужи за свои исконные вотчины, не опасаются ли внезапного императорского указа об отмене крепостной зависимости?»

Выслушав барона, Вольтер подумал, что подобные почтенные мужи хотят и из Петербургской академии сотворить свою вотчину. Иначе к чему надо было в прошлом году всерьез обсуждать антивольтеровскую фальшивку, писанное якобы самим филозофом дурацкое послание, да еще и засылать копию протокола напрямиком в «божественные ручки» Императрицы?

«Иными словами, Фодор, вы усматриваете в таковых настроениях опасность для предначертаний Государыни?» — спросил Вольтер. Он смотрел теперь только на Фон-Фигина, как будто третьего собеседника и не существовало. Приближался решительный

момент, содержащий весь смысл задуманного Екатериной диалога. Перед этим моментом он должен забыть всю свою лирику и мизантропию, все свои эпиграммы, кощунственные драмы и театральные безумства Парижа, все свои дерзостные аферы в поисках «философского камня нашего века», равно как и фривольности своих полудремотных мечтаний, забыть свою старость, не говоря уж о младости, ошеломительные скачки данной персоны, именуемой Франсуа Аруэ де Вольтер, забыть себя и как Кандида, и как Панглоса, вообще, между прочим, забыть весь свой ненаглядный «процесс умирания» и выступить в единственно возможном в данный момент качестве — в качестве серьезного историка и политика, от точки зрения которого могут зависеть судьбы весьма туманно им представляемого российско-го многомиллионства.

Не говоря ни слова, посланник барон Фон-Фигин сделал приглашающий жест правой рукою, а точнее, кистью этой упертой локтем в полированную поверхность стола руки. Внешность его, как и внутреннее состояние его собеседника, преобразилась. Исчезла нередкая в его облике игривистая смазливость, некий не вполне сурьезный секрет сродни венецианскому маскараду. На Вольтера смотрел суровый солдат-вождь, готовый к любому повороту судьбы. Так, быть может, перед началом похода смотрел на Аристотеля его достойный ученик Александр Македонский.

«Ну что ж, — приступил к своему монологу Вольтер. — Перед погрузкой на челны войско должно представлять себе хотя бы часть ожидающих опасностей, все остальные, а имя им легион, будут нападать внезапно. Настроения сеньоров, конеч-

но, весьма сурьезная опасность, но еще более сурьезная может возникнуть сразу по началу реформы в настроениях барщинных крестьян. Поколениями привыкшие к жестокой опеке дворян, они могут не понять благих намерений Государыни и почувствовать себя брошенными и обманутыми. Возникнет парадоксальный момент восстания рабов против своей свободы, защиты исконно российских вотчин от иноземцев. С другой стороны, указ об освобождении может вызвать дикий порыв к неограниченной воле. Смешавшись с массой свободных крестьян, то есть казаков, невежественные массы ринутся на усадьбы дворян и на монастыри, а опьянев от крови, уже нелегко остановиться. В государстве возникнут ужасающие смуты, пред которыми поблекнет и смута междуцарствия, что разыгралась в начале прошлого века. Впрочем, как и все подобные смуты, они будут проходить по близким парадигмам. Появятся самозванцы, претендующие на престол, то есть многократные копии, то есть все более и более не узнаваемые копии царей Иоанна Шестого и Петра Третьего. Иными словами, мой Фодор и мой Ксено, — Вольтер перевел дух, пощупал свой пульс, постучал костяшками пальцев по краю стола, посмотрел на свободную от книжных полок стену библиотеки, завешенную гобеленом с изображением триумфального шествия богов и героев, и только засим завершил фразу: — Еще по крайней мере двадцать лет в России нельзя отменять крепостного права».

Генерал Афсиомский при этих словах едва не воскликнул «Браво!», но воздержался и произнес лишь одну, но достаточно туманную фразу: «Вот так же считает и Ксенофонт Василиск».

Барон Фон-Фигин встал из-за стола и отошел к дальнему восточному окну, за коим в рамке бордовых штор катилось море, по коему при милости богов можно за неделю добежать до дому. Признаться, он был уязвлен за все свое поколение: что же — постареть посреди рабства? Что греха таить, двойственные чувства волновали вельможу: с одной стороны, вольтеровский вердикт обескураживал целое поколение просвещенной российской младости, жаждущей громыхнуть своей революцией на всю Европу, с другой же стороны, он испытал облегчение, понеже вместе с философом видел всю малость сей молодой группы посреди укоренившегося варварства.

Вольтер решил развить перемену, то есть разрушение мизансцены, и отошел в глубину кабинета, дабы покрутить стоявшие там медные сферы Плутарха.

«Каковы же будут твои рекомандасии, уважаемый мэтр?» — спросил, не оборачиваясь, Фон-Фигин.

Покручивая сферы Плутарха, Вольтер начал уверенно развивать свой план: «Отмену крепостного права надобно решительно, но не поспешно готовить. Главное состоит в изменении сознания как дворянина, так и пейзанина, так и купца. Люди должны видеть, что держава на их стороне, что от нее идет не ужесточение, а смягчение жизни. К этому в России имеются хоть и малозаметные со стороны, а на деле вельми сурьезные условия. Взять хотя бы большую массу государственных крестьян, то есть крепостных Ея Величества. Сии поселения должны стать модой будущей свободы. Там следует в как можно более поспешный срок упразднить все крепостнические злостные употребления. За ними будут поспешать и казенные заводы, где используется труд как государ-

ственного, так и вотчинного люда. В свой черед вотчинная промышленность и крепостные мануфактуры будут льстить себя надеждой в близком будущем уподобиться казенным заводам и поселениям.

В посессионное право на земли, недра и леса, а главное, на людей надобно ввести строгие судебные циркуляры, дабы устранить всякие злостные употребления, и прежде всего куплю-продажу людей. В этой связи обратите внимание на важность судебной реформы. Дабы устранить возможность тулузского лицемерного магистрата, о коем вы уже слышали мою печальную повесть, надобно заменять сословные, а тем более вотчинные, суды судами выборными из разных сословий.

Год за годом надобно будет укреплять на германский и скандинавский манер разного рода «марки», то есть общины, как родовые, так и соседские. Сбор податей в общинах надобно проводить не по числу душ, а по величине дохода. Семейства с большим детством должны получать поблажки. Все сословия должны постепенно получать уравнивания в правах, разумеется, с учетом образовательного качества. Увеличение общедоступных школ должно давать даже самым темным хотя бы умозрительную фигуру будущего равенства.

Образованному же сословию надобно предоставить больше прав для расширения и качественно-го развития путем учреждения университетов, академий и литературных обществ, а также путем образования частных типографий.

Категорическим указом следует воспретить всякого рода телесные наказания, не говоря уж о пытках в судебных дознавательствах. Слышал я, что Государыня словесно воспретила бить ливрейных слуг,

«никогда и ничем». Сие благое начинание надобно закрепить документом на бумаге с печатью и с ангелом в правом верхнем углу, несущим из-за облака благую весть.

Рекрутированию в армию нужно придать законные и гуманитарные формы, и срок службы должен быть сокращен вполтину, за исключением, конечно, тех, кто возжелает сделать воинство своей профессией.

Постепенно, вместе с развитием равноправия, надобно внедрять в умы и мысль о свободе передвижения. Человек должен жить там, где ему дышится вольно и где горизонты возвышают его дух. Надобно искоренить из российской жизни понятие «беглый», не вылавливать путешественников и новоселов, не привязывать их к вотчинной барщине.

По мере возможностей нужно приглашать в ваши бескрайние поля иноземных колонистов, предпочтительно немцев и голландцев (с французами поосторожней, господа!). Оные колонисты самим устройством своей «марки» будут давать пример российской общине.

Все это дела не одного дня и не одного года. Не надобно сразу рушить веками устоявшийся быт. Сия громовершительная весть, конечно, принесет Екатерине всемирную славу, однако последующая деструкция обернет сию славу в бесчестие. Не след нам уподобляться медведю иль вепрю, прущему напролом через чащу. Скорее уж следует подражать строителям-бобрам, сооружающим плотину для вольного плаванья.

Вот еще вопрос наиважнейшей важности. Ни в коем случае не надобно на пути к освобождению крестьян вооружать против реформы аристократию.

Напротив, аристократия как самое развитое и самое рафинированное сословие империи должна стать первой союзницей Екатерины. Именно в салонах аристократии будут рождаться идеи развития. Проявляйте терпимость и к оппонентам, таким, скажем, как названные тобой, мой Фодор, утопические романисты, и они, став вашими лояльными дискуссантами, может быть, иной раз больше пользы принесут, чем какой-нибудь ревностный прогрессист с горящим взором. Даже этот ваш черногорский господарь Иша Эвич в споре скорее поймет, что слуг необязательно брать из крепостных, а можно за деньги нанять из вольных.

Поощряйте знатных дам к общественной пользительности. Недавно в Ферне привозили ко мне русскую гостью, графиню Дашкову, особу исключительной юности, коя вкупе с едва ль не фантастической премудростью делает ее сущим феноменом Икс-Виктория-Три-Палки...»

Только в этом моменте барон Фон-Фигин, который в течение всей речи Вольтера строчил на заvistь Лоншану и Ваньеру, споткнулся.

«Это еще что такое, Вольтер?»

Философ хохотнул. «Да ведь это же номер нашего века римскими цифрами: X — неизвестность, V — победа над неизвестностью, III — ободряющие знаки для наших дам. Пусть и в России появятся свои мадам де Помпадур и мадам де Шатёру! О, кому, как не мне, знать влиятельные эманации парижских блистательных дам и их бесконечную приверженность главному лозунгу эпохи: “Покончим с лицемерием!”».

«Удивительно!» — воскликнул барон, поставил точку и метнул славно потрудившееся перо в гобе-

лен. Остро очиненный сей предмет, утяжеленный к тому же серебряной вставкою, описал дугу и вонзился в драгоценную ткань. Послышался слабенький писк, как будто острие попало прямо в какой-то почти не различимый в своей миниатюрности глазик. Никто этого писка даже и не заметил, кроме читателей сей нувели. «Я просто поражен, мой Вольтер, откуда ты набрал толь много подробностей русского застоялого быта?!»

Вольтер, чрезвычайно довольный, прогуливался победительно по паркетам и коврам, галантно раскланивался со своим отражением в зеркалах. Ему явно нравился сей гибкий старик, казалось забывший в эти минуты о вечных своих бурлениях ниже пояса и о докучливых ломотах в костях и суставах.

«Господа, единственная моя настоящая профессия — это исторические изыскания! — бравировал он. — Все остальное — стихи, драмы, трактаты и фельетоны, физические и химические опыты, которые мы ставили вместе с покойной Эмили (а ведь мы едва не открыли научную суть огня!), — все это относится просто к ренессансной природе моего организма. Библиотека, даже фальшивая, мой Ксено, немедленно стимулирует мою профессиональную сноровку. Недаром ведь я некоторое время занимал официальную должность королевского историка в Версале. Король и кардинал Флёри лучше других поняли, в чем моя ценность!»

Афсиомский подошел к нему с поздравительными объятиями: «Вольтер, да ведь даже я, путешественник и солдат, готов подписаться под всеми твоими тезаи. Более того, готов их даже чем-то и расширить. Вот, например, размышляя вместе с Ксенофонтом Василиском, пришли мы к некоторой

идее о пользительности морганатических связей между высшим и низшим сословиями. Потомству же, приобретенному от сих совокуплений, надобно предоставлять предпочтительные права для подъема в высшие сферы. Вот таким образом будет возникать подлинный межсословный эквилибриум!»

«Вот это уж совсем недюжинная идея!» — воскликнул изумленный Вольтер.

«А кто ж это такой — ширококонатурный и недюжинный Ксенофонт Василиск?» — спросил, едва удерживаясь от счастливых скачков молодой веселости, посланник барон Фон-Фигин.

Генерал оправил свое жабо с исключительной значительностью. «Се есмь, ваша светлость, крупная фигура старинного византийского происхождения. Сия фигура как раз является зачинателем обширного генеалогического древа, соединяющего знатные рода с тружениками нив и ремесел. Увы, пока что еще не занесен в наши знатные рубрики».

«И в какую же книгу у нас включен сей Ксенофонт Василиск, ежели отсутствует в «Бархатной?»» — не без игривости спросил барон.

«В книгу провидческого характера, каковая вскорости будет представлена Государыне для многозначительного прочтения!» — отвечивал генерал.

«Как это любезно с вашей стороны, граф и генерал! Государыня как раз вчиталась в сей новый жанр просветительных утопий!» — продолжал весело ёрничать Фон-Фигин.

«Не забудь и старого графоманьяка! — подхватил этот тон Вольтер. — Вторая копия — мне!»

Как и вся просвещенная Европа, оба, конечно, знали о сочинительской мании сего умудренного жизненным опытом покорителя пространств.

Все трое снова уселись за стол, позвонили в колоколец, имеющий форму языческого шутилы с внушительным язычком, и заказали кофе. Вторая часть беседы, начавшаяся с веселого разговора о византийских корнях российского государства, вскоре приняла весьма сурьезные звучания, могущие в конце концов привести к громоподобным столкновениям народов и армий.

Смысл ее зиждился на давнишней идее Вольтера о сущей необходимости сокрушить Оттоманскую Порту и водрузить крест на Святую Софию. Не будучи, мягко говоря, особенно пристрастным христианином, он видел в кресте не власть церкви, а символ победы созидателей-европейцев над разрушителями-мусульманами.

Кто может возглавить сей поход, кроме просвещенной Екатерины? Кто может восстановить древний град императора Константина? Государыня приглашает мыслителя на постоянное жительство в Петербург. Мыслитель жаждет на остаток своих лет припасть к ее ногам, увы, мыслитель сей уже развил в себе значительный человеческий недуг, именуемый старостью, и проживание на шестидесятом градусе северной широты не сулит ему бодрых лет на благо великих задумок Государыни. Так почему бы не перенести столицу на тридцать градусов южнее, к берегам теплых морей, где произрастают оливы и ливанские кедры, где и старость не всегда в тягость, где и кончина соединит европейских мыслителей с мудрецами античного мира?

В этом прожекте есть историческая логика, так полагали участники «кумпанейства». Российское царство сотворено Византией. Без греческих монахов не рождена была бы и наша азбука, а церковь

наша есмь византийская церковь. Так почему бы нам не освободить греков — да и самих турок, между прочим, — от жестокого тирана Мустафы, не образовать новую российско-греческую Византию, в коей соединились бы исторические христианские традиции с европейским просвещением? В сем возрожденном Константинополе всем религиям была б обеспечена свобода совести, включая и мусульманство. Нет-нет, господа гипотетические оппоненты, сей прожект — не утопия, отнюдь нет! Он опирается на историческую диспозицию века. Оттоманская Порта вступает в пору упадка. Мусульманский мир не производит промышленного продукта. В нем все держится на средневековых укладах. Армия Порты огромна, однако визири ее не владеют тактикой битв. Один прусский дивизион достиг бы Стамбула, как нож достигает сердцевины арбуза. Если б Фридрих Второй захотел, но он не хочет. Флот Порты малоподвижен. Эскадра британских фрегатов учинила бы полный разгром армадам Гасан-паши, если б британский парламент соизволил, но он подобной воли не изъявляет. У России есть гренадеры, что не уступят пруссакам, а также и моряки под стать бриттам. Стало быть, что мы имеем в итоге сих размышлений? Во внутренних наших делах мы продвигаемся к постепенному освобождению крестьян. На внешних просторах истории мы на всех парусах движемся к Византии.

При упоминании «движения на всех парусах» в библиотеку вошел коммодор Фома Андреевич Вертиго, как будто за дверью дожидался сей навигаторской фразы. На самом деле он пришел по срочному делу и двигался так быстро, что эхо его шагов отста-

ло от перемещения тела и долетело до библиотеки только через семь секунд после коммодоровского прибытия.

Он хотел было сразу подойти к посланнику, чтобы сообщить тому чрезвычайную новость, однако все трое участников «кумпанейства» одновременно бросились к нему и даже как-то затормозили в изъяснении дружелюбных и самолюбивейших чувств. «Дражайший Фома Андреевич, вы как нельзя кстати!» — «Таков наш капитан, он всегда кстати!» — «Май диа коммодор, ю кэйм он э райт тайм ин э райт плэйс!» — приветствовал его Вольтер по-английски.

Его усадили в кресло. Афсиомский потянул какую-то щеколду. Часть полок с сафьяновыми корешками книг отодвинулась в сторону, открыв небольшой буфет с увлекательными напитками. Вертиго с поклоном польстил великому старику: «А я и не знал, мэтр Вольтер, что вы так хорошо говорите по-аглицки!»

Вольтер был явно в ударе. «Ах, этот английский! Джентльмены, вы не поверите, но однажды из-за сего чужого языка я чуть не лишился своего собственного. Моя Эмили при всем величии ее ума была завзятой картежницей. Всякий раз проигрывала бешеные суммы моего «философского камня», но на нее я не скупился. В ту ночь в отеле «Камюль» я заметил, что против нее играет целая шайка аристократических шулеров. Я стал говорить ей по-английски (мы с ней часто переходили на этот язык, когда не хотели быть поняты окружающими), что ее хотят гет бамбуззэлд, то есть хотят ее «отвезти», как тогда выражались в кругах картежников. Она мне отвечала сердито тоже по-английски, дескать, не лезь не в свое дело, как вдруг один из этих негодяев вмешал-

ся в наш разговор. Оказалось, что он три года просидел в лондонской тюрьме, а ведь всем известно, что нет лучшей школы для изучения языков, чем тюрьма. «Эти мошенники, хитрый Вольтер и его «леди всех достоинств», хотят нас отвезти в Страну Дураков, — завопил сей тип. — Философ ходит вокруг и заглядывает в карты! Ну-ка давайте посчитаемся с ними!» Я схватил тогда тяжелый подсвечник и бросил в них. На шум снизу прибежали все наши, Эльвесье, Дидро, Д'Аламбер, Дольба; все со шпагами в руках. Ну вот, господа, я вижу, вы не очень-то верите старому правдолюбцу! Придется мне пожаловаться Государыне!»

Отсмеявшись, все вновь приняли сурьезные экспрессионы лиц. Посланник Фон-Фигин поинтересовался у моряка, что бы тот предпринял для взятия Костантинополя с моря. Вертиго, всячески скрывая полнейшее изумление под аглицким, то есть бесстрастным, выражением лица, сказал, что это дело «не пикник». Внезапной атаки не получится, поскольку турецкий флот повсеместно присутствует по всем бассейнам Средиземноморья. Стало быть, нам прежде всего надобно будет устранить сие препятствие, а для этого следует проводить морские операции с обоих основных направлений, то есть не токмо с севера, равно и с юга. Потребуется вельми сурьезные многолетние операции. В Черном море нужно будет создать флотилии галер для перевозки сухопутных войск, а также отряды быстроходных фрегатов для эскорта и перехватов. Основные эскадры пушечных кораблей должны придвинуться с юга, по пути разгромив главные морские силы Порты. Для того чтобы скопить достаточные эскадры, нужно пере-

двинуть часть Балтийского флота в Южное Средиземноморье и создать на полпути — лучше всего на каком-нибудь острове с христианским населением — на Корфу или на Крите — серьезную базу-крепость для снабжения и починки. Вот так мне представляется сия историческая авантюра, несмотря на всю неожиданность запроса. Дело вполне реальное для жизни одного поколения. Как говорили в старину, «начать и кончить».

Советник Фон-Фигин поблагодарил коммодора за столь блестящую, хоть и вынужденно молниеносную морскую диспозицию. Не удивлюсь, Фома Андреевич, если вскорости мы увидим в вашем лице главного командующего Средиземноморским флотом. Весьма любезно, но опять же без излишка эмоций поблагодарив барона за столь щедрое пожелание, Вертиго встал и сказал, что обстоятельства самого срочного и конфиденциального характера вынуждают его попросить у посланника незамедлительной тет-а-тет аудиенции. На этом очередное заседание «кумпанейства» было прервано. Быть может, следует еще добавить, что по огромному пространству гобелена после этого заявления промелькнуло несколько крошечных вспышек, на кои никто из присутствующих не обратил никакого внимания.

Дробно, не без нервозности, стуча каблуками, Фон-Фигин и Вертиго прошли по коридору в собственный кабинет посланника. Что-то мокрое и липучее влачило след за ними вдоль кирпичной стены, пока они шли, однако за явным нехватком сил оно отстало и опало, обратившись в несущественное пятно плесени.

В кабинете коммодор пристукнул каблуком по паркету и произвел формальный салют ладонью под треуголку.

«Ваше сиятельство, час назад прибыл Егор. Насколько я понимаю, в столице жадут вашего возвращения». С этими словами он протянул барону маленькую капсулу спешной связи. Сняв с нее крышечку, тот вытащил тонкую полоску непромокаемого пергамента. На ней специальной иглой была начертана одна-единственная фраза по-французски: «Дорогой друг! В далеких краях не забывайте тех, кто вас преданно любит. Академия».

«Где находится Егор?» — резко спросил советник.

«Отдыхает на корабле», — ответил капитан.

«Немедленно отправимся туда! — скомандовал Фон-Фигин. — Я должен его видеть».

Надежнейший гонец секретной службы Двора Ея Величества по имени Егор прибыл вот уже час назад, но все еще не мог собраться с силами. Последнее колено его миссии оказалось сложнее, чем он предполагал. Переночевав вчера в Гданьске на крыше ратуши, он пустился в путь с первым лучом солнца, предвещавшим, казалось бы, безмятежное скольжение среди июльских любезных струй, однако по прошествии двух часов впереди по курсу, то есть на северо-западе, поднялась гряда штормовых туч, задул порывами сильнейший ветер, всякий раз напоминавший Егору о каверзах нечистых сил, затрудняющих циркуляцию императорских сообщений. В атмосфере проливных потоков дождя и шквалист-

тых насилий Егору приходилось маневрировать, ложиться то на одно крыло, то на другое, иногда складывать оба крыла и как бы падать, чтобы обвести вокруг пальца дьяволов урагана, как бы погибать, а на самом деле искать подходящую струю, набирать скорость, чтобы в нужный момент всему раскрыться и взмыть поверх туч. Там, на высоте, сложновато было дышать. Впрочем, терпимо. Как говорится: хорошего мало, но привыкнуть можно. Можно привыкнуть, можно, можно. Так или иначе, он шел по курсу и в конечном счете увидел нужный корабль, стоящий на якоре посреди спокойной бухты, снизился и влетел в окно на корме, кое постоянно пребывало открытым в ожидании небесных почтарей.

Читатель, конечно, уже понял, что Егор был голубем редчайшей монгольской породы, потомком тех, что сопровождали еще полчища Чингисхана, когда оные, одержимые какой-то неясной мистической идеей, скрываемой под видом роевого инстинкта, месяцами и годами неслись на запад, оставляя за собой пустую землю, заваленную лишь конским калом.

Позволим себе небольшое отступление, связанное с той непобедимой монгольской конницей. Откуда она взялась в таком числе, ежели пришла из пустыни? Быть может, в те времена была какая-то другая, многолюдная Монголия, способная вооружить и погнать на запад те приснопамятные «тмы»? Так мы вообще-то когда-то и полагали, пока однажды в Будапеште не познакомились с кружком просвещенных монголов, которые совсем иным путем объяснили эту загадку.

Монголия и в те далекие времена была не ахти какой многолюдной. Собственно говоря, ее население не превышало нынешнего числа. Создание непобедимой конной армии объясняется только полководческим гением Чингисхана. В пресловутой «тьме» было не больше тысячи бойцов, однако каждого всадника сопровождал табун в сто лошадей. Вся эта масса на одной скорости неслась по полям, вселяя ужас в жалкие крепостцы старых русичей, вятичей, курян, исторгая заряды стрел, дымя факелами, визжа и грохоча привязанными к ногам лошадей бычьими пузырями с костями и окаменевшими жабам сибирских болот; вот вам и пресловутые «гремушки»! Так создавалась «устрашающая атака» Чингисхана. После захвата городов начиналась пропаганда жестокостью. Одни только слухи о чудовищной резне, учиненной «поганью», то есть «паганями», язычниками, повергали население еще не тронутых городов в паническое бегство.

Внутри армии царила беспрекословная дисциплина. На всем протяжении непомерного пути поддерживалась связь с отчиной Монголией. Для этой цели была разработана непростая, но, как оказалось, весьма надежная система голубиной почты. Она улучшалась на протяжении веков монгольских воинских достижений как путем устройства голубиных станций, так и в результате тщательного отбора в выводках летучих почтарей. Так образовалась эта порода, названная тайным словом «сарымхадур», главным смыслом существования которой стали перелеты с одной станции на другую и обратно. Птицы этой породы отличались даже от венценосных голубей, не говоря уже о сизарях, увеличенным размахом крыльев, крепостью клюва и когтей, осмыс-

ленным взглядом правого ока, а также особой хохлатостью затылка. Известно было, что иные представители сарымхадуров для подкрепления сил во время перелетов не гнушались пожиранием воробьев и других малых птах, однако и они никогда не отклонялись от курса. В Будапеште монгольские интеллектуалы говорили нам, что весть о какой-нибудь великой победе в Европе — скажем, о взятии того же Будапешта — достигала Монголии всего за семь дней, и у нас нет никаких оснований им не верить. Можно себе представить радостные пиры монгольской знати с поеданием бараньих голов, с выпиванием котлов перебродившего кобыльего молока и с последующей отправкой поздравлений Батыю на крыльях все тех же сарымхадуров!

С развалом Золотой Орды сошла на нет и великая голубиная почта Монголии. В Российской империи о ней никто и понятия не имел, пока знатный путешественник генерал Афсиомский в начале елизаветинской эпохи не посетил с инспекцией крепость Тобольск. Там в одном казачьем укреплении показали ему уцелевшую семью сарымхадуров, всего не более ста хохлов, и рассказали об удивительных свойствах этих птиц. Вельможа, надо отдать ему должное, тут же сообразил, какую великую пользу сии существа могут оказать секретной службе империи, закупил весь клан по рублю за холку и перевез его в Петербург, не потеряв и десятой доли.

Так и возник наисекретнейший сверхсекрет российской спешной связи. Поговаривали, что именно за это нововведение Афсиомский и получил титул графа Рязанского, однако Ксенопонт Петропавлович не любил распространяться на эту тему.

Немалого труда стоило отучить голубей летать в Тобольск, однако и это оказалось по плечу «витязям незримых поприщ». Неясно только, кто кого научил устройству спешной связи: то ли чины тайной канцелярии птиц, то ли, наоборот, сами чины были научены наследственной памятью пернатых. Так или иначе, открыв для себя сладкую Европу, сарымхадуры позабыли о сибирской кислятине. Новое поколение птиц на службе Ея Величества быстро освоило небесные пунктиры, ведущие к чердакам российских посольств, а также к кораблям флота. Соответствующие органы европейских держав не могли взять в толк, каким образом толь отдаленный петербургский Двор толь быстро становился сведущ в австрийских, скажем, делах и как умудрялся он за дни доставлять своим жуликам циркуляры на Амстердамскую, предположим, биржу. Думали, не замешаны ли в этом деле пресловутые шарлатаны черной и цветной магии, не перекупила ли царица графа Сен-Жермена или Калиостро, и лишь ныне пропавшее черт знает куда прусское ведомство фон Курасса вроде бы смекнуло, что опасность нисходит с якобы безмятежных небес. Именно оттуда, из Пруссии, стали теперь иной раз подыматься тройками основательно вышколенные ястребки-перехватчики. Однако поди отыщи почтаря в бескрайнем небе!

Только вот недавно, в прошлый четверг или, вернее, в среду, подобная тройка узрела вдруг подлетающего к Данцигу ди гроссе фогель. Большой голубь спокойно снижался из весьма отдаленных высот к готическому граду и делал вид, что не замечает пристраивающихся ему в хвост ястребков. И, лишь когда те завершили свой маневр и подготовились к ата-

ке, Егор резко взмыл, пропустил перехватчиков под себя, а потом рухнул на одного из них и в мгновение ока превратил идеального хищника в жалкую кучку перьев и отчаянно разваливающихся внутренних органов. Двум пруссакам удалось бежать, после чего главный сарымхадур приземлился на крышу магистратуры, где нашел заботливо приготовленный корм и надежный чердак.

Всю ночь он там преисполнялся чувством исполненного долга. Надо сказать, что сие было отличительной чертой сарымхадуров: после каждой удачной операции они преисполнялись чувством исполненного долга, раздувались чуть ли не вдвое от своих и без того внушительных размеров, топотали и гукали. Руководство бывшей тайной канцелярии, ныне тайной экспедиции, высоко ценило своих пернатых агентов. Ходили слухи, что птицам даже присваивались воинские звания с соответствующим начислением средств для выхода в отставку. В частности, о Егоре в общине незримых поприщ иной раз говаривали как о «полковнике», что можно, впрочем, отнести и к доброму юмору, столь распространенному в этой среде.

Когда Фон-Фигин и Вертиго вошли в каюту, Егор как раз преисполнялся чувством исполненного долга, топотал и гукал на письменном столе капитана. Большущий и крупноглазый, он в этот момент напоминал даже и не голубя, а некоего мыслящего гамаюна. При виде барона он тут же прекратил топотание и замер как бы по стойке «смирно». В глазах его читалось нечто сродни обожанию.

«Поздравляю с прибытием, полковник, — сказал ему Фон-Фигин. — Спасибо за службу! Сарым ялши баскунча!» Он сел в кресло, и Егор тут же перепрыгнул со стола к нему на колено.

Коммодор не верил своим глазам. Гордый Егор, который с большим недоверием позволил ему открыть почтовый мешочек на своей правой ноге, теперь доверительно и даже слегка ласкательно располагался на колене императорского посланника. Он поднял левую ногу и как бы указал на нее клювом. Фон-Фигин запустил руку в нижние перья и извлек на свет Божий еще один, по всей вероятности наисекретнейший из секретных, почтовый мешочек. Егор разразился торжествующей руладой. Фон-Фигин уверенно, словно это было для него самое привычное дело, вытащил из мешочка пиллюлю, а из нее полоску основного сообщения, как предполагал Вертиго, от генерал-аншефа Никиты Панина.

С нелегким предчувствием барон Федор Августович Фон-Фигин держал в руках полоску пергамента. На нее надо было капнуть специальной химией из перстня на указательном пальце левой руки. Произошло что-то чрезвычайное, иначе не был бы послан сам Егор. Проявилось предательское ощущение сродни тому, что иной раз возникает, когда идешь в одиночку в предвечерний час по полутемным анфиладам дворца. В дальнем конце на пол окна светит медный с неясной чеканкой невский закат. Неподвижные складки штор.

Он развернул полоску и нажал правым указательным на рубин. Полоска гласила: «Дорогой друг! Дебаты по равновесию стихий в самом разгаре. Академия». Он повернулся к капитану и сказал с преувеличенным спокойствием: «Вы оказались правы,

Фома Андреевич. Пора возвращаться. Сколько времени вам нужно, чтобы подготовиться к походу?»

«Два дня, — тут же отвечивал коммодор. — Мы сможем поднять паруса в последнюю ночь июля».

Какое чудо, думал Вертиго. Барон почесывает почтарю его гордый хохол. Суровый Егор ластится к барону, словно ко мне мой кот Шарлеман.

Между тем, а может быть, и не между тем, а прямо по теме, невзирая ни на какие наши дела прямого повествования, в косвенном повествовании неподалеку от славного порта Свиное Мундо разыгрывалась одна из баталий одной из «вольтеровских войн», то ли первой, то ли второй, но скорее всего третьей.

Трехтысячная армия цвейг-анштальтского герцогства отбивала атаку польских крылатых гусар, соединившихся для сего действия с двумя полками мекленбургской пехоты и с заблудившейся батареей прусской артиллерии.

Любезнейший фатер наших очаровательных двойняшек-курфюрстиночек Магнус Пятый Великолепно-Самоотверженный лично командовал сражением. Битва сия могла бы стать славной страницей в истории его пфальца, равно как и в летописи его личных деяний, не будь он до чрезвычайности озабочен финансовой стороной дела. На снаряжение армии ушла половина суммы, кою откатил ему (так тогда говорили в той части Европы) граф де Рязань за пользование островом Оттец. Каждый залп двух передовых батальонов обходился в 250 флоринов. За взятых напрокат в Шлезвиг-Гольштейне ло-

шадей кавалерийского резерва приходилось в сутки платить... давайте подсчитаем: три с половиной экю с головы, умножить на 500 штук, получается 16 406 в перерасчете на талеры. За каждую убитую тварь требуют 12 луидоров. Человеческие потери оцениваются в 45 гиней 16 марок поштучно. При таких расходах нет уверенности в том, что из российских щедрот удастся выкроить на наряды девочкам для сезона осенних балов. Новый для собственной персоны плащ с подкладкой и капюшоном, о коем так мечталось, придется вообще исключить из расходов.

Так рассуждал полководец, стоя на очень удачно выбранном холме, и приходил к выводу, что самым экономным в данном случае вариантом будет отступление. Между тем боевая ситуация складывалась решительно в его пользу. Польским гусарам пообломали крылья. Из прусской артиллерии две пушки позорно скособочились. Мекленбургская пехота смешалась. Осталось только вывести из-за роши один резервный эскадрон и ударить во фланг, чтобы записать в анналы историческую победу, далее войти в Цукеркухен и... и платить за постой в сем не по чину наглom городишке.

В оной диспозиции Магнус командует трубачам играть отход на заранее приготовленные позиции. Передовые батальоны, пожимая плечами, начинают отступление. Второй ряд стрелков, думая, что курфюрст задумал какой-то хитрый маневр, поднимают фузеи для сокрушительного залпа. «Не стрелять!» — кричит отчаявшийся курфюрст. У польских гусар вновь зашевелились крылья. Ядра прусской артиллерии ложатся вокруг цвейг-анштальтского шатра. Прямое попадание. Шатер горит. Упали флаги. Мекленбургская пехота с озверевшими черт знает

по какой причине ликами штурмует холм. У наших начинается паника. Поляки уже в тылу, рубят направо и налево. Кабы не мешали крылья, давно бы уж захватили полководца. Кольцо все равно сжимается. Магнус стоит в исторической позе, готовый переломить шпагу, воображает близкий скандал: Мекленбургом правит дядя; Фридрих Великий — третьеродный кузен. В Польше тоже полно родственников. Завтра будут делить герцогство Грудерингов. Семья разорена. Не надо экономить в таких ситуациях. Если не расстреляют, сколько придется платить за выкуп из плена? Что скажет Ея Императорское Величество в Петербурге? Спасет ли Леопольдину-Валентину? Примет ли девочек?

Вдруг среди хаоса затрубили какие-то новые рожки. Кто это? Неужто шведы уже подросли? Лишь две недели назад послал в Мальмё посла Шпрехта с предложением воинского союза, и вот они уже здесь? Се не па POSSIBLY! И, как раз по теме, незнакомый отряд кавалеристов в желтых с синими полосами накидках врубился в полчище мекленбургской пехоты и повернул ее вспять. «Слава Вольтеру! Экразон линфам! Ваше высочество, Магнус Великолепно-Неустрашимый, мы с вами! Держитесь! Во славу наших прекрасных дам, Клаудии и Фиоклы, вперед, чудо-богатыри!» На каком языке, незнакомом, но столь понятном, все это они восклицают? Ба, да ведь это же язык великого покровителя, французский с русским акцентом! Вуаля, да ведь среди них те самые два шеваляе из свиты Вольтера, де Буало и де Террано. Ах, какие воины, да я отдам им своих дочерей, дабы сии девы стали блистательными дамами великой империи! Итак, мы спасены и немедленно в походном порядке уходим в родной

пфальц, чтобы в надменном Цукеркухене не платить за постой!

В зале родового замка, где он очнулся от всего этого ужаса, слышались голоса и топот: Двор соби-рался в государственную поездку на остров Оттец, коим недавно приросла родная земля.

Между тем битва продолжалась уже без армии Грудерингов. Огромное пространство поморской земли превратилось в поле боя. То там, то тут над ухоженными полями поднимались беленькие облачка пушечных выстрелов. Трудно было понять, где и чьи располагаются позиции, но в целом было весьма живописно. По свежим урожаям картофеля и кукурузы скакали кучки всадников в разноцветных накидках. Иные из них сшибались лоб в лоб, иные на скаку задирались друг с другом. Щетинилась байонетами разрозненная пехота. Где-то вздергивали пленных на ветвях сливовых деревьев, где-то мирно возжигали костры. Иной хутор подвергался разбою, возле другого жители собирались поплясать вместе с солдатами. Множество лежащих тел, убитых, раненных или просто отдыхающих от ратного труда, яркими пятнами оживляли сию недописанную картину.

Коля Лесков в преотличном настроении скакал на своем Антр-Ну и распевал прицепившуюся откуда-то, то ли из прошлого, то ли из будущего, песенку:

Эй, Европа!
Веселые поля!
Идем всем скопом!

Трясутся вензеля!
В нас бьют, все мимо!
Маячит Роттердам,
Там ждет тебя, любимый,
Твоя мадам!

Окидывая взглядом пейзаж завершающейся битвы, он выискивал друга-брата: где ты, Мишаня? Надеюсь, цел?

В сей как раз момент в другом углу пейзажа сильный удар ядра выбросил Мишу Земскова из седла. Упав на спину, он тут же перевернулся и быстро отполз в кусты, как учили в корпусе. Где конь? Тпру мой любимый, где ты? «Я здесь, — услышал он хриплый голос. — Миша, сынок, подползи поближе!» В двух шагах от него умирал его верный Пуркуа-Па. Из разорванного живота вываливались внутренности. Кровавые пузыри вырывались изо рта при каждом спазматическом вдохе и выдохе. Столь послушные минуту назад стройные ноги теперь лишь дергались, как конечности раздавленного таракана.

Михаил заметался, не зная, что делать. «Ничего уже не сделаешь, — произнес конь. — Ничем не сможешь. Сядь рядом. Я постараюсь не дергаться и не запачкать тебя своими телесными жидкостями». Он положил своему всаднику тяжелую голову на сапог. Михаил запустил пальцы в его гриву, отводил челку, заглядывал в глаза. Сквозь предсмертную ярость тела глаза смотрели на него с мягким ночным смирением. Крупные зубы открывались во рту, но не от боли, а от душевной потуги улыбнуться ему на прощанье. Конь так и сказал: «Миша, пришел уж момент сказать мне тебе о своей преогромной любви. Я на шестнадцать человеческих лет

моложе тебя, а видел в тебе малыша, своего жеребенка, сына любезного от одной из красавиц кобыл. Я рад, что ты уцелел, но все же жалею тебя от предвиденья всей твоей муки. Лучше бы вместе, конечно, умчаться в неведомый тварям простор, и все же...» Тут на глаза его натекла последняя влаза забвенья, и умре язык.

Шевалье де Террано долго рыдал по жеребцу, и по пропавшему в жаре битвы возлюбленному Николаю, и по его коню, и вообще по всем, кто пал или был разорван на куски в «вольтеровских войнах», а когда отрыдался и вытер лицо большим платком с символами победы и счастья, вышитыми одной из принцесс цвейг-анштальтских, вокруг уже не было никакого поля битвы и трупа коня. Журчал лишь пречистый ручей, и в нем по колена стоял, помахиная хвостом, верный Пуркуа-Па, а рядом мыл своего Антр-Ну веселый и сильный деми-фрер Николай с модной косой на затылке. Миша ожил и возопил: «Ого-го!», имея в виду, что неплохо вернуться из тех братоубийственных сюрреалий в реалию реализма, где все пока живы. Тут же гаденышем набежала плохая мыслишка, что конь все равно скоро погибнет (а так и случилось), но он и ее тут же отринул и снова вскричал: «Ого-го!», скорейший возврат в столь манящий дворец «Дочки-Матери» воображая.

Помыв лошадей, шевалье отправились в соседний городок Цум-Шукрутум, чтобы пообедать перед переправой на Оттец. В низком сводчатом зале местной корчмы подали им полный обед со шнапсом и с преотменнейшим пивом. В окне были вид-

ны их любезные кони, ублажавшие подтянутые свои животы местным питательным кормом. Уноши сильно жевали, до треска в заушинах, сильно глотая захлеб освежающие напитки. Обменивались репликами, из которых непосвященный читатель не понял бы ничего, если бы в следующем параграфе мы ничего ему не объяснили. Теперь объясняем.

Вся экспедиция прошедших суток прошла неудачно. Когда с отрядом желтых гусар по наводке пана Шпрехта-Пташка-Злотовского они окружили гнездо Казака Эмиля и после жестокой пальбы взяли весь хутор в полон, оказалось, что злоумышленник еще вчера увезен был какими-то фельдъегерями в неизвестные отдаленности.

Без передышки тогда поскакали они к замку маркграфа Дирка Новица, где пребывал, по свидетельству Шпрехта, некий голштинiec, коего надлежало доставить вживе на корабль Ея Величества посланника, барона Фон-Фигина. Донельзя смущенный этим визитом, маркграф составил барону письмо, коим оповестил, что личность сия с удивительной деформацией черт только что отбыла в российской казенной карете в восточном направлении и перед отбытием попросила всю почту на его имя — а имя сие, господа, я не решаюсь произнести — отправить в Ригу, во дворец генерал-губернатора Бруна. Гнали часа полтора по указанной дороге, однако даже и следов оной кареты не обнаружили; дорога вся заросла папоротниками и лопухами. Только потом обнаружили, что и сам пан Шпрехт где-то отстал и стерся. Вот так полнейшей облискурацией и завершился поход. Отправили отряд восвояси, то есть в Свиное Мундо, и тут..

«Ты помнишь все, что дальше с нами произошло, Мишка?» — с неожиданной хмуростью спросил Николай.

«Я помню все, что было со мною, — проговорил Михаил, — и то, что было с тобою, когда я видел тебя. Однако я не уверен, что и ты помнишь все то, что помню я, даже когда я был пред твоими очами».

«С тобой ведь это не первый раз, не так ли, Миша?»

«Нет, Коля, далеко не первый раз, а вот тебя в этом я вижу впервые».

«Похоже, что и меня теперь затянуло в твое замороченное поле, Михаил, в то поле, в коем нам с тобой едва башки не отрубили».

«В котором недавно убит был мой конь Тпру», — с горечью неизбывной пробормотал Михаил.

Николай содрогнулся. «В котором ты, мой брат, на моих глазах...»

«ЧТО? ГОВОРИ!»

«НЕТ! НЕ СКАЖУ!»

«Фрекен, битте, подайте нам еще одну пинту шнапсу!»

Длиннющая фрекен, явная дочь великана, с улыбкой поставила им на стол то, что просили. Миша приблизил свое лицо к лицу Николая:

«Скажи, как тебе кажется, ты еще жив?»

С кривой улыбкой Николай спросил: «Там или здесь?»

«Здесь, ты жив?»

Николай сердито хлопнул перчатками по столу: «Конечно, я жив, но, когда я убиваю людей, мне кажется, что меня нет. Мне кажется иногда, что мы оба уже где-то в преддверии ада».

Миша опустил лицо в ладони, пробормотал из них: «Таково, быть может, свойство войны. Ведь мы с тобой еще слишком молоды для этого дела».

Они вдруг оба расплакались. Фрекен остолбенела.

«Давай быстро выпьем еще по стакану! Давай закусывай! Вот поросячьи ножи. Нет, не могу! Ведь он еще недавно был жив. Кто? Поросенок! Бери огурец! Да ведь он еще недавно зеленел на грядке! Чертов язык: он, она, оно, он хрюкал, она плавала, оно росло! Так и во французском: лё, ля, он! Только англичанам легче: ит — и все тут; ит ит, без всяких страданий!»

Тут оба расхохотались.

Отхохотавшись, подозревали фрекен, вытерли физиономии об ее клетчатый фартук.

«Мишка, я больше здесь не могу! Хочу домой!»

«Утешься, Колька! Вот завершится «кумпанейство», проводим Вольтера в Париж, это почти дом. А потом, глядишь, отзовут в Санкт-Петербург, пойдем на Васильевский остров к Нинон, помнишь ее? Получим чины, ордена, соберем однокашников, заварим пунш. Глядишь, и при дворе на балах начнем появляться. Ведь ты о них так мечтал. Коля, не нюнь!»

«Нет, мой Мишель, я не то имел в виду, говоря «домой». В губернию хочу, к маменьке под крыло. Хочу на веранде сидеть и в невтоническую трубу смотреть на Луну, а потом и на тебя с твоей маменькой сию трубу наводить».

«Я знаю, Коля, как там на Луне, ведь я там бывал».

«А я в этом, Миша, и не сомневался. Скажи мне, братец: как ты туда попал?»

«Ох, Коля, небось уж досадил тебе изрядно своими сновидениями».

«А все ж таки, Миша, скажи! Не томи!»

«Знаешь, Коля, я прибыл туда в яйце. В оном яйце лежал, как суший зародыш, набирал вес. Когда все затихло, открыл яйцо и вывел себя в Луну, как есть в кадетском мундире».

«Скажи мне, Миша, как там, все ли по-домашнему, все ли, как у нас?»

«Ах, Коля, там душа, бывает, поет. Подпрыгнешь и висишь, слегка перебирая ногами».

«Ах, Миша, как чудно: подпрыгнешь и висишь! Слегка перебираешь ногами! Пошто ты меня с собой ни разу не пригласишь?»

Тут оба они, забыв о горестях жизни, весело расхохотались. И с ними взялась хохотать любезнейшая великанша. Экие душки, смеялась она, в промежности мальчикам сиим слегка проникая. «Ах, майне кнабе, дождитесь меня, пока обслужу я вином обитателей верхних покоев!»

Вернувшись сверху, великанша, увы, мальчиков сих уже не застала. Лишь пыль завивалась вдали под копытами их гнедиге пферден. Опять упустила я счастье свое, взгрустнула девица. Солнце садилось. В небе зеленом улетевшим щастьишком поигрывала Луна.

В верхних покоях тем временем два сумрачных господина при свете пары свечей делили свой ужин. У одного из них середина лица была скрыта плотною маской. Поверх маски глаза посвечивали оловянной тоскою. Удивлял высокий готический лоб. Пониз маски рот мягко шамкал едой в аристокра-

тической манере. У второго господина нижняя часть лица была укрыта фальшивою рыжею бородою. Пищу он пожирал с откровенным пристрастьем. Левою рукой все подливал сотрапезнику шнапсу, да и себя недостатком благого напитка не обижая. Вкушая здоровую простонародную пищу, два сумрачных господина вели не ахти какой дружественный разговор в манере российских речений.

«А вы, шёрт бы вас побираль, милостецкий господарь, умельствуйте ли шпрехен унзере дойче шпрахе? — вопрошала маска. — Ильже лянг франсе?»

«Из языков, окромя казацкого, знамо аще кайсацкий, ногайский, тартарский да вайнахский, — ответствовала борода. — Ну, материть вашего брата, анкулёров и мьердов, понятное дело, способствую по-солдатски».

«О дьё э ле Сан-Пер! — тяжело вздохнула маска. — Каким же фасоном хочите вы себя презентоватья ком Императур дё Рюсси? Публикум руска знайт свой Пьер Труа ком эвропски жантийом, неспа?»

Борода своей лапищей захватила знавшее лучшее времена жабо сотрапезника: «Давай по-понятному говори, жаба немецкая. Ежели ты Петра Елексеича единокровное внучье, должен по-понятному речь с народом всея Руси! Отвечай по-понятному, ильжа отрекайся!»

Оба были изрядно «на косаре», как в те времена чернь выражалась. Маска вдруг зарыдала, слезы обильно текли из-под маски на мягонький подбородок. «Майне руссише шпрахе все во дворце ферштейн, даже гвардейцы, которые по-французски. Только такие холопы, как вы, не понимайт ни шиша. Вы не понимайт ма шагрэн, рьен! Никто не понимайт мон шагрэн, ни Майстаат, ни сей тойфель фон

Курасс, который вдруг диспарю сан лессе де трас, исчезает, фью, без следа, цузаммен сон шлосс проклятый, проклятый Шюрстин, се кошмар!»

Как всегда в течение сих чудовищных двух лет «апрэ лё катастроф», времени жутких унижений и испепеляющего страха, бессильной ярости, мощной ненависти, сменявшейся желанием превратиться в незаметного тараканчика, тяжелых пьяных снов с торжественными восхождениями на трон, завершающимися заползаниями под оный трон уж даже и не тараканчиком, а какой-то почти невидимой личинкой, как всегда в эти невыносимые годы во рту у него гадкой кашицей перемешивались все три его языка: родной дойч, язык столь любезной прусской муштры, волшебный франсэ, язык его пленительной горбуны Елизаветы Воронцовой, а также столь презираемый ранее и столь желанный теперь руссише шпрахе, который, как ему иногда казалось, спасет его от позорного двуносия.

«Ну чё ты, чё ты! Кончай слюнявиться, ваше величество!» Казак Эмиль с удивлением обнаружил, что и сам всхлипывает. «Давай уж вместе войдем в Русску-Матку, соберем большое войско, я орду кайсын-кайсацкую высвищу, ты своих голштинцев отбарабанишь, свалим Катьку да два царства там учредим, твое северное, а мое южное. Так и будем по соседству сидеть, два Петра Третьих. Будем по-шутейному с тобой лаяться, кто настоящий-то император, а по-дельному всех держать в трепете; эхма, гуляй гульбой, воля народная!»

Он стал хлопать себя по заду и по ляжкам, пустился в пляс с дикарскими приседаниями и выбросом колен. Петр в истерике затопал каблуками ботфортов, сунул себе в рот горлышко бутылки, выдул

шнапс до дна и тут же заснул, разметавшись вокруг неудобного кресла длинными конечностями и закинув голову. Казак Эмиль тогда кончил плясать, приблизился к императорской голове и осторожно снял с нее маску. Долго и внимательно он изучал удивительный казус императорского лица, два длинных и тощеньких свисающих набок носа. Потом почесал в затылке, развел руками, прости, мол, Петр Елексеич, вынул из обширных шаровар пистоль и приставил ствол к тому, что можно еще было назвать императорской переносицей.

Глава девятая,

постепенно превращающаяся в «драму идей» XVIII столетия, в ходе коей Вольтер вспоминает, как близок он был, вместе с Эмили дю Шатле, к открытию свойств «флогистона», меж тем как гадкий химик Видаль Карантце охотится на лягушек и мышей, а Миша Земсков продолжает удивлять все кумпанейство особенностями своей головы

При всем желании удержать сюжет в рамках сложившегося кумпанейства мы все-таки время от времени вынуждены представлять каких-то довольно нелепых и не ахти каких приятственных новичков; черт знает откуда они берутся. Таковым оказался достаточно длинный и порядочно молодой субъект по имени Видаль Карантце, обнаруженный нами утром 30 июля в парке острова Оттец в какой-нибудь сотне шагов от веранды, на которой отец европейского просвещения Вольтер поглощал свежий отвар какао. Не замечая слегка приподнятой над поверхностью парка веранды, пришелец воровато озирался в оба конца аллеи, между тем как меж полами его порядочно безобразного сюртука дугой капала вниз порядочно желтоватая струя и поднимался парок порядочно нагретого оной струею воздуха. Вот так иной раз получается в реалистической литературе: благоухает ароматами летняя культура ботаники, целомудренно светятся на солнце обнаженные мраморы увековеченных тел, поют наперебой птицы, красавицы звука, как вдруг, словно путаница в природе атомов, возникает стоящая порядочно сутуловатая фигура с раздвинутыми порядочно кри-

воватыми ногами в порядочно неопрятных чулках, в туфлях со скособоченными каблуками и порядочно ржавыми пряжками, да к тому же и с порядочно беспардонной манерою уринировать прямо в сердцевину благородной азалии.

Неужели ко мне, с досадой подумал Вольтер и не ошибся. Отряхнувшись и застегнувшись, пришелец проследовал дальше по аллее, подошел вплотную к веранде, нацепил на костистый нос очки а-ля Дидро и испустил вопль сродни тому, что вырывается у рыболова, когда из необъятного океана вытаскивается объемистая и весомая рыбина. За воплем проследовала и все объясняющая фраза:

«Вольтер, певучий лебедь мудрости, к ногам твоим припадает атеист Видаль Карантце, готовый служить тебе во всех твоих начинаниях!»

«Ну что ж, господин атеист, — отвечивал вздыхая Вольтер (таковые атеистические поклонники были ему ахти как ведомы), — ваш приход к старому деисту в столь радостный утренний час поистине мог бы опровергнуть существование Божьей милости, однако для подтверждения присутствия оной в мироздании приглашаю вас на чашку какао. Поднимайтесь на веранду. Вытирайте ноги. Помойте руки в этой чаше. Берите салфетку. Нет, не для носа, для дланей. Садитесь. Кто вы и откуда, господин Видаль Карантце?»

Обладатель сего вельми странного имени был до чрезвычайности взволнован, слегка даже как бы задыхался. Сбивчиво повествовал странноватую историю своего возникновения на острове, тщательно охраняемом российской агентурою, и постоянно оглядывался по сторонам и за спину, словно искал, куда бы сплюнуть, и, не находя подходящего места,

сглатывал излишки эмоциональной секреции. Он вырос на трудах Вольтера, Д'Аламбера и Дидро. Витал в облаках чистого разума. «Как это так, — удивился Вольтер, — что это за заскорузлая фигура речи? Быть может, вам кажется, что чистый разум — это прачечная?» В восторге незванный гость совершил какое-то диковатое движение локтями и коленями, сродни начальному па пляски святого Витта. «Как это сильно сказано, мой мэтр! Вот именно прачечная! Прачечная, где отмываются все эти грязные религиозные предрассудки и косные суеверия! Тра-та-та, разум — это прачечная, запомню навсегда! Родители, увы, разуму не внимали, насупротив, лишили всяческого содержания, прогнали за порог, как падшего, ха-ха, ангела. С тех пор прошел сквозь тернии борьбы, ведомый путеводною звездой Великой Энциклопедии и вашим, мой мэтр, победоносным кличем «Эскразон Линфам!». Немало перенес ударов судьбы. Скажешь где-нибудь, что Бога нет, и тут же получаешь кружкой по голове».

«Позвольте, позвольте, а где все это?» — спросил Вольтер.

«Что все это?» — переспросил зарпортованный незнакомец.

«Ну вот, скажем, ваше странное имя, вот эта прачечная, родители, тернии, удары судьбы; где это все происходило, или происходит, или будет происходить?» Он вдруг почувствовал, что веранду качнуло, словно под ней прошла волна. Не хотелось заглядывать в глаза Видалю Каранце, скорее хотелось отвлечься взглядом к цветущему каштану, однако он повернулся к гостю лицом к лицу. Глаза не особенно напоминали зеркало не существующей согласно атеизму души, лишь оловянным образом отсвечи-

вали под нахлобученным порядочно непорядочным паричком. Зато взирала прямо на него большая ко-стяная улыбка.

«Да как же «где», мой мэтр? Как раз в местах, весьма вам близких. То в Лотарингии, в окрестностях Сирё, где вы проезжали в карете с вашей блистательной Эмили, то в разрушающемся и воспаряющем силой вашего вдохновения Лиссабоне, то возле королевского дворца в Поцдаме, где я проходил муштровку под звуки флейты, а то вот и в Копенгагене туманном, нынче так взволнованном слухами о вашем пребывании в сих водах, а то и в самих водах, сквозь кои бежал мой челн, влекомый страстью увидеть вас, мой мэтр и пророк!»

Опять качнуло, еще и еще, и тут старик услышал в словах Карантце одновременно и наглую ложь, и поразительную щемящую правдивость. Вдруг на него от сей фигуры, ныне уже безо всякого смущения сидящей с чашкою какао в коротковатой руке, с длинной правой ногою, покачивающейся на неопределенном колене левой, дохнуло каким-то почти невыносимым химическим смрадом.

Так иной раз бывало в те незабвенно-счастливые времена, когда сиживали с любимой маркизой в совместной научной лаборатории замка Сирё. С легким шипением из тиглей высвобождался «фложистон». Вода и воздух мирно распадались на различные субстанции, спокойно опровергая аристотельскую концепцию четырех основных элементов бытия. Эмили своими длинными пальцами, казалось бы созданными для перетасовки козырей, сме-

шивает концентрированную серную кислоту с мелко нарубленным магнием, нагревает эту смесь в реторте, собирает выделяющийся газ в пузырь, из коего под давлением предварительно удален воздух. Тогда он, поэт и философ, подносит к сему газу зажженную свечу, и газ возжигается с ослепительным пламенем. «Мы близки к истине, мой Вольтерчик», — шептала Прекрасная Дама. Шипели тигли, булькали реторты, выделялись хлорин, барий, аммоний, тартарические кислоты, дух счастья, неуловимый, но почти уже уловленный смысл гармонии сближал их сердца, их колени, как вдруг на мгновение неизвестно откуда являлся вот точно такой же, почти невыносимый химический смрад. В те дни, однако, он тут же улетучивался. Нынче проникал даже и сквозь батистовый платок.

«Я нынче работаю химиком в Копенгагене», — пояснил Видадь Карантце.

Качка веранды прекратилась. В глубине аллеи появились фигуры Мишеля и Николя, они приближались, два молодца с неизменными эспадронами на бедрах, однако в утреннем полунеглиже, то есть в коротких камзолах, с открытыми шеями и без напудренных гвардейских паричков. Экие все-таки шевалье, с облегчением подумал Вольтер. На таких вольтерьянцев, ей-ей, можно положиться, хоть их атеизм весьма вопросителен. Стоит только мигнуть, и тут же помогут Видадю Карантце освободить пока еще ничем не запятнанную веранду.

Впрочем, чего его гнать? Смрад испарился. Наглости как не бывало; быть может, просто показав-

лась. Осталось одно весьма благоразумное смирение. С чашкой в руках гость уже стоял в углу веранды, под сгустком цветов и почек, и словно бы примеривался, как будет шаркать туфлю при знакомстве с кавалерами. Кстати, о благодати и злости разума, подумал Вольтер, не потрясет ли такое деление весь фундамент основной концепции?

Еще издалека уноши стали расшаркиваться с преувеличенной, то есть слегка юмористической, галантностью. «Смеем доложить, что барон и генерал послали нас для сопровождения вашей светлости, вашего философического богдыханства к месту сбора всей высокочтимой кумпании». Прыгнули через пять ступенек на веранду и только тогда заметили шаткую фигуру незнакомца в тени плюща. Тот тут же начал пятиться и помахивать смехотворной шляпенцией возле колен. Уноши немедленно рассредоточились, то есть стали подходить к человеку один слева, другой справа. Стена замка за спиной незнакомца естественно отрезала возможность отступления с последующим бегством. В один момент Коле, впрочем, показалось, что нога незнакомца чуть ли не по колено ушла в стену, однако в то же мгновение здравый смысл наладил всю диспозицию.

«Друзья, знакомьтесь с химиком из Копенгагена, — весело сказал Вольтер. — Только что прибыл на углу челне и прямо к нашей сегодняшней философической дискуссии. Как вы догадываетесь, месье Видаль Карантце (при звуках этого имени офицеры переглянулись) придерживается самого свирепого химического атеизма, так что вам с вашей

романтической метафизикой следует подготовиться к фехтованию».

Уноши раскланялись с необходимым политезом, после чего Миша, так чтобы Вольтер не заметил, но чтобы незнакомец не упустил, шепнул под ладонью другу: «Покушусь помыслить, что химик сей явился не из прохладного Копенгагена, а как раз из вельми жаркого места», на что Коля довольно громким русским шепотом ответствовал: «А я-то мыслил, что просто вор и тать подколотная». Видаль Карантце на подгибающихся нижних и с заламывающимися верхними стал приближаться к своему кумиру, чтобы оному выплакать в жилетку свою обиду на подобное недоверие, кое вроде не должно бытовать меж вольтерьянцами, но тут вошли Лоншан и Ваньер с чернильцами, альбомами и набором перьев, и все отправились.

Погода в тот предпоследний день июля, как мы уже отметили, благоухала, то есть вельми способствовала толерантным и углубленным беседам, поскольку ни одним своим флюидом не побуждала мыслей об Апокалипсисе. Впрочем (увы, без сего словца не может обойтись ни одна филозофическая повествовательность), сия удивительная безоблачность, как бы соединяющая Балтику со Средиземноморьем, не могла не напомнить и об испанской инквизиции с ее собственной картиной Судного дня. Христианские страсти, однако, остались за пределами Эрмитажного холма, на коем в тени слегка трепещущих каштанов собирались участники заключительной беседы Остзейского кумпанейства. То там,

то сям в кияроскуро светились нежнейшие мраморы Мельпомены, Эрато, Клио, словом, всех девяти муз мусажетского хора; перечисляйте сами, почтенные читатели. Скорее уж напоминала сия диспозиция времена Юлиана Отступника, пытавшегося восстановить всеобъемлющее язычество.

С легким пощелкиванием семидесятилетнего костяка Вольтер без труда поднимался к вершине холма. Остановился возле Терпсихоры, положил ей руку на благодатное колено, с лукавостью повернулся к спутникам. «Вспоминая старых схоластов, я иной раз пытаюсь их перефразировать и спросить: сколько муз помещается на кончике иглы?» Химик Видаль Карантце сумрачно скрежетнул. «Кончик иглы бесконечно мал, на нем не поместится даже один-единственный атом, не говоря уже о каменной бабе». Николя Буало остановил малознакомого химиста жестким упором локтя. Мишель Террано как бы ненароком прошупал у подозрительного отвисший карман заскорузлого кафтанца. Там не оказалось ничего, кроме дохлого вороненка, который тут же улетел, быв извлечен на волю.

«Ну что за бесцеремонность? — притворно рассердился философ. — Где ваши изысканные манеры? Лучше отвечайте на мой вопрос, кавалеры!»

«По мне, чем больше муз на игле, тем лучше», — ответил Буало.

Террано засмеялся: «Уверен, мэтр, что на кончике иглы может разместиться бесчисленный сонм муз».

«Да ведь их, мой мальчик, всего лишь девять», — поправил его Вольтер.

«А вот в этом я не уверен, — с притворством надулся офицер-телохранитель. Почему-то он не мог оторвать взгляда от большого уха Видаля Карантце;

хотелось засунуть туда палец и произвести обчистку сей раковины от излишков серы. — Девять муз — это только те, что названы древними, остальные в бесконечном числе витают в пространствах».

«Ну вот мы и начали наше филозофическое фехтование», — весело констатировал старик и снял шляпу, отвечая на приветствия собравшихся на вершине Эрмитажного холма.

Главенствовал надо всем собранием, разумеется, пленипотенциарный посланник, барон Фон-Фигин. Похожий в сей утренний час на самого Мусагета, он стоял, опершись рукою о белоснежную колонну беседки. Грудь его дышала кипеньем кружев, а также и богатством сверкающих орденских заколок. Символом мужественности торчала в его крепких зубах аглицкая пеньковая трубка, от всего же остального, безупречно белого, колыхающегося, веяло неизгладимой женственностью эпохи. Что-то особенное сквозило сейчас в чертах его дерзостного лица: то ли готовился он взлететь навстречу снижающемуся лично к нему ангелу славы, то ли приглашал окружающих запомнить навсегда его сегодняшней образ, дескать, таким уйду вместе с веком. (Интересно отметить, что в обнаружившихся недавно дневниках этого таинственного деятеля екатерининской эпохи присутствует как раз эта самая фраза.)

Чуть ниже посланника, на ступенях беседки, стоял граф де Рязань, генерал Афсиомский Ксенопонт Петропавлович, преисполненный одновременно благодушного гостеприимства и чувства значительности исторического момента. Сахарные букли

его парика привлекали внимание залетающих из поселка мух, что касаясь пчел, то они шарахались в стороны от его крепчайшего парфюмерного букета, ну а ежели речь пойдет о пудре, невольно придется вспомнить извечного соперника Ивана Ивановича Шувалова, якобы однажды изрекшего, что после встречи с Афсиомским хочется отряхнуться. Сам государственный муж в сии моменты мыслил совсем в других направлениях. Мда, мыслил он, все ш таки немало деяний осталось за плечами, вот именно за этими благородно округленными поверхностями, на коих въехала во дворец незабвенная цесаревна: и родные поля облагородил собственными потом и кровью, и сарымхадуров спас от вымирания на пользу отечественной тайной пошты, и по картографии азиатских дорог давно б уж стал академиком, естли б не суть державной секретственности, и Вольтера-великого вот предоставил родной Империи под эгидой сильной дружественности, а вскоре и альтер-эго явится, суровый Ксенофонт Василиск; заговорит тогда о нем все мыслящее пчеловодство, чур меня, чур, человечество!

Не будем далее перечислять всех уже ведомых нам протагонистов, членов экипажа и челяди, скажем лишь несколько весомых и почтительнейших слов по адресу высокородных и сиятельных персон, присоединившихся в это утро к Остзейскому кумпанейству. Его Сиятельное Высочество курфюрст Цвейг-Анштальта-и-Бреговины Магнус Пятый Великолепно-Самоотверженный, подрагивая вечно как бы слегка обиженным маленьким подбородочком, почтил своим присутствием базальтовые откосы острова Оттец. С должным высокомерием на правах самого высокого суверена он озирает собираю-

шееся на холме кумпанейство, а сам подрагивал с сурьезной опаскою: как бы не обидели чины охраны. Ежели упрутся с вопросом, зачем пожаловал, скажу, что дочек-принцесс повидать, ну и заодно как бы, безо всяких униженностей, перекинуться мыслительными замечаниями с этим, как его, ну французом на В, вот именно с Вольтером (за которого, между прочим, сражаемся уже двенадцатую неделю во втором пространстве романа, рискуем жизнями и свободой, не говоря уже о щедрых, хотя и недостаточно щедрых, ассигнованиях Великоросской императрицы). Вот об этой сугубо жизненной причине визита, об ассигнованиях, надо будет как бы мимоходом упомянуть советнику Фон-Фигину, когда буду излагать оному величайшую верность троюродной кузине Софье-Фредерике-Августе, ставшей волею слепой судьбы владычицей восточной империи; впрочем, о слепой судьбе ни слова. Ни слова также не будет изречено по поводу неотъемлемых прав Цвейг-Анштальта-и-Бреговины на сей ставший вдруг столь значительным явлением балтийского мира остров и на столь расцветшие под десницей курфюрста дворец и парк. Ни слова о правах, потому что они бесспорны! Вот так, упереть волевой подбородок в твердую руку и озирать собравшихся с благосклонной улыбочивостью, вот так!

Его Сиятельное Высочество, разумеется, прибыл в Доттеринк-Моттеринк не один, но в сопровождении Ее Сиятельного Высочества курфюрстины Леопольдины-Валентины-Святославовны, статной дамы, на щеках коей каждые четверть часа вспыхивала ее былая румяная краса. Еще недавно курфюрстина в такие моменты прикладывала к лицу ладони, но сейчас уже попривыкла и спокойно жда-

ла, когда краса схлынет. Курфюрстина по всей Северо-Восточной Германии слыла персоной весьма просвещенной и даже как бы сторонницей эмансипации. Достаточно сказать, что половину своего дворцового бюджета она тратила не на ювелиров, а на выпуск всевозможных парижских, лондонских и амстердамских вольнодумственных журналов и изданий. Собственно говоря, именно она, Леопольдина-Валентина, заставила своего супруга, изрядно поколоченного в деле при Цюкеркюхене, прийти в себя, то есть вернуться к реальности и отправиться на «наш неотъемлемый остров», чтобы приобщиться к дебатам кумпанейства. Подумай сам, майн либер Магнус, уж пятый день на нашем острове пребывает великий Вольтер, а мы еще не соизволили его навестить; боюсь, что наши дочери не поймут сего обскурантизма.

И вот она сидит в сей божественный день под сенью элегантнейшего эрмитажа со своими любимыми шаловливыми двойняшками. «Ах, маман, — щебечут Клаудия и Фиокла, — как же нам повезло с выбором наших августейших родителей! Вряд ли найдется во всей Европе, да, может быть, даже и в Китае, толь блистательная родительская чета, коя бы толь изрядно и вдумчиво понимала настроения уношества! Ах, как мы любим нашу возлюбленную мамочку и нашего рыцарски сурового и литературно великодушного папочку и как мы им благодарны за предоставленные возможности по расширению кругозора! Да ведь не будь вас, так мы бы и остались дичками-принцессами, запертыми в замке княжества!»

Курфюрстина Леопольдина-Валентина сдержанно улыбается. «Боюсь, что без нас с папочкой не случились бы и сии дички-принцессы, мои ми-

лочки». Не вдумываясь в промелькнувшую философию, девочки покрывают маменькины мерцающие под балдахинном щеки близнецовскими поцелуями. Ея Сиятельное Высочество смотрит на неотличимые облики своих дочерей: где Клаудия, где Фиокла, уже не разберешь. Раньше еще можно было разобраться с помощью родимого пятнышка, однако с возрастом оказались у обеих неотразимочек подобные шарманы под левыми ушками. Сначала подумала Ея Высочество, что одна из дочерей приклеила мушку, но при проверке ни у той, ни у другой пятнышко на палец не наслюнывалось.

«Ах, Ваши Высочества, дочки мои любезные! — произнесла маман с неизбывной российской напевностью. — Да неужто вам так позволено вот так запросто подбегать и лобзать в ланиты самое воплощение Века Просвещения, мэтра де Вольтера?!»

«Маман, мы постоянно это делаем, и он ни разу не отстранился; напротив, поощряет. Однако обратите внимание, Ваше Сиятельное Высочество, каких победительных молодых офицеров прислала Вольтеру для охраны Ея Императорское Величество, наша любезнейшая троюродная тетушка Екатерина Вторая Алексеевна. Это Мишель и Николя, посмотрите, маман, как они хороши, ой, я не могу, и я не могу, нет, вы только посмотрите, нет, вы только посмотрите, как неотразимо они стоят, упершись руками в бедро с оружием!»

«Да ведь это же те самые, из «Золотого льва» уноши!» — воскликнула курфюрстина, повернувшись в указанном направлении всем заплывшим былой красотою лицом.

«Вот именно». Девы потупились, и мать поняла: значит, обе — в обоих, вопрос лишь в том — ка-

кая в кого? «К каким же домам принадлежат сии кавалеры?» — спросила владычица Цвейг-Анштальта-и-Бреговины. Вопрос о возможной влюбленности принцесс в людей нецарственного дворянства даже и в голову ей не пришел.

Сребристый звоночек избавил смутившихся девочек от нужды отвечать на толь натуральный вопрос августейшей маменьки. Граф Рязанский попросил внимания и, сделав несколько изящных па на мраморных плитах, представил собравшимся барона Фон-Фигина. Безукоризненный вельможа уже сидел за круглым столиком перед своим открытым альбомом, куда он время от времени вносил некоторые фразы для прочтения и толкования в Петербурге. У ноги его занял позицию корабельный пес Ньюф, доверительно положивший морду на советниковскую туфлю. Над ним мало кому заметная в листве каштана повисла большая птица, в коей внимательный читатель сможет узнать одного из секретных сарымхадуров, может быть, это был даже сам Егор. Большинству, то есть невнимательным читателям, он был попросту незаметен.

Взгляды, исполненные любопытства и нетерпения, были обращены на барона. Видаль Карантье старался не смотреть, чтобы не сжечь его у всех на глазах своей ненавистью. Вольтер уже забыл об этой химической докуче, поскольку атеист остался у него за спиной. Сам философ как главная персона ожидаемой дискуссии был выдвинут вперед и посажен в уютнейшее, пожалуй, даже слишком уютнейшее кресло, тем паче для персоны, склонной иной раз в задумчивости производить неожиданные звуковые сигналы.

Итак, начинается философическая дискуссия, коя будет излагаться в виде излюбленного нашим

центральным человеком жанра драматических диалогов. Впрочем, автор возьмет на себя смелость время от времени вторгаться с кое-какими параграфами своего излюбленного жанра укоснительного повествования.

Ф о н - Ф и г и н. Дамы и господа, без всякой связанности с нашими скромными побуждениями нынешние встречи взялись в газетах называть Остзейским кумпанейством. Появился интерес. Пожаловали гости. Высшую честь нам оказали нынче курфюрст и курфюрстина Цвейг-Анштальта-и-Бреговины Магнус Пятый и Леопольдина-Валентина-Святославовна. Добро пожаловать, Ваши Сиятельные Высочества! *(Машет платком.)*

На бастионе бухнула пушка; bravo, пушкари, обоим по стакану тройного wyborova шнапсу! На двух валторнах сыграно было сразу два гимна Цвейг-Анштальта-и-Бреговины; получилось неплохо. На башне, видной кое-где в просветах листвы, поднялись два флага, желто-зеленый и сине-белый. Магнус Пятый закашлялся и в конечном счете разрыдался. Родина выдвигалась в первый фронт просвещенных монархий. Три дамы двора и их мужья, трое министров, скромно спели первый сплетенный куплет гимна, слов которого курфюрст не знал. Верная супруга кивнула рыцарю: вот видишь, я тебе говорила, признание грядет. Только принцессы кружились и махали гвардейцам с некоторой легкомысленностью, что вообще характерно для нынешнего уношества.

Б а р о н (*продолжает*). Наша нынешняя беседа будет посвящена, быть может, наиглавнейшей теме сего века, противостоянию религии и философии, или, как сей феномен иной раз определяется в просвещенных кругах Европы, противуречием между суеверием и чистым разумом. Огромное большинство российского населения, включая даже и высшие сословия, не подозревает об этой борьбе. Православное христианство незыблемой стеною ограждает население от католического мира, а реформаторство нам даже и неведомо. Однако ж есть в Империи малая, но умственно вельми передовая кучка, коя жаждет слияния с мыслительными кругами Запада, чая в оном слиянии наиграндиознейшие выгоды реформ. К оной кучке относится и наша молодая Императрица Екатерина Алексеевна, знакомая и со Святейшим Августином, и с Томасом Аквинским, с Лютером и с Декартом, со Спинозой, Ньютоном и Монтескье, воспитанная на литературах Вольтера, Руссо, Дидро и Д'Аламбера. Недаром, нет, недаром, господа, дама сия слывет в европейских кругах одной из энциклопедистов. Как лицо, входящее в Ея ближайший круг и наделенное Ею полномочиями речь от Ея персоны, ныне я решаюсь заявить, что Государыня жаждет всемерного расширения российского горизонта. Она приглашает выдающиеся умы Европы осчастливить Санкт-Петербург своим присутствием, укрепить нашу Академию, возжечь на наших северных широтах очаги знаний и разума, толь характерные для салонов Парижа. Увы, далеко не всякий европейский ум незамедлительно устремляется в нашу столицу, и тому виною нередко оказываются наши слишком высокие широты (*на секунду прерывается и с удивитель-*

ной теплотой улыбается Вольтеру, который в ответ незамедлительно делает не очень понятный, но до чрезвычайности изящный жест правой ладонью). Наши порты, господа, замерзают едва ли не на полгода, а сама наша исключительная отдаленность даже дает иным скептикам возможность не считать нас частью Европы. И вот при всей нашей тяге к культурным очагам мы нередко ощущаем некое прозябание мысли. Многие нюансы мыслительного процесса оказываются за пределами наших горизонтов. Как вдруг происходит счастливейшее для нас соединение обстоятельств, и мы получаем в качестве собеседника некого иного, как самого великого Вольтера, благороднейшего и вдохновенного возжигателя идей Просвещения; прости меня, Вольтер, за сии суперлятивы! Позволь же мне теперь замолчать и стать твоим ревностным слушателем. Поверь, все, что ты сегодня нам скажешь об европейской философии, отзовется в российских умах. «Когито эрго сум», что я дерзну сегодня перевести, как «Слушаю Вольтера — значит, существую».

Откинув полы ослепительного кафтана, барон уселся прямо напротив Вольтера в ловко подставленное стуло. Меж ними на мягкой траве расположились, вытянув длинные ноги, кавалеры Буало и Террано. Вздв юбки пастельных тонов, на ту же траву опустились курфюрстиночки Цвейг-Анштальта-и-Бреговины; ясно, что тяга к познанию привела их в центр мизансцены, а вовсе не близость изящнейших офицеров. Так или иначе, неволью произошло почти символическое соединение Запада и Востока. Пред тем как начать, Вольтер прикоснулся ладонями к девичьим макушкам.

В о л ь т е р (*начинает*). Ваши Сиятельные Высочества курфюрст и курфюрстина, друзья мои Фодор и Ксено, а также ты, виртуозный Одиссей современного флота, и вы, Кандиды секретнейших поручений, всадники чести, и ты, дева юности рода людского, воплотившаяся сразу в двух прекраснейших формах, и вы, дамы эскорта и господ! Все мы сейчас, как я понимаю, шлем наш восторг новой Авроре, озарившей сии берега, собравшей нас всех для обмена мыслями о прошлом, будущем и настоящем человеческой расы.

Что есть современная философия? Я попытаюсь вам представить мой собственный взгляд на сей предмет, так чудесно всколыхнувший прежде застойную мысль Европы. Прошу вас чувствовать себя совершенно свободно и ни на толику не смущаться, если возникнет идея или порыв прервать старого говоруна. Пытаясь обрести желанную формулу, мы можем сказать, что философия — это рациональный взгляд на происхождение жизни, природы, человека, а также на судьбу названных феноменов и в целом Вселенной.

М и ш а. Включая и оную философию, не так ли, мой мэтр?

В о л ь т е р. Bravo, Мишель! Ты поймал мою птицу! (*Продолжает.*) В течение веков в обществе доминировал религиозный концепт происхождения жизни, он поглощал все творческие силы человека. В конечном счете религия, в особенности католическое христианство, вступила в фазу зловещей деградации, обскурантизма, фанатизма и нетерпимости. Мифы христианства, поначалу исполненные почти неотразимой красоты и метафоричности, превратились в

догмы и символы власти, что привело к людоедским преследованиям, убийствам, пыткам и к массовой резне. Достаточно вспомнить крестовые походы, преследование альбигойцев, Варфоломеевскую ночь, убийство Генриха Четвертого, злодеяния драгун времен Ревокации, Святую Инквизицию.

В нашем веке в результате развития науки появились мыслящие люди, частично или полностью отрицающие религиозные мифы христианства, а иногда и всех прочих религий, иными словами, все попытки людей объяснить Бога и навязать свое объяснение другим как единственно верное. К числу этих мыслителей, прошу прощения, я отношу и самого себя. Я не безбожник, я просто не могу объяснить Бога и отрицаю за другими смертными право на всевозможные догмы.

М и ш а (пытается что-то сказать, однако молчит, потому что через его сапог перешагивает Видаль Карантце). ...

В и д а л ь К а р а н т ц е. Не юлите, Вольтер! Скажите просто, Бога — нет!

В о л ь т е р. Нет, я этого не скажу, месье Карантце. Атеизм — это тоже своего рода религия, религия отрицания, дающая, между прочим, право на разрушение морали. В этом смысле нельзя не признать правоту консерваторов Франции, утверждающих, что атеизм разрушает мораль, единство общества и мощь государства. Другое дело состоит в том, что сия теза дает им почин для преследования всякого инакомыслия, свободной печати, *SAPERE AUDE* (дерзновенного знания) и общего просвещения.

Между тем просвещение невозможно остановить, это просто следующая ступень в развитии человечества, и бесконечно прав мой друг Д'Аламбер,

первым дерзновенно назвавший наш век Веком Философии!

Любое событие начинается задолго до своего начала. Так ведь и сто лет до нас Фрэнсис Бэкон высказал веру не в Бога, а в Разум, призвал к освобождению мысли от мифов Библии и догм Церкви. М и ш а (*опережает Видаля Карантце*). Иногда, мой мэтр, мне кажется, что Разум не свободен, что он лишь слуга желания, вообще наших прихотей.

В о л ь т е р. Ты меня поражаешь, мой мальчик! Быть может, ты знаком с трудами Хьюма? Ведь это он критиковал Разум. А Руссо и Дидро утверждают, что Желание более обоснованно, чем Разум. Не спорю, Разум должен знать свои границы, хотя бы потому, что массами людей движут страсти и предрассудки. И все-таки я надеюсь, что придут времена, когда будет превалировать оптимизм, когда Разум распространится из салонов на массы.

Уверен, что, несмотря на столь частые в истории массовые злодеяния, все эти столетние войны, тридцатилетние войны, или, скажем, несмотря на только что закончившуюся Семилетнюю войну, человек все-таки сможет стряхнуть тяжесть ужасающей теологии, завоевать свободу сомнений и познаний, построить новую религию вокруг алтаря Разума, то есть открыть новую эру. Вот почему вся филозофическая община Европы испытывает сейчас нечто сродни какому-то благородному опьянению. Курфюрстина Леопольдина - Валентина (*со вспыхнувшей красой на щеках просит слова*). Господин Вольтер, я пользуюсь вашим любезным приглашением к диалогу и осмелеваюсь задать вопрос. (*Чей-то шепот: «Боже, как она хороша!»*) Разве христианство противоречит разуму? (*Краса гаснет*).

Другой шепот: «Не нужно преувеличивать!») Ведь оно, как мне кажется, дает надежду, а это так важно в мире, где благо живет рядом с преступлением, красота рядом с грехом. И все-таки рядом с ужасом цветет надежда, не так ли?

В о л ь т е р. Увы, мадам, ужас преобладает. Человечество почему-то обречено на муки, на вечную расплату за какой-то сомнительный первородный грех; такова основная доктрина Церкви. Именно из этой угрозы вечных мук возрастает могущество Церкви — во всяком случае, во Франции, где она стала своего рода иноземной властью, утвердившей свое собственное крепостное право, свободу от налогообложения, тотальный контроль над образованием, жесточайшую цензуру и аксиому своей непогрешимости.

Пятьдесят тысяч аббатов ежедневно проделывают постыдную мистификацию, превращая хлеб и вино в тело и кровь Христовы. Повсюду раздаются лицемерные призывы к благочестию, а между тем христианский король открыто содержит сераль. Как отвечает на подобное лицемерие нация, в коей к середине столетия набралось уже полно образованных и неглупых людей? Циничной шуткой о том, что мадам Помпадур уготована роль Святой Девы.

В обществе растет число вольдумцев и атеистов. Увы, это сопровождается ростом скепсиса и цинизма. Врачи и адвокаты стали говорить: «К чему поститься, если не веришь в бессмертие души?» Атеисты в парижских кафе стали называть Бога MONSIEUR DE L'ETRE (Господин Быть).

Н и к о л я (*хохочет*). Господин Быть! А ведь это забавно! Пара шуток такого рода может опровергнуть всю теологию!

К а р а н т ц е (*скрежещет*). Еще смешнее будет, если сказать «Господин Не-Быть»!

К у р ф ю р с т и н о ч к и. Как все это странно!

В о л ь т е р. Франция перепрыгнула в Просвещение прямо из Ренессанса, минуя Реформаторство, которое еще было способно хотя бы отчасти оздоровить религию. Гугенотство у нас было подавлено жесточайшими способами. Теперь, нахватавшись цитат из Монтеня, Декарта, Спинозы и Монтескье, наше просвещенное общество с полным правом говорит о Моисее, Иисусе и Магомете как о трех самых вопиющих в истории самозванцах.

К а р а н т ц е (*прыгает, как исчадие ада, иногда прямо по расстеленным скатертям*). Так оно и есть! Чем быстрее мы забудем сии фикции, тем выше взорлим! (*Миша достает его носком сапога под самую трудекуль. Карантце катится с холма, как пустая жестяная тара.*) Террано, этого я тебе не прощу никогда! (*Пропадает из виду.*)

В о л ь т е р (*пожимает плечами*). Ниспровергатель опровергнут, и таким странным фасоном, а между тем перед филозофами стоит серьезнейшая тема дефиниции Разума как продукта опыта жизни, а не бессмертного дара невидимого Бога.

М и ш а. Вы это всерьез, мой мэтр? Всерьез думаете, что опыт жизни взялся сам по себе?

Б а р о н (*с напускной суровостью*). Подпоручик, сократитесь. Ваши подвиги еще не дают вам права на равенство с Вольтером.

В о л ь т е р. Здесь все равны, мой Фодор. Чем больше реплик, тем лучше. Сейчас мы переходим к еще более крутым поворотам. Мой молодой друг, создатель «Энциклопедии» Дени Дидро... не смейтесь, дети, я знаю, что вы встречали его в Париже, но ему

всего пятьдесят один год... Однажды он выступил с сочинением «Письмо о слепых для пользы зрячим». Он говорил там о призыве Бэкона победить природу организованным научным поиском. Дидро подчеркнул, что высшим инструментом Разума является эксперимент, сие наглядно подтверждается в развитии анатомии, физики, математики. Теперь коснемся чувственной и нравственной стороны дела. Не кажется ли тебе, Мишель, что добро, истина, красота и мораль могут легче возрасть на почве Разума, чем на религии, а стало быть, именно разум станет весомой альтернативой для создания общественного порядка?

(Мишель молчит.)

К у р ф ю р с т и н о ч к и. Иногда кажется, что без страстей не сможет возникнуть никакой возвышенности ни в морали, ни в искусстве. Без страстей все скатится до механики. Разум — сух.

В о л ь т е р. Вы говорите, детки мои, о разуме атеиста, однако ведущие умы современной философии являются скорее деистами, чем атеистами. Я аплодирую Руссо, когда он речет о примирении Разума с чувством. Дидро-деист верит в мыслящее божество. Механика, говорит он, объясняет материю и движение, но не жизнь и мысль. В то же время он, как и все мы, с презрением отвергает незыблемый ранее миф о том, что Бог был открыт в Библии. Подумайте сами, вы, собравшиеся на этом холме люди разных возрастов и сословий: что может быть большим абсурдом, чем повесть о том, как Бог заставил Бога умереть на кресте, чтобы смирить Божий гнев против мужчины и женщины, что согрешили четыре тысячи лет тому назад? Ну, новое поколение, согласны вы с тем, что это абсурд?

Н и к о л я. Без этого греха нам тут нечего было бы делать.

К у р ф ю р с т и н о ч к и. Без этого не родилась бы любовь.

М и ш а (*держась за голову*). Все это надо понимать иначе. Инааче!

В о л ь т е р (*со жгучим интересом*). Расскажи нам, как?

Б а р о н. Вольтер, прошу тебя, продолжай свой рассказ. Кадетский корпус выступит позже.

В о л ь т е р. Если тысяча людей будет проклята ради спасения одной души, значит, Дьявол выигрывает спор у Бога, не посылая своего сына на смерть.

К у р ф ю р с т и н о ч к и. А разве у Дьявола тоже есть дети?

(Откуда-то слышится гулкой жестяной хохот.)

М и ш а. Ради спасения одной души могут погибнуть и больше тысячи.

В о л ь т е р. Философы в общем-то считают, что нет более священного откровения, чем сама природа. С нашей помощью божество будет более достойно открываемой наукой Вселенной. ELARGISSEZ DIEU! Наука возвеличит Бога Вселенной.

М и ш а. О какой из Божьих Вселенных вы говорите, мой мэтр?

В е р т и г о. При всем моем уважении к молодому Террано, Вселенная может быть только в единственном числе. Мы измеряем ее секстаном.

В о л ь т е р. Дидро задается весьма важным для познания Разума вопросом: узнает ли внезапно прозревший куб и сферу, которые он до этого привык познавать лишь ощупываньем?

М и ш а (*думает вслух*). Предположим, все усопли, пропали все глаза, уши, пальцы. Останется ли Вселенная?

В о л ь т е р. Очевидно, что верное и неверное идет не от Бога, а от наших сенсоров. Даже сама идея Бога должна быть познана. Слепому впору сказать: «Если вы хотите, чтобы я поверил в Бога, дайте мне его потрогать!»

К у р ф ю р с т и н о ч к и (*шепчут*). А зрячие разве видят Бога?

Г е н е р а л А ф с и о м с к и й (*прорезается внезапно, после знатной понюшки и прочиха, являет нежданную тонченную уведомленность*). Кто это сказал, Вольтер: «Важно отличать цыкуну от петрушки, но не важно, верите ли вы в Бога»?

В о л ь т е р (*в восторге аплодирует старому другу*). Bravo, Ксено, это сказал все тот же Дидро, набравшийся мудрости от Монтеня.

Б а р о н (*тоже очень доволен репликой генерала*). Вы видите, господа, каково наше войско?! Теперь спросите любого кадета, и он вам немедленно повторит мотто Монтеня: «Для чего нам знать?» Однако прошу тебя продолжить, Вольтер! Ты меня однозначно заворожил, как выражаются «фадазайницы» Петербурга. Я чувствую себя так, как будто предо мною разыгрывается грандиозный спектакль.

В о л ь т е р (*с энергией потирает ладони, словно бы возжигая огонь*). Сейчас поговорим и о театре. И снова нам никуда не сбежать от Дидро, этого демона плодovitости. Речь пойдет о другом его исключительном труде под титлом «Письмо о глухонемых на пользу тем, кто говорит и слышит». В языке еще не было нужды, когда он начал развиваться на основе движений и жестов. Древнейшие искусства — это мимика и картина. Картина на скале — это жест, пытающийся одновременно рассказать о прошлом, настоящем и будущем. Перед вами великое значение экспери-

мента, господа! Отсюда уже возникла речь как ответ на человеческую потребность в символах!

Вот так развивались концепции энциклопедистов, однако сие совсем не означает, что все они шли в одном направлении. Великолепнейший Д'Аламбер, например, был ближе к метафизике, чем его ближайший сотрудник Дидро. Природа человека, говорил он, это непроницаемая тайна, когда вы пытаетесь осветить ее одним лишь рассудком. То же самое мы можем сказать и о сути Существа и о Том, кому мы обязаны этой сущью, а также о том типе поклонения, коего Он ждет от нас. Следовательно, нет ничего более необходимого для нас, чем открытие новой религии, каковая будет нас спасать при подходе к тупиковым вопросам. Здесь ваш покорный слуга полностью смыкается с блистательным Д'Аламбером. Наше столетие видит свое предназначение в изменении всех законов, оно же намекает человеческой расе, что Разум даст нам возможность подойти к подножию новых алтарей.

М и ш а. В таком случае «надо копать глубже», как говорили нам на уроках фортификации.

В о л ь т е р (*внимательно смотрит на него*). Пришла пора тебе высказаться откровенно, мой мальчик. Ответь нам: кто был тот, на чье лицо Господь простер дуновение жизни?

М и ш а. Это был Адам. Только не четыре тысячи, а несчетное число миллионов лет назад. Нам дают эту малую цифру просто для того, чтобы мы не слишком боялись. Между тем миллионы лет — это ничто в сравнении с тем, откуда пришел Адам, то есть из безвременья.

(Воцаряется общее волнение. Слышится внезапное рыдание сестер.)

К о л я. Мишаня не виноват, это просто башка у него такая.

К а р а н т ц е (*внезапно возникает цел и невредим, правда, с новыми повадками кота-мышелова*). Он виноват больше вас всех! Он — больший, чем все попы, враг нашей атеистической революции!

М и ш а. Перестань гонять мышей, не то проколю эспадроном!

В о л ь т е р (*не без удовольствия*). Опять заколебалась Вселенная Ньютона.

Б а р о н. Продолжай, Вольтер! Значит, ты считаешь, что философия Разума побеждает?

В о л ь т е р. Так нам казалось до 1757 года, однако после покушения на Людовика XV началась новая атака на вольнодумцев. Под давлением Церкви был принят новый закон о смертной казни за бунт против Бога и за покушение на нравственные устои. Никого из наших пока что не осудили, но в «Энциклопедии» произошел раскол. Под влиянием епископов королевский прокурор заявил, что в стране образовалось опасное общество материалистов, замысливших разрушить религию, распространить дух неповиновения и вызвать падение нравов. В марте 1759-го «Энциклопедия» была полностью запрещена. В тексте запрета была многозначная фраза: «Никакой пользой искусства и наукам нельзя возместить ущерб, нанесенного религии». Дидро был под угрозой ареста. В Париже распространялся приписываемый ему анонимный меморандум, направленный против правительства, парламента, иезуитов, янсеистов и даже против самого Христа и Богоматери. Дидро заявлял, что не имеет никакого отношения к этому площадному атеизму. Он был на грани нервно-

го припадка. К счастью, Дольба удалось тайно увезти его в деревню.

Вдруг все странным образом повернулось в обратном направлении. Вернувшись в Париж, наш герой подписал договор на издание девяти дополнительных томов и получил двадцать пять тысяч ливров. Времена были уже не те, начиналось новое десятилетие, и темным силам трудно было зажать «шестидесятников». Оправившись от растерянности, авторы стали возвращаться в «Энциклопедию». Д'Аламбер, например, разродился великолепной статьей о математике. Стало известно, что мадам Помпадур развеселила короля статьей о порохе. В салонах Парижа возникало новое настроение дерзновенного вызова. Между тем внутренняя борьба за власть и влияние разразилась неожиданным катарсисом — произошло изгнание иезуитов. Должен сказать, что этой новой либерализацией мы обязаны блистательным дамам нашего века; именно они, просвещенные аристократки, показали обществу пример независимости. Что касается величайшей дамы века, вы знаете, о ком я говорю, ну хотя бы догадываетесь, господа, не так ли, Фодор, я вижу, как засверкали твои глаза, уж ты-то, конечно, понимаешь, что я говорю о государыне Екатерине, так вот она в сентябре 1762-го, то есть всего лишь три месяца спустя после своего революционного восшествия на престол, предложила российскую государственную поддержку для завершения издания «Энциклопедии» в Санкт-Петербурге. Екатерина повлиела и на моего старого друга Фридриха Второго, увы, частенько теперь забывающего свои собственные высокодуховные максимы: такое же приглашение пришло и из Берлина. В результате французские вла-

сти официально разрешили печатать «Энциклопедию» в Париже. Мы победили!

На этой радостной ноте кумпанейство объявило перерыв. Появились повара с переносными жаровнями и корзинами для пикников. Прямо на холме сервировали дежене. Хлопали пробки бутылок. Провозглашались тосты за «Энциклопедию».

Видаль Карантце потребовал три унции выпаренной воды. Оной не оказалось. Химик, посинев от неудовольствия, отошел к пруду и занялся чем-то сугубо личным. Генерал Афсиомский как бы между прочим приблизился к нему и застал его за престраннейшим занятием. Он набирал себе в карманы неизвестно откуда взявшихся мышек и лягушек. Вдруг исчез без остатка, чтобы тут же вернуться с тремя унциями выпаренной воды, в коей растворились мелкие твари.

Г е н е р а л. Вы по-руску, господин химик, вспомогательствуете?

К а р а н т ц е. Нихт, и убирайтесь подальше!

Г е н е р а л. Папиры имеешь?

К а р а н т ц е. Нихт, и протестую против насилия.

Г е н е р а л. Дай-ка я тебя ушипну. *(Не дожидаясь разрешения, ухватывает незваного гостя за неощутимую плоть.)*

К а р а н т ц е. Ну-с?

Г е н е р а л. Гнус. Личность установлена. Она отсутствует. Позднее распишешся на экспертизе. Не пытайся тут лохматиться с нечистой силой. Мы не шутим, при нужде разим на месте! *(Отходит в сторону и присоединяется к солидной части общества, трапезничающей за импровизированным столом.)*

Между тем несолидная, то есть молодая, часть общества совмещает дежене с игрой в воланы. Курфюрстиночки, дабы подразнить своих шевалье милейшими телодвижениями, флиртуют с молодыми офицерами флота. Присоединившийся к ним гнуснейший Карантце своими попытками сожрать летающие предметы превращает игры в сущий циркус.

К а р а н т ц е (*завихряет Мишу в клоунадном кошмаре*). Хочешь, открою секрет? Твой отступник Вольтер вместе с хитрым бароном под видом тайных бесед пользуются знатных бабенций.

М и ш а. Как мне прихлопнуть сего малярийного комара? (*Раскручивается в другую сторону.*)

За столом.

Ф о н - Ф и г и н. Послушай, Вольтер, чтобы прочесть все ваше энциклопедическое издание, не знаю, хватит ли человеческой жизни! Чего там только нет: сталь, сельское хозяйствование, иглы, бронза, сверлильные машины, рубашки, чулки, обувь, хлеб, гравировка, чеканка, оружие, порох, булавки (подумать только, восемнадцать операций для изготовления единой штучки!), обзор философии, полотна, христианство, удавы, красота, игральные карты, нетерпимость, музыка... Да ведь естли б наша цивилизация в одночасье погибла, ее бы можно было восстановить по этим двадцати восьми томам! Иной раз посещает мысль все забросить, удалиться в усадьбу и читать, читать.

В о л ь т е р (*хохочет*). Да тебе не хватит, мой милый Фодор, ни свечей, ни дневного света!

Ф о н - Ф и г и н. Однако послушай, ведь это же, признайся, чистейший монумент атеизма, не так ли?

В о л ь т е р. Идеологически это все-таки основано не на атеизме, а на деизме.

Ф о н - Ф и г и н. В этом смысле там много двусмысленностей. Иной раз мне казалось, что беспристрастное изложение какого-нибудь религиозного постулата через несколько страниц в попутной статье безжалостно опровергается. Иной раз видишь и другие уловки. Китайские и магометанские доктрины, похожие в чем-то на христианство, отвергаются как иррациональные. В статье «Священники» автор как бы говорит о языческих жрецах, склонных к суевериям, кровавым ритуалам, поднимающих свирепого, мстительного, неумолимого бога, однако же видно, что он имеет в виду современных клериков как врагов и гонителей свободной мысли.

В о л ь т е р. Ты знаешь, что все это создавалось под зорким оком цензуры. Все-таки я рад, что видна наша мечта заменить нынешнюю религию новой наукой. Так или иначе, должно быть видно, что «школа» здесь противостоит схоластике, теологии и метафизическим туманностям сродни тем, что изрекает кавалер Террано. Как однажды высказался Дидро: «Разум для философа — это то же, что благодать для христианина».

К у р ф ю р с т М а г н у с. А какова цена полного собрания?

К у р ф ю р с т и н а Л е о п о л ь д и н а (*вспыхнув красю*). Какое это имеет значение?

В о л ь т е р. Ваши Высочества, для ваших дочерей я пришлю все тома совершенно бесплатно. Кто знает, любая из них может повторить судьбу Софьи-Августы Цербстской и стать великой монархиней.

Ф о н - Ф и г и н. Ведь вы, философы, не против монархии?

В о л ь т е р. Мы жаждем объединить в одном лице владыку с философом, дабы получить совершенно-го суверена. Этот идеал мог воплотиться во Фридрихе, а сейчас, быть может, воплощается в Екатерине. Не она ли сказала, что «никто не получает от природы права властвовать над людьми»? Легитимной власти необходимы границы. Государство не принадлежит князю, напротив, князь принадлежит государству. *(Поворачивается к Леопольдине-Валентине, с нежностью всматривается в ее мгновенно запылавшее лицо.)* Вы согласны, сударыня?

Л е о п о л ь д и н а *(начинает фразу с усилием, а завершает с вдохновением).* Разумеется, мэтр... Король-философ — это идеал власти!

В о л ь т е р. Bravo! А ваш супруг? Вы согласны с курфюрстиной, Ваше Высочество?

М а г н у с *(бледнеет и немного желтеет, однако тоже преодолевает робость: таково обаяние Вольтера).* Ну конечно, конечно... еще бы нет... Ведь об этом писал еще Платон.

Ф о н - Ф и г и н *(с внимательным прищуром).* Ах, вы читаете Платона, месье?!

М а г н у с. Платона читает Леопольдина, увы... *(Разводит руками.)* Я занимаюсь бухгалтерией бюджета *(еще раз разводит руками),* увы, концы не сходятся с концами.

П о д о ш е д ш и й А ф с и о м с к и й. Вам надо нанять хорошего министра финансов, Ваше Высочество. Не родственника.

Ф о н - Ф и г и н. Генерал прав. Мы пришлем вам министра финансов вместе с новым бюджетом. Цвейг-Анштальт это заслужил вместе с Бреговинной. Ну что ж, может быть, вернемся к философии, господа? Послушай, Вольтер, знаком ли ты

с мадемуазель Леспиназ, толки о ней дошли и до нашего двора.

В о л ь т е р. Это неотразимое существо, она так же хороша, как и остра умом. Ее салон — самое подходящее место для дискуссий о природе человека. Меня туда как-то привез Д'Аламбер; он в нее влюблен. О чем там шла речь? Ну вот о чем: как англичане говорят, *in the nutshell*. Человек — это не машина, но он и не дух бестелесный. Тело и душа — это один организм, и они умирают вместе. Все живое разрушает самое себя, кроме мира как такового. Ничто не выстоит, кроме времени.

М и ш а (*пробегающий за воланом*). Что есть время?

К у р ф ю р с т и н о ч к и (*отбивают волан*). Это тоже миф!

К а р а н т ц е. Вот ваше время! (*Проглатывает волан на лету.*)

В о л ь т е р. Природа нейтральна, она не делает различия между добром и злом, большим и малым, грешным и святым. Она больше заботится о виде, чем об индивидууме. Она дает индивидууму возможность созреть и воспроизвести себя, чтобы потом умереть. Она мудра в мириаде деталей, она дает индивидууму инстинкт жизни, но она и слепа, когда убивает, равно философа и глупца, одним языком огня, одним движением земной коры. Заботясь о виде, она может убить и весь вид, как произошло с динозаврами.

М и ш а (*верхом на Карантце изображает динозавра*). Динозавры, быть может, — это лишь ступень на пути Адама. Сто миллионов лет туда, сто миллионов обратно, какая разница?

В о л ь т е р. О Боже, ты слышишь?!

К а р а н т ц е. Вольтер, избавь меня от твоего Бога и от этого неуча!

В о л ь т е р. Мы никогда не познаем природу, хоть и передаем свои знания из поколения в поколение, никогда не поймем ее цель и смысл, если у нее имеются таковые.

Помню один вечер у Леспиназ: общество слегка валяло дурака. Дидро изображал гипнотизера, Д'Аламбер — засыпающего пациента, доктор Бордо (тоже влюбленный в Леспиназ) выступал в роли эксперта. Мой друг бормотал что-то не совсем связанное: «Почему я — это тот, кто я есть? Бордо, если я возник, значит, это действительно было неизбежно? Вольтер, как там твой Микрогигант на Сатурне? Может, у него не только тела, но и чувств больше, чем у нас? Если это так, он несчастен».

Бордо вдруг заговорил о рождающихся уродцах. Сторонники священного происхождения человека, могут ли они и на уродцев распространить свою доктрину?

Леспиназ расхохоталась. А что, если мы все уродцы? Мужчина — это уродец женщины и наоборот?

Бордо ей подыграл: «В том смысле, что у одного сумка висит снаружи, а у другой заткнута внутрь, вы это имеете в виду?»

Д'Аламбер вдруг очнулся от гипноза: «Что за гадости, доктор, вы говорите барышне? Ведь она, хоть делит свое время на смех и слезы, все же остается ребенком, вы разве не видите?»

Бордо разразился весьма страстным монологом. Он сказал, что целомудрие — это неестественная потребность человека. Онанизм — гораздо более естественная потребность, поелику оный приносит необходимое высвобождение сжатых сосудов. Природа не терпит ничего бесполезного. Хорошо бы провести эксперимент по смешению разных видов, чтобы возник человек-животное.

Леспиназ спросила с невинным видом: «Нужно ли крестить такое существо?»

«Ты видела в зоо орангутана, похожего на Святого Иоанна, проповедующего в пустыне?» — спросил доктор.

«Да», — ответила мадмуазель.

«Ну так вот, — с немыслимой серьезностью сказал ее друг, — кардинал де Полиньяк однажды предложил орангутану: «Заговори, и я тебя крещу!»

Тут вмешался Дидро: «Господа, нужно начать с классификации видов от инертной молекулы до растения, далее от растения к животному, потом к человеку.. Форма — это маска... Потерянное звено, возможно, существует, но оно еще не поставлено на соответствующее место».

Вот вам картина парижского салона, мои северные друзья.

Б а р о н (*умирает от смеха*). А ты, мэтр, чем занимался во время этой толь оживленной беседы?

В о л ь т е р. Я поедал пирожные мадемуазель Леспиназ, они славились по всему Парижу. Ел и забавлялся: ведь все эти сравнительно со мною молодые люди были воспитаны на моих сочинениях, однако они говорили так, словно сами все придумали. Потом я забыл о пирожных и стал смотреть на бездонное предзакатное небо. Мне пришло в голову, что стоило бы пожертвовать жизнью, если бы можно было навсегда ликвидировать понятие Бога. Каждая мысль в этой среде, как всегда, опровергала предыдущую. А все-таки атеизм, подумал я, близок к суеверию, он так же инфантилен, как и все прочее. Я запутался в этой дьявольской философии, которую мой ум не может не одобрить, а сердце отвергает.

Фон - Фигин. Когда ешь пирожное, сладко говорить и про небо, и про нёбо: русская фонетика их сближает.

Вольтер. Благодарю за непонятный каламбур. Я отвлекся от своих мыслей, когда услышал резкий голос Дидро. Он расхаживал по залу, словно некий великанский дятел, и вещал, как это часто бывает в его случае, нечто манифестоподобное: «Христианская религия — это самая абсурдная и преступная догма! Самая неразумная, запутанная и темная! Наиболее склонная к расколам, схизме, ереси! Она разрушает общественный мир! Самая опасная для позитивного правителя! Ее иерархи постоянно провоцируют преследование свободы! Самая плоская, унылая, готическая в своих мрачных церемониях! Самая нетерпимая из всех!»

Я уже собрался было уходить, когда мне на колени, словно на одну из своих козеток, присела мадемуазель Леспиназ с двумя бокалами вина в руках. О Боже, нынешнее поколение рождает каких-то неповторимых женщин!

Фон - Фигин. Это правда, что она больна чахоткой?
Вольтер (*изумлен*). Да откуда тебе это ведомо, мой Фодор?

Фон - Фигин. Этой женщиной интересуется императрица.

Полуденная трапеза и последовавшие за сим игры уже завершились. Общество рассаживалось вокруг стола и в ближайших пределах. Все жаждали продолжения бесед.

Миша. Как вы мыслите, господин коммодор, возможно ли существование железного корабля?

В е р т и г о. Помилуйте, подпоручик, какое же для одного корабля понадобится парусное вооружение?

М и ш а. А ежели без парусов? На котле?

В е р т и г о. Экое странное у вас воображение! Ведь выгорит же весь экипаж без остатку.

В о л ь т е р. Поговорим о беспорядочном мышлении. Происхождение порядка нужно еще открыть, однако беспорядок — это реальность. Держа сию максимум в уме, осмелюсь всему обществу предложить несколько тем для размышлений... Ежели Бог не существует, то следует ли нам его изобрести, ибо без высшего существа с его интеллектом и справедливостью жизнь с ее тайнами и несчастьями будет невыносима.

М и ш а. Бог — это не существо, мой мэтр.

В о л ь т е р. Что же это, мой друг?

М и ш а. Существо — это сущее в теле, Бог — не сущ, хоть и может являться во времени, чтобы ободрить сущих, открыть им свет.

В о л ь т е р. Мы с Мишеlem никак не можем друга сбить с толку, и потому я просто предлагаю следующую тему. Бог — это часовщик Вселенной? Все движется, как в механизме? Чудес нет? Может ли свободная воля нарушить механизм?

К а р а н т ц е. Никакого чувсовщуккка нет. Механнианнизм движжет сам по себе. Ньютон открыл грэвввитуассцию, этого достаточно, чтобы понять: неоткрытое будет открыто. *(Его тошнит.)*

В о л ь т е р. Отправимся дальше. Посмотрим на тезисы атеиста. Душа — это просто жизнь тела, она умирает вместе с ним. Мыслящий человек не нуждается в религии для поддержания морали. Он не ждет ни наград, ни наказаний после смерти. Согласны, месье Карантце?

(Химик не отвечает, поскольку изо рта у него вырастает большая прозрачная колбаса.)

Курфюрстиночки. Природа — это круговорот воли к жизни, но есть нечто, что не вписывается в это колесо.

Вольтер. Что же?

Курфюрстиночки. Что-то восторженное. Трагедийное. Любовь. Жалость ко всем и всему. Какая-то готовность к чему-то, знаете ли, сокровенному. Какая-то восходящая идея.

Вольтер. Это что, по Декарту? Боже, где я? Что это за юношество? Они все знают! Или о чем-то догадываются? Позвольте мне, ваши прелестные высочества, предложить следующий вопрос. Правда ли, что человеком движут всего шесть страстей: восхищение, любовь, ненависть, желание или аппетит, счастье, печаль.

Курфюрстиночки. Есть и седьмая, когда жалеешь всех, пусть даже малых птах, как самое себя. **Генерал** (*опершись на музу Клио*). Милостивые государи, позвольте уж и российскому Марко Поло слегка вмешаться. Вот тут некие малопочтенные рекли, что чудес не бывает, а я как раз за обшлагом всегда ношу цитату Спинозы: «Чудес не бывает, поскольку Бог не может нарушить свой собственный порядок».

Никол ай. Позволь, Гран-Пер, чудес у нас в избытке. Шагни в сторону — и весь в чудеса влипнешь. Не всякая лошадь пронесет. Подтверждаешь, Мишель?

Вольтер. Я могу не верить, что носы сделаны, как удобные мостики для очков, однако я убежден, что они сделаны для понюшки. Кто оспорит?

Миша. С носами все обстоит непросто. Это орган тревоги. Он норовит сбежать. Тревожит лунатиков.

Говорят, здесь бродит по кнайпам один такой с двумя носами. Во всяком случае, мы пытались его догнать. Ушел.

В о л ь т е р. Однако утверждать, что глаз сделан не для зрения, ухо не для слуха, желудок не для переваривания пищи, — разве это не чудовищный абсурд?
М и ш а. Желудок — это отец тоски, ухо сделано для серьги, глаза для выражения эмоций — разве сие абсурд?

Начинается ветер. Коммодор внимательно следит за верхушками деревьев. Обмениваюсь взглядами с бароном.

В о л ь т е р. Если Бог создал человека по своему образу и подобию, значит, мы хорошо ему заплатили за это, создав себе Бога по своему подобию... то есть как существо зла.

К о р а б е л ь н ы й с в я щ е н н и к, о т е ц Е в с т а ф и й (*ему переводит мичман Фукс*). Он все-таки вдул в нас струю Святого Духа. В море это особенно чувствуется.

В о л ь т е р. Вы правы, ваше преподобие. Вот почему, если все подсчитать и взвесить, я думаю, что гораздо больше будет радости, чем горечи в этой жизни. Я не верю, что человек зол по природе. У него есть врожденное чувство справедливости, с которым он приходит в мир. Все люди отрицают отцеубийство или братоубийство. Фридрих Прусский в одном письме ко мне назвал это LA LOI NATURELLE, которому человек не может не подчиняться. Иногда мне кажется, что каждый шаг каждого человека полон грандиозного смысла. Господь посылает каждому поколению некоторые камешки, чтобы вставить

в угол стены. Но иногда все рушится в бессмысленном и жадном вихре.

Отчаяние охватило меня, когда я узнал о том, что первого ноября 1755 года в День Всех Святых в Лиссабоне в течение шести минут землетрясение уничтожило тридцать церквей и тысячу домов, убив пятнадцать тысяч людей и столько же смертельно ранив. Почему это случилось в самом католическом граде в час, когда все набожные люди были на мессе? И почему уцелел дом самого яркого гонителя иезуитов?

Малагрид объяснял землетрясение Божьим наказанием за пороки, но ведь не только грешники были в церквях. Мусульмане объясняли это возмездием Аллаха за гонения Инквизиции, однако в то утро погибла и мечеть Аль-Мансур в Рабате. Протестанты обвиняли католиков, но в том же году в Бостоне от землетрясения погибло полторы тысячи домов.

Епископ Уесли заявил: «Моральной причиной землетрясений является проклятье первородного греха». То есть в том смысле, что мы все телесные, от того и гибнем. Я не мог примириться с этим, потому что сия максима опровергала мою веру в справедливого Бога. С другой стороны, злодеяние природы ставило под сомнение максимы философов, коих я уважал, в частности, то, что сказал Лейбниц: «Наш мир — это лучший из возможных миров», а также изречение Александра Поупа, **WHATEVER IS, IS RIGHT**, а также его же вопиющую мысль: «Все злостные частности — это универсальное добро». Тогда я и написал поэму «О ЛИССАБОНСКОЙ КАТАСТРОФЕ, или Проверка аксиомы “все хорошо”».

О, жалкое пристанище, бедствующая земля!
Страшная почва смертного человечества!
Где ты, хозяин всех страждущих,
И те мудрецы, что талдычат «все хорошо»?
Придите поразмыслить на оскаленных руинах,
Увидите клочки и пепел нашей расы,
Груды детей и женщин, сцепившихся в общей
погибели,

И члены, коих уже не опознать.
Десятки тысяч земля, не моргнув, пожрала
И кровоточащих оставила умирать,
С мольбою о помощи завершать
Их плачевные дни в круговороте зла.
И в этой зловещей агонии на равнодушной
планете

Над пеплом, и дымом, и над языками огня
Вы произносите мудрость о вечных законах,
О том, что Бог не отделяет свободных и добрых
От массы жертв, и подведете итоги:
«Бог отомщен их смертями за первородный
проступок»?

Вольтер изнурен своим чтением. Все молчат. Время почему-то, не дозрев до заката, померкло. Мать и дочери тихо плачут. Гран-Пер держит тяжелые руки на плечах сыновей. Карантце вытаскивает из уха мягкую, как шелк, змейку. Барон ободряет поэта сияющим взором империи: дескать, в оной наше спасение.

В о л ь т е р (еле слышно, но с нарастающей силой).
Что далее было в этих стихах или поблизости? Лиссабон умирает, Париж танцует. Кто более грешен? Могут ли я любить природу, любить человечество,

если я вижу, как вращается порочный круг злой воли к жизни? Стервятник вцепляется в жертву, ликует, ея пожирая, орел покрывает стервятника, человек убивает орла, потом и сам погибает на поле брани и становится пищей стервятника. Так весь бранный мир стонет в круговороте страданий и смерти. И в этом фатальном хаосе вы находите счастье, мистер Поуп? Смертный, как все, вы восклицаете: ALL IS WELL?! Давайте уж лучше признаемся, что по земле шагает Зло.

Бог посылает Сына, чтобы спасти человечество, но все остается по-прежнему, несмотря на Жертву. Самый пронзительный ум не ведает истины. Книга судьбы от нас скрыта. Человек — это незнакомец для самого себя. Что есть я? Где я? Откуда взялся? Куда иду? Наши атомы на куче грязи поглощаются смертью, несмотря на то что мы устремляемся в бесконечность и измеряем небеса. Говорят, что только эпилептики испытывают неуловимый момент познания, однако, вернувшись из припадка, они не помнят ничего.

Сто лет назад Паскаль завершил свою жизнь нотой отчаяния: давайте сдадимся христианской вере, лишь она дает надежду. Траурная нота завершает и поэму о Лиссабоне: «QUE FAUT-IL, O MORTELS? MORTELS, IL FAUT SOUFFRIR, / SE SOUMETTRE EN SILENCE, ADORER, ET MOURIR».

Вольтер замолчал и скрестил руки на груди, как бы показывая, что он завершает жестикуляцию, а вместе с ней и все свое выступление на сегодняшнюю тему. Он сидел, подняв свое старое, но просиявшее детством лицо к небесам, в которых сно-

ва стояло зрелое солнце предпоследнего июльского дня. Все вокруг тоже молчали. Иные лица были влажны — то ли от пессимизма, то ли от жары. Женщины семейства Грудерингов открыто плакали, струились. Усищи фон-фигинских унтеров повисли мокрыми тряпочками. На лице самого барона было написано такое напряжение, словно он пытался сдвинуть с места цельную Царь-пушку Третьего Рима. Войско империи в лице генерала, подпоручиков, коммодора и мичманов демонстрировало трижды усиленную в этот момент верность присяге.

Б а р о н (*прерывает молчание*). Я слышал, Вольтер, что эта твоя поэма потрясла не только ортодоксов, но и философов. Ее безнадежность изгнала ветер из их парусов. Правда ли, что существуют разные версии концовки?

В о л ь т е р (*улыбается*). Это правда. Есть версия, в коей имеется двадцать девять дополнительных строк, а также иная, всего лишь с одним добавленным словом. Прошу вас, господа, кто может назвать это слово?

К а р а н т ц е (*пытаясь заменить собою фигуру Музы Клио*). ECRASEZ!

Курфюрстина и обе курфюрстиночки (*тройным шепотом, то есть достаточно громко*). ESPERER.

В о л ь т е р. Благодарю вас, Ваши Высочества. Я счастлив, что именно вы произнесли сие слово. Вот именно по поводу этого слова у нас тогда возникла переписка с Жан-Жаком Руссо. Он считал, что все человеческие беды вызваны человеческими ошибками. Лиссабон — это наказание за то, что отвернулись от природной сути ради толчеи горо-

дов. В разбросанных хуторах было бы меньше жертв. Мы должны верить в Божью благодать, писал он мне. Это единственная альтернатива самоубийственному пессимизму. Вслед за Лейбницем с его «монадами» мы должны верить, что, если Бог сотворил мир, все в нем в конечном счете должно быть правильным.

Как ни странно, я в конечном счете пришел к миру с самим собой. В «Кандиде» вы опять увидите неожиданно оптимистическую концовку. MAIS IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDEN. О эти концовки, они нередко разоблачают наивных авторов и ставят в тупик умудренных читателей. *(Он встает из-за стола и начинает прогуливаться по мраморным плитам в аляповатом интерьере чрезмерного скопления статуй.)* Прошу прощения, господа, у меня затекла задница.

Б а р о н. Существует ли клуб религиозных интеллектуалов?

В о л ь т е р *(улыбается)*. Тебе нужна не информация, а мой ответ. Есть много острых умов среди этих людей. Аббэ Гуше однажды произнес великолепную фразу в ответ на статью о рыбах в «Энциклопедии»: «Если люди были когда-то рыбами, тогда существует только два варианта: либо у людей нет бессмертной души, либо у рыб она есть». Все наши были в восторге. Антифилософы, между прочим, весьма оживляют нашу борьбу. Иные из них кусают до крови. Таков, например, Бертье. *(Останавливается и смотрит через плечо на барона; думает вслух.)* Сказать ли ему о том, как этот Гийом Франсуа Бертье оценил мою пьесу LA PUCELLE? «Никогда еще ад не извергал больше смерти, чумы, похотливости, жадно демонстрируя самые похабные картины, ба-

зарный язык, подлейшую буффонаду и вонь». Нет, не скажу. Он и так знает.

Б а р о н (*опустив глаза*). Кажется, была какая-то сатира под названием «Философы» года три-четыре назад?

В о л ь т е р. Фодор, не притворяйся! Ты читал эту сатиру Палиссо, а может быть, и смотрел ее в Театре-Франсе. Это был праздник для всех консерваторов, и прежде всего для их главаря Фрерона. Я послал ему эпиграмму, которая — по вине почты, конечно, — разошлась по всему Парижу.

Змея одна куси Фрерона
И слохла тут же от евона.

Между прочим, этот гад и обжора обладает уникальным литературным вкусом.

Б а р о н. Вольгер, тебе не кажется, что Европа чревата какой-то монструозной революцией, в коей стогрят все наши надежды?

В о л ь т е р (*отходит в сторону, думает вслух*). Сказать ли ему о недавних кошмарах, когда перед тобой протекают куски безобразно перемешанного во времени и пространстве эпоса, бессмысленных злодеяний, побоищ, пожарищ, массового разложения, когда все это озарено какой-то дьявольской усмешкой, да к тому же еще и связано столь несправедно с твоим собственным именем? (*Поворачивается к барону.*) Ах, мой Фодор, с твоей-то прозорливостью ты, конечно, понимаешь, что философы предчувствуют революцию. Ведь главная битва нашего века, столкновение философов и теологов, близка к завершению, и, как ни странно, в нашу пользу. Возникает поколение без веры в Христа. Оно не боится возмездия за содеянное.

Мы надеемся, что победит Разум, но мы не уверены в этом. Могут ли государства уцелеть без религии? Мы надеемся, что правители преисполнятся философских идей. Атеисты могут быть не менее нравственны, чем верующие. Человек — это рациональное животное. Благоденствие нового мира может стоять на Разуме.

Однако не прав ли наш Мишель, когда без всяких апелляций заявляет, что Разум может стать проституткой безнравственного желания? Увы, я тоже не верю в разумность эгоизма, и потому меня страшит атеистическая революция.

Барон Фон-Фигин (*глубоко взволнован*). Как я понимаю, Вольтер, приходят времена преклословия и разноречия. Христианские чудеса уподобляются греческой мифологии. Слово «дьявол» стало просто обиходным ругательством. «Ад» изображают площадные кумедианты. «Небеса» вытесняются астрономией. И все-таки, мой мэтр, мы не можем отрицать, что ваше движение, твоя, мой Вольтер, «революция духа» привели к большей терпимости. Под прямым твоим влиянием гугенотов оставили в покое. Даже парламент Тулузы призвал любить всех людей как братьев. Без философов у нас было бы по три Варфоломеевских ночи в каждом столетии.

Вольтер. Боюсь, что за этим дело не станет. И все же... (*На несколько секунд он застывает в каменной задумчивости; потом встряхивается и раскланивается перед публикой, словно в театре.*) Теперь я вас покидаю, друзья мои, и предлагаю встретиться вновь, когда первые изумруды высыпят на небесный свод то ли под властью невтонического притяжения, то ли по воле арабских звезд

дочетов. Итак, сойдемся снова и разыграем какую-нибудь итальянскую комедию. Прошу меня не сопровождать.

И он отправился по дорожке прочь своей удивительной слегка подпрыгивающей походкой. Оставшимся оставалось только гадать, о чем сейчас думает сей великий человек, гордость Франции и Европы. Один лишь Лоншан, только что поставивший кляксоподобную точку в своей скорописи, знает, что его патрон мечтает посидеть на горшке с каким-нибудь листком из последней тысячи писем.

Глава десятая,

*совпадающая с предпоследней ночью июля 1764 года,
иначе с завершением Остзейского кумпанейства;
звучат виолы и саксонские гутые кларнеты; все
перепуталось в замке и в парке; и сладко
повторять: Россия, Запад, Бесконечность; ночные
откровения и утреннее изменение пейзажа*

Все обитатели замка Доттеринк-Моттеринк, а также и гости Остзейского кумпанейства, явившиеся на сии не ахти какие отдаленные бреги в связи с описанной выше филозофической оказией, к вечеру предпоследнего дня июля 1764 года пребывали в особливо приподнятом настроении. Каждый понимал историческую знатность события и гордился своим участием в оном. Эва, сам Вольтер, гений всеевропский, диалогизирует через личного посланника Императрицы с державою всея Руси! Каждый преисполнился личного достоинства, и, как ни странно, возжегся людскою ласкою к другому, будто бы с этого дня и в самом деле возникло своего рода кумпанейство, общество вольтерьянцев и вольтерьянок.

И даже личность порядочно возмутительная и в равной степени отверженная, пресловутый псевдохимик якобы из Копенгагена, а на самом деле, очевидно, из затхлых топей человеческой экзистанции, получил по приказу генерала Афсиомского отдельный столик на террасе, куда ему принесли ужин, судок с супом и кассероль с битками по-бреговински. Задумчиво взирая на кружащихся чаек, на оза-

боченных к этому часу ястребков и цапель, а также на уже появляющихся в вечерних ажурных туалетах с не менее ажурными парасолями — это при закатном-то освещении! — дам, сей вольнодумец съел половничек, ложку, вилку и нож, откусил витые ручки судка и кассероли и не притронулся к содержанию кулинарных сосудов.

За сим занятием он был замечен группой прогуливающихся, весьма оживленных и расфуфыренных гостей, в которой, конечно, доминировали дамы цвейг-анштальтского-и-бреговинского двора, одетые не только по моде, но и с некоторым вольтерьянским отклонением в духе сего вечера: ну, скажем, с энциклопедической накидкой на плечах или в шляпе, изображающей круги Сатурна, одна даже в турецких шаривари, в свое время захваченных ею ныне престарелым мужем в серале Великого Визиря Задунайского. Что касается жантильомов, главным персонажем тут фигурировал не кто иной, как коммодор флота Ея Императорского Величества Фома Андреевич Вертиго; прежней суровости, свойственной морским бриттам, как не бывало. Фома Андреевич вообще в ходе этой своей стоянки, что называется, расцвел, приобрел кое-какой светский лоск и даже стал потреблять некий многозначительно-изячный парфюм вместо прежнего обиходного спиритуозного настоя чебреца с острова Шипр, коим ранее удобрял подмышечные ключы. Тому причиной, разумеется, были дружеские отношения, возникшие у морского волка с обеими шапероншами принцесс. В этот предпоследний день июля коммодор представлял фигуру едва ли отражимую, в своем парадном белом с зелеными обшлагами мундире, расшитом золотом по левому плечу, и в шляпе-

трикорн с плюмажем. Прогуливая своих дам по краю огромной террасы, он производил округлые жесты своими дланями и перемежал французские комплименты с аглицкими анекдотами. Лишь изредка он бросал острые взгляды на стоящий в розоватой предзакатной бухте NOLLE ME TANGERE, все реи которого были полны матросов, готовящих корабль к тайному выходу в море.

«Посмотрите на этого престраннейшего господина, — сказала одна из дам, указывая лорнетом на уединившегося в дальнем углу террасы Видаля Каранце. — Он грызет ручки судков и не притрагивается к пище».

«Моя дорогая, разве вы не заметили, — сказала другая из дам, — во время пикника он набил себе живот мышками и лягушками и сейчас предается меланхолическим воспоминаниям».

«Неужели и в самом деле таков тип современного философа?» — осторожно поинтересовалась третья из дам.

«Скорее тип беглого каторжника, по которому рея плачет», — успокоил общество коммодор.

Все охотно рассмеялись шутке бывалого человека.

Вдруг все разом забыли про отверженного атеиста-химика, от коего иной раз вместе со струйкой бриза доносились смрады его реактивов с преобладанием сульфура. Произошли сразу два скандальных не толь светских, коль политических события. Сначала в сопровождении графа Рязанского явилась, источая природное благодушие, любимица чуть ли не всех германских дворов герцогиня Амалия Нахтигальская, некогда предъявлявшая права ну если не на весь остров Оттец, то, уж во всяком случае, на

замок «Дочки-Матери», и на одном из флагштоков непринужденно затрепетал небольшой, но весьма изящный стяг ея владений. Не успел Афсиомский накуртуазничаться с герцогиней, как был отозван Зодиаковым: «Ваше превосходительство, покорнейше прошу не гневаться, однако спешу сообщить прелюбопытнейшую новость. К нам прибыл датский министр!» От пристани к церемониальной лестнице замка уже двигалась твердыми шагами внушительная, не менее дюжины персон, делегация, возглавляемая статной фигурой тоже в белом мундире, но еще и в белых ботфортах; как выяснилось позднее, статс-секретарь Датского королевства, граф Лорисдиксен.

К чести генерала Афсиомского надо сказать, он никогда не выказывал наружно возникающей внутренне паники. Вот и сейчас, весь скрытно содрогаюсь от возможного крушения толь блестяще продуманной диспозиции, он с любезнейшей улыбкой подошел к обществу обескураженных прибытием соперничающих антуражей цвейг-анштальтских-и-бреговинских дам и жантильомов и с небрежною дружественностью приобнял коммодора Вертиго, дабы шепнуть тому под паричок: «Есть у тебя на борту датский флаг? Выручай, Фома, иначе сгорим, как шведы под Полтавой!» Такое в те времена бытовало выражение в царском войске.

Верный Фома тут же отошел в галерею и двумя носовыми платками (он никогда не покидал корабля без двух платков, словно и у него отросло два носа) передал на борт команду поднять датский флаг, а второй такой же доставить на башню в замок. Недремлющий вахтенный офицер немедленно ответственствовал «иес, сэр!». Что ж, довольный улыбнулся

коммодор, с такими людьми хоть сейчас на штурм южных проливов.

Между тем на террасе уже загорелись ранние свечные фонари, заиграли итальяйские виолы вкуче с саксонскими гнутыми кларнетами, лакеи начали разносить искрометное вино из Шампани. Граф Лорисдиксен, намеревавшийся сделать суровый демарш по поводу незаконных кумпанейств на исконных датских скалах, неожиданно обнаружил вокруг себя вельми благоприятственную атмосферу. Известный в Европе конт де Рязань не менее трех минут полоскал перед ним своей шляпой. Коммодор российского флота протянул ему подзорную трубку и указал на мачту флагмана: «Лучший линейный корабль Ея Императорского Величества приветствует ваше прибытие в замок Доттеринк-Моттеринк!» Употребление исконных слов, хоть и в чудовищном произношении, вызвало благоприятственную улыбку на аристократических губах высокого чиновника. Присутствующие дамы, узрев улыбку надменного датчанина, присели в книксене. Из-за них выдвинулся и сам барон Фон-Фигин, воплощение государственной безупречности вкуче с современной элегантнейшей толерантностью. Позднее историки раскопали, что именно он и был инициатором встречи трех соперничающих суверенов. Первые фразы, как известно, всерьез и надолго могут определить отношения конфликтующих сторон. Полюбуйтесь на нашу: «Хотелось бы думать, господин советник, что на этом клочке земли зародится новая форма цивилизованного балтийского содружества». Оцените их ответ: «Разделяю вашу надежду, господин посланник, на развитие *узаконенных* форм будущего сотрудничества». И тут же осушили по бокалу

искрящегося свекольного напитка. Прибывший с датской делегацией художник-моменталист произвел набросок исторической встречи.

Тут как раз появилось августейшее семейство курфюрстов Цвейг-Анштальта-и-Бреговины, то есть как раз те, кого приказано было Лорисдиксену «поставить на место». Глава государства, как всегда, немного нервничал из-за того, что его нервозность может быть кем-нибудь замечена в блестящем обществе. Первая дама Леопольдина-Валентина-Святославна поразила весь свой двор персидской диадемою, между нами говоря, последним незаложенным предметом из некогда богатого приданого. Лицо ея, как и утром, только чаще, вспыхивало разительной красотою, в промежутках же она прикрывалась веером, привезенным ей в подарок дочерью из Парижа. Что касается дочерей, то они с их удвоенной прелестью, оживленной жестикуляцией, полудетской игрой четырех глаз и порхающими бабочками улыбок привнесли некий особенный приподнятый смысл в этот вечер, как бы говоря даже самым отчаянным мизантропам (быть может, даже включая Видаля Каранце): «Нет-нет, господа, вы ошибаетесь, человечество все-таки с каждым поколением становится лучше!»

Клаудия и Фиокла в отличие от любимого папочки трепетали не от смущения, а от предвосхищения встречи со своими великолепными кавалерами. Уношей почему-то не было видно. Не следует, впрочем, волноваться, полагали девы, Вольтера тоже пока не видно, а они, должно быть, явятся вместе с ним; ведь они здесь для его охраны, а вовсе не для того, чтобы пропадать в каких-то таинственных экспедициях, из коих они возвращаются в довольно странном виде, с глазами то ли жертв, то ли убийц.

Но вот и Вольтер явился в сопровождении Лоншана и Ваньера, но без боевого эскорта. Что ж, великий человек пера может приходить даже после августейших персон, никто не будет в обиде. Все общество, включая и датского статс-секретаря (он получил строжайший наказ от своего короля обращаться к философу с наивысшим пиететом), повернулось с аплодисментами к изящной фигуре старика, с юморком прикидывающегося персоной высшего света. Вольтер, однако, повел себя странно. Вместо того чтобы сразу присоединиться к обществу, он отошел в дальний пустой угол террасы и склонился к одинокой нелепой фигуре, сидящей там за отдельным столиком, выставив пятерку крупных желтых зубов. Никто не слышал, что он ему сказал, а сказал он следующее:

«Послушайте, любезнейший, вы сами себя разоблачили. Я раскрыл ваше странное имя, месье. Вы вовсе не атеист и не химик из Копенгагена. Вы не кто иной, как здешнее привидение, господин магистр черной магии Сорокапуст. Одно мое слово, и вы будете задержаны людьми генерала Афсиомского. Вас отвезут в Санкт-Петербург и будут показывать в Кунсткамере. Ну что ж, я буду последователен в проповеди толерантности и потому попрошу вас немедленно покинуть сие собрание человеческих особей. Это не ваша компания. Даю три минуты!» И он извлек из парчового карманчика первоклассные женеvские часы, кои за шестьсот дней еле слышного тиканья отклоняются всего на одну минуту.

Досконально известно, что Карантце на глазах у всего собрания начал вздыматься, пока не утвердился в закатном небе подобием подвешенного в упомянутой Кунсткамере птеродактиля. Впрочем,

как ни странно, фигура сия помимо намека на многомиллионлетнее бесчеловеческое прошлое, содержала в себе и ноту современного трагизма, едва ли не мучительность всех форм человеческого протеста, вкупе с демонизмом ближайших окрестностей астрала. Экое чучело в его безобразных башмаках, одновременно подумали курфюрстиночки, а между тем впору было подумать, что ему не чужды и романтические поползновения, предположим влюбленность в какую-нибудь земную барышню, страсть к ее похищению из-под венца, ну, словом, что-то в этом роде.

«Плюю на тебя, Вольтер! — вдруг со скрежетом возопило доисторическое существо. — Что мне твоя история, что мне вся ваша цивилизация?! Считаете свои дни от фараонов, а мумиям сиим всего четыре тыщи ваших лет, значит, недалеко вы ушли и от нильского комара! Какого Бога вы ищете, прославляете, отрицаете, вы, мошкара? Своего, мошкариноного? Шкара? Аракш! Карша! Мммшшшккккrrрааа!» Речь его быстро превращалась в мычание и скрежет, однако он еще силился нанести человеческому роду главное оскорбление, простираясь над парком в крестоподобной форме и пылая из глаз желтым огнем.

«Убирайся, Карантце!» Вольтер длинным пальцем с едва заметными узелками подагры обводил небосклон, пока не ткнул в самую темную, лиловую бездну. «Ва-тан, донк, исчадие вони и мрака! Сегодня мы здесь разыгрываем то, что вашим тварям неведомо, праздник юмора и вина! Уходи, а то прикажу стрелять! Я знаю, что ты не умрешь, но будет больно!» Чудище стало извиваться, то выпрыгивая из своей одежды, то влетая в нее и вылетая обратно. Оно еще пыталось принять форму креста, но полу-

чались только бездарные изогнутые имитации, то нечто вроде коловорота, то в форме скрещенных орудий труда. Наконец, обратившись в булыгу космического типа, оно умчалось прочь и растворилось в лиловом.

Общество на террасе разразилось хохотом и аплодисментами. «Браво, Вольтер! Какой блестящий перформанс! Вот что значит, господа, блистательное артистическое воображение!»

И снова Вивальди. Бравурно-драматический хор скрипок. Лето в зените. Дальние сполохи. Через час зажгутся Стожары. А кавалеры Буало и Террано все еще не появились. Принцессы с недоумением смотрели друг на дружку.

А в жизни кавалеров между тем произошло неожиданное, хотя, в общем-то, вполне заурядное, учитывая уношеский возраст и мужескую принадлежность, событие. Вскоре после завершения филозофического диспута Николя ворвался в комнату Мишеля. Последний полулежал на диване в обществе бутылки голландского джину, коя была уже наполовину пуста. Он мучился от накопившихся в жизни неясностей. Душа — а может быть, голова? — а может быть, обе совместно? — требовала ответов на стустившиеся мучительности. Не давала покою, например, память о томительном сладострастии в обществе императорского посланника, барона Фон-Фигина. Что сие было — явь, или полусонная иллюзия, или же полная не-явь, а лишь фантазм подпольного сознания? Нужно ли делать вид, что вообще ничего не было, или следует подойти к вы-

сочайшему сановнику и попросить объяснения? Бередили душу-сознание и нежнейшие неясности то ли с Клаудией, то ли с Фиоклой, эти поддувания сзади возлюбленных до перехвата дыхания завитушек над девичьими шейками, эти обмены столь многозначительными откровениями взглядов, эти мучительные и пьянящие голову ощущения сословного неравенства с сими принцессами, рожденными вовсе не для амуров с офицерами, даже и гвардейскими, а для династических браков европейской монархической паутины. Тревожили и множественные вопросы, накопившиеся, особенно после сегодняшней дискуссии, к мэтру Вольтеру, особенно по поводу первородного греха и происхождения человека. Возможно ли со стороны столь выдающегося оппонента теологии, величайшего мудреца и поэта, столь буквалистическое толкование идеи Творения, в частности вот этого посыла: «Из праха Ты встал, во прах и вернешься»? Осмелиться ли предложить ему догадку, что Время — это и есть Изгнание из Рая? Задать ли вопрос о возможности разных потоков времени, в частности о жесточайших «вольтеровских войнах», в кои мы с Николашей время от времени проваливаемся? Поймет ли он сию облизкурацию, пусть хотя бы уж как козни местной дьявольщины, или примет за идиотов? Ей-ей, все эти нелегкие мысли вызывали порой у Михаила Земскова прямое желание принять на загривок какое-нибудь пушечное ядро или ж самому атаковать башкою вперед крепостную стену вековой кладки.

Вот за такими мыслями коротал сиесту кавалер Террано, когда в комнату ворвался с огневыми глазами кавалер Буало.

«Мишка, сегодня уж прям свершается какой-то день чудес! Вообрази, иду от Гран-Пера через парк и вдруг прямо за «Обителью фавна» — ей-ей, удивительнейшая суркумансия! — наталкиваюсь на двух прелестниц обольстительнейшего, а проще говоря, вполне мамзельского толка, как будто из кумпании васьльевоостровской Нинетки; каково?! Вообрази себе, русские козочки из Свиного Мунда, где их супружники служат в артиллерийских чинах и пребывают сей день в Мекленбурге на учениях! Ну вот сии сударыньки и приплыли на Оттец поглазеть на Вольтера; так, во всяком случае, рекут, а на деле-то, видать, лишь в поисках фаллусов. Говоря дискретно, я с ними договорился! Сначала для вида пожеманились, а потом гласят: только уж, государь, извольте явиться с сотоварищем, с каким-нибудь эдаким Мишелем, о коем ходят в округе всевозможные нежные толки. Так что, Мишка, видишь, и в шхерах чухонских настигла тебя твоя неотразимость!»

К назначенному часу кавалеры направились в «Обитель фавна». Николя в предвкушении сладостной потехи едва ли не подпрыгивал при ходьбе. Мишель же подрагивал в подвздошных областях организма: к накопившимся проблемам прибавилось еще одно надвигавшееся нравственное падение. Хитря сам с собою, он уповал на то, что «мамзели» не понравятся. Вспоминая походы на Васильевский остров, то есть откровенные оргии фаллусов и вульв, он понимал, что даже при малейшей привлекательности найденных Николашей развратниц ему не устоять перед соблазном. С одной стороны, шептал

он себе под нос, сия адюльтера хороша для подтверждения мужественности, для опровержения тяги к специальному посланнику барону Фон-Фигину, а вот с другой стороны, она все-таки нехороша как измена юношескому идеалу в лицах двух божественных курфюрстиночек.

«Да что ты, Мишка, все дрожишь, все чихаешь и сморкаешься? — урезонивал его вельми решительный полубратец. — Ежели думаешь, что ебля с мамзельками затуманит твою романтическую литературственность, так взгляни на всю нашу облискурацию с другой стороны. Как здоровые российские уноши патриотического воспитания да еще и энциклопедического поколения мы нуждаемся, как доктор Бордо-то сказал, в расширении капилляров наших фаллусов, неспа? Без мамзелек, мой друг, мы подвергаем опасности нашу романтическую литературственность, то есть обеих курфюрстиночек, героинь наших сердец, однако же не наших фаллусов. По-неже дефлорация сиих юниц вызовет сущий обвал в династическом каталоге европейских невест. Ты меня понял?» Он бурно захохотал и добавил: «Насытив наши фаллусы с мамзельками, мы сможем без особой колдоватности читать нашим крошкам стихи Мариво и рассуждать о происхождении человека. Верно?»

С этими словами он отмахнул стеклярусную занавеску, и они вошли в грот фавна. Каково же было их удивление, когда вместо обещанных «мамзелей» они увидели в гроте фон-фигинских унтеров Марфушина и Упрянцева с их роскошными блондинистыми усами. При виде офицеров оные низшие чины прыснули смехом, да так заразительно, что не раз уже упомянутые в этой под-

главке органы до предела расширили свои также упомянутые капилляры.

Оказалось, что Марфушин и Упрямец ждут тех же самых искательниц приключений из Свиного Мунда. Увы, что-то судырыньки припозднились. Ну что ж, господа офицеры, давайте не скучать! Унтеры раскрыли плетеные корзины. Вина полно, есть и закусь, способствующие восхищению жизнью. Есть и кресла, есть и канапе. На камни у фонтанчика брошены кое-какие пледы. Мягкий закатный свет еще проникает сквозь стеклярус, большего и не нужно. Упрямец сел на колени Мише, словно опытный кавалерист. То же самое Марфушин сотворил с коленями Николая. Оба стали расстегивать свои преображенские мундиры. Из суконной глубинки полезли великолепные упругие груди-маммари. Дыхание всех четырех сбилось. Началось терзание нижних частей туалетов. Уноши больше уже не сопротивлялись мужеложскому соблазну. Усища военнослужащих больше их не смущали, тем более что все остальное было отменно женского толка. Только тогда, когда все уже установилось и пришло в мерное движение, с Колиным опережением на полтакта, в головы обоих офицеров одновременно пришла интересная мысль: «Так вот с какими унтерами путешествует фаворит государыни!»

Наконец, исторгнуты были победоносные четыре клича, после чего унтера нежнейшими голосками спросили: «Вуле-ву ну шанжон дё позисьён, месье?» — и произведены были должные перегруппировки и перемещения. С каждой новой переменной позиций воздух в гроте заполнялся все большим числом истинно приаповских атомов. В конце концов, пытаясь утишить страсти, все четверо полезли

в фонтан, однако сим перемещением достигли совсем уже противоположных результатов, иначе говоря, вакхического экстаза.

Марфушин и Упрямец первыми запросили прощенья. «Вот уж не думали, господа подпоручики, что кадетский корпус рождает таких олигархственных представителей!» Коля и Миша, возвращаясь в объятия чистого разума, предположили, что надо хоть малую толику зарядов оставить на случай появления Светланы и Натальи, то есть тех самых свиномундских пострелиц, со встречи с которыми все и началось в этот престранный предпоследний день июля. Унтеры снова прыснули усталыми серебристыми колокольчиками: «Ах, судари наши молоденькие, неужто вы еще не поняли, что мы как раз и были теми самыми Светланой и Натальей?»

«А пошто ж вам понадобились гренадерские-то усища, господа преображенцы?» — томно спросил Михаил.

«По долгу службы в эскорте барона Фон-Фигина, — ответствовали Упрямец и Марфушин. — Ведь ежели прознает его светлость про наши машкерасы, не пожалеет своих верных служащих».

«Брависсимо! Брависсимо! — восклицал Никола, вновь растопыривая унтеров дивными округлостями кверху прямо под тонкие лучики явившегося в прозрачную темень небес молодого месяца. — Машкераса сия удалась! А теперь, милостивые государи, приступаем к финалу!»

И так внове началась сладкая страда весьма настрадавшимися, а отчасти даже и стертыми до капелек сукровицы любовными, условно говоря, органами. «Ну довольно уж, господа, — слабенько верещали унтеры с каждым ударом распухших тара-

нов. — Ласкаемся хоть ноги от вас унести вживе, милосердное уношество».

Тут кто-то колдовство над нами чинит, вдруг сообразил Миша и, сообразив сие, немедленно заметил, что весь грот со злой ухмылкой следит за их вакханалией всеми вставленными меж камней раковинами, а со сводов бессмысленно издевается запечатанная в многомиллионелетний янтарь звероподобная жужелица. Прав Вольтер, когда говорит, что в эдаком эротизме есть что-то решительно ридикульное, нечеловеческое. Пошто ж я-то никак не могу от сей сласти отстать, а все тяну бесконечную и толь желанную тягомину, внедряясь своим отростком в поддон иного растопыренного человечества? Еще один энстан, и всех нас тут зальет горячей янтарной массой, застынем на остановившееся многомиллионство лет, подумал он и большим напряжением воли заставил себя выйти из Марфушина. Посторонние взгляды тотчас же погасли.

Николя тоже уже натягивал атласные порточки, подвязывал ниже колен модные банты. «Теперь пора уж, милостивые государи, присоединиться к обществу, а то ведь могут нас хватиться и подумать, что мы где-нибудь в парке развратничаем».

Унтеры Марфушин и Упрямец быстрыми, подлинно гвардейскими движениями приводили себя в порядок. Всей четверке было теперь не до телячьих нежностей.

А вот генералу Афсиомскому, несмотря на героически укороченную ногу, пришлось распорядиться танцами. Выстроив две колонны в котильоне, он давал знак оркестру и быстро скользил по мраморным плитам, слегка припадая, однако ничуть не

хуже, чем припадает высокопородная немецкая овчарка, к своей величавой партнерше, вот именно к самой Ея Высочеству курфюрстине Леопольдине-Валентине-Святославне, чтобы, приподняв ее не менее, но более высокопородную, чем его укороченная нога, руку, возглавить парад танца.

Прибытие датской правительственной делегации породило существенный дефицит в дамах. В связи с этим некоторым мужчинам пришлось довольствоваться однополым партнерством, что воспринималось с великолепнейшим хохотом. Кое-кто из бывалых людей по этому поводу вспоминал знаменитые андрогинные балы императрицы Елизаветы, когда дамы по высочайшему капризу являлись в мужском, а кавалеры скользили в широчайших дамских фижмах.

Ко всеобщему удовольствию, одну из таких однополых пар составили два главных дискуссионта Остзейского кумпанейства философов, Вольтер и барон Фон-Фигин Федор Августович. Попеременно то один, то другой из них изображали даму. При всех стараниях Вольтера все соглашались, что у Фон-Фигина это получалось лучше.

Оркестр для этого бала Афсиомский заказал в Гданьске стараниями, разумеется, все того же герра Шпрехта-пана-Пташка-Златовского. Член магистрата и сам удосужился прибыть вместе со своей саксонской гнутой трубкою. Теперь, сидя в первом ряду музыкантов и издавая вельми гармонические звуки, он раскланивался и с министром финансов Цвейг-Анштальта, и с влиятельной ключницей герцогини

Амалии, и с канцеляристом из свиты статс-секретаря, а также условными знаками и с прусской агентурой, кою мы поостережемся называть, не прерывая котильону.

Вдруг торжественное и, по правде сказать, несколько занудное шествие нарушилось нежданной эскападою. В оркестре застучал турецкий барабан, непостижимым образом взметнулись скрипки, вместе с короткими отрывами и долгими волнообразными пассажами заговорили саксонские трубки: смешав жанры, оркестр перешел с чинного котильона на вихревой матлот, то есть матросскую пляску, хорошо известную всякому, кто плавал к индиям.

Пары словно сорвались с привязи и на всех парах, хоть так тогда еще и не говорили в связи с неполным присутствием паровых двигателей, помчались к неведомым экстазам. Кавалеры закрутили дам вокруг себя, мелькая и сами наподобие ткацких челноков. Запестрели и локти, затряслись над головами кисти рук. Трудно поверить, но дамы поддегивали полотнища своих юбок, обнажая конечности аж до прельстительных щиколоток, а обладательница турецкого машкерада-шаривари даже отважилась на вполне не робкую имитацию «танца живота». Вместо стройных колонн котильона на террасе теперь клокотала анархическая «матроска» Века Просвещения. Моду тут задавали, конечно, молодые мичманы с линкора «Не тронь меня!» Фукс, Факс и Факсимильев. Ловя на себе поощрительный взгляд посланника Фон-Фигина, не отставал от молодежи и коммодор Вертиго. Что касается корабельного батюшки отца Евстафия, тот отчебучивал чечетку. Временами кто-нибудь из моряков выкрикивал «Трави концы!» — и тут же не-

сколько луженых глоток отвечали ему кличем своего корабля «Эвонна эво!». Иные, в частности только что взбежавшие на террасу кавалеры Буало и Террано, пошли вприсядку. Засим, уже с участием нижних чинов, а именно гвардии унтеров эскорта его светлости, образовался хоровод вокруг великого Вольтера. «Ах, маменька, ах, папенька, — умоляли своих августейших родителей пылающие курфюрстиночки, — ну позвольте же ж и нам присоединиться к танцующему пчеловодству!» Курфюрст качнул своей козлиною бороденкою мыслителя и воителя: ну как он мог отказать своим возлюбленным детищам? Курфюрстина подтолкнула девочек и сама прокрутилась вокруг собственной оси. Взвизгнув, Клаудия и Фиокла влились в хоровод, по чудеснейшей случайности как раз между Мишелем и Николя, как раз насупротив подмигивающих им Марфушина и Упрямцева.

Вольтер вращался в центре, словно солнце со своим хороводом планет. Подняв ладони ко рту, он трубил:

Крутись, о жизни колесо,
Как сказал Жан-Жак Руссо!

Прокрутившись весь круг, трубил уже следующую припевку:

Пошли всем счастья ведро,
Так просил Дени Дидро!

Еще круг — и следующая припевка:

Всем восхищения без мер,
Провозглашает Д'Аламбер!

В завершение бурного матлота вокруг философа образовался малый круг младости: курфюрсти-

ны Фиокла и Клаудия, кавалеры Мишель и Никола, гвардии унтеры Марфушин и Упрямец, а также мичманы Фукс, Факс и Факсимильев. Уноши подъяли над головами свое холодное оружие, уницы же взвихрили ночной бал лентами и перьями своих умопомрачительных шляп. И вся девятка протрубила завершающую припевку:

Веди, вершитель вышних сфер,
Наш электрический Вольтер!

Следует сказать, что, употребляя слово «электричество», вольтерьянцы тех времен имели в виду не бытовой источник энергии, но непостижимый небесный поток сродни фложистону.

«Как странно, мой Вольтер, протекает время за пределами нашей сугубой регулярности! Всего лишь неделю пребываем мы на сем острове, а ведь кажется, что уж не менее месяца прошло! В Санкт-Петербурге при всех ритуалах Двора не успеешь и заметить, как промелькнут семь дён. Ты как философ не считаешь ли, что путешествия страннейшим образом расширяют время нашей жизни?»

Так спросил барон Фон-Фигин своего обретенного в течение сей толь долгой июльской недели друга. Вдвоем они отделились от шумного праздника и теперь сидели в креслах на маленькой галерее, где сервирована была для них партия душистого тайландского чаю. Общее веселие уже затихало, лишь изредка с террасы доносились до них вспышки смеха и всплески разноплеменных голосов. Многие гости уже возвращались восвояси. В частности,

виден был в полосе лунного света вельбот с плывущими к кораблю моряками.

Вольтер развязал свой изящный галстук. Шелковая ткань немедленно была подхвачена прилетевшим с востока бризом. В полумраке галереи старец показался барону едва ли не ровесником. Голос тоже, как будто бы под чарами ночи, звучал по-молодому: «Ах, Фодор, я думаю, ты не удивишься, если я скажу, что мы проводим здесь дни страннейшего волшебства. Время тут пошаливает со своими клиентами, то есть с нами. Меня, например, посещают тут сны, кои самыми причудливыми метафорами соединяются с реальностью. Иногда мне кажется, что причиной сего феномена является твое присутствие, мой Фодор. Иногда мне кажется, что я уже представлен Императрице и говорю с ней на «ты», как с тобою».

Фон-Фигин расхохотался всеми своими жемчугами: «Ласкаюсь узнать, как звучит на «ты» обращение “Ваше Величество”». Вольтер с игривостью пожал плечами светского человека: «Нет ничего легче. TA MAJESTE, Твое Величество, сказал бы я ей. Твоя царская таинственность может соперничать только с твоей женской прелестью, так бы я ей сказал». Барон расхохотался еще пуще: «Мне это нравится! Клянусь, Вольтер, я никогда еще не встречал большего дамского угодника и обольстителя императриц, чем ты!» И с этими словами он нажал двумя пальцами на коленную чашечку старика. Длинная сухошавая конечность дернулась, как лягушка под иглой исследователя. Нет, недаром этого Вольтера называют «электрическим».

Вольтер извлек из камзольного кармана табакерку с портретом Императрицы и предложил по-

нюшку своему собеседнику. Как это водится в мужских клубах между сурьезными конфидантами, оба в унисон прочистили ноздри зарядами чистейшего вест-индийского табаку.

«Я должен сделать тебе, мой Фодор, одно курьезное признание, — сказал Вольтер после этого акта дружбы. — Не знаю, как ты, но я никогда в жизни не испытывал никаких гомосексуальных поползновений. Даже Фридрих Прусский не смог меня соблазнить своими прекрасными Антиноями-адьютантами. Не исключаю, что сия моя несклонность была одной из причин нашей размолвки. Но вот, вообрази, на этом странном острове, под этими странными балтийскими небесами я стал испытывать некоторое влечение к одной из присутствующих здесь мужских персон. И эта персона — ты, мой Фодор. Мне кажется, что сие курьезное чувство, превышающее обычное чувство дружбы, кое немедленно возникло между нами, вызвано тем, что ты несешь в себе образ вашей Императрицы».

Он посмотрел на посланника, ожидая увидеть в его лице насмешку, возмущение, презрение, брезгливость — одним словом, гамму отвратственных чувствований, кои, как казалось ему, должны были возникнуть при такого рода признаниях у сильных мужчин, к каковым он, безусловно, относил себя и «своего Фодора», хотя теоретически и предполагал в сиих чувствованиях глубоко замшелую филозофскую отсталость, но вместо этого нашел на лице оном вельми серьезный и внимательный прищур.

Он продолжал с печалью: «Не знаю, что со мной, поверь, не могу понять. Вообрази, старость принесла мне не только телесные слабости, но и некое спокойствие, поскольку освобождала от чувственности.

Но вот на острове сем, что явственно встал из вод балтийских не без помощи лукавого, меня стали посещать неведомые и прежде, в молодые годы, эротические фантазмы. Не могу даже и сказать, что это было, сны или галлюцинации. Однажды ночью мне мнилось даже, что я был взят в объятия двумя молодыми феминами с великолепными усами, сродни тем, которыми по праву гордятся твои гвардейские прислужники. Якобы я испытал с ними то, чего не хватало мне даже и в юные годы, после чего был озарен чем-то третьим, совсем невыразимым и величественным.

Вот именно после той безумной ночи я стал испытывать к тебе, мой Фодор, странное влечение. Мне почему-то кажется, что я за тысячу миль влюбился в Екатерину, а поелику ты связан с нею интимнейшими узами фаворита, преданного защитника и умного друга, сие страннейшее чувство к женщине, которую я никогда не видел и вряд ли увижу, частично перенеслось и на тебя, мужчину. Ну-с, что ты можешь сказать о толь диковинных инверсиях чувств, или, как бы назвал это наш общий друг Ксено, «облискурациях»?»

Фон-Фигин рассмеялся с добродушием, лукавством и, как показалось Вольтеру, с облегчением. Он даже немного поактерствовал, пытаясь изобразить кокетливую даму: «Ах, вы меня смущаете, мон мэтр!» — после чего запанибрата хлопнул философа по костлявенькому плечу: «Послушай, Вольтер, ты замечательно проанализировал некоторые закоулки своего сознания. Однако я думаю, что ты не должен опасаться. В наш странный век и с мужчинами, и с женщинами случаются еще и более пушие абсурды сего рода; я знаю это по себе. Тому виною андрогинические поползновения, что пронизали все

наше общество. Посмотри вокруг, мы сплошь и рядом видим маскулинизацию женщин и феминизацию мужчин. Подумай сам, дамы скачут верхом в рыцарской позиции, а часто и в военных мундирах, употребляют нюхательный табак и играют на бильярде, ну а мужчины, о них и говорить нечего: носят парики наподобие дамских укладок, кружева на груди и рукавах, банты, атласные штанишки и туфли на высоких каблуках, более того, украшают себя драгоценностями. Все люди света, а также и средних сословий, бреют верхнюю губу, щеки и подбородок. Только консерваторы вроде меня еще подкручивают усики. А посмотри на армию: сколько диковинных шляп и плюмажей! Даже простые солдаты пестуют свои длинные косы, смазывают их салом и посыпают пудрой. Что это значит? Однажды на веселом суаре в Эрмитаже наша Государыня, а ее по праву называют «божеством веселости», взялась рассказывать, как она в мужском костюме принялась объясняться в любви одной барышне и та воспринимала сей театральный трюк как должное. Что за игры играет с нами природа? Уж не приближается ли цивилизация однополой любви?» С этими словами барон Фон-Фигин зевнул, да так широко, что свет свечей озарил его глубокую глотку с подрагивающим внутри маленьким язычком.

Вольтер закрыл глаза, а потом и веки прикрыл ладонью. Он чуть не плакал. Этот немец, российский вельможа, чертовски умен, думал он. Он обладает даром анализа, он дает мне возможность отойти от ридикульного признания, и все-таки, и все-таки я не могу избавиться от чувства, что он ведет со мною какую-то неясную игру. «Мой друг, мой Фодор, надеюсь ты не принял за чистую монету то, чем я ре-

шил завершить сегодняшний толь насыщенный церебральными играми день?» — спросил он.

«Это не игры, мой мэтр, — отвечал посланник. — Все наши диалоги очень важны, все они будут переданы Государыне, и, я уверен, они произведут на нее чрезвычайное впечатление и замостят дорогу для вашей с ней непосредственной встречи. Ну а теперь позволь мне пожелать тебе спокойной ночи и новых сладостных снов. До завтра, Вольтер!»

Большая терраса замка напоминала покинутое поле схватки. На мраморных плитах там и сям лежали сраженные Бахусом фигуры танцоров и музыкантов. Слуги, кои в начале праздника толь чинно выступали с подносами напитков и закусок, теперь уподобились санитарам разгромленной армии. Впрочем, они и сами едва стояли на ногах. Кое-где по краям балюстрады еще мерцали непогасшие фонари, однако преобладал ровный и сильный свет полнолуния. То и дело со стороны моря появлялись большие чайки, они опускались на оставленные подносы и взмывали в ночное небо с цукатами в алчущих клювах. От оркестра остался лишь квартет: две скрипки, альт и саксонская дудка. Прикрыв глаза, стойкая четверка, и среди них, конечно, пан Шпрехт-Пташек-Зотовский, упорно играла Ля Нотту синьора Антонио Вивальди.

Барон Фон-Фигин вышел из галереи на террасу и с застывшей улыбкою на устах начал пересекать опасное пространство; за ним увивались три кота. Пан Шпрехт с неожиданным для его корпулентной фигуры проворством, уподобляясь котам, скользнул

вслед за посланником и опустил в карман его кафтана плотный конверт с гербовою печатью. Барон закончил пересечение залитого луною квадрата и углубился под сень другой галереи, ведущей к его покоем.

Навстречу ему кто-то спешил в темноте, шумно дышал и сквернословил по-французски. Барон, прынув к стене, выставил тут же проворную ногу. Поспешающий споткнулся, но был подхвачен баронской рукою. Луч луны озарил его внешность. Шалость барона была вознаграждена: пред ним теперь пребывал один из уношей вольтеровского эскорта, пусть не совсем тот, за коим барон собирался послать своих унтеров, но тож достойный внимания; кажется, Николя. Мужеской юностью и смесью винных напитков несло от него. «Куда поспешаешь, солдат? — спросил барон, держа его левой рукою, а правую верша рэнсенъеман в соответствующих сферах. — Вот видишь, ты охотился за какой-то птичкой, а сам попал в плен к лису. Следуй за мной!»

Три кошки прыгнули за их спинами на освещенную луною балюстраду. Они хохотали подобием чертей, коими, по всей видимости, все больше заполнялись замок и парк, однако было уж не с руки дивиться подобным куншттюкам.

Николя, не в силах изречь ни шиша, тянулся за бароном как бы влекомый силой гипноза. Они проследовали в кабинет посланника, где мирно светились два канделябра, творя из грозного мрака уютственный полумрак. Открыты были клавиши клавикорда, и ноты стояли на них. «Возляг на ковер, Ланселот, а я услажу твой слух тихим шансоном, — проговорил барон. — Но прежде ты должен испить бокал освежающей влаги».

Он отошел к столу, сотворил в бокале нужную винную смесь и размешал в нем целую ложку кантаридинового порошку. Николая проглотил волшебный напиток и бухнулся на ковер. По взбаламученному его лицу почти тотчас пошла расплываться улыбка тихого счастья. Барон присел к своим клавишам, кои не раз помогали ему очистить усталую душу. Полилась убажывающая чаконна. Он слышал спиною, как утишалось дыхание его полуношной добычи, как погружался унош в объятая синьора Морфео. Тихим, хоть и чуть-чуть страшноватеньким меццо-сопрано Федор Фон-Фигин пропел:

В этой пещере, что мы именуем нашей землёю,
Вдруг возникают прорывы в небесные сферы.
В эти моменты душою и телом я млею,
Сопровствляюсь тому, что именуется мглою,
Хоть и приходится дань заплатить королю
Люциферу.

Николя безмятежно спал, дитятею бормотал бесвязности, бубукал губами. Зрелище это ласкало сердце барону. Он закрыл крышку клавикорда, снял туфли и кафтан, расстегнул створы камзола и прилег на ковер рядом с младым чэзавекком. Пальцы его проникли под бант на затылке и ухватили кавалера за тугую косу. Ощущая вздувающийся гультфик героя сегодняшней ночи, он почувствовал приход своей основной думы. Как я могу отвергать соблазнительность жизни, когда постоянно за мной по пятам ходит угроза убийства? Вот негодяи ворвались, толпою идут по анфиладам, шпаги в руках для закланья и веревка за пазухой для удушенья. Кто защитит меня в этот момент, кроме Афины Паллады? А что ей меня защищать, мудрейшей и равнодуш-

ной? Вот подают мне десерт, нежнейшие сливки с клубникой, смотрит весь Двор, как я эти радости поглощаю и вдруг обжигаюсь финальной горечью злобной цикуты. Кто эти мысли изгонит и даст мне забвенья, кроме безумного Диониса? О, защити меня, Дева Святая, споручница грешных!

Тут ветер, столь же сильный, сколь и неожиданный, влетел в открытые окна и загасил канделябры и так же неожиданно, как влетел, мгновенно утих. В тишине донеслись до ушей трепетавшего над телом уноши барона склянки с пушечного корабля NULLE ME TANGERE.

Вольтер уже почивал, обложенный пуховиками и грелками попеременно с пузырями льда. Флакон тизанской воды стоял на ночном столике в полной готовности для изгнания сухости из полости рта. Утка, изделие из мельхиора, из-под зада смотрела в промежность, всегда наготове для приятия мудрой мочи. Порошки сульфата бромиды в облатках приготовлены были верным Лоншаном на случай, если великий чуловэк начнет восклицать во сне; такое случалось все чаще. Все его демонье сидело в ногах и по краям огромной кровати на манер домашних животных. Тихо скулили: «Когда ж мы вернемся в наше Ферне, мэтр великолепный?!» Так дорожили они своим достоянием, телом Вольтера, что готовы были даже гнать прочь столь ими глубоко уважаемого магистра Сорокапуста.

Онный не появился, но вместо него сквозь балконные двери прошли два нежнейших создания с большущими шелковыми усами и с бюстами муз.

Они напевали блестящими губами и подрагивающими языками:

В честь блистательного нашего мэтра Вольтера
Импровизируем мы песнь вакханальных дубрав.
Пусть наши глотки звучат, как в оркестре валторны,
Старца красу воспоем, лицемерье поправ!

Вольтер сел в постели, простер невесомые руки, распахнул то ли незрячие, то ли дальнорезкие очи, в ночном колпаке похожий на деревянную куклу Пиннокье из итальянской кумедьи. То ли во сне, то ли в глубоком трансе неподвижными губами неслышно он шептал: «Суйе бьенвеню, дражайшие гости, гонцы андрогинного века, жрицы или жрецы любви, войдите ко мне, изгоните виденья войны, пожары и насилий! Изыди ты, грохот революционных армий, гоню вас прочь, залпы бесчисленных батарей, смрады полей сражений и осквернение церквей! Жажду я вас, медовые валторны, перекликающиеся в дубравах тихих и сладостных вакханалий. Бежав от христианства, молю тебя, Боже, дай допуск мне в мир свежего паганизма и всех сих наивностей раннего мира; аминь!»

Гонцы уселись, один (или одна) в головах, другая (или другой) в ногах, шекотали его шелковистыми усами, снимали колпак и пунцовыми губами поддували цыплячий пушок на недюжинной голове, стаскивали ночное одеяние, сотканное из шерсти ангорских коз и пропахшее собственным внутренним потом великого чловизкко, обкладывали слабо дрожащее похотью длинное тельце своими горячими молодыми усладами; ну вот и все, теперь ну вот и все, теперь усни, как ранний чууваак, прощай и не забывай, Вольтер!

По долгой песчаной косе, что тянулась от внешней восточной бухты острова Оттец, шли под луною две молодые фигуры. Обувь несли они на плечах, связанную шнурками. Босыми ногами шагали прямо по кромке отлива. В мужской фигуре немудрено было узнать гвардейского офицера Михайлу Земского, он же кавалер де Террано, но вот в женской, вернее, в девичьей далеко не всякий осмелился бы предположить курфюрстиночку Цвейг-Анштальтскую-и-Бреговинскую, сбжавшую по зову уноши из опочивальни, то есть прямо из-под надзора своих шаперонш, в ту ночь, впрочем, не ахти каких бдительных. Добавим к этой дерзкой картине еще один штрих: юбка девицы была забрана вверх и заткнута за пояс, юные икры светились, серебристые искры воды то и дело вздымая, икры сии как будто бы хотали вместе с девическим горлом.

«Да как же, Мишель, набрался ты дерзости весь день перечить Вольтеру?!» — смеялась она.

«Тому виною не я, а моя голова, Ваше Высочество», — с таким же беззаботным смехом отвечивал офицер. Он наслаждался каждой минутой этой подлунной прогулки и сам себя мнил в сии минуты таким же чистым и легким, как существо, шагающее с ним рядом то в ногу, то слегка оступаясь, чтоб ненароком на плечо его опереться. Щастливым и легким, как будто и не терзали его совсем недавно порочные страсти. «Знаешь ли ты, благородная дева, что друг твой с главою своею не очень в ладах? Самто я прост и смешлив, сие тебе ведомо, правда? Однако глава моя, о которой немало сломано досок и ядер чугунных, по коей прокатилось немало от макушки до шеи, порою впадает в обширную и вельми глубокую облискурацию...»

Он все еще хохотал, но вдруг заметил, что дева молчит и с грустью любовной внимательно поворачивает к нему ярко дрожащее око. Впереди между тем темное тело сродни чудо-юду-киту на полном песке выделялось, приблизившись, превратилось в оставленный данский баркас. Прыгнув, оба в момент оказались на широкой и плоской корме, где и уселись.

«Как же прикажешь мне понимать сию облискурацию, мой шевалье?» — курфюрстиночка спросила.

«Ах, Клоди», — вздохнул он и вдруг положил ей на бедро свой ненадежный мыслительный орган. Клаудия вздрогнула тонким своим обличьем, но с бедер не прогнала. «Только тебе я могу признаться, тебе да Коле, что временами брожу одинок по невнятным просторам мира, верней, в червоточине времени, откуда выводит путь то в прошлое, а то и туда, где совсем пропадешь, естли не назовешь его будущим».

«В червоточине, ты сказал, мой Мишель?» — переспросила она и, переспросив, содрогнулась.

«Как же еще прикажешь сию феномену называть, естли выпадаешь из времени?» Тень какая-то тут прошла по его лицу, словно меж ним и луной пролетела какая-то птица, но небо было чисто.

«И там, в червоточине, мой Мишель, ты получаешь какое-то знание, не так ли?» Она положила ему на лоб свои тонкие и будто бы мыслящие пальцы.

«Неведомо мне, могу ли назвать сие знанием, ежели, вернувшись, не могу рассказать о сем эксперьянсе ни себе самому, ни близким персонам, однако порою мне мнится, что после таких путешествий я понимаю больше, чем Вольтер, о человеке и Боге».

Пальцы ее крепко обняли его лоб. «Попробуй, хотя отчасти, поведать мне то, что ты не в силах сказать».

Он снял ее пальцы со своего лба, положил их себе на губы, потом стал целовать узкие ладони, «венерины холмики», кои, помнится, кадеты называли не иначе как ключами к сердцу девы. Не ошибались негодяи: дыхание курфюрстиночки сбилось, она прижалась к нему всем телом. «Ну, Мишель, теперь поцелуй меня в губы, поцелуй меня злобно, попесьи». Он откатился в сторону: как можно опохабить чистый образ смрадом сегодняшнего греха? Пусть хоть ночь пройдет, пусть встанет новое солнце. «Ах, Клоди, подожди, дай мне поведать тебе то, чего не в силах сказать, а то забуду!» Она отвернулась и глухо промолвила: «Ну, говори!»

Теперь они сидели на корме оставленного баркаса на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Он первый раз видел ее голые колени, вельми худенькие. Пустынное море вдали поднимало пенные гребни; начинался прилив. Он заговорил:

«Ну, вот начнем с излюбленного парадокса Вольтера о грехопадении. Почему все человечество должно быть проклято из-за того, что пять тысяч лет назад один мужчина, то есть Адам, согрешил с одной женщиной, Евой? Что за странный счет лет? Ужели энциклопедисты всерьез читают сие так, что Адам был изгнан из Рая за то, что полюбил Еву, и что это случилось пять тысяч лет назад? Начнем с того, что в райском саду вообще не было времени, никакого! Ты это понимаешь? Это был, конечно, не сад, а просто Рай, и он, конечно, не был, а просто процветал. Именно там возник Истинный Замысел и в нем некие не-сути райской любви. Не знаю, как сказать, но там не было ни воздуха, ни земли, ни воды, и уж тем более там не было огня. Вообще там ничего не было, не знаю даже, как это вообразить,

но там было все. Не знаю уж отчего, может быть, от бесконечного множества, возник какой-то перекокс Замысла, и появилась первая не-суть, потянувшаяся к тому, чтоб стать сутью, и для сего разделившаяся на две не-сути, кои с непреодолимой страстью возжелали стать сутями, то есть Адамом и Евой. Вот тут и возникло то, что великими поэтами Библии было названо Древом Познания, то есть, ну, не знаю, как речь, ну, Косвенный Замысел, что ли.

Ну, далее все это идет, неназываемое, непостижимое, а потому передаваемое только поэзией как немисливо далекая память о Рае, то есть об Истинном Замысле. Соблазн появляется в виде Змея, что был, возможно, одной из ветвей Древа. Яблоко знаменует начало бесконечного пожирания, и потому в нем и содержится ядро Греха.

Вот тут и происходит Творение тварей! Ты понимаешь это, Клаудия, курфюрстина Цвейг-Анштальта-и-Бреговины?!»

Произнеся все это своей головою, он вдруг возжегся всей своей сутью и пробежал через баркас от кормы к носу. Воздел длани к небу, полному звезд. «И вот возникает наш мир!» Оглянулся и увидел, что курфюрстиночка последовала за ним и теперь стоит на носу, длани ее тож воздеты к небу, и очи пылают.

«Воздух!» — вскричала она.

«Вода!» — возопил он.

«Земля!»

«Огонь!»

«Уши!»

«Глаза!»

«Трепет!» — завершил он этот залп восклицаний, и в этот момент среди ровно бегущего моря вдруг поднялась одна большая волна, быстро и мощ-

но прошла над мелководьем и накрыла их на носу баркаса. В последний миг они обхватили друг друга, как будто старались утяжелиться, дабы не быть унесенными в море. Последнее произнесенное перед волною слово обуяло их. Они дрожали, стараясь втереться друг в друга и ощущали свою полную общность, то ли мгновенную, то ли вековую, пока не распались и не рухнули на палубу.

Она прошептала: «Вот теперь мне кажется, я понимаю, как это было до того, как пошло».

«Что пошло?» — спросил он еле дыша.

«Время».

«Значит, ты поняла, что такое изгнание из Рая. Время есмь наше изгнание из Рая. Так начался путь Адама и Евы с ним, путь от начала времен до их скончания, то есть до возвращения».

Она вдруг легко засмеялась: «Боюсь, это случилось немного раньше, чем пять с половиной тысяч лет назад».

Он тоже рассмеялся с некоторым лукавством, воображая себе Вольтера в облике попавшего впро�ак учителя уношества. «Клоди, пять тысяч с половиной лет, как я понимаю, прошли от времен сочинения Завета. Может быть, дьявол сделал нас тварями, но Господь все же вселил в нас Дух Святой, то есть воспоминание о Рае».

До этой книги Адам, быть может, шел миллионы лет. Он встал из первичного праха, то есть из первого замеса земли. Кто знает, сколько лет у него ушло, чтобы приподняться из первой клетки и поползти в какой-нибудь слизи или в воде заюлить амебою, погибая там в каких-то коловратах бессечно, но все ж таки выживая и усложняясь. Вот тут, Клоди, я согласен с энциклопедистами: шла беско-

нечная какая-то эволюция, развитие видов, а не то, что сразу из райских врат вышел готовый чловэк.

Однако эти два течения, Творение и Развитие, отнюдь не противоречат друг другу. Оно тварное развитие — это и есть выход Адама из Идеала; ты понимаешь? А то, что на него ушли миллионы лет, не имеет значения, потому что выход-то шел оттуда, где вообще нет никакого времени. Вот тут, в сей миг, когда сию сентенцию произношу, моя любовь, что-то такое мелькает, как будто самое окончательное для понимания, однако неизменно ускользает от головы, или, наоборот, глава моя от этого окончательного ускользает.

Не исключаю, Клоди, что оное кружение вида иной раз заворачивало в неверную сторону, рождало чудищ драконоподобных: ведь творение-то тварей возбудил именно дьявол, столь чуждый Идеалу. Все же Господь не оставлял Своего изгнанника, старался как-то вывести его из дьявольских игрish, вдуть в него Дух Святой, какую-то, хотя бы смутную, память об Идеале; и вот в конце концов появился мыслящий человек. Чем больше он мыслил, тем короче становилось время. От миллионов лет, в коих человек полностью терялся, как теряется наша планета в мириадах недостижимых звезд, счет свернул на тысящи, а потом и на века, началась, как я понимаю, История. Не о том ли это речет, что подходит конец Изгнания?

Люди мало понимали, кто они такие, вершили много дьявольского, и тогда на Землю был послан Сын Божий в человеческом облике, чтоб человеческим языком и собственной жертвой поведать нам о заветах Рая. Вот тут, моя родная, а после общей объявшей нас волны трижды родная Клоди, опять

начинается мой спор с Вольтером, который вообще занят тем, что изгоняет дьявольское суеверие и фанатизм из служителей Бога, кои веру заменяют ритуалом и нетерпимостью.

Не могу понять, пошто великий поэт так дословно понимает метафоры Евангелия. Вот, например, отвергает все христианство из-за того, что не принимает непорочного зачатия. Непорочное зачатие, он речет, это вздор, попами придуманный, чтоб одурачить людей. Что ты мыслишь на этот счет, моя родная?»

Девушка, которая только что с великим напряжением вслушивалась в разглагольствования унца, явно стараясь не упустить ни единственной мысли, вздрогнула от неожиданности вопроса. Мокрые ее волосы упали на лоб, образовав своего рода вуаль, из-за коей сверкали любовные детские глазены.

«Ах, Мишка, — прошептала она, впервые назвав его на русский манер. — Мне видится много коловратного и головокружительного в твоих философиях. Однако что я могу после всего сего сказать сама? Тем паче о зачатии. Что я, несчастная маленькая принцесса, могу об этом сказать? Я не понимаю, как может быть зачатие порочным. Ужели мы с сестрой — дети какого-то ужасного греха? Мишка, послушай, может быть, в каждом зачатии есть что-то от непорочности?»

«Какой ты умник, родная Клоди! — воскликнул он. — Как ты все поняла! Именно потому и сказано в Писании, что Христос был рожден непорочной Марией, что в каждом человеческом зачатии есть что-то от непорочного! Это речение освобождает человеческих рожениц от греха, но Вольтер почему-то не видит духовного смысла сего речения. Как, впрочем, и священники сей метафоры не видят».

Он хохотал от счастья, и девочка, вспыхнув от его веселья, забралась к нему на колени, спиной к его груди. Он поддувал своим горячим дыханием мокрые колечки у нее на шее, и вскоре они просохли. Вслед за этим и очень скоро они оба совсем просохли и гривы их полетели в потоках благостного ветра: что-то одушевляло сию ночь, в неких нечитаемых, но вдохновляющих смесях представляли пред ними воздух, вода и земля-песок; что касается огня, то он начал являться пред ними в виде гигантских восточных зарниц.

Вдруг за спинами их посыпался песок с одной из дюн и послышался девичий голосок, весьма похожий на голос той, кого Мишель всю ночь называл «Клоди»: «Ах, вот и ты наконец, несносная Фиокла!» С дюны съезжала в подоткнутых юбках вторая курфюрстиночка, взывающая к первой, или скорее, наоборот, — первая ко второй. Через минуту обе копии уже сидели перед Мишелем на носу данского баркаса.

Гвардеец осерчал: «Ну что ж это за бесконечные розыгрыши, мои родные? Прямо так и не ведаешь, в кого влюбился! Кто из вас Клаудия и кто Фиокла?»

«Да мы и сами не очень-то сведущи в сем парадоксе, что учинила над нами природа. Бывает так, что утром выпрыгиваешь как Фиокла, а почивать отправляешься в роли Клоди. Мама обещала внедрить в наши мочки две различных серьги. Вот тогда будет легче».

Оказалось, что обе шаперонши после бала с сердитостью необыкновенной искали Клоди для пре-

провождения ее в опочивальню и в конце концов в опочивальне ее и нашли. Облобызав столь благоразумную девочку вельми обшампаненными пастями и прочтя ей вполне абракадабростую нотацию, обе дамы бросились на поиски Фиоклы, коя, как они друг дружку страшали, могла себе спокойненько убежать куда-нибудь на Корсику с каким-нибудь авантюристическим Николя. Очень скоро в одной из галерей дамы натолкнулись на смиренную Фиоклу, что направлялась в опочивальню, взяв по дороге из библиотеки «Житие Св. Августина». Наградив и сию поднадзорную абракадабростую нотацией, шаперонши, как нынче говорят в придворных кругах, «совсем отвязались» и бросились в какой-то винный погреб на танцы с нечистой силой. Та, кого они приняли за Фиоклу и которая, возможно, и была ею, еще слышала, как в том погребе зывали к какому-то призраку: «Фигхен, Фигхен! О Фигхен, признайся, ты где-то здесь!» Что касается авантюристического Николя, он так и не был найден; быть может, и в самом деле удрал куда-нибудь на Гваделупу?

Утром следующего дня (конец июля) Вольтер потянулся всеми членами своими, вызвав треск суставов, похожий на залп гренадерского взвода. Спустился с пуховых вершин на горшок, возле которого уже поджидал его журнал «Беобахтер». Немцы, как понял он, готовят новый конфликт и подогревают население. Только финансовый кризис может спасти этих болванов от новой военной разрухи. В нижних сферах брюшного царства со сдержанным гневом двигались пузыри.

Когда-нибудь все узнаем про человеческую утробу.

Поднявшись с горшка, он подошел к окну для утреннего вдыхания морского йода. Открыл обе створки и сразу заметил, что круглая бухта за ночь утратила нечто, что делало ее завершенной картиной. Камни, косы песка и дальняя деревушка были в наличии, однако пропало что-то, что делало бухту сию местом действия вольтеровской эпопеи. Несколько раз он потряс головою, прежде чем сообразил, что пропал корабль. Как это можно? Как мог без ведома испариться стопушечный левиафан с флагами Дании, Цвейг-Анштальта, вольного города Гданьска и Российской великой державы? Уж не утоп ли гигант со всем своим экипажем, со всеми шедеврами деревянной скульптуры, со всеми своими вельботами, что еще ночью резво сновали между бортами его и сушией? Проснулся ли я или еще пребываю в столь утомительной облискурации сна?

В этот момент открылись двери и в спальню проследовали, словно для официального опровержения сновиденческих сомнений и для подтверждения реального фактотума, Лоншан и Ваньер, а вслед за ними и сам генерал Афсиомский, конт де Рязань.

«Друг мой Вольтер, я не спал всю ночь, чтоб прежде других уведомить тебя о внезапном отбытии господина императорского посланника, барона Фон-Фигина. Этой ночью из Петербурга прибыл гонец спешной почты. Тебе, конечно, ведом сей вид императорской связи, не так ли?» Вольтер ничего не ответил на бестактный вопрос и лишь подбородком указал Ваньеру на халат, который был немедленно подан. Генерал продолжал: «Достаточно сказать, мой

Вольтер, что депешу доставил сам полковник Егор. Ты знаешь, конечно, о ком идет речь, не так ли?» Вместо ответа Вольтер завязал кушак халата и скрестил на груди руки. Да пошто я позволяю всем этим бюрократам держать себя со мною на короткой ноге? Пошто перехожу с ними на «ты» и позволяю им без церемоний входить в мою спальню? Пошто принимаю подобных генералов в толь непозволительном дезабилье, в ночной рубаше, свисающей из-под халата? Вместо четких шагов в отменных туфлях шаркаю пантофелями со стертým заячьим мехом, пошто? Уж ежели говорить о полковнике Егоре, то не следует ли дать этому рязанскому Ксено понять, что летун никогда бы не позволил себе без приглашения проникать в мою спальню, какое бы важное послание, от какой бы то ни было императрицы ни нес в своей суме.

Филозоф так осерчал, что перестал даже воспринимать то, что Афсиомский продолжал говорить с нарастающей торжественностью. И, лишь когда увидел, что Ксено прижимает руки к груди, расслышал завершение фразы: «...только потому, что речь идет о событиях чрезвычайной государственной важности, о мой Вольтер!»

Он отвернулся от генерала к окну, словно хотел уже сейчас попрощаться с пейзажем. Как хорошо он стоял здесь, этот NULLE ME TANGERE, посреди сей великолепно округлой бухты; кому он мешал?! И как одиноко, как уныло стало здесь без этого корабля!

Афсиомский осторожно приблизился: «Мэтр, перед отплытием барон передал вам строго конфиденциальное письмо».

Вольтер сломал печать и вытащил лист с водяными знаками Императорского двора. Записка гла-

сила: «Мой мэтр, то, о чем мы с тобой так жарко рекли напоследок, то есть излишняя феминизация нашего века, вынуждает меня покинуть сии берега, даже не попрощавшись. Никогда не забуду твоих слов, обращенных к Ея Величеству и ко мне, Ея почорному слуге. Твой Фодор».

Вольтер вдруг взбодрился, сбросил ночной колпак, взбил хохолок, закричал слугам: «Давайте, давайте, открывайте все окна и двери! Сейчас мы узнаем, попутный ли ветер дует в их паруса!» Он зашагал через анфиладу комнат к восточным окнам. Сильный ветер, *встречный*, дул от поднимающегося солнца. Ксено протянул ему подзорную трубу: «Попробуй, обшарь горизонт! Может быть, ты еще увидишь их мачты».

Вольтер сделал вид, что увидел, хотя восток только слепил трубу. Он отдал прибор верному слуге престола и заглянул ему в вытарашенные очи: «Скажи, Ксено, это была она?» Теперь уже настала очередь Афиомского ответить молчанием.

Глава одиннадцатая

и последняя знаменуется явлением вельми приподнявшегося персонажа. Фокусы утопии уступают место историческим деяниям

В Ригу «Не тронь меня!» пришел с двумя сломанными реями на фок-мачте: обратное плавание тоже выдалось неласковым. На траверзе Кенигсберга погас безмятежный июль, наперекор бугшприту, словно татарское нашествие, помчались стаи трехсаженных волн, сопровождаемые к тому же сильнейшими разрядами небесного электричества. Коммодор Вертиго, почитай, все это время до входа в створ Двины провел на мостике, отдавая парусные команды и ободряя экипаж собственным присутствием. Светские развлечения Остзейского кумпанейства были забыты в первый же час шторма, и он был тому даже рад: мгновенно быв продут ветром, просолился и, что греха таить, значительно лучше себя чувствовал, чем в котильоне, — как-никак своя стихия. Глядя на обломанные и повисшие в снастях реи фока, он думал на родном языке WE GOT IT SHEAR и вслух добавлял девиз своего корабля — звоннозво!

Что касается главного пассажира, тот проявлял во время шторма вполне уже вроде привычную мужественность, поднимался время от времени с трубкой в зубах на мостик, созерцал стихию, ободряюще подмигивал чинам экипажа и даже похлопывал по плечу ка-

питана; ну, словом, суший морской волк! Если ж на лике его и повлялась озабоченность, то она, похоже, относилась отнюдь не к положению корабля, а к какому-то неумолимо, несмотря на шторм, приближающимся трудностям государственного ранжира, перед коими, как известно всякому служилому лицу, блекнут любые катаклизмы природы.

Даже такой, едва ли не катастрофный момент, когда при неожиданном повороте ветра затрещали реи, не поколебал сей рыцарский характер. Будучи у себя в каюте, он просто скакнул из своей койки, отпустил пару шуток по адресу стонущих на ковре своих унтеров — дескать, ослабела младость после светских шалостей, накинул первый попавшийся под руку кафтан и стал пробираться по скрипящим и как бы вылетающим из-под ног трапам на капитанский мостик.

Там его встретили неласково. Вертиго проорал прямо в лицо отнюдь не в придворной манере: «Эппенопля, барон, вы что, не видите — аврал! Убирайтесь прочь, в каюту!» Он увидел, что мачты корабля висят под острым углом над беснующимся морем, что иные паруса сорваны, а другие бесцельно хлопают, рождая звуки, подобные пушечным выстрелам, что сломанные реи болтаются в снастях, но в то же время мокрые матросы и офицеры карабкаются по вантам с каким-то неистовым весельем. Нет-нет, они не собираются тонуть, нет-нет, Ваше Императорское Величество, не к гибели они плывут, а к победе! Неизбежная государственная мысль осенила его: «Вот так и Россия, доннерветтер, вместе со всей Европой и с матушкой-государыней за рулем, НЕ опрокинется!» Спрятавшись за намертво принайтованными к палубе ящиками аварийного

запаса, он продержался на мостике, пока корабль не выпрямился, убрав часть своих парусов и вздув оставшиеся. Только после этого барон стал спускаться в свою каюту. На трапе опустил руку в карман кафтана, надеясь найти там фляжку с ромом, но вместо одной пальцы нащупали намокший плотный конверт.

Послание было запечатано сургучом прусской государственной канцелярии. Он сломал сургуч и вытащил лист, покрытый знакомым нервическим почерком вкупе с пятнами расплывшихся там и сям чернил. Письмо начиналось без обращения:

«В сих чертовых (пятно) обстоятельствах я не знаю, как к Вам (пятно) ...рацаться, а посему выбираю почти забытое дурац... (пятно) ...днако ...льстителное ...ечко.

Фигхен!

Что за детские избрали Вы игры, дабы встретиться со старым...(пятно) ...ахаль...олтуно... в самом центре серьезного европейского конфликта? (Далее пошло почище.)

Вряд ли кто-либо в мире знает сего Нарцисса лучше меня. Пусть он гений, но кто давал гению право думать, что вся Европа у него в долгу? Думал ли он когда-нибудь о последствиях своих парадоксов? Известно ли Вам, что на континенте есть множество облеченных властью остолопов, готовых начать войну за право отужинать с «электрическим лебедем мира»? У нас в Священной Римской империи множество придурковатых маркграфов и фюрстов в мыслях своих уже ведут многолетние подобные войны, ввергая в нищету своих граждан и разрушая идею объединения. В метафизическом плане эти войны уже кипят, творя невозможные прорехи в человеческом сознании.

Неужели Вам не приходило в голову, что ваше квазисекретное Остзейское кумпанейство приведет не к величию и процветанию, а к разрушению просвещенной монархической утопии? Козни вашего эмиссара, известного нам под именем Ксенофонт Василиск, даже в течение одной прошедшей недели произвели разрушительную работу в области наших многолетних концепций, поставили под вопрос гипотезу дружбы двух наших держав. Не далее как в прошлый вторник два ваших агента учинили полный хаос в нашей исторической крепости Шюрстин, столь дорогой сердцу каждого пруссака.

Фигхен!

Напомните, прошу Вас, Вашей молодой и не особенно сведущей в европейских делах Государыне — ведь она была девочкой увезена из сего хлопотливого муравейника на волчьих просторы России, что в одном близлежащем государстве у нее есть родственник, известный, с легкой руки все того же гениального болтуна, как Фридрих Великий. Только в союзе с ним она сможет добиться своих, как мне передавали оттецкие жуки и чайки, весьма величественных целей.

Позвольте мне и Вам напомнить, барон, что Ваш старый дядюшка Фрицци все еще помнит неотразимость Ваших морковных ланит.

Все люди — братья, кроме тех, кто сестры,
Однако есть, увы, особый нежный вкус
В двоюродной толпе, сем машкерате пестром,
Где всякий шут готовит свой фокУс.

Ваш...» (Пятно, пятно и еще одно большое пятно, как будто кто-то высморкался чернилами в бумагу).

Лишь после того, как «Не тронь меня!» встал на якорь в виду готического силуэта Риги, коммодор Вертиго почувствовал непреодолимую свинцовую усталость. Отдав последние распоряжения вахте, он, еле волоча насквозь промокшие ботфорты, спустился в свою каюту, осушил чару голландского джину и рухнул на кожаный диван. Во сне он не чувствовал ничего, кроме бесконечной прошедшей качки с провалами и взлетами да налетающего времени родового имени VERTIGO, то есть головокружения, которое уже не представляло опасности, а, напротив, как бы умиротворяло: дескать, нынче уж можно и покружиться в блаженном бессилии.

Проснулся он не на диване, а в собственной чистой и теплой постели. Штормового мокрого одеяния не было больше на нем, душу и тело грели ночная рубаша и вязаный колпак. Сквозь шторы пробивались лучи мирного утреннего солнца. Дневальный принес чашку горячего чаю с молоком, после чего сна не оказалось ни в одном глазу. Блаженствуя и предвкушая несколько дней стоянки, потребных для починки такелажа, коммодор принялся облачаться в загодя приготовленное сухое платье. Малость беспокоило только одно обстоятельство: лучи проникали в каюту не с той стороны, с коей им надлежало проникать, то есть не с востока, а с запада.

Лишь поднявшись на мостик и увидев сверкающие на солнце шпили и кресты рижского града и крепости Динаминде, коммодор сообразил, что светило скорее склоняется к горизонту, чем поднимается над оным, и что в Курляндии нынче царит скорее закат, чем восход. В подтверждение тому на мостик в роли вахтенного начальника взлетел скорее

лейтенант фон Кокк, чем лейтенант фон Бокк, уже отстоявший, стало быть, ночную вахту.

«Первым делом, Григорий Иванович, доложите мне состояние посланника, — предложил коммодор. — Где пребывает в сей момент, каковы запросы и чаяния?»

«Его светлость три часа назад отбыли на берег с визитом генерал-губернатору», — бойко отрапортовал Факс. Вертиго мимолетно угрызнулся: надо же, проспал толь значительное событие. Факс тут же вырвал из-за обшлага походного мундира изящный, будто бы дамский конвертик. «Вам приказано передать, господин коммодор! — и, заметив, что капитан чуть приспустил недовольное веко, тут же поправился: — Фома Андреевич!» Все офицеры знали, что на борту капитан предпочитает всяким чинам человеческое обращение.

Записка вельможи была до чрезвычайности лаконичной: «Дорогой Фома Андреевич, общение с Вами было для меня истинной школой мужественности. Мысленно обнимаю Вас. Ваш Федор Фон-Фигин».

Уот зи хелл, подумал Вертиго, что это значит? Похоже на прощальный привет. Спрятав записку за обшлаг рукава, он осведомился у вахтенного офицера, вернулся ли с берега вельбот господина посланника. Оказалось, что лодка с дюжиной гребцов вот уже три часа пребывает возле пирса на восточном берегу Двины. Факс протянул ему подзорную трубу: «Извольте сами удостовериться, Фома Андреевич!»

В окуляре хорошо был виден вельбот. Вся дюжина гребцов сидела в полной готовности. Командир экипажа стоял у руля по стойке «смирно». К

пирсу в этот момент приближались кортеж карет и кавалькада всадников. Закатное солнце вспыхивало то в окошках экипажей, то на шлемах кавалергардов. Ветер колыхал плюмажи сановников, вышедших из первой кареты. Из второй кареты спустились одна за другой три женских фигуры в длинных темных плащах. Вскоре они скрылись за спинами столпившихся мужчин и вновь появились в окуляре уже при посадке в покачивающийся вельбот. Через несколько минут мерные взмахи двенадцати весел направили суденышко в сторону линкора.

Солнце село. На короткое время возникла почти графическая четкость, привнесшая в происходящее какой-то особый, не совсем реальный смысл. Капитан старался держать в фокусе женские фигуры, рассеявшиеся на корме вельбота, словно в саду. Несколько раз он приказывал сигнальщику запросить, кто направляется на корабль. Сначала вельбот молчал, потом отвечал загадочной фразой: «Мне приказано молчать». Что это значит? Кто может приказывать флотскому офицеру через голову капитана корабля?

Не прошло и четверти часа, как вельбот подошел к борту «Не тронь меня!». Со второго пушечного дека был спущен трап. Дамы вновь закутались в плащи, перед тем как подняться на палубу. Коммодор, поправляя болтающийся на боку палаш и натягивая на ходу перчатки, поспешил им навстречу. Он чувствовал, что происходит некое событие исключительной важности. Чувство сие, по очевидности, передавалось и всему экипажу: недаром пушкари вытягивались в струнку, пока дамы, откинув капюшоны, двигались вдоль линии орудий.

Одна из этих трех женщин шествовала чуть-чуть впереди. Она не просто улыбалась, но как бы даровала улыбку. Это ощущение дарования, величественного благодеяния распространялось повсеместно и на всех от ее статной фигуры и гордой шеи. Не даром корабельный пес Ньюф, едва увидев ее, тут же поскакал вслед. Коммодора Вертиго вдруг осенило, громогласно он провозгласил: «Всем стоять по местам! Приветствовать Ея Императорское Величество матушку-государыню Екатерину Вторую!» Неведомо, донеслись ли раскаты «ура» до берегов Двины, но чаек, кружащих над мачтами пушечного корабля, они распугали, что дало возможность почтарюсарымхадуру беспрепятственно спуститься из лиловых закатных вершин прямо на плечо Государыне.

Флотские, как всегда, слегка перебрали, особенно коммодор, который приложился к ручке, опустившись на одно колено. «Поднимитесь, Фома Андреевич, — весьма грудным, едва ли не задушевым голосом проговорила Екатерина. — Нам нужно как можно скорее выйти в море и двигаться к Петербургу. Ну вот, отлично. До нас дошло, что вас называют идеалом мужественности, и мы с графиней Протасовой и княжной Ташковой надеемся сегодня ночью сие проверить. Прикажите пока что вашим поварам соорудить для нас ужин, только укажите, чтобы они как следует прожарили цыплят. Да, бургундское будет в самый раз. Можете пригласить к ужину лейтенантов фон Кокка и фон Бокка. Ха-ха-ха, ну что вы, коммодор! Посланника Фон-Фигина к ужину не ждите: в связи с чрезвычайными событиями он получил другое назначение. Нет-нет, ни о какой задержке для починки такелажа не может быть и речи. Нас ждут в Петербурге. Там, а вернее, поблизости совер-

шено злодеяние. Но об этом поговорим завтра. Сейчас ведите нас к столу!»

Так завершилось хорошо известное по историческим хроникам путешествие молодой императрицы в Курляндию. Рижские власти наконец узрели ее воочию и были свидетелями посадки высочайшей персоны и двух ее зазорных конфиданток на большой пушечный корабль Ея Величества «Не тронь меня!». Через два часа корабль, влекомый двумя галерами, медленно вышел в устье Двины. Там были поставлены все паруса, кроме тех, что запросили пардону на двух сломанных реях. Вздвигшись под попутным ветром, корабль поспешил убежать от берега в ночную мглу. Возвращающиеся на лайбах со свежей рыбой рыбаки клялись, что с военного судна слышны были женские голоса, распевавшие поморские песни:

Ой, как двинул Ломонос свою шляпу проворную,
Всеми молодцами его просмоленную,
На восток, к лону мать-земли!

Ой, да как грянул песню вздорную-ззорную,
Так и завистью надулись иноземцев все корабли...

Ой, тюрли-тюрли-тюрли!

К лону мать-земли!

Ой, тюрлян, тюрлян, тюрлян!

Через море-окиян!

Генерал-аншеф Никита Иванович Панин уж три дни сидел на тайной квартире, выходящей окнами на Аглицкую набережную и якорную стоянку Невы. Надобно было опередить всех и первым

донести до сведения Государыни не толь факты, коль суть происшедших тому уж две недели назад событий. Располагался в кресле, имея пред собою пюпитр с раскрытым томом «Энциклопедии» и малый столик с альбомом, куда заносил обнаруженные в творении торопливых филозофов ошибки и опечатки.

За окнами струился обычный петербургский моросняк, проходящий мимо служилый люд в нахлобученных шляпах спотыкался и оскальзывался на торцах мостовой. Отрывая взгляд от великолепного амстердамского издания, думал с кислятинкой за щекою: что занесло нас, итальянских Панини, в сей гнилой уголок? Ведь и Европою-то не назовешь вечное сие поросячье ненастье, а вот как, однако, мы тут укоренились, что и не помышляем о родной Тоскане и толико сии унылые хляби полагаем родной. Впрочем, и здесь бывают изредка какие-то страннейшие, то ли итальянские, то ли вообще предвечные, закаты, полные нечитаемых, но душу бередящих символов, ради коих, кажется, и живешь свою жизнь на этой бедной земле и ни о какой иной более не помышляешь.

Есть и еще одна сугубо российская загадка — женщины! Что за чудодейственные соки циркулируют в этой невеселой земле и побуждают ее рождать в каждом новом поколении все более заметное число искрометных и шаловливых молодых женщин?! Возьмите хоть ту толпу красавиц, что собираются по каждой okazji вокруг трона и именуются фрейлинами. Только ради возможности любезничать с ними, с какой-нибудь графиней Марфушей Протасовой или Дарьей-Упрямицей, княжной Ташковой, стоило родиться здесь и сделать карьеру при Дворе!

Так рассуждал сам с собой дамский угодник, статс-секретарь по иностранным делам, а фактически глава всех секретных операций Империи граф Никита Иванович Панин, пока однажды прямо перед окном своего секретного кабинета с видом на якорную стоянку приходящих из-за границы судов вдруг не заснул, хотя вот именно в сей дождливый день и сонливый час следовало ему бодрствовать.

Во сне мелькали перед ним на разных этажах сознания, а то и на мраморных ступенях сродни церемониальной лестнице Зимнего дворца или на каких-то болтающихся над зловонной бездной мочалах всяческие образы того ужаснейшего происшествия, кое он не называл иначе чем «злодеяние». Плыл, например, улыбкой вверх утопленник, который вовсе не утоп, а, напротив, подвергался следствию в секретной экспедиции. Ну а тот, который как раз утоп, то есть поручик Ушаков, во сне министра был живехонек и на деревянном коне сопровождал перевоз гигантической энциклопедии.

Не желая утомлять читателя вневременным потоком сновидения, мы попытаемся сейчас в несколько строк передать драматургию того злодеяния, кое, очевидно, и вызвало оный поток, равно как и общее угнетенное состояние обычно весьма жовиального вельможи.

Примерно в тот же самый день, когда корабль «Не тронь меня!» отправился из Санкт-Петербурга в описанное уже путешествие, то есть в разгаре июля, поручик Смоленского полка Василий Минович привел свою полуроту по разнарядке на охрану, а на самом-то деле на штурм Шлиссельбургской крепости, с целью похищения из-под стражи импера-

тора Иоанна Шестого, то есть одного из самых невинных узников человечества.

Поручику было тогда двадцать четыре года. Диким взглядом он озирает закат, растекшийся, казалось бы, несмываемой блеклой клюквой над холодной Ладогой. Покончить с узурпаторшей! Вознести Ивана Брауншвейгского на законный трон! Войти в историю спасителем отечества! Вернуть Мировичам малороссийские поместья, отобранные еще Петром Великим-иродом за измену Мазепы! Расплатиться с долгами! В пристойной форме пополнить гардероб!

Иоанну Шестому было о ту пору не более двадцати шести, так что можно назвать всю ту ночь делом оскорбленного и униженного российского уношества. Он не знал, что он Иоанн. Всю жизнь стража звала его Григорием. Он не ведал никаких событий и к тому дню уже полагал себя бесплотным. Понятно, что он не имел ни малейшего понятия о том, что является первым узником российской державы и что им занимается такая высокая персона, как Никита Панин. Впрочем, не ведал он и никаких персон.

Ему предложили из Григория стать Гервасием и вступить в монашеский чин. Сие ему показалось лестным, но не в бесноватом имени Гервасий, а в благостном Феодосий. Однако и в оном дрожал он от страха пред Святым Духом.

Сего Григория-Гервасия-Феодосия сторожили два офицера, Власьев и Чекин. Оба они изнемогали от своего долга, поскольку предписано было им не знать ничего, кроме удержания в каземате своего несчастного безумца. От графа Панина у них было предписание, чтимое ими выше Евангелия: «Ежели

случится, что кто пришел с командой или один, хотя б то был и комендант, без именного повеления или без письменного от меня приказа и захотел арестанта у вас взять, то оному никому не отдавать и почитать все за подлог или неприятельскую руку. Буде же так оная сильна рука, что спастись не можно, то и арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать».

За несколько дней до мятежа ближайший сподвижник Мировича офицер Ушаков утонул при непонятных обстоятельствах, так что Василию ничего не оставалось, кроме как выдвигаться решительно на свой собственный страх и риск. В столице ждали его соучастники в артиллерийском лагере на Выборгской стороне. Туда он должен был привезти Иоанна Шестого, чтобы в его присутствии с пушечного лафета зачитать пушкарям антиекатерининский манифест. Далее план пойдет как по маслу. Будут запечатаны все мосты через Неву. Артиллеристы поставят свои орудья на парапетах Петропавловской крепости и начнут усердную бомбардировку Зимнего дворца. Дальнейшее может сообразить всяк, кто горазд в изучении истории.

Итак, вперед! Мирович прикладом по голове оглушил коменданта. Полурота пошла на штурм, однако — что за незадача! — была отбита стрельбой гарнизона из тридцати душ. Далее последовала главная ошибка воспаленного офицера. Вместо того чтобы продолжить штурм, невзирая ни на какие потери, он подвез к каземату заряженную ядром пушку и потребовал выдачи Иоанна. Пришла трагическая минута. Власьев и Чекин, видя невозможность сопротивления, решили поступить по «присяжной должности» и умертвили бывшего императора, что,

очевидно, не составило для них большого труда. Точных подробностей об этом темном деле нет, но, по всей вероятности, «бесплотный» в том самом каменном мешке, где он провел всю свою жизнь, был задушен, а для верности тщательно исколот саблями. Впавший в прострацию Минович был арестован подошедшим отрядом войск.

Теперь он ждет, теперь тело его по волнам влечет в святой град Петра флагман флота, так размышлял спящий над Невою государственный муж, засунувший все это дело в глухой валенок и для воссоздания благостной тишины учредивший комиссию трех государственных фигур, Неплюева, Голицына и Вяземского. Когда это тело прибудет, все реки потекут в Финский залив: и Волга, и Днепр потекут, и Обь, и Енисей, и Лена, и Лена; Лена первая на этот суд потечет. Он ждет, а тело его плывет за кормой корабля, он ждет суда, не зная еще сам, кто он — соучастник ли Ушаков, Минович ли главный злодей, Власьев ли убийца, Чекин ли палач, матушка ли государыня женского пола, а то, быть может, и сам Шестой, задушенный и пронзенный; так может сложиться, что и «бесплотного» будем судить!

Во всей мучительной невнятице сна одна лишь пробивалась спасительная мысль: скорее, скорее бы проснуться! Граф Панин дернулся, отбился всеми конечностями, вынырнул из гиньольного потока видов, потер руками лицо и, уцепившись носогубной бородавкою за перстень третьего пальца правой руки, окончательно выпростался.

Первое, что он увидел наяву, было огромное лилово-зеленое небо. Пока спал, рассеялись тяжелые чухонские хмари и воцарился всегда столь желанный итальянский закат. На этом фоне теперь выделялся внушительный контур большого пушечного корабля. Никита Иванович вскочил, торопливо нахлобучил парик и, не подгоняя даже виски и лобную линию, зашагал к выходу. В дверях столкнулся с адъютантом, молодым графом Паскевичем. Тот, тоже, верно, заснувший под непогоду или зачитавшийся французскими «ле роман», теперь разлетелся, видите ли, с благой вестью: «Прибыли, прибыли, Никита Иванович!»

Досада Панина разыгралась еще пуще, когда он увидел на набережной несколько карет придворных чинов, уже ожидавших сошествия путешественницы. У этих-то более сноровистые адъютанты! Да и сами, видать, не спят, что греха таить. Прошагав мимо карет с их ловкачей и не удосужившись приподнять шляпы, прыгнул в шлюпку и приказал грести прямо к кораблю; окаменел лицом, готовый к любому афронту.

Через несколько минут он уже поднимался на борт. У трапа его ждал командир-англичанин, то ли Грейг, то ли Браун, нет, не то, Вертиго Фома — вот так его имя. Хорошо знакомый офицер выглядел помолодевшим на десять лет с того времени, как получал перед плаваньем инструкции во дворце; наверное, на пользу пошла экспедиция с бароном Фон-Фигином. Держа ладонь у виска, он отрапортовал генерал-аншефу, что экспедиция прошла благополучно. Посланник сошел на берег в Риге. Сейчас имеем высочайшую честь доставить в столицу Ея Императорское Величество. Она вас ждет с нетерпением в своих каютах.

За всю прошедшую неделю им удалось всего лишь раз обменяться по делу Мировича торопливыми посланиями, и теперь, несмотря на то что вроде бы получил одобрение своим действиям, Панин не был уверен, чего ему следует ждать после подробного рапорта. Поначалу показалось даже, что назревают расхождения. В частности, по толкованию слова «злодеяние». Оно усердно употреблялось и вельможей, и Государыней, однако чуткий Панин стал улавливать, что она употребляет сие слово больше по поводу умерщвления Иоанна, в то время как для него «злодеяние» однозначно заключалось в преступных деяниях Мировича. Сие различие рождало ужаснейшую двусмысленность, от коей Панин покрывался хладом и каменел.

Заметив сие страдание, Государыня положила на его ладонь свою мягкую руку. Среди ея свойств, он давно это заметил, главнейшим была исключительная теплота к верным людям, а проникновенное ощущение верности относилось также к одному из ее лучших свойств. «Друг мой, — произнесла она с ободряющей улыбкой, — все ваши действия по сему прискорбному делу не вызывают у меня в душе ничего, кроме исключительного одобрения, а те сомнения, что бередят сейчас мое сердце, относятся вовсе не к действиям вашим, а к человеческой природе. Ласкаюсь думать, вы догадываетесь, что барон Фон-Фигин говорил с Вольтером о судьбе Иоанна. Хочу вам сказать, что великий поэт вознамерился даже взять сего несчастливца под свое личное воспитание. Барон, признаться, сиим предложением был вельми огорошен, однако не отверг. Бог мой, узнав о сем благородном порыве нашего всеобщего кумира, я была просто опьянена каким-то утопическим

блаженством. Мне мнилось, что с помощью Вольтера станет возможным вот таким удивительным гуманитарным образом решить судьбу сего мученика, сего жертвенного агнца династических распрей.

Вы, конечно, помните, граф, что сразу после восшествия на престол я посетила Иоанна в его узилище. Признаюсь, никогда я не испытывал (иногда почему-то стала сбиваться на маскулину) ничего более гнетущего. Передо мной было существо, вряд ли достигшее человеческого развития. Жалость, возникшая при виде косноязычного недоумка, познавшего сполна одно лишь чувство вечного страха, была так сильна, что я была потрясена в самом своем естестве. Мне захотелось немедля отречься и укрыться в каком-нибудь монастыре. Не думайте, что я лукавлю».

«Я так не думаю, Ваше Величество», — сказал Панин. Поразительная женщина, думал он. Как сочетается все то, что я знаю, с тем, что познаю, когда она открывает душу?

Императрица продолжала: «Я хотела его спасти. Во всяком случае, жаждала этой попытки. Думала даже приблизить на правах великого князя. Но потом пошла эта череда заговоров: Хрущев, Хитрово, митрополит Ростовский... И все-таки отталкивала всегда мысль, что при мне свершится в России второе цареубийство. И вот оно свершилось. Что за рок довлеет над моей властью?!»

Панин несколько секунд молча смотрел на царицу. Сия последняя фраза, словно взятая из греческой трагедии или там от вольтеровской «Семирамиды», была произнесена без театральности или подъема чувств, как будто просто о семейных неприятностях. Теперь наступала его очередь высказаться со

всей серьезностью о существе дела. «Ваше Величество, я понимаю ваши чувства, — сказал он, — однако не забывайте, что россияне не зря называют вас «матушкой»: вы целиком отдали себя сией державе. Прошу вас меня простить за сугубо политический слог, однако монарху часто приходится жертвовать обычными, пусть и благороднейшими, чувствованиями. Вот ведь и Фридрих Прусский, что в юности с пылкостью примеривал гамлетовский плащ, взойдя на престол, высказался в том духе, что не Страна живет для Принца, а, насупротив, Принц — для Страны, и тут же почал укреплять карательные порядки; не так ли? С этого угла зрения, Ваше Величество, вы, мне думается, согласитесь, что хищный заговор, способный свергнуть державу в кровавую смуту, неожиданно обратился оной державе на пользу. И в этом смысле вы совершенно справедливо высказались в письме ко мне, что видите в этом деле «руководство Божие чудное и неиспытанное есть». Господь недаром поставил тут на стражу двух преданных Вашему Величеству и присяге офицеров. Конечно, они ведали, кто живет в сем трепещущем теле безымянного колодника, и убиение сего колодника было для них огромным страданием духа. А посему я ходатайствую о награждении сих офицеров как героев, остановивших мрачнейшее злодеяние».

Начав произносить сей монолог, Панин пару раз углядывал, как из-за ширмы, разделявшей обширную каюту, мелькали молодые мордахи знакомых фрейлин, по завершении же он уже ничего не видел, кроме пряжки на своем башмаке. Опалы не выдержку, вдруг подумал он. Сбегу на родину предков. Хоть ресторацию какую-нибудь открою в Равенне. Подняв голову, он с удивлением обнаружил,

что Екатерина раскуривает трубочку. Заметив его взгляд, она рассмеялась.

«Вот пристрастилась за время балтийского путешествия с легкой руки барона Фон-Фигина. Теперь придется отвыкать: народ содрогнется, узрев «матушку» со шкиперской трубкою». Графу ничего не оставалось, как присоединиться к беззаботной шутке. «Да ведь можно сказать, что сия трубочка — наследие деда вашего, Петра Алексеевича!»

Только после сего дивертисмента императрица вернулась к серьезному тону: «Я к вашим весьма хорошим распоряжениям, Никита Иванович, иного добавить не могу, как только, что теперь надлежит следствие над винными производить как без шумихи, так и без всякой скрытности, понеже немало лиц имеют в нем участие».

Панин вздохнул: бегство в Италию отменяется. С берега через приоткрытые окна кормы донесся до двух собеседников гром военного оркестра и крики толпы: столица готовилась к встрече монархини.

«Этот Мирович, он ведь Смоленского полку, не так ли?» — вдруг спросила Екатерина неожиданно тяжелым, едва ли не ужасным голосом. Панин изумился: «Да откуда же вам сие известно, Ваше Величество?!» Она не ответила, пусть думает — откуда.

Она вспомнила, как однажды, тому не более полугода назад, она медленно галопировала на Семеновском плацу перед строем Смоленского полка и обратила внимание на молодого офицера. Как и все прочие командиры, он стоял впереди фрунта, однако не сиял преданностью, как все прочие, но пребывал в едва ли не мраморной застылости. Она заставила коня с минуту поплясать перед ним. Молодые офицеры привлекали постоянное внимание

тридцатичетырехлетней вершительницы судеб. Она делила всю эту братию на возможных любовников и возможных бунтовщиков, сиречь убийц, хоть и была совершенно уверена, что в каждом из этих молодчиков с тугими ляжками живет и тот, и другой. Была бы возможность, любого из них сделала бы она любовником и таким способом погасила бы в нем убийцу цариц. Пусть в каждом из них живет хоть бы надежда стать ее фаворитом. «Кто таков?» — спросила она командира полка. «Поручик Мирович, Ваше Величество», — был ответ. Она улыбнулась мраморному поручику, но тот не ответил на улыбку. Может убить, подумала она и поскакала дальше вдоль фрунта, чтобы через минуту о нем забыть. Теперь вспомнился. Жаль, не выдернула тогда этого, с большой подпольной думой, из строя, не спасла, не обласкала, не включила в союз вольтерьянцев.

«Есть еще один вопрос, Ваше Величество, — дошел до нее голос Панина. — Член суда, барон Черкасов, представил письменное мнение, что Мировича надобно пытаться с целью открыть сообщников или подстрекателей. Иные члены собрания не одобрили письма и даже сочли его оскорбительным. Теперь все зависит от вашего повеления».

Он был уверен, что монархиня выскажется против пыток, однако ответ оказался иным.

Она сказала:

«Повелеваю вам ни присоветовать, ни отговаривать от пыток; дайте большинству голосов совершенную волю».

То ли в этот день, то ли в другой, то ли в нашем отсчете времени, то ли в каком-нибудь еще, то ли во сне, то ли наяву философ Аруэ де Вольтер пребывал

на набережной в копенгагенской гавани Нихавн на большом празднике, посвященном завершению последней по счету, то есть Третьей, вольтеровской войны. Так, во всяком случае, ему это казалось, у хозяев, возможно, были и другие причины для лишения.

Дело в том, что после ухода российского корабля Остзейское кумпанейство стало стремительно разбегаться с острова Оттец, обрекая сей славный клочок земли еще на пару столетий забвения и убожества. Одним из первых, собственно говоря, уехал как раз Вольтер. Через статс-секретаря Лорисдиксена он получил приглашение стать гостем датского двора. Тут же ответил согласием. Среди причин сей сговорчивости не последним было желание утереть нос Санкт-Петербургу, и прежде всего тому, кто навязался в близкие друзья, «дорогому Фодору». Что за манеры процветают при этом российском онемеченном дворе? Устроить все эти сомнительные мазерады, разыграть филозофическую гармонию с участием «самого Вольтера», разбередить старые раны, вынудить на откровения интимного характера, а потом в одночасье исчезнуть, не объяснив причины, не посвятив в тайны!

Пусть теперь Екатерина увидит, что на ней свет клином не сошелся и что Вольтер — это не только любимый старик, но также и тот, кто в обиходе зовется «светочем человечества»!

Недаром, нет, недаром из Свиного Мунда, чтобы забрать его на борт, приходит лучший фрегат датского королевского флота «Золотая утка»! Датская корона не уступит в твердости царскому рублю! Писатели ваши, Мадам, — это жалкие придворные прихвостни, в то время как Вольтер — независимый бо-

гач, коего еще надо упрашивать принять многотысячные дары! Пусть Бюффон дрожит перед всеми этими шкатулками с коллекциями медалей, мехами и сибирскими артефактами. Вольтер лишь сдержанно поблагодарит и передаст сопровождающим.

Он прогуливался по опустевшим галереям замка Доттеринк-Моттеринк, из коего по отбытии барона Фон-Фигина испарились даже и привидения, если не считать вконец уже исстрадавшихся чертиков Ферне. Италия прекратила навещать здешние берега. Кончился июль, и вместе с августовской серой прозрачностью в контурах острова и в низких течениях волн на мелководьях стала преобладать специфическая балтийская меланхолия. Тут все так расположено, думал Вольтер, что кажется, будто видимый мир пересекается с невидимым. Иногда на закате, когда красное медленно переплавляется в черное, едва удерживаешься, чтобы не схватиться за голову и не исторгнуть бессмысленный от ужаса вопль. В другое время проходишь мимо дерева и вдруг понимаешь, что это вовсе не дерево, прежде всего потому, что оно само не знает, что оно дерево, как ты и сам не знаешь, кто ты таков.

Балтика может в будущем стать бассейном философии благодаря склонности ее народов, во-первых, к специфической меланхолии, во-вторых, к особой тупиковости сознания и, в-третьих, к пиву. Сюда придут своего рода северные аватары. Предположим, в Штеттине, где всего лишь тридцать пять лет назад родилась Екатерина, появится настоящий, не то что я, великий философ замкнутого круга жизни. В Кенигсберге, отравленном колдунами, возникнет человек, который осмелится сказать о непознаваемости вещей. В Копенгагене, куда мы сейчас от-

правляемся, будет жить какой-нибудь то ли нормальный, то ли калека, предчувствующий окончательное пожарище. Так или иначе, но сии мыслители пребудут вдали от парижских дамских салонов.

За день до отбытия пришел генерал Афсиомский, «дорогой Ксено», и поклялся Вольтеру в вечной дружбе и в глубочайшей благодарности, кою будет испытывать к нему передовая, то есть «вольтерьянская», Россия. И лишь известная всему миру вольтеровская любезность помешала послать его к чертям. К тому же два чертенка уже сидели на плечах графа Рязанского и заглядывали ему в уши, хоть он их и не видел.

Вслед за этим «Ксено» сказал, что в соответствии с договором Вольтера до самого Ферне будет сопровождать российский эскорт во главе с полюбившимися ему кавалерами Буало и Террано, на коих, как ты и сам знаешь, мой Вольтер, можно в высшей степени положиться.

И наконец, третье, мой мэтр и друг, то, что не доверю, кроме тебя, никому, даже и самому высочайшему лицу, вот этот карне мягкой бумаги; здесь мое всё. «Не иначе как векселя», — улыбнулся философ.

«Несравненно выше, чем векселя, — с грустным достоинством произнес секретчик. — Здесь повесть о путешествиях моего альтер эго, благородного византийского дворянина по имени Ксенофонт Василиск. Как писатель писателя, прошу тебя прочесть и написать мне о своих впечатлениях. Сдается мне, что сия исповедь мятущегося духа произведет в Европе оглушительный отклик». — «Ксено, если ты

уже знаешь, какой будет отклик, зачем тебе мои впечатления?» — с притворной туповатостью удивился Вольтер. «Вот именно с твоими впечатлениями в виде предисловия сии записки и произведут соответствующий отклик», — с притворной наивностью ответил генерал. «Куда же мне послать впечатления? Ведь ты или твоё второе «я», как я понимаю, вскоре отправитесь в очередное марко-половское или колумбовское путешествие», — предположил Вольтер. «Просто оставь листок в конверте на окне своего кабинета в Ферне и отвори форточку», — скромно предложил граф Рязанский. На том они расстались.

Грусть Вольтера, или, если угодно, его новая «балтийская меланхолия», ещё больше усилилась, когда он поднялся на борт фрегата «Гюльдендаль». Он чувствовал, что закрывается ещё одна глава почти уже прочитанной книги. Впервые он ощутил тщетность своих усилий перевоспитать человечество. Почему я так надеюсь на этих хитрых скифов, на Россию, если даже сама возлюбленная моя Екатерина вместо самое себя посылает на встречу со мной некий маскулинический фантом, естественный скорее в зоне сна, чем в объективной невтониической реальности? Я теряю грань, проклятый Сорокапуст, он же Видаль Карантце, вот-вот втянет меня в кошмар, названный по секрету «вольтеровскими войнами», и уж больше нельзя надеяться на появление усатых прелестниц из фон-фигинского полка. Вообще, на что ещё можно надеяться по прошествии семи десятков лет надежды? Да полно, помню ли я ещё те мои, столь парижские, молодые

восторги? Вдруг выплыл, как будто отпечатался между памятью и морским горизонтом, старый стих, посвященный Эмили:

Si vous voulez que j'aime encore,
Rendez-moi l'age des amoure;
Au crepuscule de mes jours
Rejoignez, s'll se peut, l'aurore.

А за горизонтом и за памятью кто-то тут же ответил русским, почему-то понятным, хоть и мгновенно исчезнувшим переводом:

Ты мне велишь пылать душою:
Отдай же мне минувши дни,
И мой рассвет соедини
С моей вечернею зарею!

Шелковым платком он посылал приветы остающимся, собравшемуся на северном бастионе цвейг-анштальтскому семейству, и накапливающимся в угловых лакунах глаз слезы мешали ему увидеть, что и семейство, то есть великий курфюрст Магнус, и великая курфюрстина Леопольдина-Валентина, и девочки, и дамы двора, и некоторые мужья, уцелевшие ветераны европейских ристалищ, чьими усилиями в добрые старые времена обогащалась казна, о разграблении коей только и думает новое поколение, в общем, что и семейство тоже плачет.

Лишь в Копенгагене, который по праву называют «Парижем Севера», меланхолия Вольтера несколько рассеялась. На празднестве в Нихавне герольды объявили о его присутствии, и тут же тысячи глоток превратили это событие в празднество Вольтера, за-

шитника протестантов. Он сидел на помосте рядом с королем Фридрихом V, в окружении членов королевской династии и главных вельмож скромной страны. Слуги подавали приличное вино. Какой-то человек — или не совсем человек? — на ухо попросил его провозгласить окончание вольтеровских войн. Тут же, словно под ударом докторского молоточка, у него подскочила коленка. Кто проведаль тут про существование несуществующего? Он обернулся. Вместо человека у него за спиной стоял большой датский дог. Пришлось встать и удовлетворить просьбу сего порядочного существа. В шуме гульбы никто не расслышал ни единого его слова, но все приветствовали стройным ревом: «Так, так, Вольтер!» Заиграла большая музыка, запел специально приглашенный из его любимой Англии хор Кентерберийского собора; он исполнял ораторию Генри Парселла «Хейл, хейл, брайт Сесилия!».

Слезы текли из глаз и не могли остановиться. Так же не могло остановиться божественное пение, оно напоминало переливы святой воды. У этого пения уже не было ни начала, ни конца, как будто пелось за пределами того, у чего есть и начало и конец. Исчезло все, все радости и обиды, все искрящиеся парадоксы и тяжкие думы, собственное имя и имена друзей, осталось одно лишь переливающееся ликование.

Он лежал на помосте, дергались руки и ноги, он их не чувствовал, как не чувствовал ничего, кроме вливающегося в душу хора. И только губы еще пытались изобразить блаженство.

Позднее в кабачках следующим образом обсуждалось событие. Этот французский Вольтер, он грох-

нулся в обморок, когда заиграла музыка. Все уж думали, преставился, но тут два молодца из его свиты скакнули на помост. Один хватъ его за ноги, а второй стал общупывать грудь, будто искал там какую-то жизненную жилу, и, что бы вы думали, — нашел! Старикашка после нажатия на жилу весь намок, даже изо рта что-то вылилось, пузырящееся, как пиво, однако ожил. Его посадили в кресло, и он помахал толпе превосходным кружевным платком. Я сам не видел, но брат мой сказывал, что будто бы заметил, как какие-то чертики проплясали вокруг одного Вольтера жигу. Вот что я сам видел, так это королевского пса Мальгрема. Готов поклясться, он лизнул гостя — не знаю, уж чем тот так знаменит, — в лицо.

«Клоди, ты никогда не обращала внимания, что после отъезда русских над островом перестали появляться те странные, чрезмерно крупные голуби, которые так нас всех забавляли?» — спросила одна из сестер-курфюрстиночек.

Вторая почему-то надулась и даже дернула плечиком.

«В чем дело, мадемуазель, позвольте узнать?» — не без вызова спросила первая.

Сестры сидели в их излюбленных позах, свесив босые ноги со стены замка над бухтой, в которой еще недавно так красочно геройствовали их шевалье.

«Ты прекрасно знаешь, в чем дело, — ответствовала вторая. — Когда тебе надоедает быть Клоди и хочется стать Фио, ты называешь меня Клоди, чтобы я называла тебя Фио, и думаешь, что тебе так сой-

дет. А между тем ты — это Клаудия, а я — это Фиокла по одной простой причине, что именно так мы были наречены».

Первая весело рассмеялась: «А ты уверена, что в младенчестве нас не перепутали нянюшки?»

Вторая подбоченилась: «Ах так? Вот я сама тебя буду называть то Клоди, то Фио, и пусть у нас и сейчас все перепутается!»

Благороднейшие мадемуазели принялись тут друг друга с притворством дубасить, что завершилось, разумеется, поцелуями. Близняшки так беззаветно любили друг друга, что и сами, как было уже отмечено, иной раз сомневались, кто из них Клаудия, а кто Фиокла.

«А все-таки имеется между нами одна весьма существенная разница», — сказала вторая.

«Я знаю, что вы имеете в виду, Ваше Высочество, — сказала первая. — Вы правы, Мишель — это мой шевалье, а ваш — Николя».

«Ежели бы только они умели нас различать, — вздохнула вторая. — Что за странная между нами, Ваше Высочество, разыгрывается комедия в итальянском стиле».

И, вспомнив уношей, сестры перешли с восточной стены бастиона на западную и стали смотреть в сторону Копенгагена и чуть левее к югу, в сторону Парижа. Когда уж они вернутся из своей экспедиции, да и вернутся ли, как обещали?

Задержка всего семейства на острове Оттец имела серьезное политическое — а то даже и историческое, как говаривал монарх, — значение. Надобно, чтобы слух прошел по Германии и Скандинавии, что цвейг-анштальтский-с-бреговвиной двор сделал сей

живописный клочок Европы своей резиденцией. После проведения здесь Остзейского кумпанейства всему миру стало ясно — в том числе и заносчивой Дании, — что за Магнусом Пятым стоит не кто иной, как российская Императрица со всем своим флотом и казначейством. Ну, Дания как-нибудь и без Оттеца перебьется, а вот кому надо утереть нос, так это тетушке, герцогине Амалии, с ее сентиментальными воспоминаниями. Не исключено даже, что почтенная дама придет в конце концов к мысли о слиянии ее пфальца с величественной державой Цвейга, Анштальта и Бреговины, а там, глядишь, и вольный бург Гданьск протянет руку Свиному Мунду, дабы выйти из зоны вечного за себя польско-прусского соперничества.

Таким мыслям предавался наедине с самим собой курфюрст, покручивая оставленный хозяйством Афсиомского глобус и останавливая его всякий раз верным пальцем в верном месте. После отъезда гостей он въехал в покои императорского посланника барона Фон-Фигина. Ему пришлось по душе их ненавязчивая роскошь, а больше всего — по секрету — то, что в разных углах обширного помещения наталкивался он на дамские панталончики. Он складывал их в скрытные ящички за книгами библиотеки и иногда извлекал то одну, то другую шелковистую невесомость, дабы погрузить в нее свой готический нос. Запахи далекого, а все-таки, как мы видим, и не совсем далекого Петербурга будоражили воображение и исторические амбиции этого, казалось бы, уже замшелого монарха.

Между тем в отсутствие гостей, а в особенности без графа Рязанского с его бездонным бюджетом, замок начал стремительно приходить в упадок. В

парке откуда ни возьмись появились и повсеместно разрослись большущие, как слоновьи уши, лопухи. Пруды затянуло тиной, столь плотной, что коты и лисы пробегали по ней, ни однажды не замочившись. Забыв свой патриотический долг, садовники перестали обихаживать недавние насаждения. Да и вообще перестали появляться среди насаждений оных. «Их надо возвращать и сечь!» — распорядился курфюрст. Министр внутренних дел племянник Хюнт развел руками: «Кем сечь, Ваше Высочество?»

«Чем сечь? Министр режима должен знать, чем непослушанцев секут! Розгами! А злостных — фухтелями!» — «Не чем, а кем, Ваше Высочество, вот в чем вопрос. Те, кому по службе положено сечь, тоже разошлись». Обескураженный курфюрст забегал по своему любимому кабинету. «Да что же получается, Хюнт? Почему весь этот сброд разбежался?» Долговязый племянник всунул голые ноги в деревянные башмаки: кожаные туфли не носил из экономии. «А вот этот вопрос надобно обратить к министру финансов, кузену Людвигу, Ваше Высочество. Неоплаченный народ, по своему обычаю, разбегается. Остаются только родственники».

Не лучше обстояло дело и с питанием. Огромная кухня, в коей еще недавно кудесничали нанятые Афсиомским шеф-повары, просто повары и младшие повары, отвечающие по отдельности за закуски, супы, главные блюда и десерты, кухня, шипевшая ароматными парами, трещавшая масляными пузырями, оглашаемая бодрыми возгласами на поварском жаргоне столетия «Ж'арив!», «Вуаля!», «Аллез'и!», теперь лишь гудела зловещим хладом, если он может гудеть, этот проклятый хлад, а он может, буде соединен с заунывным гладом.

В начале «эпохи забвения» — как иной раз про себя именовал сию историческую ступень Магнус Пятый — из кабинета министров поступил на кухню намек, что старания кулинарных патриотов будут вознаграждены: каждому в конце дня будет разрешено угощаться из не до конца востребованных кастрюль. Речь шла, конечно, о картофельном супе «Воляпюк», который дольше других изысков подтверждал свою живучесть. Вот именно после этого щедрого предложения кухня и опустела окончательно, а остатки «Воляпюка» превратились в застывшие на дне кастрюль нечистоты.

Несколько дней прошли без горячего. Курфюрст облачился в стальные доспехи. В правительстве, то есть в семье, начались разговоры, не готовит ли монарх набег на какое-нибудь соседнее государство, однако он объявил, что принял важное решение в области укрепления собственной Цвейг-Анштальта-и-Бреговины национальной идеи. Будет создан большой портрет государя в боевом «отпаде», как тогда в элитарных кругах называли стальные доспехи. Работа будет поручена двум самым талантливым живописцам двора, принцессам Клаудии и Фиокле. Готовый оригинал портрета с увеличенной яркостью глаз будет выставлен в новой столице на острове Отец, а несколько копий разместятся в магистратах по обе стороны пролива. Граждане будут допущены на просмотр за умеренную, но и не символическую плату. Таким образом им будет дана возможность укрепить патриотизм, а заодно и казну обожаемого государства. Далее вступит в действие секретная часть плана. Собранные деньги как раз и пойдут на разгром какого-нибудь соседнего герцогства. Скажем вперед,

что этот секрет так и остался в самом узком кругу, то есть у курфюрста за пазухой.

Девочки пришли в восторг. Давно уж они не писали парсун маслом в две руки. Сердечное томление отвлекало от искусства, и вот теперь появилась возможность заполучить в качестве модели вечно занятого папочку, и даже романтические шевалье были забыты. Холсты, кисти и краски были, разумеется, найдены в запасах генерала Ксено, дальновидного до чрезмерности. И вот троица уселась. Боже, замирали принцессы, как он хорош, этот наш курфюрст, сколько силы может живописец обнаружить даже в его носогубных морщинах, не говоря уже о высоком его челе, вмещающем толь много вдохновенного гуманизма! Что уж тут тужить о горячих обеденных сервировках, можно и сухими бисквитами обойтись, ежели все обыденное забываешь, трудясь в искусстве!

А папочка на сих сеансах едва ли не впадал в суший родительский трепет. Дочки мои, удвоенный вариант девичьего, да что там, просто человеческого совершенства; какой монарх не поблагодарит судьбу за сей дар небес! Как же так получилось, что я не могу им обеспечить даже горячего питания?! Да я хоть треть нашего пфальца отдам за то, чтобы вздуть огни на кухне, если не дотянем мы до обещанного Фон-Фигином векселя из Петербурга!

И вдруг оказалось, что можно еще повременить с продажей Бреговины, и произошла сия передышка благодаря героическому подвигу курфюрстины Леопольдины-Валентины-Святославны. Однажды воскресным утром она вышла из замка во главе целой компании статс-дам и фрейлин двора, то есть своих

родственниц по линии супруга. Вся эта группа, персон не менее дюжины, в затрапезных платьях пешком проследовала в Цум-Линденбрюгге, крошечный городишко рыбаков и овощеводов. Там в тот день все население острова Оттец собралось на базар и молебен в единственной кирхе. Публика была потрясена явлением курфюрстины со свитой. Затрапезные, то есть вышедшие из моды, одеяния показались островитянам верхом роскоши, французскому языку они внимали, как стрекотанию ангелов. Преклонив колени в скромном храме, дамы проследовали в торговый ряд и там обменяли несколько пустяковых колечек на количество лососей и овощей, достаточное для заполнения двенадцати объемистых корзин.

Сей, собственно говоря, первый в истории поход «в простые люди» невероятным образом взбудоражил и вдохновил участниц. Курфюрстине не пришлось убеждать их в пользительности деяния и упрашивать о продолжении усилий. С веселым гоготом гусынь дамы устремились в кухонный зал и вздули там еле тлеющий огонек айне гроссе гастрономи. Плита загудела. На шум, бросив рисование любимого папочки, прилетели курфюрстиночки и, подоткнув парижские платьица, взялись за швабры. В конце концов на помощь высшим дамам отчизны спустились и чопорные горничные. Некоторые еще помнили, как чистят рыбу. Так впервые за две недели в Доттеринк-Моттеринк был приготовлен горячий ужин.

Все пошло если и не хорошо, то вполне сносно. Мужчины, снисходительно похваливая дам за благотворные связи с новыми подданными, после сыт-

ных, хоть и слегка подгоревших, чуточку пересоленных ужинов собирались в каминной, где еще недавно звучал звонкий старческий глас Вольтера, и обсуждали кое-какие военные планы на случай изменения геополитической то ли экспозиции, то ли диспозиции. Все почему-то связывали эти планы с возвращением каких-то «наших». Вот наши вернутся — и тогда все будет яснее. Да, с приездом наших разберемся в этой довольно хитрой ситуации. Может быть, наши еще недостаточно опытные, но уж решительности-то у них не отнимешь. Те, кто дрался под Цюкеркюхеном, значит все присутствующие, помнят атаку наших, не правда ли, господа? Помните, как замелькали эти желтые с синим накидки? Мы-то думали, шведы нам бьют в задницу, а это, оказывается, наши со своими гусарами скачут. В этом месте любой, даже невнимательный читатель смекнет, что за словом «наши» скачут не кто иные, как юные шевалье вольтеровского эскорта, Мишель и Николая.

И никто почему-то не задается вопросом, зачем этим уношам возвращаться на заброшенный остров, всем и так вроде бы ясно, что скачут, скачут на своих мифических конях, чтобы припасть к чьим-то тувелькам, поцеловать краешек платья, раствориться в любовном блаженстве.

Увы, раньше наших унцов на остров возвратились те, кого меньше всего ждали.

Однажды ночью Магнус Пятый проснулся, услышав долгий, будто бы даже бесконечный, идущий снизу, вот именно из утробы, и поднимающийся до самых верхних альвеол вопль своей супруги. Вскочил, налетел в темноте на кресло, зажег свечу, понес ее перед собой, побежал на дрожащих ногах, ничего не понимая, а только лишь взывая к Тому, в ком все-

гда сомневался. Никогда прежде сдержанная цесаревна ничего подобного из себя не извергала, даже при мучительных родах двойняшек, когда он сам чуть не отдал душу Тому, в ком сомневался.

Первое, что он узрел в ее спальне, были два масляных факела. Их держали два человеческих чудовища. Затем в бликах огня узрел он на кровати растопыренные ноги Леопольдины-Валентины, а между ними, в глубине среди подушек, ея зияющий рот. С одной стороны кровати, завязывая гульфик, спускалось еще одно человеческое чудовище, с другой стороны, развязывая гульфик, громоздилось на кровати чудовище четвертое.

Пятое чудовище, как видно, уже пресытившееся его любимой, его красавицей цесаревной, всем смыслом его не очень-то лепой жизни, сидело в кресле между двумя факелоносцами. Оно имело примечательную внешность со своей ярко-рыжей бородою и рваной ноздрею. Увидев монарха, как он был, в длинной ночной рубаше и колпаке, без коего в ту эпоху не отходил ко сну ни один джентльмен, чудовище зашло от хохота: «Сам! Сам пожаловал! Эй, рейтары, встать по стойке «смирно» перед Его Высочеством!» В пасти его не хватало резцов, зато с клыками было все в порядке.

Взвизгнув в полном беспамятстве, курфюрст пронесся от дверей по обширной спальне к кровати и со всего размаху воткнул свечу насильнику меж ягодиц. К воплям курфюрстины и хохоту краснобородого присоединился рев обожженного. Началась страшная возня, в ходе которой вспыхнул и прогорел тюлевый балдахин. Нечеловеческим усилием Магнусу удалось завладеть палахом одного из чудовищ и тут же погрузить его в жирное пузо другого.

Хлынула кровища, запахло серой. В конце концов в спальню прибежало еще несколько так называемых «рейтаров». С их помощью удалось обратить обезумевшего монарха. Он был привязан к колонне резного дуба и тут уж обвис в бессильном дрожании.

Краснобородый подошел к нему, поднял за жидкий хохол голову, заглянул в глаза. «Ты неплохо свирепствовал, Магнус Пятый! Эй, рейтары, кто хочет самого курфюрста, ой умру, поставить в раскоряку?» Не дождавшись положительного ответа, он порвал рубашку на плече суверена и своими клыками глубоко прокусил сероватую кожу. «Сорока ты окаянная», — почти ласково пробормотал он. Потом крикнул своим, которые уже обирали недвижимое тело с проколотым пузом: «Ташите Магнуса в тронную залу, там разберемся!»

«А что с бабой прикажешь делать, Барбаросса? — спросили чудовища. — Пожалеть ее, что ли, под ребро?»

«Да ты чё?! Она же герцогиня тута, евонная типа супруга. Мы нонче Ее Высочество заделали, можем гордиться! Скоро вся Европа и Россия вспыхнут, точите концы!»

Захват замка Доттеринк-Моттеринк был как по нотам разыгран наемной бандой Барбароссы, то есть Красной Бороды. То есть в том смысле, что именно под сим именем оное чудище обло, озорно щас выступает, дрынт его в кульдесак. Сначала подплыли на трех баркасах, числом не менее сотни, к флоту Его Высочества, дремавшему на якорке. Флот Его Высочества состоял из гребного корабля, похожего

отчасти на римскую триеру. Гребцов на нем давно уже не было, зато присутствовали четыре пушчонки, взятые якобы в боях, а на самом деле снятые с забытой императорским флотом галеры. Вырезав мирно храпящий экипаж в количестве трех ветеранов шутейных боев из Швейского устья, банда зарядила пушчонки тем, что там было, то ли ядрами, то ли гирьками разновеса. На случай отпора со стен казематов сия разношерстная дезертирская кумпания — иных мы помним еще по славному граду Гданьску — готова была открыть устрашающую канонаду. Она не потребовалась. Замок, включая и стражу, либо безмятежно почивал, либо странствовал в сновидениях. Выбравшись из своих лодок, мародеры молча, как волчья стая, устремились к стенам. Пройдя внутрь, они разделились на группы и со знанием дела помчались по коридорам и галереям. Красная Борода с подручными почти немедленно ворвались в спальню курфюрстины, где и разыграли только что описанную сцену.

Другим, судя по нарастающим звукам боя, повезло меньше. Услужливое эхо, бессумнительно связанное с нечистой силой, разносило во мраке то громopodobные выстрелы, то лязг холодного оружия, то бешеные выкрики, то грохот валящихся на каменный пол туловищ в кирасах.

Луна, как всегда, присутствовала в полном великолепии. Именно она ярко освещала обширную террасу, где еще недавно проходил вольтеровский бал с котильонами и мателотами. Именно туда из глубин замка вытеснена была группа придворных стариков, успевших вооружиться чем попало, в основном — сорванными со стен старинными шпагами и алебардами. Бандиты, почитавшие себя самыми опытными

ми на побережье наемными солдатами, напоролись в сем случае на неприятственный сурприз. Цвейганштальтские старцы и сами ведь в свое время зарабатывали на буттерброттеры воинской службой под знаменами не только герцогов и королей, но даже и восточных владык, будь то Порта или Багдадский халифат. Представляя из себя в сей момент вельми комическую, несмотря на убийственную трагедию боя, компанию в ночных рубахах или в лучшем случае в шлафроках, старики демонстрировали великолепное фехтование с обманными замахами и кистевыми выпадами снизу и сверху, то и дело поражавшими чумные башки или подвздошные органы мазуриков. Кровь взлетала фонтанами или изливалась, как из прорванной трубы, образуя в дверях на террасу липкую и скользкую поверхность. Прибегающие на шум боя новые бандиты оскальзывались в этой луже и тут же падали под старческим фехтованием.

Для преступных кумпаний характерно стадное чувство. Зверея от общих успехов, они показывают чудеса храбрости. Потери весьма быстро рождают в шайках панику. В этом бою один лишь миг отделял шайку от того, чтобы грянуть в бегство. Спасло их только появление за их спинами огромного, в два человеческих роста, скелетоподобного привидения. Ничтоже сумняшеся урод пальнул в героических старрриков из двух мушкетонов. Почти все герои были поражены гороховидной шрапнелью. Один лишь маркграф фон Штауферберг, сводный брат тетки курфюрста, еще некоторое время вращал алебардой, но и он в конце концов пал, сраженный брошенным абордажным топором.

В этот как раз момент в дальнем кругу террасы появились две тоненькие девичьи фигурки с арба-

летами. Фио и Клоди не посрамили свой древний род. Две стрелы были выпущены в гущу банды, еще двое гадов грохнулись в кровавую лужу, многосемейный кормилец Монди Флякк и любимец блядей Хомит Чаррота, и так, впрочем, подыхающий от скверной болезни. Увы, девушки не успели перезарядить свое столь похожее на скрипки Страдивари оружие. Явившийся лично собственной персоной Барбаросса с удалым калмыцким посвистом швырнул башкирский аркан, так что обе девушки были схвачены одной, мгновенно затянувшейся петлей.

Бой был окончен, началась вакханалия расправ. Все уцелевшие члены династии, включая фрейлин, шаперонш и статс-дам, были загнаны в тронный зал и подвергнуты издевательствам. Израненных воинов приволокли туда, как туши мяса. Курфюрст покачивался и слегка вращался, подвешенный на крюке под ребро в середине кошмарного воздуха. Изувеченная курфюрстина медленно агонизировала на мозаичном полу. Из глубин замка доносились сатанинские вопли победителей: шел погром винных погребов графа Афсиомского. Оставшиеся наверху страшные рожи — между ними, как на подбор, присутствовали все сущие на Земле этнические типы — по приказу сидящего в главном кресле, то есть на троне, краснобородого умертвляли того или другого раненого; кому пронзали грудь, а кому и просто крушили горло сапогом.

Человек десять окружили связанных вместе курфюрстиночек, стояли гогоча, отпуская похабные шутки, делая жесты, перегибая левой ладонью пра-

вую вздрюченную лапу, вырывали из-под юбок кружева, однако пока что не бросались: как видно, ждали команды. Девушки старались на гадов не смотреть, неизвестно от чего более страдая, от страха или от омерзения. Вдруг за башками гадов заметили они одного, вроде бы не совсем гадского человека в обыкновенном темном сюртуке сродни тем, что носят какие-нибудь малоимущие химики. Собственно говоря, это был тот же самый гигантский призрак Сорокапуст, но в сей момент уменьшившийся до обычного человеческого размера. Да и смотрел он на них не с гадской алчностью, а с некоторой вроде бы беспристрастностью, как бы говоря, что, мол, поделаешь, вы сами, дескать, во всем виноваты, родившись принцессами, Ваши Высочества. Девушки повернули головы к нему, отчаянно позвали взглядами: «Господин Карантце, ведь вы же были у нас в гостях, участвовали в машкераде! Во имя вольтеровских идей, пожалуйста, помогите!»

«Нет-нет, — отвечивал вслух призрак. — Я здесь в роли доктора. Ежели затошнит, позовите меня, я дам вам нашатырного спирту».

Между тем за высокими стрельчатыми окнами начинался восход безмятежного солнца. Мягкий свет растекался по залу, там и сям озаряя недавно отреставрированные фрески с библейскими сюжетами. Факелы погасли, кроме тех, коими поджаривали пленников. Барбаросса махнул рукавицей. Курфюрста опустили пониже, чтоб он повис прямо напротив главного гада. Тот показал ему клыки: «Не бойся, тиран народа, больше кусать не буду, ты не сладкий. А вот дочки у тебя очинно даже сладенькие. Ну, говори, где золото награбленное прячешь, а не скажешь, мы девок у тебя на глазах обдерем!»

Магнус замычал, как бы силясь что-то выговорить. Безумная идея путешествовала в его умирающей голове. Надо время протянуть как можно дольше, и тогда весь этот кошмар внезапно кончится, как кончилось поражение при Цукеркюхене, как будто его и не было. Еще, еще протянуть время, и тогда «наши» войдут во всем блеске молодости и силы имперской, а мы все живы и целы, словно просто за фриштиком сидим и пьем полезный свекольный сок. Тут всего-навсего смешалось то, что существует, и то, что не существует, но кошмарами подразумевается. Надо просто выговорить зацепку и еще время протянуть. Тут наконец он выговорил зацепку:

«Злато есть, ваша честь. В подвале замка, там, где крипты, там нужно стенку сломать. Найдете двенадцать бочонков, ваша честь, в них злато».

Через некоторое время, которое, к вящему огорчению умирающего курфюрста, шло своим чередом, дюжина гадов, куражась и приплясывая, вошла с бочонками. Один из гадов, некогда бывший трудолюбивым ковалем на Волыни, содрал обруч и ножом развалил бочонок, как арбуз. Вместо ожидаемого золота внутри оказались соленые огурцы, сия любимая закуска руссише фолька. Барбаросса несказанно удивился. «Ты, значит, покуражиться над нами решил, поразвлечься? — сказал он Магнусу Пятому. — Ну чаво ж, давай вместе не скучать. Ну-ка, хлопаки, подвесьте его теперь за нуссе!»

Еще не успели хлопаки вдосталь позабавиться над царскими гениталиями, как десять бочонков были в ярости разбиты о стену. Из одного действительно на пол рухнуло злато, если так можно ска-

зять о германских монетах не всегда перфектного чекана. В других были где огурцы, а где и икра, эти паршивые рыбы яйца, кои русские дурни ценят на вес золота. Двенадцатый бочонок остался неоткрытым. Кто-то в злобе пнул его сапогом, и он, самый, между прочим, интересный, беспрепятственно прокатился почти до церемониальных дверей. Краснобородый поскутнел. Надоть было теперь закруглять казацкое веселье, кончать всех, кто еще шевелился из Грудерингов, и своих подбирать павших бойцов, дабы не опознали отряд прусские альбо датские власти. Впрочем, девки вон еще остались нетронутые. «Эй, аффеншванцы, давай позабавьтесь с принцессами, вы этих путан заслужили!»

Далее произошло нечто обескуражившее отважных гадов. В руке у одной из курфюстиночек оказался нож, явно острый, как бритва. Мгновенно она рассекла путы, и обе девочки бросились к разным выходам из зала. Одной из них — затрудняемся среди сего ужаса сказать кому, Клаудии или Фиокле, — удалось убежать. Другая, именно та, что была с ножом, стала добычей расшвирипевших гадов. Целая куча смердящих навалилась на нее. Лишь один, первый, рухнул на бок, захлебываясь своей кровью. Остальные пошли друг за другом, выстроилась гогочущая в полном безумии очередь.

Из угла тронного зала за этой сценой наблюдал задумчивый Видаль Карантце. Так, собственно говоря, и получилось, как он задумал, когда передавал нож и шептал «ESPERER!». Именно так и нужно было, чтобы не обе спасли свой девичий цвет, а одна, чтобы одну изнасиловали, а не обеих. А теперь нужно сделать так, чтобы обе остались живы, порченная и не-

тронутая. Вот такую мы и представим загадку сему куртуазному веку.

Придя к сему решению, Карантце извлек из карманчика на своем захудалом кафтанце серную спичку (надеюсь, что к этому времени сии полезные предметы уже были в ходу, если же нет, не важно, заменим ее какой-нибудь одноразовой шпучкой), зажег ее об одну из своих выдавших виды подошв и бросил сей почти невесомый огонь через весь огромный зал. Пролетев столь солидное расстояние, огонь упал на оставшийся неоткрытым двенадцатый бочонок, и поджег случайно пролитое на него факельное масло. Бочонок рванул (правильно, там был порох)! Тут же вспыхнуло огромное пламя. Лишь немногие из гадов, да и те с горящими задницами и головами, сумели выбраться из пожара. Карантце же беспрепятственно прошагал через огонь, то есть через довольно знакомую ему стихию, к неподвижно лежащей девочке — то ли Клоди, то ли Фио, — за ногу вытащил ее в каменную галерею, бросил там, а сам спрыгнул в море.

Так в то безмятежно солнечное утро погибла вся династия Грудерингов за исключением двух несчастных курфюрстиночек.

То ли в тот же день, то ли не совсем через пролив Свиного Мунда переправились на пароме два шевалье, Николя Буало и Мишель Террано. Уже сидя в седлах, они созерцали с палубы парома вырастающий на горизонте столь желанный их сердцам замок. Тпру и Ну проявляли необычное для боевых коней беспокойство; косили глазами, раз-

махивали хвостами и даже норовили встать на дыбы. Коля и Миша молчали и только ободряюще улыбались друг другу: сегодня они намеревались коленопреклоненно просить у августейшей четы их дочерей.

Паром, что уже две недели как перестал из-за недостатка субсидий соединять остров с материком, теперь был куплен уношами, как говорится, от кия до клотиков. Щедрый дар Вольтера плюс вексели Гран-Пера Афсиомского внушили всадникам несколько преждевременную мысль о том, что теперь в их жизни наступил возраст богатства. Не чурались они и фантазии купить весь остров с замком, чтоб объявить себя герцогами Оттецкими и таким образом вступить в европейскую матримонию на правах равных.

Сначала они увидели дым, это выгорали крыша и рамы каменного великана. Вскоре все строение выросло на горизонте. Кони заржали и, не дожидаясь приближения и медлительной швартовки, спрыгнули в воду и поплыли к близкому пологому берегу. Едва копыта коснулись дна, Коля и Миша пустили верных друзей во весь опор. Теперь видны были местные жители, выносившие из дыма мертвые тела. Пастор Блюмендааль, стоя на краю террасы с поднятым крестом, возносил молитвы. Не спешиваясь, уноши взлетели по парадной лестнице и заколотили копытами вдоль галереи. Буря разорванных чувств охватила их, но среди сих чувств, как у каждого военного человека, преобладала жажда мести. Только после нескольких минут безумных метаний они овладели собой и подскакали к священнику.

«Грудеринги все убиты, царствие им небесное!» — поведал тот.

«Принцессы тоже?!» — возопили Николай и Михаил.

Подбежали несколько местных жителей, взялись за стремена весьма популярных на острове вольтеровских красавцев и стали сбивчиво передавать, что знали о трагедии. Бандиты с материка вырезали всех, перепились и учинили пожар. Одна курфюрстиночка жива, она прячется в северной башне, мы видели ее ангельский лик, однако, господ офицеры, она явно не в себе, играет на флейте, а взять ее из башни нельзя, потому что все внутри выгорело. Вот сейчас наши мужчины побежали за лестницей.

Уноши грянули с коней, помчались по восточной галерее к северной башне, перепрыгивая через обгоревшие останки неопознаваемых людей. Коля проскочил вперед, а Миша вдруг споткнулся перед поворотом: одно мертвое тело, вернее, тельце, увидел он, приподнялось на локте, попыталось убрать с лица волосы и рухнуло, разметав руки. Боже, да ведь это она, Клоди, моя девочка! Она жива! Он не решался подойти и с нескольких шагов смотрел на растерзанное платье, на ножки ее в шрамах и кровоподтеках, на текущие из нее жидкости, на обезображенную левую половину лица и вдруг с чудовишной пронзительностью понял, что с ней произошло. Не в силах выговорить ни слова, он бухнулся на колени и так на коленях стал к ней приближаться. Едва он нагнулся над ней, открылся правый глаз, а разбитый рот исторг хрип непостижимого, нечеловеческого свойства.

Николай между тем с седла вовремя подскочившего Ну взялся карабкаться по стене северной башни. Он видел: она там, его Фиокла, сидит в проеме узкого окна и играет на флейте безмятежную пьесу

Телемана. Дым разъедал ему глаза, но он продолжал, цепляясь за каждый малый выступ в грубой кладке, подниматься вершок за вершком, не понимая, что слезть оттуда вместе с ней он никогда не сможет. «Фио, се муа, Николя! — кричал он вверх на своем отменном французском. — Иду к тебе, моя Фио!» Игра оборвалась, и он услышал ответ: «Ах, вы вернулись из Швейцарии, господа офицеры, как это мило! Значит, ничего не случилось, и все сейчас за столом, пьют сок корнеплодов, под эгидой Их Высочеств папеньки и маменьки. Ах, Николя, вы напрасно меня называете Фио, ведь я Клоди. Фио сейчас кружится где-нибудь в занебесье, а я ей играю на флейте, я скоро тоже буду там, в занебесье, вместе с сестрою, однако я пока что Клоди, мой дорогой, а вы больше кто, Мишель иль Николя?»

Наконец он перекинул ногу в проем окна, или, вернее, бойницы. Девочка погрузилась в его объятия, сияя безмятежным счастьем. Он целовал ее щечки, и ушки, и губки, не чувствуя близости Эроса, а просто как дочь, хотя никогда прежде не ведал за собой ничего отцовского.

Появились наконец местные увальни с лестницей и веревками. Узница северной башни была спасена, за ней по веревке соскользнул и спаситель. Он посадил девушку в седло и медленно повел верного коня по восточной галерее. За поворотом им встретился Михаил. Тот нес на руках вторую — иль первую? — сестру, обвисшую, как убиенный олененок. Впрочем, она была еще жива, если судить по ручкам и ножкам, которые иной раз на мгновение приходили в спазматические вздрывы, словно от кого-то защищаясь. Тпру шел за ними следом.

«Кого ты несешь?» — осторожно спросил Николай Лесков.

«Кто бы она ни была, это Клаудия, моя земная и небесная невеста, и ты тому свидетель, мой друг и брат», — отвечивал Михаил Земсков.

И оба разрыдались, держа друг друга за темляки сабель. Над ними новыми трелями пела флейта.

Две уцелевших кровати вытащили на террасу замка и в них уложили сестер. Местные тетушки истово хлопотали вокруг. Опыт рыбацких жен вельми тут сгодился, понеже нередко в сезоны штормов с моря им приносили полусознательных тружеников. Ныне через пролив побежали челны за медицинской услугой. Оба офицера сидели на камнях террасы возле кроватей, сами не в полном порядке.

Сумерки наступали, и небо уже начинало сиять осколками изумрудов. Встал Михаил и подошел к краю, облокотился о балюстраду. Внизу, под отвесной стеною, закручивались и взлетали темно-зеленые волны с белою бахромою. Миша смотрел вниз, медленно страшную мысль соображая. Пора уже прыгнуть мне вниз и уйти навеки отсюда туда, куда так влекло при каждом по голове ударе. Вопрос только в том, взять ли ее с собою, чтоб перестала мучиться здесь и там красотой засияла рядом со мною.

Вдруг из крутящихся прорв поднялось нечто в форме обширного ската и обернулось внешностию Видаля Карантце. С насмешкой он взирал снизу. «Для пушего сведения спешу донести, что злодеяние было совершено по заказу графини Амалии Нахтигальской. Чтоб знали, кому мстить». — «Кого изнасиловали, Клаудию или Фиоклу?» — с жадностью спросил Михаил, хотя не раз давал себе зарок не общаться с нечистой силой.

«А вот этого не скажу, чтоб мучился всю жизнь. Это отмщение мое тебе за грубый пинок сапогом в сраку-с». И с этими словами ушел в глубину.

На этом, собственно говоря, мы можем и завершить нашу отчаянно правдивую историю, которой могло и не быть, о том, как философ Вольтер общался со своими единомышленниками из Санкт-Петербурга. Старинная традиция, впрочем, дает возможность рассказать в эпилоге также о том, как сложилась и вне романа судьба наших любезных — и не очень — персонажей.

Эпилог

*как таковой в завлекательных авансах
не нуждается*

Лето 1812 года в Рязанской губернии задалось важное: и на посевы, и на косьбу выходило ведро, а меж страдой случались обильные ливни, способствующие вызреванию злаков и бахчевых культур. В июле, то есть ровно сорок восемь лет спустя после описанных в сей повести событий, опять выдалась стойкая жара, что радовало хозяев поместий, равно как и крестьянский люд. Клавдия Магнусовна Земскова, несмотря на почтенный возраст, слыла самой рачительной сельской деятельницей Ряжского уезда. Об эту пору просыпалась она с петухами и до заката колесила на легкой бричке по своим обширным угодьям, обходила поля и огороды, посещала и дальние хутора и везде вела просветительные и указующие беседы с артельными. Возвращаясь же домой, Клавдия Магнусовна отнюдь не падала замертво, а усаживалась к пиано, чтоб усладить мужнин слух и говорить с ним о прекрасном.

Что касается мужа ее, Михаила Теофиловича Земскова, ему, как всегда, было не до угодий, однако никто в уезде не ставил ему за то лыка в строку, хоть и считали почтенного отставного генерала заядлым вольтерьянцем. Все знали, что занят Михаил Теофилович де-

лом, быть может, более важным, чем сбор урожая или пестование скота, ведь каждое утро, усаживаясь в своем кабинете под портретом главного вольтерьянца, местье Вольтера, перед собранием различных стеклянных емкостей, перед весами с полупрозрачными чашками, перед выстроившимися, что твоя орудийная батарея, микроскопами, мыслил Михаил Теофилович о сугубых внутренностях человека, о разных его жидкостях, осадках и слизях, равно как и о секретных его «эциях», и все это ради поддержания человеческого, отнюдь не бычьего, здоровья.

Однажды в одно из подобных утр услышал Михаил Теофилович через открытое окно и ветви многолистленного сада шум дюжины копыт и окрики кучера с проселочной дороги. Вынес на террасу свое корпулентное тело и увидел, что в поместье въезжает запряженная тройкой шегольская иноземная карета. Так и есть, Николай пожаловал с регулярным визитом; откуда на сей раз?

Седовласый, хоть и с подкрученным коком, весьма подтянутый в талье — небось усилиями корсета, — Николай Галактионович Лесков чуть ли не выпрыгнул из экипажа, чуть ли не побежал к нему на крыльцо, однако что-то, видно, пронзило седалищное сплетение, и он остановился в мгновенной задумчивости. Тут же, впрочем, двинулся дальше, слегка припадая на ступенях.

«Мишка, видишь, я сразу к тебе, не заезжая даже к Фекле! Черт бы побрал хваленого «честертон», растряс всю задницу, защебил мускулюю глутеус! Ну, как ты, друг мой братский? Дай-ка огляжу! Хорош, хорош, как всегда, со своей неотразимостью! Небось из младенцев-то на селе половина твои, ха-ха-ха?!»

Они обнялись.

«Ах, Коля-Николя, соскучился я уже по твоему бонвиванству», — проговорил Михаил Теофилович.

«А я-то как соскучился по тебе, эскулапус мой уединенный! — в прежнем духе продолжал выкрикивать Николай Галактионович. — Не знаю уж, что и делать-то буду без тебя на сей грешной планете!»

«Это как же прикажешь понимать?» — опешил Земсков.

«Ну ведь когда-нибудь, хоть к ста-то годам, небось представишься, а, Миша?» — весело предположил Лесков.

Земсков с интересом посмотрел на Лескова: «А ты, стало быть, не собираешься еще в дорогу к тем-то годам?»

Лесков с огорчением потрепал дружескую холку: «Ох, не люблю я этих «еще», ох, не приветствую! Ну ладно, хватит шутить, давай начнем с дела».

Земсков провел Лескова с жаркого крыльца в прохладу кабинета и крикнул, чтобы принесли из ледника квасу. «И шампанского!» — крикнул Лесков вдогонку. Адъютант Зодиаков (сын упомянутого в главах секретаря Зодиакова) внес за ним в кабинет кожаный саквояж, как и все у Лескова, превосходной работы. Друзья уселись в кресла напротив друг друга, выставив колена, как бы специально, чтоб бить по ним стариковскими дланями.

В саквояже были карманы с флаконами. Быв извлечены и расставлены на столе, флаконы демонстрировали этикетки с именами петербургских кавалерственных дам и знатных законодателей общества: Шерер, Курагины, Нессельроды и даже главный политический специалист-мыслитель Сперанский. Так уж повелось за последние годы, что в пе-

тербургских политических салонах стал появляться чуть ли не на правах отечественного Калиостро известный в прошлом боевой екатерининский генерал Николай Лесков, маркграф Бреговинский. К нему обращались со своими малыми и большими недугами представители высшего света, кои были либо пресыщены, либо не удовлетворены светилами официальной медицины. Точно не известно, в какие таинства посвящал свою клиентуру сей представительный и до чрезвычайности светский господин, женатый, как гласила молва, на уцелевшей представительнице одной исчезнувшей в одночасье династии остзейских принцев. Поговаривали, что вовлекает он свою паству, сиречь пациентов, в некое сиамское шаманство, совместную экзальтацию с камланием и тряскою, почерпнутое якобы из трудов своего морганатического родителя, одной из наиболее загадочных личностей екатерининской эпохи, шпиона, писателя и путешественника Ксенопонта Петропавловича Афсиомского, автора прогремевшей во второй половине прошлого столетия повести «Земные и внеземные шествия Ксенофонта Василиска». Доподлинно было известно, что раз в месяц Лесков покидает столицы с образцами высокородной урины, экскрементов, лимфы в форме экссудативных выделений, запекшейся сангвы, бронхиальных мокрот и даже комочков спекшейся или, наоборот, разведенной до полупрозрачности джизмы. Генерал не делал секрета из того, что направляется он на консультацию к своему партнеру, гениальному целителю и такому же, как и он сам, отставному екатерининскому генералу Михаилу Земскову, барону Оттецкому и Анштальтскому, обладающему даром проникновения в тайны челове-

ческих организмов путем прочитывания индивидуальных выделений. Возвращался в столицы Лесков с саквояжем, полным тщательно рассортированных порошков в облатках из подсушенной лягушачьей кожи, микстур, запечатанных в рыбки пузыри, пропитанных кое-какими отварами кусочков сахара, пучочков горьких трав, кои надобно было жевать всухую или растворять в перепелячем бульоне, и тому подобных, всякий раз весьма неожиданных, снадобий. Все это было приготовлено собственноручно самим великим затворником, кому, как гласила молва, случилось быть в молодости конфидантом великого Вольтера и негласным фаворитом Ея Императорского Величества. Все эти процедуры, предоставляемые такими исключительными личностями, стоили огромных денег, однако общество готово было за них платить и больше, и оно платило все больше и больше, поскольку видело, что лечение приносит пользу и что люди улучшаются. Толстые пачки ассигнаций, а временами и золото Лесков привозил в рязанское поместье своего друга, где и делил пополам, без утайки.

Кто бы думал, что так благоприятственно все сложится, когда в возрасте пятидесяти двух лет, сразу после кончины матушки-государыни, оборвалась обоих столь блистательная с начала и до конца имперская служба.

В молодости своей, еще в том памятном 1764 году, после возвращения с острова, получения чинов, титулов и наград, Коля и Миша по совету Гран-Пера вышли из секретной экспедиции. Совет сей, как они поняли, пришел то ли от исчезнувшего без остатка барона Фон-Фигина, то ли от Той, кого он на острове представлял с толь неповторимой курту-

азностью. Кажется, было сказано примерно так: «Пусть пребудут теми, кто они есть, ибо секретственные машкерады не всегда способствуют становлению личностей». SIC!

Карьера Миши проходила в кавалерии, в то время как Коля в силу своего раннего французского курса направлен был в артиллерию. И все же наши братственные друзья всегда старались устроить свои службы так, чтоб быть поблизости друг от друга, и если, скажем, Николай командовал батареей при Дубоссарах, он почти был уверен, что в начале общего штурма мимо его редута в составе блистательных лейб-улан проскачет и Михаил.

Их пассии, принцессы уничтоженной династии Грудерингов, стараниями все того же как бы несуществующего барона Фон-Фигина, а стало быть, и стоящей за ним высочайшей персоны, были устроены под покровительство Санкт-Петербургского двора. Им были выделены такие суммы, о коих не мог даже и мечтать их папенька, геройски погибший курфюрст Магнус Пятый Великолепно-Самоотверженный. Много месяцев ушло на восстановление здоровья бедных девочек, пока наконец под наблюдением лучших медиков Двора они не вернулись к своим неотличимым образам юных красавиц. Юных, но очень грустных. И не совсем еще умственно здоровых, если судить по душераздирающим крикам, иной раз прилетающим ночью из высоких палат.

Каждую раннюю весну по накатанным за зиму дорогам девочек направляли на лечение в швейцарский Давос. Для сопровождения Коля и Миша по

высочайшему повелению получали отпуск из полков. Ехали через Германию, и в каждом из пересекаемых германских пфальцев местные владыки устраивали путешественникам, то есть в любом случае более или менее родственникам, радушный, хоть и не без понятной траурной нотки, прием. Кровавое дело на острове Оттец потрясло все существовавшие к тому времени германские государства. Общее мнение сводилось к тому, что дальше так жить нельзя, пора покончить с торговлей полками и армиями и с бесконечными войнами по поводу различных «наследий». В единой Германии такого грязного дела не могло случиться! Иными словами, трагедия Грудерингов исторически внесла вклад в идею объединения германского мира для вящей пользы, как многие просвещенцы полагали, всему человечеству или, как мог иной раз обмолвиться генерал Афсиомский, «всему пчеловодству». Почтенную герцогиню Амалию Нахтигальскую, урожденную Грудеринг, о причастности коей к сему делу пошли нехорошие слухи, подвергли такому остракизму, что правительница сия в состоянии непрекращающейся истерики предпочла исчезнуть, предварительно отписав все свое герцогство королю Пруссии.

По вступлении девочек в совершеннолетие и опять же с благословения российской монархини, переданного через несуществующего Фон-Фигина, состоялись их свадьбы с гвардейцами Ея Императорского Величества, новоиспеченными маркизом Бреговинским и бароном Оттецким-и-Анштальтским. Тому предшествовали тайные, а то и нестер-

пимо открытые страдания четырех любящих сердец. Во-первых, не совсем было ясно, в кого кто был влюблен еще в идиллический срок влюбленности, хоть и предполагалось, что Николя — в Фио, а Мишель — в Клоди; и соответственно наоборот. Во-вторых, совсем уж неясно было, что с кем случилось, Клоди ли была подвергнута массовому насилию гадов, Фио ли пряталась в башне и общалась с ангелами; или наоборот. И в-третьих, возникла весьма двусмысленная тема мезальянса и жертвенности. Пока династия была жива, двое худородных уношей не считались подходящим выбором для двух принцесс, кои по династическим канонам могли быть выданы за каких угодно высоких персон, вплоть до великих князей; тому примером была и сама государыня. Ну а после трагедии два блестящих карьериста как бы снисходили до двух несчастных сироток, ущербных к тому же физически и духовно.

Коля, конечно, склонялся к «башенной», что была, возможно, Фиоклой, однако стеснялся, как бы ему не приписали гадливость ко второй, вроде бы Клаудии (а вдруг нет?), порченной толпой вонючих гадов. С другой стороны, как опытный в эротике уноша, он опасался, что у девы после насилия может разыгаться то, что в те времена называли «бешенством матки». С этой стороны жалко было и братского друга Мишу.

Что касается последнего, то для него, в общем-то, все было ясно: он женится на порченной, изнасилованной, униженной до самого последнего предела, то есть именно ему суженной, а стало быть, она и есть Клаудия! И он с ней не будет мучиться всю жизнь, как предрекает черт запечный Сорокапуст, а будет всю жизнь наслаждаться высокой лю-

бовию! К тому же теперь уж есть приметное отличие от сестры: на шее остались две вмятины, как будто следы от клыков.

В общем, в конце концов разобрались и в один день пошли под венец в присутствии разного прочего блистательного уношества, а также высоких чинов армии и флота; сказывали, что на церемонии побывал и сам барон Фон-Фигин, укрывшийся под машкератом знатной дамы. У Коли и Фио благодаря сурьезной опытности первого, в общем-то, получилась счастливая, или, скажем так, сносная, брачная ночь, а в дальнейшем пошло еще лучше, или, так скажем, не хуже. Что касается Миши и Клоди (будем уж ее так теперь решительно называть в ходе эпилога), то у них все вышло сложнее. Никакого «бешенства матки» у юной госпожи Земсковой не обнаружилось, напротив, матка, как и все другие сокровенные органы, после ужасного насилия погрузилась в состояние полнейшего отвержения любовных утех. Даже и самое нежное к сим органам прикосновение вызывало у Клоди мгновенную окаменелость и болезненный стон. И тем не менее молодые любили друг друга до самозабвения, до слез немыслимого счастья. «Мишамой, — бормотала она, положив свою головку на довольно уже курчавую грудь своего героя, — я люблю тебя сейчас, как, помнишь, тогда ночью на море, на баркасе тебя любила, как будто мы с тобою одно существо, как будто еще не разделились, как будто не изгнаны!» И он отвечал ей, лаская ее мочки ушей, носик, щечки, ключицы, ручки, локотки, но, Боже упаси, не прикасаясь к межножию: «Клодимоя, я люблю тебя даже не вечной, а вневременную любовь, и нас с тобой ничто не разделит!»

У Коли и Фио начали рождаться детки: сначала мальчик, потом девочка, потом близнецы, девочка и мальчик. У братской пары, увы, детки не рождались, пока по окончании Турецкой кампании 1770 года, то есть когда Мишешую исполнилось уже двадцать шесть, а Клодимоей соответственно двадцать один, не отправились они повидать Гран-Пера в отдаленный Сиам.

Ксенопонт Петропавлович как кавалер самой почетной сямской награды, Ордена Раннего Солнца, получил в Сиаме целую провинцию земли. Ежели говорить по чести, Ксенопонт Петропавлович в 1764 году, к концу экспедиции, известной под именем «Остзейское кумпанейство», чувствовал себя, а вернее, даже и не себя, а то, что выше самого себя, то есть свое достоинство, изрядно ущемленным. Ведь так либо иначе, однакож всю ту волшебную неделю на острове Оттец он старался ловить взгляды пленипотенциарного посланника, хоть и понимал, что тот его, как говорили тогда в артиллерийских войсках, «вплотную не видит». А ведь задолго до начала экспедиции Никита Иванович Панин, увещевая любимца Европы взяться за сие многотрудное дело, ободрял его самым высшим благородным положением и заверял, что он войдет в историю полноправным участником вольтеровских бесед.

Что же получилось? Если уж удавалось многолетнему уловителю взглядов поймать взгляд барона, тут же виделась в глазах того хладная и властная длань, как бы упрежающая: «Не в свои сани не садись!» Да и друг Вольтер, уж на что егоза егозою,

почуял сей нюанс высшего фаворита по отношению к «своему Ксено» и понял, что тому тут без шанса примазаться к энциклопедистам, сиречь послужить своей любимой музе Клио. Так и третировали его с утонченными, но изрядно жалящими улыбочками, будто управляющего поместьем, быть может полагая, что сия упрощенная натура того непроизнесенного третмана не постигнет.

Постиг, судари мои! Вот вам-то знатно было б понять, что Афсиомский хоть тайны государственной и под пыткой не выдаст, однако ж и к прелестным ножкам Государыни не повергнется с жалобой на непреемственность барона Фон-Фигина; честь старинного византийского рода не позволит!

С теми же ущемленными сентиментами, трепеща, хоть и скрываясь за неприступностью челюсти, приблизился тогда Ксенопонт Петропавлович с манускриптом «Шествия Василиска» к тому, кого еще недавно полагал доверительным другом, к Вольтеру. Ну, сему блаженному жантильому лишь бы не уронить репутацию изящества и любезности; сочинение берет, однако ясно видно, что читать не ласкается. Где ж пределы несурьезности сего века, милостивые судари? Ведь ради просвещенности поворачиваюсь плечом к патриотам родины, к самому Александру, как его отчество, Сумарокову! Почему два писателя не могут обняться в дружеском умилении? Откуда ж берется в глазах огонек вечной иронии, сей сестры ехидства и развратницы мысли?

Разочарованный равно и в родине неблагодарной, и в тщеславной Франции, Афсиомский купил в Англии большой корабль, нанял, не щадя денег, опытный до дерзновенности экипаж и отправился в некие дальние страны, чтоб на закате дней повто-

рить долю своего протагониста. Перед отправкой удалось ему сманить из тайной структуризации трех надежных сарымхадуров, дабы с их помощью получать новости из мира тщеты и величия, покуда не развеется на морских путях и в дальних пределах малейшая в них потребность. Среди них был и Егор, сей пернатый рыцарь скорости и надежности, почитавший генерала как возродителя их древнего рода монгольских эстафетчиков.

Не успели они обогнуть Африку, как великий почтарь влетел в каюту разочарованного путешественника с новостями от Вольтера. Книга издана, продается с изрядным успехом, пачка копий отправлена караванными путями в Сиам, к королевскому двору. Нет, недооценил конт де Рязань дружеского пристрастия великого мэтра. О Вольтер, электрический лебедь Вселенной, смиренный твой Ксено за тысячи королевских миль припадает к ногам твоим! Вот ведь и направление указал для моего вуаяжа — Сиам! Страна, где девы вечно пышут ароматами раннего солнца!

Еще один сарымхадур, Тимофей, доставил на корабль вексель от книжного агента месье Тьер-Долье. В Британском банке Калькутты уровень доверия был так высок, что, несмотря на некоторую подмоченность финансового документа, генералу был выдан цельный портфолио живых денег.

И вот — Сиам! Это было уже третье его путешествие в сию державу, и он знал, как тут себя вести. Купив в гавани караван слонов, Ксено вошел в столицу, похожую на миражную варьяцию белокаменной Москвы. Приблизились к королевскому дворцу. Генерал колебался: надеть ли когда-то подаренный Вольтером орден? А вдруг признают подделку,

швырнут в узилище, произведут усекновение телес, а то еще выпорют, чего доброго? Все ш таки дерзнул, приколот к шейному банту. Орден тут же дал острейший луч, словно в ответ на запрос витых башенок твердыни. Тут же со стен грянули горны, вся знать вышла из ворот. Оказалось, ждали и вот признали гостя кавалером Ордена Раннего Солнца и Ясной Мысли, выпущенного когда-то в единственном числе и утраченного в парижских безумиях принцем-наследником, кой щас как раз и стал тайским королем.

Так Ксено и был назван почетным лицом благоуханного царства. Средствами к тому времени он располагал немереными, поскольку нувель «Земные и внеземные шествия кавалера Ксенофонта Василиска» — заметьте, между прочим, как разница в одной букве рождает из автора протагониста! — прогремела по всей Европе и даже во многих заморских колониях. Сказывали даже, что, когда лондонский журнал «Британский сад» взялся печатать «Василиска» с продолжениями, публика в Нью-Йорке выстраивалась на пирсе в очереди к приходу пакетбота со свежим номером. В шутку, а толь и всерьез к сему курьезу добавляли, что, мол, недаром теперь участились в океане пиратские abordажы: даже и морским ушкуйникам хотца почитать любопытную штучку.

Успеху сему, понятное дело, способствовало напутствие самого Вольтера. Философ, в частности, писал: «...сей муж, Ксенофонт Василиск — друзья, как мне помнится, называли его Ксено, — обладает донельзя сурьезным аспектом зрения на проблемы Земли и Галактики. Повсюду, будь то в Лангедоке, Китае или Сахаре, а то и на периферийных кольцах

планеты Сатурн, он оставляет свои следы в виде недюжинных детищ своего искрометного ума и незаурядного тела...»

Солиднейшие ройалтис от многочисленных издателей собирались на счетах графа де Рязань в банковских столицах мира, особенно в неприступной крепости Цумшпрехт. Ходили, правда, слухи, что еще более солидные поступления набрались на оных счетах за счет «отстёга» (так выражались в те времена амстердамские финансовые евреи) от имперских ассигнований на различные, не всегда кристальные проекты, однако слухи сии, по всей вероятности, рождались на мельнице сплетен. Впрочем, если даже и был в них какой-нибудь резон, то кто безгрешен, ведь даже и сам великий Вольтер сколотил свои миллионы не на папертях храмов, а на армейских подрядах.

Так или иначе, но денег у новоиспеченного сиамского раджи хватило и на сооружение величественного дворца, и на содержание закрытой гимнастической школы для юных девичьих дарований, и для встречи своих любимых Миши и Клоди, о подлинной цели визита которых он уже догадывался.

Несколько штрихов этой встечи, взятых из сиамского «Королевского бюллетеня»: «Граф встретил своих наследников (!) верхом на белом слоне. Под уздцы он вел второго такого же слона, предназначенного для маркиза и маркизы. Еще две дюжины таких же слонов образовали аллею торжественной встречи. На головах у них стояли воспитанницы гимнастической школы с павлиньими опахалами».

Ничего спиртного во дворце не подавалось, да оно и не требовалось: что-то такое добавлялось за обедом при смене блюд — то ягодка какая-нибудь,

то листочек, то червячок, — после чего дух подскакивал вверх, но не в пьянственном духе (пр. прощения), а во вдохновенческом. «Вы видите, как я здесь помолодел, дети мои, — все время повторял Гран-Пер. — Видите, что такое Сиам?!» Мише и Клоди не казалось, что он особенно помолодел, однако они не могли утверждать и обратное: Гран-Пер не постарел. Проглотив ягоду, листочек и червячка, они воспарили душой и открылись графу, что хотят детей. Афиомский хитровато улыбнулся: «Все меры уже приняты. После этого обеда зачатие обеспечено!» Пришлось приоткрыть перед ним шторы в их бездну: у них не простая, а ангельская любовь, а потому им нужно не зачатие, а готовые детки, девочка и мальчик. Опытного шпиона ничем было не удивить. На следующее утро уже были предложены два младенца, принцесса Навилатронггинанаруэкумана и принц Гдеолистрангомнисиликтреокуман, в этом роде, и соответствующие к ним кормилицы. Миша и Клоди тут же влюбились в малышей, кои вообще-то могли быть им в некотором смысле сводными сестрой и братом, и нарекли их соответственно Натальей и Георгием. Именно там, в отдаленном и вечно сияющем Сиаме, Клоди сказала Мише, что жаждет уединиться с детьми в рязанском поместье. Будет там растить крошек Земсковых в духе европейского просвещения, приглядывать также за стареющими Мишиными родителями и ждать Мишу со своей вечной любовью и с памятью о той волне Балтийского моря, что соединила их, ну, словом, Мишеля и Клаудию (ежели не была она Фиоклой) навеки.

Узнав о решении сестры, забеспокоилась и Фиокла (ежели не Клаудия). Известно, что однойцо-

вые близнецы в течение всех их жизней испытывают один к другому почти непреодолимую тягу; что касается сестер Грудеринг, нам уже известна их неотделимость. Если уж выходишь замуж за русского, заявила плодоносная мадам Лескова, надо и самой становиться русской, а значит, надо вместе с детьми поселяться в самом центре сей страны, в загадочной Рязанщине. Николай не имел ничего против, отнюдь! Спасибо тебе, дорогая моя, за то, что разделяешь мои патриотические сентименты. Именно на Рязанщине живут настоящие русаки, не тронутые порчей! Сам же он с еще большей охотой устремился в строительство артиллерийской обороны, в чем и преуспел, но об этом позднее. Так и зажили две прежних курфюрстиночки на двух соседних холмах, разделенных речкой Мастерницей, по которой в жаркое время можно было ходить пешком, а в мороз нестись на коньках. К этому времени существенно сгладилась идеология двух холмов, в частности, между ними шел постоянный обмен томами «Энциклопедии» и парижскими модными журналами, а роман Шандерло де Лаклоса «Опасные связи» вызвал на обоих холмах сущую бурю как чувствий, так и предчувствий романтизма. Вот увидишь, Клоди, скоро появится какой-нибудь аристократ, почему-то мне кажется, что в Англии, ах, Фио, я в этом и не сомневаюсь, он и продолжит жанр самовыражения!

В обычные дни, посреди сельских забот, они уже не пользовали сии клички а-ля стиль, но охотно называли друг дружку на рязанский манер Феклой и Клавой.

Нередко при Дворе случались некоторые оказии, когда молодой подполковник Михаил Земсков при-

зывался для оказания особого рода услуг. Речь шла о срочной и быстрой поездке в Ферне для передачи письма, а чаще всего какого-либо дарственного пакета от Государыни ее доверительному корреспонденту Вольтеру. Миша быстро снаряжался и вот уж мчался с каким-нибудь надежным гусаром, а то и с двумя, по знакомым ему, как и нашим читателям, североевропейским равнинам. Всякий раз на тех дорогах вспоминался ему верный друг-жеребец Тпру (он же Пуркуа-Па), погибший в Молдавии при прямом столкновении с турецким визирем, а также и Колин шаржёр Ну (Антр-Ну), доживающий свой век на конном заводе в селе Рыбное Рязанской губернии. Вспоминалось и всякое другое, включая и разные «облискурации» в Ревеле и в Гданьске, в Свином ли Мундо, в исчезнувшей с лица земли крепости Шюрстин; Бог знает, случилось ли все это в его отмеренной календарем жизни или же появлялось из головы? Миша не забыл за собой привычки — или же болячки — выпадать на миг из календаря, а иногда и Колю за собой тянуть — туда, где время катит вперед по-другому, а то и вспять.

Однажды в таком путешествии — кажется, подъезжая к вюртембергской границе майской ночью с соловьями и светляками — почудилось, что светляки сии один за другим начинают с большой высоты падать на него какими-то ревущими металлами. Показалось, что конца этому небесному реву не будет, но потом вспомнил про секунду времени и тут же вынырнул обратно в тишайшую ночь с соловьями и с совсем бесшумными световыми мухами. Сопровождающие лица даже и не заметили провала.

Между прочим, все эти экспедиции к Вольтеру чем-то были сродни подобным смещениям време-

ни. В армейской рутине с ее регулярными построениями, проверками и маневрами не замечаешь, как и год пробежит, а тут скачешь по заграницам всего какую-нибудь неделю, а глянь, неделя сия заменила в воспоминаниях весь год. Позволь, позволь, Клодимова, в каком же году сие было? Ах да, в тот год, когда я Вольтеру от Государыни соболей возил!

И всякий раз возникает восхищение, когда выскакиваешь на холм, с коего открывается перед тобою долина Ферне и шато с восемнадцатью окнами по фасаду, не считая мансард и подвалов, с шестью высокими трубами, с тремя фасадными подъездами. Нет, недаром нашел именно здесь прибежище лукавый старик! Ему нужны были свет и мир, и он их здесь обрел. А потом и дом здесь построил в том единственном месте, где он должен стоять как центр мира и главный светоч! Так, во всяком случае, Миша считал, хотя и знал, как много людей полагают сей светоч ехидною.

Философ всякий раз встречал гонца с распротертыми объятиями: «Какая радость видеть тебя вновь, мой милый обскурант! Какие парадоксы ты припас на сей раз в ответ на парадоксы просвещения?» Миша, а вернее, подполковник Земсков, маркиз де Оттец, барон Анштальтский, выдавал что-нибудь вроде:

«Мой дорогой мэтр, всю дорогу к вам я думал о трех главных заклетиях человеческих: о прошлом, настоящем и будущем. Принято думать, что мы сидим в настоящем, вспоминаем прошлое и движемся в будущее, не так ли? Между тем мы не успеваем осознать и единого мига из настоящего, как оно становится прошлым; стало быть, настоящего просто нет, не так ли? Будущее же существует только в на-

ших мечтах, а в реальности оно тоже немедленно всем скопом превращается в прошлое, не так ли? Значит ли сие, мой мэтр, что из трех времен существует только прошлое, то есть единственное то, о чем мы хотя бы с долей уверенности можем сказать, что оно было?»

Вольтер хохотал, потирал руки: «Воображаю физиономию Дидро, ежели ему рассказать, о чем думают офицеры екатерининской гвардии!» После этого он сел писать письмо своей возлюбленной монархине, а Миша разваливался на диване, на коем они когда-то толь беззаботно возились с несовершеннолетними курфюрстиночками.

Перед тем как скакать назад, он тщательно проверял запечатку послания. Всегда напоминал философу о необходимости начертания на конверте надписи «Е.И.В.Е2 в собственные руки». На прощанье Вольтеру, которому исполнилось уже семьдесят пять, подчеркнуто говорил: «До следующего раза, мой мэтр!», а тот отвечал с улыбкой: «В любом случае, мой мальчик!»

Чем ближе становилась российская граница, тем выше вздымалось волнение. Отечественные виды, убожество деревень, но особенно почему-то церковные и кладбищенские ограды вздымали в душе какую-то несвойственную веку, то есть не успокаивающую, а бередящую все естество музыку. Не верилось, что в этой стране с ним может произойти что-то чудесное, а между тем понимал, что к чудесному и летит.

Вот именно, дворец всякий раз казался ему после недельных скачек каким-то чудом, чем-то вроде его собственной вздорной башки видений, с той лишь разницей, что картина нигде не морщилась по

краям. От первого караула до последнего его передавали из рук в руки, вели по гулким анфиладам, пока не оставляли в пустой приемной зале. Там он стоял один у стены, бледный и, как он прекрасно понимал, неотразимый. Через время появлялась ближайшая фрейлина, чаще всего Протасова или Ташкова, или обе, «Ах, Мишель, вы всех нас погубите!». Перед ним открывались двери, и он проходил дальше уже один.

За окнами Нева либо стояла во льду, либо катила волны, качала челны, либо молчала мраком. И наконец возникала она, Е.И.В. Е2 с ее собственными руками. Всякий раз ему казалось, что она спускается к нему по церемониальной лестнице в своей любимой меховой шапке, а между тем она стояла на ровном месте и едва доходила ему до плеча, потому что в отличие от барона Фон-Фигина не любила высоких каблуков. Как полагается по уставу, он печатал шаги, с ладонью, приставленной к виску, докладывал о прибытии, вынимал из-за обшлага пакет и передавал адресату. Она протягивала ему руку для поцелуя. Он целовал тыльную сторону ладони, потом ладонь, потом предплечие, потом обе руки, что как бы подражали вспугнутой паре голубков, потом локти, тронутые уже увяданием, потом, все больше теряя голову, отщелкивал на спине кнопки, тянул на себя шнурки, обнажал ее плечи. «Ах, Мишель, — шептала она, — пошто вы думаете, что мы ни в чем вам не можем отказать?» И устремлялась вроде в поспешную ретираду, оглядывалась через плечо, беззвучно хохотала, трепетала в жажде быть пойманной, сдавалась в последней из своих комнат и получала все сполна.

Только после того, как первые восторги завершались, появлялись Протасова и Ташкова и вели

императорского курьера в туалетную, где за это время приготовлена была горячая ванна. Случалось, что он засыпал прямо там, в аромате лаванды, и, просыпаясь, обнаруживал рядом роскошных фрейлин, ничем не уступающих унтерам Марфушину и Упрямецеву, за исключением волнистых усов. С возгласом «Ах, дети-дети, неразумные дети!» в туалетную заглядывала императрица, и утехи продолжались. Иной раз она входила с только что полученным письмом и зачитывала что-нибудь курьезное от «нашего шаловливого старче». Ну, скажем, следующее: «Здесь ходит по рукам Манифест Грузинцов, объявляющий отказ в доставлении девиц ко Двору Мустафы. Желая, чтоб это была правда и чтоб все их девицы достались Вашим храбрым Офицерам, кои того стоят: красота должна быть наградою мужеству». Тут все присутствующие начинали бурно и šťastливо веселиться, и дамы задавались вопросами, каких же это Ахиллов, каких Антиноев из состава храброго российского офицерства имеет в виду гений человечества? И тут же отвечивали друг дружке: да вот ведь он с нами, наш Ахилл, наш Антиной, наш Мишель де Террано, и теребили обнаженного неотразимца в шесть рук, а потом и обнимали его всеми телами.

Не раз Ея Величество предлагала подполковнику Земскову перебраться во дворец, но он с печальной преданностью шептал: «Нет-нет, Ваше Величество, увы, сие не предписано мне судьбою». Зная о странностях его брака, она не настаивала.

Годы шли, но такие вроде бы случайные встречи происходили с прежней бурностию. Екатерина с возрастом значительно отяжелела, ноги ее опухали,

а зубы, невзирая на все старания лондонских дантистов, крошились и выпадали. Михаил между тем, отставая от нее на пятнадцать лет, продолжал пребывать в амплуа красавца мужчины. Однажды во время ее знаменитого путешествия в завоеванный Крым, то есть когда ей было уж близ к шестидесяти, он догнал императорский караван в свите Светлейшего, князя Таврического. В окрестностях только что заложенного города Севастополя, в укромной и донельзя питтурескной бухте он узрел со скалы царицыны купания. Служанки под руки вводили ее в кристальные воды. Тяжелый сам по себе живот ея отвисал, будто не выдерживая веса груди. Ступни ног почему-то потемнели и подогнулись внутрь. И вдруг, как легла она на воду и потянулась с наслаждением, так он и вспыхнул прежним страстным желанием погони и захвата. К концу купания он уже бродил в окрестностях ея шатра, ожидая аудиенции у щедрой монархини.

Возвращаемся в жаркое лето 1812 года. Николай Галактионович сообщает о результатах врачевания Санкт-Петербургских пациентов. Анна Антиоховна Шерер перестала покрываться красными пятнами, урегулировалось мочеиспускание, однако удерживаются крепискьюлы настроения при выходе в свет. Старший князь Ателье-Курагин благодарит за настой галигалуса осводийского: как рукой снял животные колики. Просит ваше превосходительство обратить внимание на подъем устойчивости и посылает по вашему вызову секретную экицию, добытую по вашей инструкции приемом рукоблудия. Вспоминает ваши

встречи при дворе Сириниссимуса. Графиня Бессамучникова считает, что порошки перкулятория буквально спасли ее как личность и как женщину и мечтает о личной встрече с живой легендой для бесед о тайнах организма. И так далее.

Михаил Теофилович расставляет по надлежащим ящикам прибывшие флаконы и с братской улыбкой смотрит на своего Колю, этого вечного петиметра. Вот ведь в прошлом-то веке все мы, включая, конечно, и кавалера де Буало, гладко выбривали свои визажи, а теперь и у него в подражание нынешним молодцам появилась под пучочками ноздревых седин некая хорошо укоренившаяся, да еще и вельми нафабренная гусеница. Ему уже хочется, чтобы сей «наш Калиостро» поскорее ушел, дабы продолжить положенные на сегодня исследования. Николай Галактионович вынимает из своей баулы толстую пачку ассигнаций и быстро делит ее на две половины.

«Ну что, Коля, говорят при Дворе о происках Буонапарте?» — спрашивает Земсков просто так, чтобы что-нибудь сказать, и попадает в точку. Буонапарте, оказывается, привел всю Европу, лё Гран Армэ, к нашим границам, и день ото дня ожидается вторжение. Генерал Земсков вскипает: «Нынешние тугодумы хорохорятся, а ведь нет сомнения, что он устроит нам новый Аустерлиц! Не ровен час, и Петербург возьмет корсиканец! Не знаю, как ты, Николай, а мы с Ростопчиным уже решили собирать ополчение. Ей-ей, наш эксперьянс еще поспорит с нынешними военными трутнями! Надо спасать Россию!»

Он долго еще говорит о большой политике, все больше распаляется и неизбежно в конце концов подходит к «греческому проекту», сему гениально-

му делу, замысленному великой Государыней «с передачи», как в том веке говорили, самого Вольтера.

В 1796 году все уже было готово для взятия Стамбула и проливов и оглашения манифеста о создании Новой Византии под десницей молодого императора Константина, «нашего внука». Армия и флот Порты были в полном расстройстве. Наши, напротив, собирались в противумагометанских тучах. Эскадра адмирала Вертиго нацеливалась на Корфу, дабы осуществить задуманный еще в Доттеринк-Моттеринке остров-базу. Греки по всему побережью готовы были поднять восстание за православную веру. Мечта стольких поколений была близка к воссиянию!

В Петербург съезжались военачальники на решающее совещание у Государыни, были среди них и два пятидесятидвухлетних генерала, Лесков и Земсков. Кто бы мог подумать, что при Дворе развернутся события столь прискорбные — расстройство брака принцессы Александры и шведского оболтуса Густава Четвертого, все отвратительные толки вокруг сего афронта, — что они приведут к кончине Екатерины и к дальнейшему, весьма сумнительному восхождению на трон Павла. Кто бы мог подумать, что генералы предстанут не перед ней, Великой, а перед жалким Ним, который будет кричать о перемене концепций, о выходе из «греческого проекта» и о сближении с Пруссией, тоже лишившейся декларированного Вольтером Великого и возымевшей своего тогдашнего жалкого грубьяна.

Из всех бывших в тот день у Павла генералов только двое, Лесков и Земсков, осмелились воспро-

тивиться резкой смене курса, поднять голос в защиту «матушкиной» политики. Павел долго тогда на них смотрел с жестоким выражением лица, потом начал делать круги вокруг стола, явно чтобы не сорваться в крик, и, наконец, ровным голосом попросил подать репорты об отставке. Документы сии генералами были тут же с поклоном и предоставлены: подготовили заранее любимчики растленной родительницы, предатели родины! Нелегко они чувствовали себя, идя к выходу из Инженерного замка: могли ведь перехватить, заковать в железа, допросить с пристрастием, бросить в крепость, а то и отправить прямо в Кемь. Обошлось, отставки были по всей форме приняты и подписаны.

Деловая встреча старых братских друзей завершается, семейственная по традиции состоится вечером в поместье Лесковых. Николай Галактионович, с лукавостью напевая старый французский шансончик «Ах, бабушка моя была плутовка», дабы доставить братцу ностальгические воспоминания об улице Травестьер, слегка покряхтывая от своего люмбаго и всякий раз не забывая чертыхнуться в адрес колясочника Честертона, дескать, он виноват, а не шестидесятивосьмилетний возраст, отправляется «домой», как он выражается, хоть и живет в сем гнезде не более двух недель в году. Сын Михаила Теофиловича, сорокадвухлетний экзотический мужчина Георгий с террасы отмахивает Лесковым морской сигнал: «Готовьтесь, маркграф едет!» По прямой то через речку тут сотни две сажений, а по мосту не менее шести верст.

Михаил Теофилович возвращается в свой кабинет и сразу забывает и Николая, и деньги, и петербургский свет, и даже Буонапарте с его Гран Армэ. Наконец-то он снова один с истинным делом своей жизни, исследованием человеческих жидкостей и слизей, или, как позднее стали называть это дело, с гематологией. Позвав казачка Гришатку, крепостного мальчонку двенадцати лет, крутить центрифугу, он углубляется в созерцание четвертной бутылки с мочою дедка Бычкова, сторожа усадебных парников, страдающего изъязвлениями кожи. Как он и предполагал, при добавлении крошеного марганца в смеси с химикатом собственного изготовления, названного арбокрофором, моча начинает выделять в осадок еле видимые кристаллики, те самые глюфанты, о существовании коих Михаил Теофилович давно догадывался. Из этого следует, что язвочки дедка Бычкова вызваны отнюдь не дурной болезнью, якобы подцепленной суворовским гренадером в Пьемонте, а вот именно этими самыми глюфантами, что накапливаются в моче, а стало быть, и в крови в силу печеночной недостаточности. Предположительно и врачевать сию хворобу можно арбокрофором, с Божьей помощью.

Гришатка тем временем с усердием крутит центрифугу, в коей прокручивается унция крови его собственной матери, поварихи Лукерии. Мальчик, весьма похожий на собственный Михаила Теофиловича детский портрет, писанный в один из наездов легендой всего рязанского дворянства Гран-Пером Афсиомским, весьма гордится своей должностью «ассистана» при лаборатории барина. Надо будет подумать о Гришаткином образовании. К его совершеннолетию, надо надеяться, обрушится проклятая крепостническая система.

Лукерия в последнее время стала жаловаться на перехваты дыхания и на боли в области сердца, просить у барина «верное лекарство», сердчать. Третьего дня прямо на кухне ей стало так плохо, что пришлось отворить кровь. Вот именно эта кровь и подвергается сейчас центрифугированию. Михаил Теофилович давно уже догадывается, что болезни такого рода вызываются тем, что он называет «холистратиками». Эти вещества циркулируют по всей системе, открытой гениальным Гарвеем, утяжеляют кровь, замедляют ее ток и даже оседают на оболочках сосудов в виде малоприятных наростов. Надобно, наконец, выделить оные холистратики, чтобы научиться их чем-нибудь растворять.

Вот в таких заботах проводит каждый свой день отставной генерал екатерининской гвардии, который в молодости был известен при Дворе своей удивительной неотразимостью. По завершении лабораторной части трудов он читает справочники и научные журналы, которые получает по подписке из Амстердама, а потом отправляется в отдельное строение, известное как «павильон», на деле склад, проверяет там наличие необходимых трав и химикатов и составляет заказы в различные химические и фармакологические кумпанейства.

Вернувшись из «павильона», он еще с порога услышал удивительную, как раз ту самую «тревожную» музыку нового века, что он когда-то предчувствовал. Это Клавдия играла германского гения Ван Бетховена на новом типе клавишного инструмента, известного как «форте и пиано». Он вошел, и она сра-

зу повернулась к нему, затрепетав лицом и, как всегда, даже и сейчас, после стольких лет, задавая ему непроизносимый, но и без произнесения такой понятный вопрос: ты меня еще хоть немножечко любишь?

Он подошел к ней и утешил поглаживанием по седым волосам, поддуванием колечек на шее, притворной сердитостью — почему, мол, так долго была в полях? Потом сказал: «Знаешь, Клодимоя, приехал Николай, ну и, как обычно, будет суарэ у них, так что марш-марш в туалетную и сделай себя красивой». Она вздохнула: попробуй сделать себя красивой с этими опустившимися щеками и подглазьями. Вернулась к Бетховену. Мишель сел рядом в кресло, закрыл ладонью глаза. Откуда знает этот то ли немец, то ли голландец, что у меня на душе?

У Лесковых так совпало, что съехалось чуть ли не все семейство. Старший сын Магнус Николаевич шумно ходил по всем полам, ко всем слегка, по-доброму, задирался с шуткой, заворачивал в буфетную, выходил с рюмочкой, в общем, сиял; и не без причины — третьего дня сорвал большой куш в вист на губернской ярмарке. Этот первенец был любимцем Фортуны. Пойдя по стопам папочки, он окончил курс в парижской Эколь Милитэр, быстро возвысился в чинах и сейчас, к сорока годам, в чине полковника занимал пост в штабе генерала Багратиона. К тому же обрел он в дворянских кругах широкую, хоть и несколько фальшивую славу рыцарского наставника молодежи, бретёра и непревзойденного игрока. Жил он быстро, авантюрно, и супруга

его, урожденная княжна Чехардия, в нем души не чаяла.

Две его сестры, Леопольдина и Валентина, тоже присутствовали со всеми своими чадами. Для поддержания в детях благовоспитанности и уважения к родовым традициям из глубин дома бабушка Фекла вывозила кресло-каталку со столетней немецкой старухой в голубеньком чепце, с бесконечным вязанием на коленях и с большущим котом на плече, который весьма серьезно относился к своей позиции старухиноного телохранителя. Читатель, догадайся, кем являлась сия столь традиционная персона! Правильно, это была не кто иная, как некогда милейшая, а впоследствии зловещая герцогиня Амалия Нахтигальская!

В те еще времена, когда семьи Николая и Мишеля жили в Петербурге одним домом, а Леопольдина и Валентина были крошками, однажды, в канун европейского Рождества, у ворот их особняка остановилась колымага, из коей выскочила всклокоченная старуха, более похожая на истерическую русскую боярыню, чем на чопорную северогерманскую герцогиню. Колымага с гербом, напоминавшим стертую от времени крышку коробки нюхательного табаку, — это было все, что осталось у Амалии от ее государства. Дальше все в том же фасоне «страсти-мордасти»: на коленях поползла от ворот к дверям, рвала крест на груди, кричала что-то невразумительное на смеси русского и курляндского. Сестры ничего понять не могли, однако чувствовали в ужасной визитерше что-то свое.

Только уже в доме, когда все, что на ней намерзло, стекло на паркет, выявились знакомые тевтонские черты. Тетушка Амалия! Та самая, что в незабвенном дворце «Дочки-Матери» во времена их золотого детства вела хороводики маленьких принцесс!

Вечером вернулись из клуба мужья. Вымытая, просушенная и даже слегка накуафюренная старая дама сидела у камина. Известный всему обществу от Данцига до Киля великолепный французский вернулся к ней. Именно на этом языке она и поведала семье свой лё плю гран кошмар. Быть может, именно сие языковое совершенство и повлияло на окончательное решение ее судьбы.

Оказалось, что она даже в самом страшном сне не могла вообразить, что все так ужасно кончится. Конечно, она была до чрезвычайности сердита на старших Грудерингов за то, что те без предупреждения засели со всем своим двором на острове Оттец. Даже датчане никогда бы не пошли на такое безрассудство. В герцогине боролись две сути ее естества, да-да, именно две сути: одна суть любящей родственницы и тети, другая — суть суверена, который не может просто так оставить посягательства на свою собственную, родовую территорию.

Однажды явился какой-то весьма солидный господин и предложил за умеренную плату найти решение конфликта. Он произвел на герцогиню вполне серьезное впечатление, и только потом она вспомнила, что он во время разговора иногда как бы заглывал свой рот. Как-то весь слегка передерги-

вался, адамово яблоко уходило под подбородок, и рот исчезал, вместо него получалось просто голое место; как колено. Впрочем, всякий раз это длилось не более секунды. Герцогиня решила, что это просто нервный тик, и только потом, уже после трагедии, она сообразила, что это был вовсе не нервный тик, а результат слишком поспешной трансформации. Вы, конечно, понимаете, дети мои, что это значит. Нет, не понимаете? А вот я, к сожалению, понимаю, и казнюсь, казнюсь, казнюсь. Ну хорошо, дайте мне еще одну скляночку валерьяны.

Не уверена, что этот господин — его имя, кажется, было Парлеуазо Гельдовский — говорил ртом, нет, в этом я не была уверена, однако, попав под наваждение, я согласилась через его комиссию нанять отряд рейтаров из Гамбурга. Сии рейтары должны были расставить во дворце караулы и попросить Грудерингов во имя мира и справедливости покинуть Оттец. Натюрельман, никакого насилия не предусматривалось, нужно было просто поугаать кузена Магнуса и его высокомерную цесаревну. В случае отказа отряд должен был покинуть остров, но пообещать вернуться. Вот и все. Остальное известно. Прощенья мне нет, но клянусь, если вы, мои любимые курфюрстиночки, последние близкие души, оставшиеся у меня на этой грешной земле, соблагovolите дать мне кров и кусок хлеба, я буду самой верной и нежной шапероншей для ваших деток, а также и для их деток, а также... а также... да что я говорю... убейте меня... или... или дайте еще одну скляночку валерьяны!

Потрясенные сей исповедью, а еще более самой личностью кающейся дамы, Николай и Михаил выско-

чили из своих кресел и зашагали по обширной гостиной. Что делать? Выбросить вон старую гидру? Послать за полицией, препроводить беглую герцогиню в крепость? Самим отмстить за убиенных и испохабленных? Разрядить в нее пистолеты? Нет, нельзя осквернять гвардейское оружие! Поверить во весь этот бред, простить?

Амалия тем временем уже слегка похрапывала под действием благородного корня, являя собой порядочно умильный образ старенькой аристократки с одной лишь необычностью: над ухом у нее вдруг поднялся крепенький цветочек, по виду роза, но с запахом валерьяны. Клаудия и Фиокла, стараясь не глядеть на мужей, подняли тетушку и увели ее в опочивальню. Вскоре они вернулись со странным видом прежних вечно счастливых курфюрстиночек. «Ах, наши милые мужья, попробуйте нас понять! Ведь мы потеряли всех наших родных, а эта несчастная, при всей своей монструозности, все же наша тетушка! Ведь она из Грудерингов!»

Так и стала безобразная герцогиня отменнейшей шапероншей еще по крайней мере двух поколений наследников подсеченного ею под корень рода.

Из всех детей Николая и Феклы Лесковых отсутствовал в тот вечер только младший сын, тридцатипятилетний флотский офицер Аруэт Николаевич. Трудно было даже предположить, на каких градусах широты и долготы находился в этот момент его корабль, представитель уже четвертого поколения многопушечных громад, носивших любезное российскому флоту имя «Не тронь меня!». После-

днее письмо пришло из Гибралтара, что давало возможность предположить, что возглавляемый им линкор входит в союзную, то есть в основном британскую, эскадру, занятую пресечением средиземноморских происков Буонапарте.

Своими успехами в морском деле Аруэт, названный так, разумеется, в честь все того же властителя дум прошлого столетия, обязан был славному адмиралу и одному из главенствующих лиц екатерининского «греческого проекта» Фоме Андреевичу Вертиго, ставшему после описанных в сей повести событий верным другом его батюшки. Вышедший в отставку престарелый герой турецких битв как раз в Гибралтаре и обосновался на закате своих дней, вернувшись, таким образом, к своему исконному британскому имени Томаса Вертайджо. В одном из писем Николаю Галактионовичу он сообщил о недавнем визите коммодора Аруэта Лескова. «Твой сын, — писал он, — являет собою идеал флотоводца российского, хотя и удивляет некоторой коловратностью своих политических взглядов. В частности, борясь с французскими эскадрами и честно выполняя свой долг, он в то же время восхищается личностью Императора Наполеона и никогда не именуется оною Буонапарте. Вельми я опасуюсь, что новое поколение дворян еще удивит мир экстремным выражением вольтерьянских идеалов, унаследованных ими от нас, своих родителей».

Получив сие послание и прочитав вышеуказанный пассаж другу Михаилу Теофиловичу, Николай Галактионович кричал, стучал тростью, однако ж глаза его светились странной гордостью за своего оригинального сына. Михаил Теофилович, кажется, понимал происхождение сей гордости. Новое по-

коление все-таки должно проявляться с новыми, или, как нынче гласят, «байроническими» (по имени какого-то непутового английского лорда), взглядами на сущий мир, иначе в мире нарушится циркуляция жидкостей и слизей, иначе холиостратики накопившихся предрассудков приведут к образованию безобразных сгустков и застою необходимых для энергии тела и души эльсистрациратов.

С тою же не вполне отчетливой, но понятной гордостью он относился к своим собственным детям, родившимся у них во время долгого сиамского путешествия. Холостяк Георгий и волоокая красавица Наталья, ныне княгиня Пензовалдайская, несмотря на довольно иноземную внешность, выросли настоящими российскими либералами. В Петербурге, где они проводили большую часть времени, они посещали вольнодумские салоны, где говорили более о масонах Радищеве и Новикове, чем о наследии масоноборческой императрицы.

Княгиня Пензовалдайская, антр ну, была весьма близкой, чтобы не сказать, интимной, подругой мореплавателя Арузта Лескова. Настолько близкой, что у родителей по обе стороны реки Мастерницы возникали опасения по поводу слишком уж родственного слияния кровей. Впрочем, сиамские влияния затемняли славянские черты двух ее деток, так что трудно было сказать, кто на кого похож. Самому князю, человеку намного старше Натальи, сии тонкости были, как тогда говорили, «до свечи». Выйдя в отставку из преторианской гвардии императора Павла, он теперь сиднем сидел в своем огромном

тамбовском поместье, злобствовал по адресу новых российских поколений и воспарял душою только в сезон псовой охоты, когда гонял по покатым холмам свои отменные английскую и русскую своры.

Что касается красавицы Натальи, то она предпочитала их богатый петербургский дом, а если уж отправлялась на Тамбовщину, то по дороге надолго задерживалась у маменьки с папенькой и с соседствующей тетушкой Феклой, то есть ликовала в атмосфере фортепианных концертов и регулярных книжных присылок из Европы. Словом, она со своими детьми тоже присутствовала на семейном ужине у Лесковых.

Уселись все вокруг большущего овального стола. Во главе его, разумеется, фигурировал сам маркграф, генерал Лесков, всюду играющий роль патриарха большого дворянского сельского клана, как будто это и не он хитроумным «русским Калиостро» вот уж пятнадцать лет рыщет по городам и весям России и близлежащей Европы.

Визави от него восседала герцогиня Амалия, то есть можно было и про нее сказать, что это она возглавляет стол. Так или иначе, но по традиции Лесковых-Земсковых предполагалось, что вокруг герцогини собирается многочисленное детство клана, коему она преподносит весь отменнейший «финесс» оверсаленной Европы. Нынче уже не так многого можно было ожидать от полуслепой и на три четверти глухой дамы, однако даже и сейчас она иной раз выкаркивала: «Не путать куверты!», или: «Сал-фетку!», а то и целое изречение вроде: «Улыбку — извольте, хохот —

на десерт!» В эти редкие осмысленные моменты с основательно усохшей ея головкой происходили необычные явления: ну, скажем, из уха у нее всходил колосок яровой пшеницы, на нижнем веке по соседству с глазом появлялась незабудка, на подбородке вырастал крепенький грибок, или вдруг по неровностям щеки неспешно проползала пушистая гусеница, поглядывающая на собравшихся вокруг довольно вдумчивым взглядом. Дети так привыкли к этим странностям, что не обращали на них внимания.

Вскоре за столом определился и истинный глава пира. Оным естественно оказался не кто иной, как старший сын Лесковых, Магнус Николаевич. Набравшийся грузинских привычек от своей супруги и от генерала Багратиона, он объявил себя «тамадою», постоянно провозглашал тосты и выкрикивал столь благозвучное «алаверды!», а также показывал в лицах всем знакомых помещиков, что «профершипились» за картами на губернской ярмарке.

В промежутках между блюдами общество непринужденно пускалось в танцы, и тут уж к вящему удовольствию всего детства истовым церемониймейстером становился богатырственный тяжеловес, Гран-Пер Мишель. Именно он однажды между кофеем и бланманже начал бухать всеми пальцами, а то и локтями по клавиатуре и в память о юношесственных авантюрах объявил матлот-матроску. Тотто было визгу среди детства, когда обе бабушки, Клавдия и Фекла, подбрасывая юбки, пустились в пляс. Среди сего всеобщего танцевального варварства никто из детей и не заметил, как бабушки в углу залы уткнулись друг дружке носиками в кружева и содрогнулись в ошеломляющих воспоминаниях. Словом, пир удался.

Дом затихает. Детей развели по спальням. Родители вышли к прудам, на коих, словно отблески праздника, покачивались отражения луны. С колпачками на длинных шестах по комнатам прошли слуги и загасили высокие люстры. Два старых друга, Николай и Мишель, по старой привычке остались вдвоем у большого полукруглого окна с видом на залитую луной обширную и немного слезливую рязанскую равнину. О де ви, похожий на расплавленный янтарь, из тяжелого хрусталя перетекает в два легких и далее через выдавшие виды глотки отправляется на соединение с не менее умудренными жидкостями и слизями их организмов.

«Эта твоя сегодняшняя эскапада на фортепьянах, Мишка, напомнила мне знаешь кого? Унтеров Упрямецва и Марфушина, помнишь? — не без мечтательности спросил Николай Галактионович и, увидев улыбку на морщинистых губах друга, продолжил вопрос: — Ты их встречал потом в Петербурге?»

«Как же, встречались, — отвечивал Михаил Теофилович. — Только без усов и в других чинах. Да и имена были другие. Как ты думаешь, Колька, записана ли сия облискурация в книгу наших грехов?»

Лесков рассмеялся и подкрутил свои новомодные усики: «Можешь не сомневаться, ваше превосходительство, и не надейся на вольтеровские индальгенции! Лучше давай, пока живы, вместе покаемся, только не православному батюшке, а ксендзу в Данциге».

Почти никогда они не говорили о своей второй религии, католичестве, которое тайно приняли по настоянию невест-католичек. В духе цветущего своего вольтерьянства шевадье Террано и Буало мало заботились в те дни о разделении церкви и неруши-

мости ритуалов. С такой же легкой душою вторично пошли под венец и в рязанских православных краях. С той же степенью легкости, впрочем, они относились и к атеистической догме энциклопедистов, а усмешливую фигуру Бога, известного в предреволюционной Франции под кличкой «Господин Быть», полагали проявлением бойкости языка и слабости духа. Непостижимый Део, вот перед кем они благоговели. Он посылает к людям своих аватаров, Будду, Моисея, Христа, Магомета, дабы очистить их сути от «холиостратиков» догм, но люди из сих посланников творят новые догмы. Таким образом, отрешившись от множественных сомнений, можно легко вскочить в седла и понестись в непостижимом, как сам Део, пространстве, порой проскакивая границы между прошлым, настоящим и будущим.

Между тем тяжелый хрустальный сосуд становился все легче. Почтенные генералы с каждым глотком О де ви становились моложе, и в темных стеклах виделись им отражения их прежних юных лиц. Беседа стала перепрыгивать с темы на тему, подобно тому, как Пуркуа-Па и Антр-Ну перепрыгивали с камня на камень при переходах через швейцарские горные ручьи.

«Мы редко видимся, Мишаня, а я давно тебя хотел спросить: случаются ли с тобой в преклонном возрасте прежние визионы? Шалит ли по-прежнему твоя голова?» — спросил Николай.

Михаил усмехнулся: «Ах, Николаша мой Калиострович, башка моя нынче затвердела в научной работе, в рутине медлительной жизни. Часто мне вспоминаются прежние ослепительности. Помнишь, я тебе говорил про летающие дома, про визи Орды, про лунное пребывание?..»

Николай мечтательно улыбнулся: «Я помню, как ты в Париже на Масленицу нежданно загололил чудную песню под гваделупский тамтам, помню еще твоего бреющего «жужжала»...»

«Не жужжала, а жужжалу», — поправил его Михаил.

«Да-да, женского рода, как бритва... — проговорил Николай. — Ах, какие были восхитительные облискурации! До сих пор не понимаю, сколько мы сидели в Шюрстине, год или день, действительно ли вели нас тогда на казнь...»

Миша взял его за острое колено крупной своей ладонью и попросил с неожиданной страстью: «Вот ежели бы ты угостил меня поперек головы какой-нибудь колотухой!» Николай сбросил его длань со сгиба своей конечности: «Окстись, мон шер! Мне голова твоя дороже собственной!» Смущенные оба, один юношеским порывом, другой старческой сентиментальностью, два генерала раскурили две драгоценные длинные трубки, взятые еще при взятии Очакова во дворце великого визиря Саламбекапаши. Миша сквозь дым смотрел на своего братственного друга и видел, что еще один вопрос у того назревает, быть может, тот самый, что мучит столь долгие годы. Так и оказалось. С нарочитой некоторой небрежностью, как бы мимоходом при разливании О де ви, тот полюбопытствовал:

«Скажи, Михаил, это правда, как иной раз исторические люди говорят, что ты поял Государыню?»

С тою же мимоходностью, поднимая бокал, Михаил Теофилович отвечивал:

«Случалось».

Ответ сей поверг Николая Галактионовича в какую-то душевную коловратность. Рука его дрогну-

ла, частично расплескав бокал. Страдальческим голосом он зашептал: «Миша, Миша, брат мой, сейчас, когда все уже прошло, скажи мне, сколько раз в течение жизни соединялся ты с нею?»

Земсков положил Лескову руку на подрагивающее плечо: «Успокойся, Коленька, я тебе все расскажу. У нас было в жизни восемнадцать свиданий, а сколько раз соединялся, не сочту. Но прежде ты мне поведай, пришлось ли и тебе познать властительницу?»

«В том-то и дело, что не могу ответить, — отчаялся Лесков. — Лишь раз во время Остзейского кумпанейства проснулся я в опочивальне барона Фон-Фигина, но тот уже исчез вместе с кораблем «Не тронь меня!». Так и не знаю, что было в ту ночь, но только после не раз посещала во сне память о чем-то толь величественном, чего уж более никогда в жизни не повторялось». Он опустил лицо в ладони и вконец расхлюпался. «Всю карьеру... галлюцинировал... мечтал предстать... скрежетал по адресу... всех тех мазуриков Орловых... балды Васильчикова... кентавра Сериниссимуса... смазлюшки Ланского... прочих жеребчиков...» Он поднял голову. «Однако, Миша, как же так получилось, что ты не въехал к ней во дворец?»

Земсков некоторое время молча смотрел в окно на залитую луной даль, испещренную бестолочью болот, меж коиx, как спящая уж, лежала захудалая речка. Наконец изрек: «Потому и не въехал на жительство, что не ласкался быть, как тогда говорили о фаворитах, «в случае», а просто дорожил теми свиданиями, на кои всегда мчался, чаще всего скакал в седле как оглашенный. Для меня в те дни весь мир вокруг представлял в каком-то новом виде, всякое древо шумело о чем-то непознанном и ежели снег в лицо

летел, так будто с неведомых вершин, а ежели солнце озаряло окна, так вроде по мановению моей собственной руки, как будто от щелчка пальцев, все поражало неслыханно, тем паче стук ея каблуков, шелест платья. Короче говоря, Коленька мой дорогой, за те годы восемнадцать раз я был страстно, как мальчишка, влюблен и жадно жаждал, как, быть может, когда-нибудь в песне споют, эту Ея Величество Женщину..»

«Ты все-таки безумец, — прошептал Лесков. — Или Ланцелот, заново рожденный».

Земсков невесело рассмеялся. «Ланцелот, одержимый Гинервой, что правит сама, избавившись от Артура, так, что ли? Между прочим, ты заметил тогда на острове, как ластились к барону Фон-Фигину всякие твари: кони, кошки, голуби, выжлецы и собаки? Вот и меня, как одну из тварей, тянуло к нему, хоть и страшился того, что казалось мужеложской похотью».

«А как же наши влюбленности в курфюрстиночек?» — со вздохом спросил Лесков.

«Ах, друг мой братский, для меня ведь Клаудия была совсем иным ликом любви, — пробормотал Земсков. — Таким иным сей лик и остался наперекор злодейке-судьбе. Екатерина же воплощала всю усладу греха земного. Мы много с ней говорили о сиих предметах».

«Ах так? — удивился Лесков не без толики ядовитости. — Вы, стало быть, не только любодествовали, но и беседовали?»

«Часами, устав от утех, шептались в постели, боясь подслушивания. Иной раз, приблизив свечу, она зачитывала мне куски из писем Вольтера. При чем тут Вольтер, спросишь ты. Да как же, ведь все наши свидания как раз и начинались с передачи писем, ведь я был восемнадцать раз в роли ея спе-

цьяльного и тайного в Ферне курьера. Ох уж сей сладкозвучный старик! Иной раз мне казалось, что и он влюблен в некое екатерининское величество. Запомнились иные из его обращений. «Да здравствует августейшая обожаемая Екатерина!.. Ваше Императорское Величество, вы приемлете некоторое обо мне сожаление в рассуждении моей к вам страсти. Вы подаете мне утешение, но в самое то время наводите также несколько и страху и, как видно, для того, чтоб содержать своего обожателя в привычке к терпению... Мне должно онеметь, наложить на изступление мое молчание и остаться в пределах глубокого почтения и преданности, с коими и повергаюсь к ножкам Вашего Императорского Величества на то короткое время, которое еще осталось жить альпийскому пустынноку...» До сих пор не могу взять в толк, чего тут боле: искреннего душевного «изступления» или французской витиеватой любезности? С мнимой шутейностью я спрашивал о сем Екатерину, и она с мнимой шутейностью каялась в грехах с Вольтером. Однажды, впрочем, даже как бы осерчала: «Милый мой друг, то, о чем вы вопрошаете, относится не ко мне, а к посланнику Фон-Фигину!» Как тебе сие понравится, Николай?»

Избранные фразы, взятые автором повести из переписки друзей, кои якобы никогда в жизни не зрели один другого воочью.

От Императрицы. Первое письмо. 1763.

...по обширности России, год не иное что, как один день, как тысяча лет перед Господом. Мне больше нечем извиниться в том, что Я не сделала еще того добра, которое Мне сделать надлежало бы.

Предсказание Жан-Жака Руссо, надеюсь, пока Я буду жива, не сбудется. Таково мое намерение, а время покажет следствия. После сего, Государь Мой! хочется Мне вам сказать: Молитесь обо Мне Богу.

От Вольтера. 1766.

...Все ученые люди в Европе должны повергнуться к стопам Вашим.

Чудеса изволите творить Вы, Всемилостивейшая Государыня!.. Щастлива Ваша Академия, имеющая целью образование людей, независимых от Св. Франциска!

...Простите ли, Всемилостивейшая Государыня, дерзость моей маленькой досады на то, что Вы именуетесь Екатериною.

...Вы сотворены не для Месяцеслова.

...пусть Юнона, Минерва, Венера или Церера делают лучший склад (вклад? — В.А.) в Поэзии всех народов.

От Императрицы. 1766.

...Я не думаю иметь право на то, чтобы быть воспевомою... не поменяюсь именем с завистливою и ревнивою Юноною; Я не так тщеславна, чтобы принять имя Минервы; называться Венерою хочу еще менее, потому что сия красавица слишком прославлена; Церерой быть я также не могу, потому что урожай в России нынешний год был очень не хорош.

От Вольтера. 1767.

...Русского языка я не знаю, но могу видеть из перевода Вашего манифеста, который изволили Вы мне прислать, что он имеет такие перемещения и обороты, каких совсем нет на нашем языке. Я не скажу того, что сказала одна Придворная Дама в Версалии, которая сказала: «Жаль, что Вавилонское стол-

потворение произвело смешение языков, а без того бы весь Свет говорил по-французски».

Сосед Ваш, Китайский Император Камги, спрашивал одного миссионера, можно ли на Европейских языках писать стихи? Он в этом сомневался.

От Императрицы. 1767. Казань.

...не лучше ли, Государь мой, все похвалы человекам отлагать до смерти их... потому что все человеческие дела коловратны и непостоянны... Законы, о коих столь много говорят, все еще не приведены к концу. Но ах! кто может поручиться за их совершенство? Конечно, не нам, но потомству предоставляется право решить сию задачу. Вообразите себе, что они должны служить Европе и Азии. Какая чрезвычайная разность в климате, в народах, в обычаях и в самих понятиях!

Я теперь уже в Азии... В здешнем городе находятся двадцать различных народов, не имеющих между собой ни малейшего сходства.

От Вольтера. 1767.

...Естьли они (турки. — В.А.) объявят Вам, Всемилостивейшая Государыня! войну, то она легко может довести их до того, что в рассуждении их Петр Великий имел в виду, то есть чтоб Константинополь сделать столичным городом Российской Империи. Сии варвары за малое уважение, оказываемое ими по ныне женскому полу, достойны быть наказаны Героинею. Люди, пренебрегающие словесными науками и содержащие в неволе женщин, непременно заслуживают быть истребленными.

...Мустафа не должен противоборствовать ЕКАТЕРИНЕ. О Мустафе слух носится, что он не умен, что он не любит стихов, что он отроду не был в те-

атре и что французского языка не разумеет; поверьте моему слову, ему не устоять.

От Императрицы. 1768.

...Жаль, что Мустафа не любит ни Театра, ни стихов. Ему будет очень досадно, когда мне удастся завестить Турок в тот же спектакль, в котором Паолиева труппа так хорошо играет. Не знаю Я, говорит ли Паоли по-французски, но сражаться он мастер за отечество (Корсику. — В.А.) и за независимость.

Что касается до здешних новостей, то скажу вам, Государь Мой! что все вообще охотятся прививать оспу, что и один из Епископов намерен испытать сию операцию и что в Вене в восемь месяцев так много не привито оспы, сколько здесь за один месяц.

...Государь мой! От подателя сего получите вы три пакета под № 1, 2 и 3... Гвардии моей поруччик, князь Козловский, поставил за особливую к себе милость быть отправленным в Ферней, за что Я им и довольна. Будучи на его месте, Я бы и сама этот случай не меньше уважила... просим вас употреблять сей мех против Северо-Восточного ветра и наносимой с Альпийских гор стужи.

От Вольтера. 1768.

*...Хвалю сей знатный мех
Российской Мать-Царицы!
Над Мустафою смех
Пусть громом разразится!
...На табакерке вижу знак
Руки прилежной и прекрасной,
В черты ея вперяю зрак,
В сии черты Авроры ясной!*

Когда б я был из удальцов
 С великолепными усами,
 Я вместо тысячи гонцов
 Сам поскакал бы в царство снов,
 Но я всего лишь филозуф
 И потому леплюсь устами.

...Гром пушек, кораблей услада,
 Пусть Византии скажут сказ.
 Пусть воссияет над Элладой
 Екатерининский «Наказ»!

От Императрицы. 1769.

...в России подати столь умеренны, что нет у нас ни одного крестьянина, который бы, когда ему ни вздумалось, не ел курицы, а в иных Провинциях... стали предпочитать индеек... хлебопашество год от года умножается; равномерно и размножение народное...

Наши законы идут своим чередом: над ними трудящиеся не спешат... Законы сии позволяют каждому исповедовать свою веру... Боже нас сохрани от приключения, случившегося с Шевалье де ля Барр (растерзан фанатиками за атеизм. — В.А.). Судьи, которые дерзнули бы учинить таковой приговор, заключены бы были в дом сумасшедших.

...Что вы скажете, Государь мой! когда узнаете, что прекрасные Черкешенки, досадуя на то, что их запирают в Константинопольском серале, как скотину в хлевах, уговорили своих отцов и братьев России покориться? Действительно, Горские Черкесы присягнули мне в хранении верности.

...Кстати! Я слышала, будто бы в Константинополе и Париже запрещено продавать мой Наказ для сочинения Уложения.

От Вольтера. 1769.

...Как я ни стар, но радуюсь сердечно, что прекрасная Черкешенки учинили Вашему Величеству присягу в верности, и оне, конечно, в том же поклянутся и пред своими любовниками. Обе части, составляющие человеческий род, должны Вам быть весьма обязаны.

...в будущем году мне будет точно 77 лет от роду; не знаю, однакож, что бы могло мне воспрепятствовать ехать поклониться Северной звезде и проклинать приращение луны... естли же умру в дороге, то на маленькой гробнице своей велю изобразить: «Здесь лежит обожатель Августейшей ЕКАТЕРИНЫ, имевший честь умереть на пути для изъявления Ей глубочайшего своего почитания».

Повергаюсь к ногам Вашего Императорского Величества,

Пустынник Фернейский.

От Императрицы. 1770.

...В сем новом году желаю вам, чтоб вы были счастливы и чтобы здравие ваше так укрепилось, как Таганрог и Азов.

...На прошедшей неделе получила Я известие о взятии Журжи, что на Дунае, и о разбитии при ней Турецкого корпуса. За сию победу было у нас совершаемо молебственное пение.

...Сказывают, что флот Мой из Порты Магона вышел... Генерал Тотлебен, перешед Кавказские горы, стал на зимние квартиры в Грузии...

...Желаю, Государь Мой! чтобы вы имели удовольствие видеть свои пророчества сбывшимися; немногие пророки могут похвалиться подобною выгодою.

От Вольтера. 1770.

...Прусский король недавно прислал ко мне пятьдесят очень хороших своих французских стихов; но я был бы довольнее, когда бы он послал к Вам 50.000 войска для произведения диверсии, и чтоб Вы между тем напали на Мустафу со всеми Вашими совокупленными силами.

...Одною рукою писать Уложения Законов, а другою поражать Мустафу есть деяние новое и удивительное... Я должен Вас просить об оказании мне еще одной милости. Благоволите поспешить окончанием обоих сих великих дел, дабы я имел удовольствие пересказать об них Петру Великому; ибо я скоро думаю иметь доступ к Нему на том свете.

От Императрицы. 1770.

...Вы меня просите, Государь Мой! привести немедленно к окончанию войны и законы, дабы вы могли о сем принести известие на том свете Петру Великому; но позвольте мне вам сказать, что этот способ не может Меня принудить к скорейшему окончанию. И Я в свою очередь Вас усердно прошу отложить исполнение предприятия вашего на самое продолжительнейшее время. Не печальте друзей ваших, пребывающих в здешнем мире, из любви к тем, кои в другом обретаются.

От Вольтера. 1771.

*...Вселенна веселится: в России торжество!
Во Франции ж бубнится унылый хор жрецов.
Султанам мира горе несет российский флаг,
Подъемлемый Викторией средь вражеских фелюк!*

...Желал бы я, чтоб Аполлон поднес Вашему Императорскому Величеству Магометово знамя и цаплино перо, носимое толстым Мустафою на большой его чалме; однакож и это исполнится в нынешнем году при окончании кампании.

...По мнению моему, теперь Вы, Всемилостивейшая Государыня, первейшая власть во Вселенной... без всякого затруднения поставляю Вас превыше Китайского Императора, несмотря на то, что тот стихи сочиняет...

От Императрицы. 1771.

...Мне кажется... что не имеете еще причины соседом Моим, Китайским Государем, величаться, у которого Я, несмотря на его стихи и возродившуюся вашу к нему любовь (прошу не осердиться), не нахожу почти общаго смысла. Вы скажете, что одна ревность заставляет Меня так говорить; отнюдь нет; Я не поменяюь Римским своим носом на плоское его лицо; не завидую также и дарованию его сочинять дурные стихи; Я люблю лишь одни ваши читать.

...Лучше изберите господина Алибея Египетского: он справедлив, человеколюбив, вежлив, сверх сего любитель терпимости иноверия; правда любит он иногда и грабить, но иные пороки можно и прощать ближнему своему.

От Вольтера. 1772.

...Я по сие время еще не знаю, была ли распространявшаяся в Москве болезнь настоящая моровая язва...

...Другое моровое поветрие составляют Польские Конфедераты; но я надеюсь, что Ваше Императорское Величество истребите их заразительную болезнь...

...Энциклопедию должно бы печатать в Париже, но Инквизиция наша на то не дала позволения...

...Позвольте, Ваше Величество, сказать, что Вы непостижимы. Только что Балтийское море поглотило на шестьдесят тысяч ефимков картин, купленных Вами в Голландии, а Вы уже приказываете привести картин из Франции на четыреста пятьдесят тысяч ливров; да сверх того Вы выписываете еще из Италии великое множество разных редкостей. По чести не знаю я, откуда Вы берете столько денег? Разве Вам досталась вся казна Мустафы в добычу, так что и в Ведомостях о том не написано?

...Я повергаюсь к ногам Вашим и прошу дозволить мне расцеловать их со всевозможною униженностью; також и руки Ваши, которые по общему мнению суть наипрекраснейшие в свете. Пора бы и Мустафе приехать для облобызания оных с таковым же унижением, с каковым я то делаю.

Больной старик Фернейский.

От Императрицы. 1772.

...Многие офицеры наши, коих вы, по снисхождению своему, принимали у себя в Фернее, возвратившись в отечество, кажутся быть вами и вашим приемом очарованными. Поистине, Государь мой! Вы оказываете Мне чувствительнейшие знаки вашей дружбы; вы распространяете оную даже и к нашим молодым людям, которые жадничают вас видеть и ваши разговоры слышать; но Я опасуюсь, чтоб они не употребляли во зло ваше к ним снисхождение. Может статья, вы скажете, что сама Я не знаю, чего желаю и о чем говорю, в рассуждении того, что граф Федор Орлов был в Женеве, но не был у вас в Фернее; однако Я довольно журила его за то... а

если бы сказать вам откровенно, то его удержала от того лишь пустая стыдливость. Ему кажется, что он не может с довольною свободностию на Французском языке изъясниться. На сие Я ему ответствовала, что кто был во время Чесменского сражения в числе главнейших предводителей, тот может извинен быть в несовершенном знании Французской Грамматики, и что приемлемое г-ном Вольтером участие во всем, касающемся до России, и дружба его, мне оказываемая, заставляют меня думать, что (хотя кровопролитие ему и не приятно) он, может быть, без сожаления выслушал бы начальствующего, сколько любезного, столько и храброго офицера, изустное и подробное повествование о завоевании морей... (суперлатив может оказаться на совести переводчика, поскольку Морея — это имя Пелопоннеса. Гадайте сами — В. А.) и что г-н Вольтер, конечно, извинил бы его, когда бы он не по правилам стал бы перед ним изъясняться на чужестранном языке, который ныне и многие природные французы начинают забывать, если бы станем судить по множеству глупых и худо написанных книг, кои ежедневно из печати выходят...

От Вольтера. 1772.

...Я опасаясь, чтобы Вам не наскучили письма старого сочинителя, что кричит находящимся в Женевском озере форелям: воспоем Екатерину Вторую!

...Я полагал, что Ваше Величество не заставили безумных наших французов сделать в Сибирь путешествие за то, что они загуляли в Польше, где им вовсе нечего было делать... Я имею великое почтение к Ченстоковской Богородице; однако же при избра-

нии путешествия для поклонения предпочел бы ей Богиню Петербургскую.

...Правда ли, что в Сибири водятся особливового рода цапли, у которых крылья и хвост огненного цвету? В наших книгах упоминается, что сия птица у Вас кречетом, а у турок шунгаром называется.

От Императрицы. 1772.

...Скажу вам, что Я вновь вступаю с Мустафою в пушечные переговоры...

...Государь мой! я не спорю с вами о том, что носороги и слоны не могли перейти в Сибирь... Я послала вам повествование нашего ученого, единственно как любопытное сочинение; признаюсь однакож, что я желала бы, чтоб экватор мог перемещать свое положение: одно предположение, что Сибирь может чрез 20000 лет покрыться померанцевыми и лимонными деревьями, приводит Меня в восхищение...

...Я получила прекрасное и пространное письмо от Г-на Даламберта, в котором он именем Философов и Философии просил об отпуске военнопленных французов, взятых в разных местах Польши. На приложенной при сем записке содержится Мой ответ. Сожалею Я, что клевета ввела Философов в заблуждение.

...Прощайте, Государь Мой! и сохраняйте ко мне дружбу вашу.

От Вольтера. 1772.

...Однакож я только тем миром буду доволен, по которому Стамбул сделается Вашим владением. Один сей Стамбул был всегда предметом моих желаний, так как Св. Екатерина Вторая предметом моего священнослужения. Да насладится моя Святая все-

ми удовольствиями, так как Она славится во всех делах Своих!

*Больной старик Фернейский,
живущий без славы и удовольствия.*

От Вольтера. 1773.

...По всему видно, что россияне одарены умом, и притом хорошим. Ваше Императорское Величество родились царствовать не над глупцами...

...О как счастливы дети Рюриковы! а еще благополучнее их лапландцы и олени их, которые в одном только своем климате жить могут! ...Природа делает каждую шпагу по ножнам!

От Императрицы. 1773.

...Я надеюсь, что вы освободились от той пакостной непрерывной лихорадки, в которой Я вас никак не могла подозревать, судя по письмам вашим, в коих веселость духа вашего неперестанно присутствует.

...Я очень рада, что обе мои комедии вам не совсем дурными показались. Нового вашего сочинения, мне обещанного, с нетерпеливостью ожидаю, но с большим нетерпением ожидаю известия о вашем выздоровлении...

От Императрицы. 1774.

...Из Польши, равно как и из Франции, наиболее рассеиваются ложные новости. Ныне Я готовлюсь видеть праздных людей занявшимся разбойником, который грабит Оренбургскую губернию и который, чтоб утрашить крестьян, называет себя Петром Третьим. Сия пространная Провинция, в рассуждении своей обширности, имеет недостаток в жителях; нагорная ее часть занята Татарами, которых

Башкирцами называют и которые от начала мира превеликие грабители. Долины же населены всеми бездельниками, от которых Россия себя освободила в продолжении сорока лет подобным почти образом, как и Американские поселения людьми снабдевались.

Для восстановления нарушенной тишины отправлен Генерал Бибииков с корпусом войск.

...оное буйство человеческого рода не расстраивает Моего удовольствия, которая Я имею от собеседования с Дидеротом. Ум сего человека составляет некоторую редкость, а свойство сердца, какое он имеет, желала бы Я иметь всем.

От Вольтера. 1774.

...Это приметно, что Ваше Величество немного предприятиями Г-на Пугачева встревожены.

...Вы, будучи обременены тягостью в продолжении войны против обширной Империи (Турции. — В.А.), надзираем за всем и исполнением всего собственною Особою, находите еще время, чтоб с нашим философом Дидро беседовать...

...Верно я при Дворе Вашем пришел в немилость, Ваше Императорское Величество променяли меня на Дидро, или на Гримма, или на другого какого любимца; Вы никакого уважения моей старости не сделали; простительнее бы Вам было, когда бы Вы были Французскою кокеткою. Но как возможно победоносной и законы начертывающей Императрице быть столь непостоянною!

За Вас ссорился я со всеми Турками и даже с Маркизом Пугачевым; в награду же за все сие Вы меня забываете! И так отныне положил я себе законом не любить во всю жизнь свою ни одной Императрицы.

От Императрицы. 1774.

...Вы утверждаете, будто вы при Дворе Моем пришли в немилость... сего никогда не бывало: я вас не променивала ни на Дидерота, ни на Гримма, ни на другого какого фаворита... Я совсем удалена от ветренности и непостоянства.

Маркиз Пугачев наделал мне в нынешнем году множество хлопот. Я принуждена была с лишком шесть недель непрерывно с великим вниманием сим делом заниматься; а вы, несмотря и на то, Меня браните и при том говорите, что вы отныне во весь свой век никакой Императрицы любить не будете.

...Впрочем, Государь Мой! имела бы и Я не меньшую причину жаловаться на делаемые вами мне упреки в рассуждении истребленной страсти, если бы Я и в самом негодовании вашем не усматривала доказательства вашей ко Мне дружбы.

От Вольтера. 1774.

Я Вашему Императорскому Величеству прощаю и опять Ваши оковы на себя налагаю.

...чем назвать Маркиза Пугачева, Агентом или орудием? Не могу я быть столь наглым, чтоб Вас о его тайнах спрашивать. Я не почитаю маркиза орудием Ахмета Четвертого... Он также не был на жалованье ни у Императора Китайского, ни у Хана Персидского, ни у Великого Могола. И так сему Пугачеву сказал бы я с осторожностью: господин маркиз, кто вы таковы, господин или слуга? чьи это были затеи, ваши или чужие? ...как бы то ни было, но я думаю, что дело ваше тем кончится, что вас повесят, а вы того и стоите...

От Императрицы. 1774.

Государь Мой! удовольствую ваше любопытство в рассуждении Пугачова: ...он с месяц тому назад пой-

ман... теперь уже везут его в Москву... Генералу, графу Панину, он при первом допросе признался, что он козак Донской... он не умеет ни читать, ни писать, но чрезвычайно смел и отважен. До сего времени нет ни малейшего признака, чтоб он какой-нибудь Державе был орудием... Можно наверно утверждать, что г-н Пугачов был самовластный разбойник...

Я думаю, что по Тамерлане не было еще никого, кто бы более его истребил человеческого рода... он вешал без всякой отсрочки... всех вообще Дворян, муштин, женщин и младенцев... никто пред ним не мог спастись от грабительства, насилия и убийства.

...осмеливается еще ожидать пощады. Он воображает, что Я из уважения к его храбрости могу его помиловать... Если бы он одну Меня оскорбил, то мнение его было бы основательно: Я, конечно бы, его простила; но это дело до всей Империи касается, которая свои законы имеет.

От Вольтера. 1774.

...Подлинно Пугачов больше чорт, нежели человек. Удивляюсь, право, чтоб Турецкий Диван не догадался послать ему несколько денег. Может быть, потому, что он, как Генгиз Хан и Тамерлан, не умел писать. Бывали, сказывают, даже и такие люди, которые остались основателями религий, а имени своего не умели подписывать. Все сие не много чести приносит человеческому роду. Всего более делает ему честь Ваше великодушие.

От Вольтера. 1775.

Всемиловитейшая Государыня! Бывши удивлен и восхищен Вашими победами, не перестая быть в не-

доумени от Ваших празднований. Я не могу понять, каким образом по повелению Вашего Императорского Величества Черное море перешло в лежащую под Москвою долину...

...Это я знал, что Превеликая Екатерина Вторая в целом мире первая Особа; но того я не знал, что Она и волшебница.

...Повергаюсь к стопам Вашего Величества с униженнейшим прошением прощения в том, что я дерзал Вас беспокоить моими пустыми и скучными просьбами.

От Императрицы. 1775.

Государь мой! Чем более на сем свете живешь, тем более привыкаешь видеть попеременно, что за щастливыми происшествиями наступают печальные позорища; а сии в свою очередь удивительными явлениями последуемы бывают.

От Вольтера. 1777.

Ваш подданный, отчасти Галл, отчасти Швейцар, по имени Вольтер, несколько дней находился при последнем издыхании. Духовный его отец, скороход города Рима и Католической Апостольской церкви, пришел дать ему напутствие. Больной ему сказал: Преподобный отец! Бог теперь меня осудит, не так ли? За что же, мой простосердечный старичок, спросил священник. За неблагодарность. Я был осыпан милостями Самодержицы, Господи, той, которая в этом мире представляет лучший Твой образ, и я не писал ей уже более года!

...О, если это так, так неблагодарность твоя похвальна! воскликнул священник. У нее и без тебя дел хватает!

От Императрицы. 1777.

...Нынешнею зимою читала Я два новые Российские перевода, один Тасса, а другой Гомера. Все их называют очень хорошими; но я признаюсь, что недавнее письмо ваше принесло мне более удовольствия, чем Гомер и Тасс. Забавность и живость, коими оно исполнено, подают мне надежду, что болезнь ваша никаких следствий иметь не будет и что вы очень легко более ста лет проживете.

Воспоминание ваше обо Мне всегда для Меня лестно и приятно; чувствования же Мои к вам пребудут навсегда непременны.

От Вольтера. 1777.

Вчерашний день получил я один из залогов Вашего безсмертия, Уложение Ваших законов на Немецком языке, коим Ваше Императорское Величество изволили меня наградить... оно будет переведено и на Китайский и на все вообще языки. Оно сделается всемирным Евангелием.

...Я бы желал, чтобы назначили награждение тому, кто выдумает лучший и вернейший способ прогнать скорейшим образом всех Турок в ту землю, откуда они пришли. Но я все думаю, что сия тайна предоставлена первейшей из всего человеческого рода Особе, которая Екатериною Вторую именуется. Повергаюсь к стопам Ея, крича при последнем моем издыхании: Алла, Алла! ЕКАТЕРИНА, резул Алла!

На сем завершается цитирование, взятое автором романа из издания «Переписки» 1803 года, подаренного Иваном Протасовым Балахнинскому соковаренному заводчику Ивану Тимофеевичу:

«г-ну Самарину в день его Ангела 26 сентября 1834 года».

«Когда ты последний раз видел Вольтера?» — спросил Лесков. После паузы Земсков промолвил: «За день до его кончины, в мае 1778 года. Мне было тогда, как и тебе, тридцать четыре, а ему восемьдесят четыре. Не знаю, как тебе, но мне иногда казалось, что эти полвека не значат ничего, а в другой раз я начинал задыхаться от ужаса перед сим мафусайловым возрастом.

Я прискакал тогда на тройке в Ферне, как всегда с посланием Екатерины. Возок был завален подарками из мастерских и складов петербургского Двора. Должен сказать, что к моим услугам чаще всего обращались после неурядиц с регулярными «эстафетами». В ту весну как раз где-то в Вене запропастился курьер по имени Пушкин. В прошлые годы так же вызвали меня, когда на несколько недель запоздал поручик, князь Козловский, погибший потом в бою с турками. Видно, кто-то в почтовой экспедиции догадывался, что я всегда спешу вернуться и предстать с ответным посланием в собственные руки перед Государыней. Да, ей было в том году сорок девять лет, но чувство мое не слабело.

В Ферне мне сказали, что мэтра здесь нет, поелику тот со своей новой пьесой «Ирэн» пребывает сейчас в процессе триумфального возвращения в Париж. Старик Лоншан к тому времени уже почил, молодой же Ваньер был уже немолод и шибко серчал на мадам Дени: дескать, это по ея тщеславной воле

Вольтер отправился в сей Вавилон, опасный для философа от аза до ижицы.

Я прискакал в Париж, но добраться до улицы Травестьер мне не удалось, поелику все близлежащие кварталы были запружены бесноватыми поклонниками Вольтера. «Вышел! Вышел! — вопили они. — Садится в карету! Ура Вольтеру! Слава великому человеку! Да здравствует свобода! Эскразе лимфам!» В конце концов мне пришлось забраться на крышу возка, чтобы увидеть его с расстояния полутора сотен саженей. Он выглядывал из окна своей кареты, насильственно улыбался и был бледен до такой степени, что казалось, сейчас падет ниц. Мне захотелось, как тогда, в Копенгагене — помнишь? — разбросать толпу, броситься к нему и, как тогда, тем же макарон отвернуть от его сердца ту же самую обратную чернокровную жилу. Уверен, что сия процедура хотя бы на год продлила ему жизнь.

Увы, в тот вечер это было немислимо. Толпа разорвала бы меня на куски. Я увидел, что вокруг кареты закрутилась какая-то буча. Толпа распрягла лошадей и сама впрягалась в постропки. Вокруг было море хохочущих морд и ревуших глоток. «Ура Вольтеру! Глуар а лилюстр! Вперед, братва! На штурм Бастилии!» Клянись тебе, я слышал этот призыв за одиннадцать лет до того, как сей штурм случился.

Только ночью мне удалось проникнуть в тот дом, где уложили Вольтера в постель. Лестницы и залы были заполнены светской толпой. Я объяснил, что прискакал от Екатерины, и меня провели к мадам Дени. Она рыдала. Кровать Вольтера была окружена светилами медицины. Ты знаешь, сколько раз он умирал даже на наших глазах, но на сей раз я сразу понял, что это конец. Он был без сознания.

Последнее его откровение, которое донеслось до меня, было не чем иным, как клокотом мокроты, скопившейся в его гортани. Именно тогда я подумал, что в отставке займусь исследованием жидкостей и слизей».

Николай, по всей видимости, был глубоко угнетен рассказом, словно впервые слышал о кончине Вольтера. Петиметровские его усики казались сейчас глупой наклейкой на лице, исполненном мрака. Михаил с тревогой и грустью взирал теперь на «братского друга», как будто только что заметил в нем какую-то иную суть, столь отличную от прежней лихости, перемешанной с плутовством.

«Ты первым, Миша, принес это горе Государыне?»

«Нет, она уже знала. Голуби принесли».

«Знаешь, Мишка, я был тогда в Севастополе, мы воздвигали бастионы. Я напился с горя и пьяный там ходил среди руин Херсонеса. Что теперь остается, думал я. Мир без Вольтера — полнейший вздор, сплошная облискурация. Зачем мы строим сей град, к чему воевать султана, весь этот музульманский мрак, ежели погас наш свет? Скажи мне, а что испытала Она? Ведь всю свою жизнь полагала себя «одной из них»...»

«Коля, фемина сия отличалась практическим соображением. Конечно, была она готова к подобной вести: посмотри, много ли было вокруг персон, родившихся в веке семнадцатом? Но также она, владычица, понимала, что с уходом владыки уходит эпоха, а Вольтер был великим владыкой умов. Она рассуждала историческими понятиями. В то же время, ведомо мне по себе, все человеческие чувства были ей не вчуже. Думаю, что потерянность, како-

вую ты испытал в Херсонесе и каковая гналась за мной всю дорогу из Парижа домой, посетила и ее. Она подходила к окну и подолгу смотрела на поднимающуюся о ту пору Неву. Она ведь души не чаяла в Вольтере, обожала, например, его витиеватые любезности. Однако ж и думала постоянно о разочарованиях просветительского века. В конце семидесятых разочарования сии постоянно терзали ее душу. В ту встречу на ужине, смешанном с завтраком, она мне сказала: «Ах, Миша, России еще целый век придется расхлебывать вольтерьянские вольности». Знаешь ли, она вообще была глубоко разочарованной личностью. Младые воспарения «Наказа» не воплотились в жизнь. Об отмене крепостного права не приходилось и мечтать. Утопия просвещенной монархии тонула в море жестокости. Исторические предчувствия терзали ее. Уже тогда она опасалась, что разрушение религии, учиненное энциклопедистами, приведет Францию к анархии и далее — к деспоту. Даже и нашу пугачевщину она связывала с поветрием безбожия».

Он замолчал и посмотрел на друга. Ему ведомо было, что тот принимал участие в подавлении пугачевщины, в частности в боях за Казань, однако всякий раз, как речь заходила о тех кровавых делах, Николай начинал куда-то торопиться или уж в крайнем случае сбивался на известные анекдоты. Сейчас, когда речь зашла о глубоко запрятанных днях жизни, пришло время вспомнить всерьез что-то и из пугачевщины.

Он прикрыл глаза ладонью и так заговорил:

«Кто там, в той армии убийц, ведал об энциклопедистах? Если только не затесался там Видаль Карантце... Придется, Миша, мне все-таки расска-

зять тебе одну историю, что связывает воедино всю нашу семью. Я ее таил от всех, вот видишь, даже и от тебя. Когда мы второй раз отбили Казань, в тамошний кремль приволокли повязанную банду так называемых «придворных Его Величества». Их взяли пьяными в поместье Беклемишевых, где они развлекались стягиваньем кожи с плененной знати и офицеров гарнизона. По одному их приводили к генералу Михельсону на допрос, и тогда один, когда сабля была приставлена к его горлу, на ломаном русском показал на рыжебородого мазурика по имени, верь не верь, фельдмаршал Барбаросса. Когда-то мне Фио поведала о сей возмутительной внешности: рыжая растительность, рваная ноздря и выступающие из-за верхней губы два клыка. Он стоял перед Михельсоном гордо, как будто равный по чести воин, а я взирал на него, не отрываясь, стараясь вспомнить, что все сие для меня означает. И вдруг озарило: Гданьск, подвал в «Золотом льве», Казак Эмиль, бой в Мекленбурге, попытка высадки банды на острове, и далее — нестерпимый рассказ Фио о Рыжей Бороде... Тогда я и взвыл, как темный дух мести: «А ты не забыл, вор, про замок Доттеринк-Моттеринк и про семью Грудерингов?!» И тут же он при всех членах военно-полевого суда бухнулся ниц без сознания.

Познав от меня про все те дела десятилетней давности, генерал Михельсон отдал мне злодея на мой собственный суд и правож. Мы все тогда ходили хмельными от той чудовищной крови. Я кликнул драгунам, чтоб привязали гада к пушке, брюхом в жерло. Он что-то еще бормотал, изрыгал сквернословия, смешанные с молитвой, весь изливался жидкостями и слизью. Я поджег фитиль. Пушка, кре-

постная коронада, развалила его на две части. Так я стал палачом».

«Сие не казнь, брат мой, а расплата, — пробормотал, весь дрожа, Михаил. — Не знаю, мог ли бы я сделать, как ты, но ты ж мой брат... и ты это сделал за нас!»

Опустошив наконец свой хрустальный сосуд, старики вышли из своего алькова, прошли через затихший дом, в коем из светильников осталась лишь луна, пересекли террасу и стали мимо прудов спускаться в парк по направлению к реке. Хор ликующих лягушек сопровождал их медлительное шествие. Иной раз и умудренное болотной борьбой за жизнь жабыё добавляло к сему хору свою хоть и не попадающую в тон, но весомую ноту.

«Как хорошо, Коля, что мы так душевно высказались друг перед другом напоследок», — проговорил Земсков.

«Это еще что за шутки — напоследок?!» — притворно возмутился Лесков.

«Ну как же, Коля, хочешь не хочешь, а дело идет к разлуке, а там и неведомо, встретимся ли в бестелесном, беззвучном и невидимом мире...»

Лесков перебил его с неожиданной живостью:

«Послушай, Миша, пока мы еще в этом мире, отчего бы не вспомнить, как в корпусе-то шалили, не забыл? Помнишь ли еще нашу забаву, что звалась «Гангут и Полтава»?»

Экое счастье, вспомнил Земсков, экая блажь! В огромном дортуаре Подзорного дома, где почивала их третья рота, едва ль не каждую неделю по ночам

разыгрывался артиллерийский бой, «Гангут» дрался с «Полтавою». Сурьезнейшая подготовка предшествовала сражению: бросали разного рода жребии, ну и, вестимо, набивали себе пузы моченым горохом. Смешное заключалось в том, что дрались не «русские» со «шведами», а две великия российские виктории друг с дружкой. Плентоплевательство бра-ло верх над патриотизмом.

«Пока мы еще в звуковом мире, — хохотнул Николя, — не оскорбишься ли ты припасенной тебе мною на сон грядущий канонадою?» Он прислонился к дереву и поднял правую ногу. Мишель принял вызов:

«Начинаем по команде! Огонь!»

Канонады удались на славу. От смеха старики едва не свалились в мокрые папоротники. Дальше, полвека спустя, дальше пошли, уже отбиваясь отдельными выстрелами, исполненные решимости не сдаваться, вооруженные старческой перистальтикой и мальчишеским азартом. Так и пересекли парк. Возле реки и расстались, не зная еще, что перед ними Стикс. Лесков пошел назад, в свой богатый дом. Земсков, не дожидаясь Харона, побрел по колена в воде к своему берегу, над коим, словно неподвижная картина, стояли без единого огонька, но щедро залитые луною добротные постройки его имения.

В прибрежных камышах с какой-то стати замелькали перед Земсковым некие неведомые, но отчего-то имеющие к нему близкое отношение рожицы и фигурки. Затрепетали даже их странные имена. Не будучи в течение жизни своей ни в малой мере стихотворцем, он вдруг почувствовал, что слагает строки с рифмованными кончиками; невнятно, на каком из своих языков. Сделаем же попытку

передать в словах сию шаловливую, хоть немного и печальную галлюцинацию.

Бродил не раз я в здешних плавнях,
Таша тяжелое ружье,
Но вот впервые в послеглавии
Тебя узрел я, Энфузьё.

Как мимолетности блажные
Вдруг в текстах возникают встык,
Так в наши области ржаные
Вдруг проникает Суффикс Встрк.
И, чу, танцует балаганчик:
Кружат меж слов без панталон
Чва-Но, надменный богдыханчик
И плутоватый Гуттален.

А мусульманин Эль-Фуэтл
Поет, как сорок соловьев,
И на отменнейшей из метел
К нему летит Мадам Флёфьё.

Чертовский рой, кружа меж строчек,
Пошто смущаешь старый слог,
Тревожишь сон рязанской ночи
И нарушаешь эпилог?

Кто все это придумал мудро?
Ответьте, прошлым вас молю!
Блеснет ли свет, придет ли утро?
Мелькнет ли Ангелок Алю?

Уже перейдя реку, он вспомнил, что этой ночью у него назначено свидание с солдаткой Маланьей. Брат Коля, подшучивая утром по поводу незакон-

норожденного потомства брата Миши, был недалек от истины. Все село, примыкающее к поместью, знало, что год за годом бойкие девки, а то и иные молодые бабы, навешают барина по ночам в его «павильоне». Зажиточные мужики сего села любили деньги, прекрасно ведали, что женщины выходят из «павильона» с добрым прибытком серебра, а посему не видели в сих свиданках с жадным до телесных утех и щедрым на серебро генералом ничего зазорного. К потомству же барскому относились, как к чему-то вроде улучшения породы, как будто начитались «Земных и внеземных шествий Ксенофонта Василиска», своего знаменитого и ныне испарившегося то ли в азиатчине, то ли в каком внеземном богатстве земляка-ходока Афсиомского, графа Рязанского.

Вот уже года два, как фавориткой старого генерала-врачевателя стала Маланья, младая краля с налитыми, что груши «душес», то есть не истерзанными еще сосками, с толстенной, как свежевыпеченная булка хлеба, косою. Мужа ее, кузнеца Кузьму, по разнарядке отправили на царскую службу, и молодуха взвыла от недодоенности. Могла бы, как в тех краях говорили, «по жизни пойтить», иначе — вся потратиться, естыли б не встретила с добрым в своей неотразимости барином Михаилом Теофиловичем, что старше ее был всего лишь на сорок пять годов.

Перед каждой встречей она намывалась душистым мылом из его подарков, а юбок на голую задницу надевала цельных три из крахмального полотна. Все одно от нее попахивало скотным двором, но она знала, что к коровьему пару он терпим, а вот курей на дух не выносит. Он по ночам засиживался со сво-

ими медицинскими открытиями, а когда все семейство его погружалось в сон, шел в «павильон», где уже Маланья ждала его, стоя у стены. Он начинал вроде бы гнать ее, а она вроде бы убегала, убегала, убегала, пока он не настигал, не вздымал все имущество вверх и не достаивал ее, простую пастушку, императорских почестей.

Так было и на сей раз. Внедрившись, он качал и качал, а она только зажимала себе рот ладонью, чтоб отчаянным визгом не обидеть матушку-барыню. Он залезал ей за пазуху и ласкал герцогинские грушки, и тогда она чуть слышно шептала «ой, батюшка-барин, ой, Михайла Тофилыч». Через двор, на французский манер вымощенный аккуратненьким булыжничком, из своей темной спальни смотрела на темные окна «павильона» Клавдия (а может быть, и Фекла) Магнусовна Земскова, урожденная курфюрстина Грудеринг. Все ей было ведомо в Мишином обиходе, и все она терпела в нем, потому что беззаветно и выпренно его любила. Знала она, что все эти как бы тайные утехы приносят ему не только телесную усладу, но и духовное страдание, колико никого он так никогда не любил, как ее, свою маленькую несчастную.

С тем же обреченным молчанием созерцала она в ту ночь, как, прячась от луны в тени строений, подбирается к «павильону» массивная фигура с ломом в руке. Будучи сведуща в сельских делах, она ведала, что третьего дня муж Маланьи Кузьма вернулся из Польши, где наградили его деревянной ногою. Не знала она, что безобразная деревяга стирает телесный обрубок Кузьмы в кровавые мозоли и делает жизнь его до яростной злобы невыносимой. Лишь раз промелькнула пред ней в лунном луче искажен-

ная физиогномия страдальца, и она вдруг ощутила пронзительную с ним общность муки.

Всякий раз она примерно знала, когда свидание любовников закончится, и в этот раз не ошиблась. Первой обычно выскальзывала Маланья и убегала с усадьбы. Потом выходил Михаил Теофилович. Всякий раз изображал некую чудаковатость: то на звезды засмотрится, то рассыпет охапку книг, начинает собирать в темноте. Так вышло и на сей раз. Маланья промелькнула мимо мужа, того не заметив. Миша вышел и сел на крыльце. Снял паричок генеральский, положил рядом, потом стал оглаживать лысеющий череп, будто готовя его для желанного ореха по голове. Скрипнула нога у него за спиной. Можно было еще убежать. Да просто встать и отойти в сторону. Полуобернувшись, он с улыбкой созерцал приближающуюся темную фигуру. Поблескивали под луною вставные фарфоровые зубы саксонской работы. Лом подъялся. Клодимоя под ночной рубашкой сжала то, что осталось от титек. Лом рухнул на голову Мишимоя. Се фини; не торопясь, она вылила себе на язык то, что всю жизнь от него прятала.

Умирая, он еще понимал на манер живых, что жена умирает рядом, но, сколько длилось это понимание, он уже не понимал, как и не понимал, длится ли оно вообще. Потом откуда-то была вложена мысль, или, вернее, не мысль, а что-то другое, ну, скажем, идея, что придется еще через многое пройти, прежде чем возникнет иное понимание, то есть непонимание понимания как понимания непони-

мания. Значит, остается еще какое-то движение сродни плаванию, но плывешь не водой, летишь не по воздуху. Так уже было однажды в детстве, когда утонул в омуте возле запруды. Тело дергалось множество раз, как и сейчас оно, бедное, видно, дергается. Он умолял маман его спасти, но называл ее по отчеству Колерией Никифоровной. Так и сейчас вроде бы взывал: Ко-ле-рия Ники-фо-ровна! И вдруг заканчиваются все судороги, и он поплыл, но не в воде или полетел, но не в воздухе. Сказывают, что ребенка-утопленника вытащил мужик, похоже, что двоюродный дед ныне убивающего Кузьмы.

Это псевдодвижение привело его в некое необозримое пространство, заполненное такими же, как он, то есть усопшими. Они сидели, стояли, лежали, то отдельно, то кучами друг на друге, иные висели над другими: притяжение отсутствовало. Не видно было ни одежды, ни голой плоти, ни возрастных, ни половых признаков, однако присутствие несметного числа народу пронзительно ощущалось. Он задал сам себе вопрос, здесь ли находится умершая сразу вслед за ним жена, и тут же получил ответ: да, она здесь.

Тут он заметил, что никто из присутствующих не испытывает от своих странных позиций никаких неудобств. Он сам свисал в какой-то связке, но не испытывал никакого неравенства по отношению к тем, кто вроде бы раскинулся с вольготностью. Он снова задал себе вопрос: возможно ли в этом ландшафте бывших людей присутствие Императрицы? И тут же получил ответ: конечно, возможно. Он спросил: почему мы собраны здесь в необозримых сонмах? Мгновенно прибыл не очень ясный ответ: накопитель. Он стал вглядываться в иные сути, как близкие к нему, так и непомерно удаленные, и по-

нял, что каждая суть задает вопросы и тут же получает ответы. Он спросил: смогу ли я общаться с тем, кто ушел из тварного мира до меня? И тут вместо ответа он получил вопрос: с кем ты хочешь общаться прежде других? И он ответил: с Вольгером.

Иди, сказали ему, и он пошел. Теперь он вроде бы переступал ногами и шел как будто по твердой земле. Долетал до лица великолепный ветер. В мышцах — впрочем, невидимых — играло ощущение молодой зрелости, то есть того, что прежде именовалось «вершина жизни». Вокруг простирался знакомый пейзаж земных красот. Что-то похожее на Ван-Гога. Что такое Ван-Гог? Это то, что жило много лет после него. То, что создано как картина, приходит в движение. Ради чего? Ради встреч. Посредине сего места встреч шумел ветвями Вольгер.

«Привет, привет, — напевал он. — Вот и вы наконец!»

Он остановился. «Почему во множественном числе?» — «Об этом позже, пока что, Миша, подходи поближе, но не сливайся со мною!»

Вольгер одновременно зеленел свежими побегами, расцветал божественными цветами, отягощался плодами, опадал ими и подсыхал, источая амброзию и яд анчарный.

Миша приблизился, вступил под сень того, о чем даже и не мечтал, заплясал в экстазе, малые духи, лягушечки и черепашки выпархивали из-под копыт. «Как я рад, мой мэтр, увидеть вас в образе Древа Познания! Ведь к этому, как понимаю, вы стремились всю жизнь? Можете ли вы мне сказать, где мы находимся?»

«Это Элизиум, то есть то, о чем мы с друзьями судили с сарказмом. Кто мог предвидеть всерьез Уте-

шение в мире матерьялизма? В том мире, где все подчинялось правилам гравитации?» Он иронически вздул свою крону, и в этом кипении промелькнули иные из его ликов: задумчивый, гневный, хохочущий и вдохновенный.

«А как тут вообще-то обстоит дело с теми телами небесными? — поинтересовался новичок. — Присутствуют ли все те планеты, кометы, звезды, галактики, перед загадкой коих, мой мэтр, мы так замирали?»

«Ну, конечно, они присутствуют, мой шева-лье, — отвечивал мэтр. — Но в то же время, вернее, в отсутствие времени они не присутствуют вовсе. Ты помнишь, мой друг, как ошеломляли нас межзвездные расстояния? Они были так велики, что оставались лишь в математике. Сознание человека не могло их вместить в том, что называлось реальностью, и возникала на миг вспышечка не-присутствия. Для простоты скажу, что ты сейчас проходишь мимо них, или через них, в зазвездность и вновь встретишь их, только если придется возвращаться».

«Боже упаси!» — воскликнул Миша, как зрелый ребенок.

«Мне нравится этот возглас, — сказал Вольтер и чем-то, вроде бы пальцами, взъерошил Мишину гриву. — Кто знает, а может быть, паки явишься туда, но не в Рязань, а в Тулу, чтоб музицировать трио с двумя соловьями. Теперь расскажи мне, друг, где ты сложил свою голову, в каком побоище?»

«Точно не помню, — Миша ответил, — но, кажется, в битве духа и плоти. Плоть победила, но тут же погибла по правилам гравитации».

«Как все это далеко, — вздохнул Вольтер всем хлорофилом своей флоры. — Послушай, не вер-

нуться ли нам к нашим философским дебатам, хотя отчасти?» Тут на одной из его ветвей возник прежний Вольтер, как был, в хорошо завитом парике, в кафтанчике а-ля Версаль времен Регентства; сидел непринужденно, свесив ноги в шелковых чулках и туфлях с большими каблуками и пряжками. Миша был, с одной стороны, вельми рад увидеть привычный образ, даже хвостом замахал от мгновенного счастья, с другой стороны, огорчился, что мэтр покинул столь пышный опус Древа Познания. «Нет-нет, не печалься, мон шевалье, — утешил его Вольтер. — Я по-прежнему весь перед вами, а то, что вы видите над собою, это всего лишь то, что в будущем называлось «версьён-вэ-вэ»; оно было послано для удобства беседы. Теперь и ты оставляешь образ своей беззаветной любви пастись чуть-чуть в стороне и располагаешься рядом с моим стволом в знакомом мне образе екатерининского офицера. Скажи, много ли ты думал о философии нашего времени после моей смерти?»

М и ш а. О да! Главное, к чему я пришел во вторую половину жизни, это то, что права только ошибка. Вот вы, мой мэтр, полагали, что можно одним умом преодолеть все традиции и все мифы. Вы ошибались, но ошибка сия была нужна нашей безумной расе. Однако какой ценой?

В о л ь т е р. За все приходится платить, но человек не может развиваться без переоценки традиций.

М и ш а. Из поколения в поколение человек пытается оградить себя от дерзновенных ошибок.

В о л ь т е р. Однако разум — это не ошибка, это благородный дар Божий.

М и ш а. Однако разум должен быть слугой любви, но не гордыни, то есть не права на ошибку.

В о л ь т е р. Подчинение разума чувству разрушит мир быстрее, чем подчинение чувства разуму. Согласен?

М и ш а. В мире живых считается, что нет ничего быстрее мысли. Однако и мысль не улавливает некоторых чувств; скажем, сострадания.

В о л ь т е р. Весьма часто мы мыслим, но не улавливаем процесса мышления.

М и ш а. Сострадание — не мысль и не инстинкт.

В о л ь т е р. Согласен.

М и ш а. Тогда признайтесь, что, когда человек смотрит внутрь себя, он ощущает свою суть совсем не как материю, к которой энциклопедисты старались все свести. Взгляд внутрь — это вообще-то свобода воли, вам не кажется?

В о л ь т е р. Свобода воли должна оставаться в пределах логики и детерминизма; иначе она улетучится.

М и ш а. Я так и не пришел в церковь, но я считаю, что каждый человек — это душа. Согласившись с этим, мы все-таки должны усомниться в атеизме и прийти к религии. К концу жизни я стал человеком науки, я стал проникать во многие тайны организма, однако я считаю абсурдом предполагать, что музыка Баха или Генри Парселла уже детерминирована первичной туманностью химических элементов.

В о л ь т е р. Гораздо больше абсурда заложено в мифах религии. Все эти асбестовые несжигаемые святые, апостол, шествующий со своей отрубленной головой в руках, возносящаяся в небеса Дева Мария... Ах, я этого не перевариваю!

М и ш а. У вас всегда был слабый желудок, мэтр. Помните Мекленбург?

В о л ь т е р. Помню, помню. Однако тогда я немного притворялся. Сотни раз в жизни я немного хитрил и с Богом и со своим организмом, придумывая, как улизнуть от смерти. Иногда мне кажется, что вера возобновляется не мифами, а поощрением плодovitости. Уровень рождаемости, может, был главным врагом философии в наши времена. Мы рождаемся на дне и умираем на вершине. Плодовитость побеждает интеллект.

М и ш а. Мне кажется, что в будущем интеллигенты по всему миру возвращались к религии; это верно?

В о л ь т е р. Вы только что прибыли, а уже неплохо информированы. Да, это верно. Они просто устают думать.

М и ш а. А мне кажется, они обнаружили, что у атеизма нет никакого ответа, кроме невежества и отчаяния. Человек оказывается в узкой полоске света меж двух бесконечных бездн. Рационалистическая этика провалилась. Вы всегда яростно выступали против концепции первородного греха, однако никогда не полагали ее глубокой метафорой инстинктов жизни. По сути дела, мы, в том числе и мы, заведомые вольтерьянцы и вольтерьянки, можем прийти к идее того, что религиозная вера — это самое драгоценное достояние человека, только она одна, противостоя гниению и тлену, может поддержать и облагородить наше существование.

В о л ь т е р. Так что Моисей не придумал те беседы с Богом?

М и ш а. Простите, мон мэтр, но меня удивляет этот незрелый сарказм. Неужели вам все еще кажется, что интеллигенция может обойтись без религии?

В о л ь т е р. Во всяком случае, ее философская часть.

М и ш а. Это наивно. Интеллигент без религии может разнести общество на куски. Религия не должна быть догмой, поскольку она не является панацеей от всех бед, однако без нее жизнь человека может в конце концов стать невыносимой.

В о л ь т е р. Ты забываешь, шевалье, о чудовищной доктрине Ада, которая превращает Бога в более ужасного душегуба, чем любой деспот.

М и ш а. Я не знаю, ближе или дальше я стал к этой доктрине после кончины. Прошлое почему-то отодвинулось в невероятное далеко. Однако я могу предположить, что богобоязнь может стать началом мудрости.

В о л ь т е р. Так говорили католические иерархи, и, в частности, Папа Бенедикт. Однако, насколько я помню, ты не очень-то был близок к католическому ригоризму.

М и ш а. Моя жизнь — это сплошной грех. Достаточно сказать, что я прошел через множество войн, а ведь любая война, пусть самая справедливая, — это открытое злодеяние. К сему нельзя не прибавить многочисленных женщин. Не устоял ни перед одним соблазном.

В о л ь т е р. Включая и Екатерину, не так ли? *(Он показал лорнетом на склон холма, на котором, очевидно, только что прошла уборка урожая. Одна скирда отличалась от других тем, что в ней воплощалась Императрица России.)* Ты видишь ее?

М и ш а. Да, я вижу ее.

Е к а т е р и н а *(как далекое эхо)*. Я простая душа, простая скирда, простая душистая скирда — это я.

М и ш а. Я пойму, если мне предстоит предстать в Аду за войну, но за телесный соблазн, нет, не пойму. Все-таки я женщинам дал больше счастья, чем горя.

А горе я принес как раз той, кого любил небесной любовью. Ну и вы, Вольтер, разве не принесли вы счастья тщеславнице Эмили дю Шатле, да и своей неряшливой племяннице, мадам Дени?

Вольтер. Ты чувствуешь, что наши позиции сближаются, шевалье? Церковь требует моногамии, но вы как вольтерьянец, похоже, понимаете, что это неестественно, как и селибат. Однако все эти муки Ада, коими нам грозят... Вспомните у Данте, какие изощренные пытки. Кто это ему внушил: Вергилий или чумной микроб?

Миша. Вся первая часть у Данте — это мучения плоти. Мне иногда приходило в голову, что Ад — это когда душа умершего не может освободиться от остатков. Все то, что вы подвергаете сомнению как «мифы церкви», Вольтер, подлежит толкованию, осмыслению, переосмыслению, подлежит смерти, наконец, но не зубастой насмешке.

Вольтер. Ну вот, параллельные линии опять разошлись! Знаешь, солдат, я старался поверить в Бога, однако Он ничего не значил в моей жизни. Признаюсь, я чувствовал пустоту там, где когда-то жила моя детская вера. Быть может, когда-нибудь по завершении истории возникнут иные люди, веселые в своей свободе и не затуманенные страхом Ада.

Миша. Кажется, мы опять сближаемся. Мне кажется, что для верующих смерть — это не бессмысленное похабство, а прелюдия новой жизни, в которой они смогут быть в счастье и мире с теми, кого они любили и потеряли. Мне хочется верить, что там я встречу с образом, воплощенным в двух близнецах, Клоди и Фио, и в матери-грешнице Колерии Никифоровне, а также в Екатерине и в Маланье. Христианство грандиозно тем, что во главе угла его

стоит идея Воскрешения во плоти. Материалистам сие кажется немыслимым, однако Идеал безбрежен. Быть может, после всего возникнет мир общности Бытия и Идеала, видимого и невидимого, в коем растворится порочный круг самопожирания.

В о л ь т е р. Какая благостная утопия! Я чувствую, что остаюсь в одиночестве. Так и в жизни я оставался без иллюзий, почти не помнил свою мать, редко видел отца; детей, во всяком случае, мне известных, у меня не было. Может быть, потому меня и тянуло к моей маленькой племяннице. Я приобрел огромное число учеников, но в будущем, как я вижу, они стали меня покидать. Я знал теологов, а среди них были не дураки, и они мне говорили, что я незавершенный человек, а потому и философия моя не завершена. Иной раз мне кажется, что я вообще не был философом, но только поэтом. Один не глупый теолог, он был тогда Папой Римским, сказал мне, что будущие поколения меня отвергли. Он называл мои шутки о Святой Троице ничтожными.

М и ш а. Ну теперь-то вы видите, что можно предстать единым во многих лицах, не так ли, мэтр?

В о л ь т е р. Если бы ты прочел все мои девяносто девять томов, ты бы заметил, что я признаю умиротворяющие мифы. В конце концов это не что иное, как замечательное искусство. Церковь интерпретирует их на свой лад для утверждения своей непогрешимости и власти над людьми. Ах, Мишель, разве мы можем забыть двери инквизиции, злодеяния крестоносцев, заговор против альбигойцев, тех наших драгун XVII века, что убивали во имя отмены милосердия? Христиане убили больше людей, чем римские императоры, несмотря на проповедь Всепрощенья. Меня обвиняли, что я внушил людям пороч-

ную утопию о рае на земле, а люди истребили своих властителей и превратили свободу в смирительную рубашку. Но я никогда не призывал к насилию! Меня извратили жрецы революции! Пусть Господь меня простит за утверждение прав мыслящего меньшинства, за попытку борьбы против ортодоксии и нетерпимости!

М и ш а. Прощенье — это слово для всех.

Встреча подойдет к концу. С ветви величественного баобаба скользя исчезнет фигура прежнего Вольтера. Зашумела и шумит благодатная крона. На пригорке скирда Екатерины рассыпается в колосющееся поле. Оно запоеет, как пело полотно Ван-Гога. Оно раскатами юного грома напоминает о Балтике. Миша отойдет и сольется с образом Пуркуа-Па. Конь совершает круги вокруг того, что именуется Древом Познания. Он убежал от войны. Играя копытами, наслаждаясь свободой тела, он понимал, понимает, поймет, что Древо Познания превратится, превращается, превратилось, и еще раз превратилось, и превратится, и превращается — в Древо Воображения.

Василий Аксенов

Вольтерьянцы и вольтерьянки

Старинный роман

Редактор *Инесса Назарова*
Художник *Андрей Бондаренко*
Технический редактор *Александр Анно*
Корректоры *Татьяна Калинина,*
Наталья Пущина
Компьютерная верстка *Регина Курбакова*

Подписано в печать 15.06.2004 г.
Формат 84 × 108/32. Гарнитура «NewtonС»
Печать офсетная. Печ. л. 17,5
Тираж 25 100 экз. Заказ № 4159

Издательство «Изографус»
109193, Москва, ул. Петра Романова, д. 19, оф. 13
ООО «Издательство «Эксмо».
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5.
Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Издательство «Изографус»
109193, Москва, ул. Петра Романова, д. 19, офис 13
Тел./факс 277-75-75. E-mail: Izografus@izograf.ru.
Интернет: www.izograf.ru

Оптовая и розничная торговля:
115114, Москва, 3-й Павелецкий проезд, д. 9, стр. 1
Тел. 235-07-31, тел./факс 235-02-37. E-mail: Izograf@izograf.ru

ООО «Издательство «Эксмо».
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5.
Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

*По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74*

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16,
многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

*Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо»
и товарами «Эксмо-канц»:*
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1.
Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2.
Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

ООО Дистрибьюторский центр «ЭКСМО-УКРАИНА».
Киев, ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: sale@eksmo.com.ua

*Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»
в Санкт-Петербурге:*
РДЦ СЗКО, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.

Сеть книжных магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

*Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»
в Нижнем Новгороде:*
РДЦ «Эксмо НН», г. Н. Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Челябинске:
ООО «ИнтерСервис ЛТД», г. Челябинск, Свердловский тракт,
д. 14. Тел. (3512) 21-35-16.

ЧИТАЙТЕ КНИГИ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА



Затоваренная бочкотара

В давние времена, шестидесятые — семидесятые, люди до дыр зачитывали журнальные тетрадки с его новыми повестями и рассказами. Особенно популярна была «Затоваренная бочкотара» — фразы из нее становились крылатыми. Пусть и нынешний читатель откроет для себя эту мудрую и озорную повесть, откроет «Поиски жанра», «Пора, мой друг, пора», «Рандеву», «Свияжск». Ведь, по сути дела, Россия сегодня все та же...



Скажи изюм

Один из самых известных романов Василия Аксенова — озорная, с блеском написанная хроника вымышленного фотоальбома «Скажи изюм». Несколько известных советских фотографов задумали немыслимое для советской действительности — собрать свои работы в одном альбоме и издать его в обход цензуры. Бдительные стражи партийной идеологии и «органы» (в романе — «железы») начинают преследовать «идеологических диверсантов». За увлекательно придуманной историей неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм» угадывается вполне реальная история знаменитого литературного альманаха «Метрополь», авторы которого замахнулись на один из краеугольных камней режима — цензу-



ру и заплатились за это, а за мастерами объектива, за героями книги — метропольцы, известные писатели и поэты, в том числе и сам автор романа.

Остров Крым

Знаменитый роман «Остров Крым» Василия Аксенова принес автору мировую известность. В основе фабулы невероятное допущение: как могла повернуться история, если бы Крым не был захвачен большевиками, а остался свободным и независимым. В романе много приключений, гротескных житейских ситуаций. Несмотря на фантастический сюжет, книга во многом оказалась провидческой.



Кесарево свечение

В новом романе Василия Аксенова «Кесарево свечение» действие — то вполне реалистическое, то донельзя фантастическое — стремительно переносится из нынешней России в Америку, на вымышленные автором Кукушкины острова, в Европу, снова в Россию и Америку. Главные герои — «новый русский» Слава Горелик, его возлюбленная Наташа и пожилой писатель Стас Ваксина, в котором легко угадывается автор.



Ожог

Роман Василия Аксенова «Ожог», донельзя напряженное действие которого разворачивается в Москве, Ленинграде, Крыму шестидесятых — семидесятых годов и «столице Колымского края» Магадане сороковых — пятидесятих, обжигает мрачной фантазмагорией советских реалий.

Книга выходит в авторской редакции, без купюр.



Московская сага

«Поколение зимы», «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир» — эти три романа составляют трилогию Василия Аксенова «Московская сага». Их действие охватывает едва ли не самые страшные в нашей истории годы: с начала двадцатых до начала пятидесятых — борьба с троцкизмом, коллективизация, лагеря, война с фашизмом, послевоенные репрессии.

Вместе со страной семья Градовых, три поколения российских интеллигентов, проходит все круги этого ада сталинской эпохи.

Новый сладостный стиль

Один из последних романов Василия Аксенова. Главный герой книги театральный режиссер, актер и бард Александр Корбах, в котором угадываются черты Андрея Тарковского, Владимира Высоцкого и самого автора, в начале восьмидесятых годов изгнан из Советского Союза и вынужден скитаться по Америке, где на его долю выпадают обычные для эмигранта испытания — отсутствие языка, безденежье, поиски работы. Эмигрантская жизнь сталкивает его со многими людьми, возносит к успеху и бросает в бездну неудач, мотает по всему свету. Это книга о России и Америке, о переплетении человеческих судеб, о памяти поколений, о поисках самого себя, о происхождении человека — не от обезьяны, а от Бога. И еще это — книга о любви.



Желток яйца

В сборник Василия Аксенова вошли его роман «Желток яйца» — гротескное, почти памфлетное произведение о борьбе КГБ и ЦРУ за обладание записками Достоевского о его встречах с Карлом Марксом — и цикл новелл конца 90-х годов «Негатив положительного героя» — взгляд постаревшего шестидесятника на этот период нашей жизни. В сборник также включены две много лет не издававшиеся пьесы Аксенова — «Всегда в продаже» и «Цапля».



